

Д. Мамин-Сибиряк

Д. МАМИН-
СИБИРЯК

2



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1980

Д·Н·МАМИН-СИБИРЯК

Собрание сочинений в шести томах



Редакционная коллегия:

А. И. ГРУЗДЕВ
И. А. ДЕРГАЧЕВ
В. А. СТАРИКОВ



Москва

«Художественная литература»

1980

Д·Н·МАМИН-СИБИРЯК

Собрание сочинений



Том
второй



ГОРНОЕ ГНЕЗДО

РАССКАЗЫ



Москва

«Художественная литература»

1980

Р1

М 22

Комментарии и подготовка текста

Э. ГОЛЬЦЕВОЙ

Оформление художника

Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

М $\frac{70301-243}{028(01)-80}$ подписное

© Комментарии. Издательство
«Художественная литература»,
1980 г.



ГОРНОЕ ГНЕЗДО

Роман



Вот приедет барин —
Барин нас рассудит...

Некрасов

I

— Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!!.

В подтверждение своих слов Раиса Павловна приотпнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезабилье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели; она любила понежиться часов до двенадцати. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем.

Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врвались пыльными полосами лучи горячего майского солнца; под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило девять часов. Нет, это было невыносимо!.. Раиса Павловна дернула за сонетку.

— Ну? — крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.

— Сейчас будут-с.

— Видно, в курятнике своем сидит?

— Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит...

Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.

— Ты чего тут торчишь чучелом гороховым? — сердито оборвала ее взволнованная барыня.

— Когда прикажете подавать одеваться?

— Ах, да... Некогда мне... Принеси пока оренбургский платок.

Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту: желтое, сморщенное лицо, с мешками под глазами, неприятно выкаченные серые глаза, взбитые ключьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под пятьдесят лет. «Ведьма... Нет, хуже: старая баба», — думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива, по крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли; всеразрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.

— Оставь! — капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку. — Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку. Слышишь?

Прошло мучительных десять минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову: «Генерал Блинов честный человек... С ним едет одна особа, которая пользуется безграничным влиянием на генерала; она, *кажется*, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность...»

Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую тремя окнами на главную площадь Кукарского завода, а двумя в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним при-

давленными линиями поднимались контуры грудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и тысячью дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и наконец помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внутренней стене, над широким оттоманом, помещались олени рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя обстановкой.

В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся — и не в свою пользу — с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в «штиле» выкупались другими неопцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии Ку-

карских заводов, можно так: представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводо-владелец Лаптев; снизу со всех сторон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводоладельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливым всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору.

Раиса Павловна, как жена главного управляющего Кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенностью Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почувший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч:

«Я уже писал вам, что Евгений Константиныч (заводо-владелец) очень сблизился с генералом Блиновым, и не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект — пока неизвестно, но Блинову удалось убедить Евгения Константиныча отправиться нынче же на Урал, а это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответствующие меры к приезду Евгения Константиныча.

От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кой-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношения с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться: продадут... Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь: господь милостив! А вы спросите меня о Прейне, как он? — скажу одно, что по-прежнему, как флюгер, вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно, и следует надеяться, так это на Прейна: с ним Евгений Константиныч никогда не расстанется, а генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам интересно бы узнать, что эта за особа, которая вертит генералом, — разузнавал и пока узнал только то, что она живет с генералом в гражданском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу.

Главное, нужно подготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив бог... С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константиныч и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение двадцати лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константиныч очень были заинтересованы одной балериной и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч».

За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отворенную половинку дверей свою седую, обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.

— Вы... что же это вы делаете со мной?! — с крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.

— Я? — удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломянковое пальто.

— Да, вы... Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно наконец!!

— Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще десятый час на дворе.

— Вот полюбуйтесь! — сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо. — Вы только и знаете, что свой десятый час...

— От Прохора Сазоныча-с... — в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и сначала рассматривая письмо издали.

— Да читайте... тьфу!.. Точно старая баба с печи слезает...

Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его, строчка за строчкой. По его оплывшему, жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.

— Ну?..

— Нужно будет с Платоном Васильичем посоветоваться...

— Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили: я буду советоваться с Платоном Васильичем... Ха-ха!.. Для этого я вас и звала сюда!.. Если хотите знать, так Платон Васильич не увидит этого письма, как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильич? — дурак и больше ничего... Да говорите же наконец или убирайтесь, откуда пришли! Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что слово *особа* подчеркнуто?

— Точно так-с.

— Вот меня это и бесит... Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.

— Нет, не будет... Ох, не будет! — каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. — И обо мне есть: «настроены против Сахарова в особенности»... Ничего не разберу!..

— Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да с Прейном — это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?

Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые, жирные плечи.

В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду весело заливалась безыменная птичка; набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сиреней и акаций, врывается в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием влетела в комнату какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.

— Ну?

— Это Тетюев да Майзель механику подводят, — проговорил Родион Антоныч.

— И опять глупо: такую новость сообщили! Кто же этого не знает... ну, скажите, кто этого не знает? И Вершинину, и Майзелью, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места; даже я за вас не могу поручиться в этом случае, но это — все пустяки и не в том дело. Вы мне скажите: кто эта особа, которая едет с Блиновым?

— Не знаю.

— Так узнайте! Ах, господи! господи! Непременно узнайте, и сегодня же!.. От этого все зависит: мы должны приготовиться. Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней... Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил Родион Антоныч, снимая очки, — ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым...

— Ну?..

— Так вот от Прозорова и можно будет узнать.

— Ах, действительно... Как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше! Так, так... Вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной

все разузнайте от него. Ведь Прозоров болтун, и от него все на свете можно узнать... Отлично!..

— Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна...— с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.

— Это почему?

— Да так... Вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит...

— Ну, это вздор... Он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет.

— Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...

— Ну, черт с вами, убирайтесь в свой курятник! — сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку.— Афанасья! Одеваться... да живее!.. Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч!

«Ох, дрянь дело»,— думал Родион Антоныч, вылезая из кабинета.

Его оплывшее лицо, блестящее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.

II

Через полчаса Раиса Павловна спускалась с открытой веранды в густой и тенистый господский сад, который зеленой узорчатой прорезью драпировал берег пруда. На ней теперь было надето платье из голубого альпага, отделанное дорогими кружевами; красиво собранные рюши были схвачены под горлом бирюзовой брошью. В волосах, собранных в утреннюю прическу, удачно скрывалась чужая коса, которую носила Раиса Павловна очень давно. И в costume, и в прическе, и в манере себя держать — везде сквозила какая-то фальшивая нота, которая придавала Раисе Павловне непривлекательный вид отжившей куртизанки. Впрочем, она это знала сама, но не стеснялась своей наружностью и даже точно нарочно щеголяла эксцентричностью костюма и своими полумужскими манерами. То, что губит в общественном мнении других женщин, для Раисы Павловны не существовало. На остроумном языке Прозорова эта особенность Раисы Павловны объяснялась тем, что «подозрение да не коснется жены

Цезаря». Ведь Раиса Павловна была именно такой же женой Цезаря в маленьком заводском мирке, где вся и все преклонялось пред ее авторитетом, чтобы вдоволь позлословить на ее счет за глаза. Как умная женщина, Раиса Павловна все это отлично понимала и точно наслаждалась развертывавшейся пред ней картиной человеческой подлости. Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней, льстили и подличали наперерыв. Это было даже пикантно и приятно щекотало расшатавшиеся нервы жены Цезаря.

Чтобы пройти к Прозорову, который в качестве главного инспектора заводских школ занимал один из бесчисленных флигелей господского дома, нужно было миновать ряд широких аллей, перекрещивавшихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. Сад был устроен на широкую барскую ногу. Оранжереи, теплички, клумбы цветов, аллеи и узкие дорожки красиво пестрили зеленую полосу берега. В воздухе пахучей струей разливался аромат только что распустившихся левкоев и резеды. Сирень, как невеста, стояла вся залитая напухшими, налившимися почками, готовыми развернуться с часу на час. Подстриженные щеткой акации образовали живые зеленые стены, в которых там и сям уютно прятались маленькие зеленые ниши с крошечными садовыми диванчиками и чугунными круглыми столиками. Эти ниши походили на зеленые гнездышки, куда так и тянуло отдохнуть. Вообще садовник хорошо знал свое дело и на пять тысяч, которые ему ежегодно ассигновало кукарское заводоуправление специально на поддержку сада, оранжерей и теплиц, делал все, что мог сделать хороший садовник: зимой у него отлично цвели камелии, ранней весной тюльпаны и гиацинты; огурцы и свежая земляника подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. Только несколько отдельных куп из темных елей и пихт да до десятка старых кедров красноречиво свидетельствовали о том севере, где цвели эти выхоленные сирени, акации, тополи и тысячи красивых цветов, покрывавших клумбы и грядки яркой цветистой мозаикой. Растения были слабостью Раисы Павловны, и она каждый день по несколько часов проводила в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на весь сад, на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его построек и на далекие окрестности.

Вид на Кукарский завод и на стеснившие его со всех сторон горы из господского сада, а особенно с веранды господского дома, был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности; на ближайшей красовалась своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый гребень. Издали эти две возвышенности походили на ворота, в которые выливалась горная река Кукарка, чтобы дальше сделать колено под крутой лесистой горой, оканчивавшейся утесистым пиком с воздушной часоушкой на самом верху. Между этими возвышенностями и по берегу пруда крепкие заводские домики выровнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества. Пять больших церквей красовались на самых видных местах.

Сейчас под плотиной, где сердито бурлила бойкая Кукарка, с глухим вздрагиванием погромыхивали громадные фабрики. На первом плане дымились три доменных печи; из решетчатых железных коробок вечно тянулся черным хвостом густой дым, прорезанный снопами ярких искр и косматыми языками вырывавшегося огня. Рядом стояла черной пастью водяная лесопильня, куда, как живые, ползли со свистом и хрипеньем ряды бревен. Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю, оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим царством огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками и зеленевшего по горам леса невольно манила к себе глаз своим простором, свежестью красок и далекой воздушной перспективой.

Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не хватало солнце. Раиса Павловна вошла в открытую дверь полусгнившей, покосившейся террасы. В первой комнате никого не было, как и в следующей за ней. Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями и сборной ме-

белью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными: на полу оставались следы грязных ног, окна были покрыты пылью, везде царил страшный беспорядок. Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба. Раиса Павловна поморщилась и презрительно съежила плечи.

«Это какая-то конюшня...» — брезгливо подумала она, заглядывая в следующую узкую полутемную комнату.

Она в нерешительности остановилась в дверях, когда из глубины до ее слуха долетел речитатив Мефистофеля:

Красотка-то немножко устарела...

— Это вы, Виталий Кузьмич, на мой счет упражняетесь? — весело спросила Раиса Павловна, переступая порог.

Старчески-фальшивый голос смолк, и в ответ послышался тихий, с детскими нотками смех.

— Царица Раиса! какими судьбами!.. — заговорил небольшого роста худощавый господин, поднимаясь с прованного клеенчатого дивана.

— Здравствуйте, великий человек... на малые дела! — развязно отозвалась Раиса Павловна, протягивая руку чудаку-хозяину. — Вы тут что-то такое пели сейчас?

— Да, да... — торопливо заговорил Прозоров, поправляя сбившийся на шее галстук. — Действительно, пел... Узрел сии голубые одежды, сию накладную косу, сие раскрашенное лицо — и запел!

— Если все остроумие заключается у вас сегодня в местоимении *сей*, то это немного скучно, Виталий Кузьмич.

— Что делать, что делать, голубушка! постарел, поглупел, выдохся... Ничто не вечно под луной!

— Где у вас тут присесть можно? — спрашивала Раиса Павловна, напрасно отыскивая глазами стул.

— А вот, пожалуйста на диван! Располагайтесь. Однако какими это судьбами занесло вас, царица Раиса, в мою берлогу?

— По старой памяти, Виталий Кузьмич... Когда-то и вы писывали стишки для женщины в голубых одеждах.

— О, помню, помню, царица Раиса! Дайте ручку поцеловать... Да, да... Когда-то, давно-давно, Виталий Прозоров не только декламировал вам чужие стихи, но и сам парил для вас. Ха-ха... Получается даже каламбур: парил и парил. Так-с... Вся жизнь состоит из таких

жаламбуров! Тогда, помните эту весеннюю лунную ночь... мы катались по озеру вдвоем... Как теперь вижу все: пахло сиренями, где-то заливался соловей! вы были молодцы, полны сил, и судеб повинуясь закону...

Ты помнишь чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Прозоров припал своей седевшей головой к руке Раисы Павловны, и она почувствовала, как на руку капали крупные слезы... Ей сделалось жутко от двойного чувства: она презирала этого несчастного человека, отравившего ей жизнь, и вместе с тем в ней смутно проснулось какое-то теплое чувство к нему, вернее сказать, не к нему лично, а к тем воспоминаниям, какие были связаны с этой кудрявой и все еще красивой головой. Раиса Павловна не отнимала руки и смотрела на Прозорова большими остановившимися глазами. Это узкое лицо с козлиной бородкой и большими, темными, горячими глазами все еще было красиво какой-то беспокойной, нервной красотой, хотя кудрявые темные волосы уже давно блестели седьмой, точно серебристой плесенью. Такой же плесенью был покрыт и живой, остроумный мозг Прозорова, разлагавшийся от собственной работы.

— А теперь, — заговорил Прозоров, прерывая тяжелую паузу, — я смотрю на развалины моей Трои, которая напоминает мне о моем собственном разрушении. Да, да... Но я еще нахожу капельку поэзии:

Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей...

«Кабинет» Прозорова, занимавший узкую проходную комнату, что-то вроде коридора, был насквозь пропитан дымом дешевых сигар и запахом водки. Ободранный письменный стол, придвинутый к внутренней стене, был завален книгами, которые лежали здесь в самом поэтическом беспорядке. Тут же валялись листы исписанной бумаги и пустая бутылка из-под водки. В углу комнаты помещался шкаф с книгами, в другом — пустая этажерка и сломанное кресло с вышитой цветными шелками спинкой. Измятый, небрежный костюм хозяина соответствовал обстановке кабинета; летнее пальто из парусины съезжилось

от стирки и некрасиво суживало и без того его узкие плечи; такие же брюки, смятая сорочка и нечищенные, порыжевшие сапоги дополняли костюм. Раиса Павловна готова была пожалеть этого жалкого старика, который уже заметил это мимолетное движение, и по его худощавому лицу скользнула презрительно-нахальная улыбка, которая Раисе Павловне была особенно хорошо знакома.

— А я зашла к вам за Лушей...— деловым тоном заговорила Раиса Павловна, испытывая маленькое смущение.

— Знаю, знаю...— торопливо отозвался Прозоров, взбивая на голове волосы привычным жестом.— Знаю, что за делом, только не знаю, за каким...

— Я же сказала вам.

— Ах, да... Верую, господи, помоги моему неверию. За Лушей... Так.

— А ведь она у вас совсем большая. Необходимо о ней позаботиться...

— Совершенно верно!

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

— Особенно таким отцом, каким судьба так несправедливо наградила бедную Лушу.

— Да, но я только отрицательным образом несправедлив к моей дочери, тогда как вы своим влиянием прививаете самое положительное зло.

— Именно?

— Именно, набиваете ей голову тряпками и разной бабьей философией. Я, по крайней мере, не вмешиваюсь в ее жизнь и предоставляю ее самой себе: природа — лучший учитель, который никогда не ошибается...

— И я так же рассуждала бы, если бы не любила вашей Луши.

— Вы? Любили? Перестаньте, царица Раиса, играть в прятки; мы оба, кажется, немного устарели для таких пустяков... Мы слишком эгоисты, чтобы любить кого-нибудь, кроме себя, или, вернее сказать, если мы и любили, так любили и в других самих же себя. Так? А вы, кроме того, еще умеете ненавидеть и мстить... Впрочем, я если уважаю вас, так уважаю именно за это милое качество.

— Благодарю. Откровенность за откровенность; бросьте этот старый хлам и лучше расскажите мне, что за человек генерал Блинов, с которым вы учились.

— Блинов... генерал Блинов... Да, Мирон Блинов. Прозоров остановился и, взглянув на Раису Павловну с своей ехидной улыбкой, проговорил:

— Так вот зачем вы пожаловали ко мне!

— Что же из этого?

— А для чего вам понадобился Блинов? Опять какая-нибудь мудреная комбинация в области политики...

— Если спрашиваю, значит мне это нужно знать, а для чего нужно — дело мое. Поняли? Бабье любопытство одолело.

— Я так спросил... Так вам, значит, нужно выправить через меня справку о Мироне Геннадьиче? Извольте... Во-первых, это очень честный человек — первая беда для вас; во-вторых, он очень умный человек — вторая беда, и, в-третьих, он, к вашему счастью, сам считает себя умным человеком. Из таких умных и честных людей можно веревки вить, хотя сноровка нужна. Впрочем, Блинов застрахован от вашей бабьей политики... Ха-ха!..

— Я не нахожу ничего смешного в том, что Мирон Геннадьич находится под сильным влиянием одной особы, которая...

— ...Которая безобразна, как гороховое чучело,— подхватил Прозоров удачно подброшенную реплику,— стара, как попова собака, и умна, как дьявол.

— А вы не знаете, кто эта особа сама по себе?

— Н-нет... Кажется, из девиц легкого чтения или из кухарок, но вообще не высокого полета. Ха-ха!.. Представьте же себе такую комбинацию: Блинов — профессор университета, стяжал себе известное имя, яко политико-эконом и светлая финансовая голова, затем, как я уже сказал вам, хороший человек во всех отношениях — и вдруг этот самый генерал Блинов, со всей своей ученостью, честностью и превосходительством, сидит под башмаком какого-то уroda. Я еще понимаю такую ошибку, потому что когда-то сам имел несчастье увлечься такой женщиной, как вы. Ведь и вы меня любили когда-то, царица Раиса...

— Я? Никогда!..

— Немножко?

— А вы видели эту особу, которая держит генерала под башмаком? — перебила Раиса Павловна этот откровенный вопрос.

— Издали. Про нее можно сказать словами балаганных остряков, что издали она безобразна, а чем ближе, тем хуже. Послушайте, однако, для чего вы меня исповедуете обо всем этом?

— А вы до сих пор не можете догадаться, что это секрет,— с улыбкой ответила Раиса Павловна,— а секретов вам, как известно, доверять нельзя.

— Да, да... Все разболтаю: язык мой — враг мой,— согласился Прозоров с полукомическим вздохом.

Раиса Павловна просидела в каморке Прозорова еще с полчаса, стараясь выведать у своего болтливового собеседника еще что-нибудь о таинственной особе. Прозоров в таких случаях не заставлял себя просить и принялся рассказывать такие подробности, которые даже не позаботился сколько-нибудь прикрасить для вероятности.

— Ну, вы, кажется, уж того...— заметила Раиса Павловна, поднимаясь с места.

— Убей меня бог, если вру!

Чтобы придать своим рассказам оттенок действительности, Прозоров углубился в воспоминания собственной юности, когда он еще студентом занимал вместе с Блиновым крошечную каморку в 17-й линии Васильевского острова. Славное было время, хотя Блинов был один из самых тупых студентов. Решительно не подавал никаких надежд, зубрил напропалую, вообще являлся дюжинной натурой и самой жалкой посредственностью. После их дороги разошлись, а теперь Блинов — видный ученый и превосходительная особа, тогда как Прозоров заживо тонет в водке.

— Кто же вам велит пить? — строго проговорила Раиса Павловна, стараясь не глядеть на своего собеседника.

— Кто меня заставляет? — спросил Прозоров, запустив обе руки в свои седые кудри.

— Да, вас...

— Эх, царица Раиса... Зачем вы меня спрашиваете? — застонал Прозоров. — Вы ведь очень хорошо знаете всю эту историю: душа болит у Виталия Кузьмича, вот он и пьет. Думал когда-то гору своротить, а запнулся о соломинку... Знаете, у меня на днях блеснула очень хорошая теория, которую можно назвать *теорией жертв*. Да, да... Всякое движение вперед и во всякой сфере требует своих жертв. Это железный закон!.. Возьмите промышленность,

науку, искусство — везде казовые концы, которыми мы любимся, выкупаются целым рядом жертв. Каждая машина, каждое усовершенствование или изобретение в области техники, каждое новое открытие требует тысяч человеческих жертв, именно в лице тех труженников, которые остаются благодаря этим благодеяниям цивилизации без куска хлеба, которых режет и дробит какое-нибудь глупейшее колесо, которые приносят в жертву своих детей с восьми лет... То же самое творится и в области искусства и науки, где каждая новая истина, всякое художественное произведение, редкие жемчужины истинной поэзии — все это выросло и созрело благодаря существованию тысяч неудачников и непризнанных гениев. И заметьте, эти жертвы не случайность, даже не несчастье, а только простой логический вывод из математически верного закона. Вот я и сопричислил себя к лику этих неудачников и непризнанных гениев: имя нам легион... Единственное утешение, которое осталось нам на долю, когда рядом генералы Блиновы процветают и блаженствуют, — есть мысль, что если бы не было нас, не было бы и действительно замечательных людей. Да-с...

Прозоров остановился перед своей слушательницей в трагической позе, какие «выкидывают» плохие провинциальные актеры. Раиса Павловна молчала, не поднимая глаз. Последние слова Прозорова отозвались в ее сердце болезненным чувством: в них было, может быть, слишком много правды, естественным продолжением которой служила вся беспорядочная обстановка прозоровского жилья.

— И заметьте, — импровизировал Прозоров, начиная бегать из угла в угол, — как нас всех, таких межеумков, заедает рефлексия: мы не сделаем шагу, чтобы не оглянуться и не посмотреть на себя... И везде это проклятое я! И понятное дело! Настоящего, определенного занятия у нас нет, — вот мы и копаемся в собственной душонке да вытаскиваем оттуда разный хлам. Главное, я сознаю, что такое положение самое распоследнее дело, потому что создается скромным желанием оправдать себя в глазах современников. Ха-ха!.. И сколько нас, таких артистов? Есть даже такие счастливцы, что ухитряются целую жизнь пользоваться репутацией умных людей. Благодарю бога, что я не принадлежу к их числу, по крайней мере... Выеденное яйцо — вернее, болтун — и дело с концом.

— О чем же у вас душа болит?

— Ах, да... Душа-то?.. А болит она, царица Раиса, о том, что я мог выполнить и не выполнил. Самое тяжелое чувство... И так во всем: в общественной деятельности, в своей профессии, особенно в личных делах. Идешь туда — и, глядишь, пришел совсем в другое место; хочешь принести человеку пользу — получается вред, любишь человека — платят ненавистью, хочешь исправиться — только глубже опускаешься... Да. А там, в глубине души, сосет этакий дьявольский червяк: ведь ты умнее других, ведь ты бы мог быть и тем-то, и тем-то, ведь и счастье себе своими руками загубил. Вот тут и приходит мат, хоть петлю на шею!

— Я вас за что люблю? — неожиданно прервал Прозоров ход своих мыслей.— Люблю за то именно, чего мне недостает, хотя сам я этого, пожалуй, и не желал бы иметь. Ведь вы всегда меня давили и теперь давите, даже давите вот своим настоящим милостивым присутствием...

— Я ухожу.

— Еще одно слово! — остановил Прозоров свою гостью.— Моя песенка спета, и обо мне нечего говорить, но я хочу просить вас об одном... Исполните?

— Не знаю, какая просьба.

— Исполнить ее вам ничего не стоит...

— Обещать, не зная что, по меньшей мере глупо.

Прозоров неожиданно опустился перед Раисой Павловной на колени и, схватив ее за руку, задыхавшимся шепотом проговорил:

— Оставьте Лушу в покое... Слышите: оставьте! Я встретился с вами в несчастную минуту и дорого заплатил за это удовольствие...

— И я, кажется, не дешево!

— Но моя девочка не виновата ни душой, ни телом в наших ошибках...

— Перестаньте ломать комедию, Виталий Кузьмич,— строго заговорила Раиса Павловна, направляясь к выходу.— Достаточно того, что я люблю Лушу гораздо больше вашего и позабочусь о ней...

— Неужели вам мало ваших приживалок, которыми вы занимаете своих гостей?! — со злостью закричал Прозоров, сжимая кулаки.— Зачем вы втягиваете мою девочку в эту помойную яму? О, господи, господи! Вам мало видеть, как ползают и пресмыкаются у ваших ног десятки подлых людей, мало их унижения и добровольного позора,

вы хотите развратить еще и Лушу! Но я этого не позволю... Этого не будет!

— Вы забываете только одно маленькое обстоятельство, Виталий Кузьмич,— сухо заметила Раиса Павловна, останавливаясь в дверях,— забываете, что Луша совсем большая девушка и может иметь свое мнение, свои собственные желания.

Прозоров остановился, что-то подумал, махнул рукой и каким-то упавшим голосом спросил:

— Скажите, по крайней мере, для чего вы меня исповедовали о генерале Блинове?

Раиса Павловна только пожала плечами и презрительно улыбнулась. Она вздохнула свободнее, когда очутилась на открытом воздухе.

— Дурак!..— энергично проговорила она, шагая по черемуховой аллее к центральной площадке.

III

Возвращаясь по саду домой, Раиса Павловна перебирала в уме только что слышанную болтовню Прозорова. Что такое генерал Блинов — она почти поняла, или, по крайней мере, отлично представляла себе этого человека; но относительно особы она мало вынесла из своего визита к Прозорову. Эта особа так и оставалась искомым неизвестным. Прозоров рисовал слишком густыми красками и, наверно, любую половину приврал. Раису Павловну смущало больше всего противоречие, которое вытекало из характеристики Прозорова: если эта таинственная особа стара и безобразна, то где же секрет ее влияния на Блинова, тем более что она не была даже его женой? Что-нибудь да не так, особенно если принять во внимание, что генерал, по всем отзывам, человек умный и честный... Конечно, бывают иногда случаи.

Занятая своими мыслями, Раиса Павловна не заметила, как столкнулась носом к носу с молоденькой девушкой, которая шла навстречу с мохнатым полотенцем в руках.

— Ах, как ты меня испугала, Луша!

— Куда это вы ходили, Раиса Павловна? — весело спрашивала девушка, целуя Раису Павловну звонким поцелуем.

— К вам ходила... С папенькой твоим беседовали чуть не целый час. Даже голова заболела от его болтовни... Ты что это, купалась?

— Да.

Девушка показала свои густые мокрые волосы, завернутые толстым узлом и прикрытые сверху пестрым бумажным платком, который был сильно надвинут на глаза, как носят заводские бабы. Под навесом платка беззаботно смеялись бойкие карие глаза, опущенные длинными ресницами; красивый с горбиком нос как-то особенно смешно морщился, когда Луша начинала смеяться. Это молодое лицо, теперь все залитое румянцем, было хорошо даже своими недостатками: маленьким лбом, неправильным овалом щек, чем-то бесхарактерным, что лежало в очерке рта. Раиса Павловна любила это лицо и теперь с особенным удовольствием осматривала девушку с ног до головы: положительно, Луша унаследовала от отца его нервную красоту. С материнской улыбкой она осматривала теперь новенькое платье Луши. Это была дорогая обновка из чечунчи, и девушка в первый раз надела ее, чтобы идти купаться. Нет, в этой девчонке есть именно то качество, которое сразу выделяет женщину из тысячи других бесцветных кукол.

— Луша, я скажу тебе очень интересную новость... — заговорила Раиса Павловна, обнимая девушку за талию и увлекая ее за собой. — К нам едет Евгений Константиныч...

— Лаштев?

— Да. Только это пока секрет. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю...

— С ним, конечно, едет Прейн, потом толпа молодежи... Превесело проведем все лето. Самый отличный случай для твоих первых триумфов!.. Да, мы им всем вскружим голову... У нас один бюст чего стоит, плечи, шея... Да?.. Милочка, женщине так мало дано от бога на этом свете, что она своим малым должна распорядиться с величайшей осторожностью. Притом женщине ничего не прощают, особенно не прощают старости... Ведь так... а?..

При последних словах Раиса Павловна накинулась на девушку с такими ласками, от которых та принуждена была защищаться.

— Ах, какая ты недотрога!.. — с улыбкой проговорила Раиса Павловна. — Не нужно быть слишком застенчивой.

Все хорошо в меру: и застенчивость, и дерзость, и даже глупость... Ну, сознайся, ты рада, что приедет к нам Лаптев? Да?.. Ведь в семнадцать лет жить хочется, а в каком-нибудь Кукарском заводе что могла ты до сих пор видеть, — ровно ничего! Мне, старой бабе, и то иногда тошнехонько сделается, хоть сейчас же камень на шею да в воду.

— А Лаптев долго пробудет у нас?

— Пока ничего не знаю, но с месяц, никак не более. Как раз пробудет, одним словом, столько, что ты успеешь повеселиться до упаду, и, кто знает... Да, да!.. Говорю совершенно серьезно...

Луша тихо засмеялась теми же детскими нотками, как смеялся отец; ровные белые зубы и ямочки на щеках придавали смеху Луши какую-то наивную прелесть, хотя карие глаза оставались серьезными и в них светилось что-то жесткое и недоверчивое.

— Вы меня уж не за Прейна ли прочите? — проговорила Луша, делая гримасу.

— Нет. Прейн никогда не женится. Но это ему не мешает быть еще красивым мужчиной, конечно, красивым для своих лет. Когда-то он был замечательно хорош, но теперь...

— Мне он кажется просто отвратительным.

— Да? А между тем от него еще недавно женщины сходили с ума... Впрочем, ты еще была совсем крошкой, когда Прейн был здесь в последний раз.

— Все-таки я отлично его помню: зубы гнилые и смотрит так... совсем особенно. Я всегда боялась, когда он начинал смеяться.

— Дурочка!.. Что же мы здесь шатаемся с тобой, пойдем ко мне кофе пить.

— Я схожу переодеться сначала.

— Вздор! Можешь у меня переодеться. Афанасья уберет тебе волосы.

Они пошли от пруда по направлению к главному зданию господского дома. Солнце было уже высоко и подбрало ночную росу с травы и цветов. Только кой-где, под прикрытием кустов, оставались еще темно-зеленые полосы мокрой зелени, точно сейчас покрытой лаком. Из этих тенистых уголков так и обдавало свежестью, которая быстро исчезала под наплывом сгущавшегося летнего зноя. Легкое грозовое облачко, точно вскинутый вверх ворох темных кружев, круто поднималось над да-

лекими горами, оставляя за собой длинную тень, скользившую по земле широким шлейфом.

С веранды дамы прошли прямо в уборную Раисы Павловны, великолепную голубую комнату с атласными обоями, штофными драпировками и ореховой мебелью в стиле которого-то Людовика. Мраморный умывальник, низкая резная кровать с балдахином над изголовьем, несколько столиков самой вычурной работы, в углах шифоньерки — вообще обстановка уборной придавала ей вид и спальни и будуара. Тысячи безделушек валялись кругом без всякой цели и порядка, единственно потому только, что их так бросили или забыли: японские коробки и лакированные ящички, несколько китайских фарфоровых ваз, пустые бонбоньерки, те специально дамские безделушки, которыми Париж наводняет все магазины, футляры всевозможной величины, формы и назначения, флаконы с духами, целый арсенал принадлежностей косметики и т. д. Приготовленное Афанасьей платье ждало Раису Павловну на широком атласном диванчике; различные принадлежности дамского костюма перемешались в беспорядочную цветочную кучу, из-под которой выставлялись рукава платья с болтавшимися манжетами, точно под этой кучей лежал раздавленный человек с бессильно опустившимися руками. Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом.

— Афанасья, приberi голову Луше,— лениво проговорила Раиса Павловна, усталым движением опускаясь на кушетку.— А я подожду...

Афанасья, худая и длинная особа, с костлявыми руками и узким злым лицом, молча принялась за дело. Девушка с удовольствием поместилась к дамскому уборному столику, овальное зеркало которого совсем пряталось под кружевным пологом, схваченным наверху короной из голубых и белых лент. Раиса Павловна несколько минут следила за работой Афанасьи и нахмурилась. Верная служанка, видимо, была недовольна своей работой и сердито приводила в порядок рассыпавшуюся по плечам Луши волну русых волос; гребень ходил у ней в руках неровно и заставил девушку несколько раз сморщиться от боли.

— Оставь...— проговорила Раиса Павловна, когда Афанасья принялась заплетать тяжелую косу.— Можешь идти.

Афанасья что-то проворчала себе под нос и вышла из комнаты.

— Настоящая змея! — с улыбкой проговорила Раиса Павловна, вставая с кушетки. — Я сама устрою тебе все... Сиди смирно и не верти головой. Какие у тебя славные волосы, Луша! — любовалась она, перебирая в руках тяжелые пряди еще не просохших волос. — Настоящий шелк... У затылка не нужно плести косу очень туго, а то будет болеть голова. Вот так будет лучше...

С ловкостью камеристки Раиса Павловна сделала пробор на голове, заплела косу и, отойдя в сторону, несколько времени безмолвно любовалась сидевшей неподвижно Лушей. Когда та хотела встать, она остановила ее:

— Погоди, у меня есть одна штучка, которая к тебе очень пойдет.

Вытащив из шифоньерки какой-то длинный футляр, Раиса Павловна торопливо достала из него несколько ниток красных кораллов с золотой застежкой и надела их на Лушу.

— Вот теперь хорошо! — довольным голосом заметила она. — Красные кораллы идут ко всякой коже...

Луша покраснела от удовольствия; у нее, кроме бус из дутого стекла, ничего не было, а тут были настоящие кораллы. Это движение не ускользнуло от зоркого взгляда Раисы Павловны, и она поспешила им воспользоваться. На сцену появились браслеты, серьги, броши, кольца. Все это примеривалось перед зеркалом и ценилось по достоинству. Девушке особенно понравилась брошь из восточного изумруда густого кровавого цвета; дорогой камень блестел, как сгусток свежезапекшейся крови.

— Не правда ли, хорошо? — спрашивала Раиса Павловна и потом вдруг расхохоталась.

Девушка смутилась и начала торопливо срывать с себя чужие сокровища, но Раиса Павловна удержала ее за руку.

— Знаешь, над чем я хохочу? — шептала она, вздрагивая от смеха. — Если бы твой папа увидел теперь нас, он просто приколотил бы и тебя и меня... Ведь он ненавидит все, что нравится женщинам. Ха-ха... Он хотел сделать из тебя мальчика — да? Но природа перехитрила его. Разве мы виноваты, если эти безделушки делают нас не красивее, а заметнее. Женщина — пассивное существо; ей, особенно в известном возрасте, поневоле приходится

прибегать к искусству... Но это к тебе не относится: ты слишком хороша сама по себе, чтобы портить себя разным дорогим хламом. Какая-нибудь лента, несколько живых цветов — вот все, что для тебя теперь необходимо. Так?.. Только не следует забывать, что всякая красота, особенно типичная, редкая красота, держится недолго и ее приходится поддерживать. Вот об этом всякой женщине следует подумать заблаговременно. Женщина всегда останется женщиной, что бы там ни говорили... Будь ты умна, как все семь греческих мудрецов, но ни один мужчина не посмотрит на тебя, как на женщину, если ты не будешь красива. Заметь, что даже самой красивой девушке не всегда будет семнадцать лет... Время — наш самый страшный враг, и мы всегда должны это помнить, *ma petite*¹.

Этот разговор был прерван появлением Афанасьи с кофе. За ней вошел в комнату высокий господин в круглых очках. Он осмотрелся в комнате и нерешительно проговорил:

— Раиса Павловна, вы слышали новость?

— Какую?

— Евгений Константиныч едет к нам...

— Неужели?

— Да, да... Все говорят об этом. Получено какое-то письмо. Я нарочно зашел к тебе узнать, что это такое?..

— Можешь успокоиться: Лаптев действительно едет сюда. Я сегодня получила письмо об этом.

— Здравствуйте, Платон Васильич...— заговорила Луша.

— Ах, да... Виноват, я совсем не заметил тебя,— рассеянно проговорил Платон Васильич.— Я что-то хуже и хуже вижу с каждым днем... А ты выросла. Да... Совсем уж взрослая барышня, невеста. А что папа? Я его что-то давно не вижу у нас?

— Виталий Кузьмич сердится на тебя,— ответила Раиса Павловна.

Платон Васильевич постоял несколько минут на своем месте, рассеянным движением погладил свою лысину и вопросительно повернул сильно выгнутые стекла своих очков в сторону жены. На его широком добродушном лице с окладистой седой бородой промелькнула неопределенная улыбка. Эта улыбка рассердила Раису Павловну.

¹ моя маленькая (*фр.*).

«Этот идиот невыносим», — с щемящей злобой подумала она, нервно бросая в угол какой-то подвернувшийся под руку несчастный футляр. Ее теперь бесила и серая летняя пара мужа, и его блестящие очки, и нерешительные движения, и эта широкая лысина, придававшая ему вид новорожденного.

— Ну? — сердито бросила она свой обычный вопрос.

— Я — ничего... Я сейчас иду в завод, — заговорил Платон Васильевич, ретируясь к двери.

— Ну и отправляйся в свой завод, а мы здесь будем одеваться. Кофе я пришлю к тебе в кабинет.

Когда Платон Васильевич удалился, Раиса Павловна тяжело вздохнула, точно с ее жирных плеч скатилось тяжелое бремя. Луша не заметила хорошенько этой семейной сцены и сидела по-прежнему перед зеркалом, вокруг которого в самом художественном беспорядке валялись броши, браслеты, кольца, серьги и колъе. Живой огонь брильянтов, цветные искры рубинов и сапфиров, радужный, жирный блеск жемчуга, молочная теплота большого опала — все это притягивало теперь ее взгляд с магической силой, и она продолжала смотреть на разбросанные сокровища, как очарованная. Воображение рисовало ей, что эти брильянты искрятся у ней на шее и разливают по всему телу приятную теплоту, а на груди влажным огнем горит восточный изумруд. В карих глазах Луши вспыхнул жадный огонек, заставивший Раису Павловну улыбнуться. Кажется, еще одно мгновение, и Луша, как сорока, инстинктивно схватила бы первую блестящую безделушку. Девушка очнулась только тогда, когда Раиса Павловна поцеловала ее в зарумянившуюся щечку.

— А... что?.. — бормотала она, точно просыпаясь от своего забытья.

— Ничего... Я залюбовалась тобой. Хочешь, я подарю тебе эту коралловую нитку?

Действительность отрезвила Лушу. Инстинктивным движением она сорвала с шеи чужие кораллы и торопливо бросила их на зеркало. Молодое лицо было залито краской стыда и досады: она не имела ничего, но милостыни не принимала еще ни от кого. Да и что могла значить какая-нибудь коралловая нитка? Это душевное движение понарилось Раисе Павловне, и она с забившимся сердцем подумала: «Нет, положительно, эта девчонка пойдет далеко... Настоящий тигренок!»

Известие о приезде Лаптева молнией облетело не только Кукарский, но и все остальные заводы.

Интересно было проследить, как распространилось это известие по всему заводскому округу. Родион Антоныч не сказал никому о содержании своего разговора с Раисой Павловной, но в заводууправлении видели, как его долгушка не в урочный час прокатилась к господскому дому. Это — раз. Когда служащие навели необходимые справки, оказалось, что за Родионом Антонычем рассылка из господского дома бегала целых три раза. Вот вам — два. А это уж что-нибудь значило! После таких экстренных советов Раисы Павловны с своим секретарем всегда следовали какие-нибудь важные события. Когда служащие вкривь и вкось обсуждали все случившееся, в заводскую библиотеку, которая помещалась в здании заводууправления, прибежал Прозоров и торопливо сообщил, что на заводы едет Лаптев. Он сам не слышал об этом, но дошел до такого заключения путем чисто логических выкладок и, как мы видим, не ошибся. В библиотеке в это время сидели молодой заводский доктор Кормилицын и старик Майзель, второй заводский управитель.

— Что же тут особенного: едет — так едет! — жидким тенориком заметил доктор, поправляя свою нечесаную гриву.

— А па-азвольте узнать, Виталий Кузьмич, от кого вы это узнали? — спрашивал Майзель, отчеканивая каждое слово.

— Все будешь знать, скоро состаришься, — уклончиво ответил Прозоров, ероша свои седые кудри. — Сказал, что едет, и будет с вас.

Майзель презрительно сжал свои губы и подозрительно чмокнул углом рта. Его гладко остриженная голова, с закрученными седыми усами, и военная выправка выдавали старого военного, который постоянно выпячивал грудь и молодецкато встряхивал плечами. Красный короткий затылок и точно обрубленное лицо, с тупым и нахальным взглядом, выдавали в Майзеле кровного «русского немца», которыми кишмя кишит наше любезное отечество. В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой чеканке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к слепому подчинению живой челове-

ской массы, как сам умел сгибаться в кольцо перед сильными мира сего. К этому остается добавить только то, что Майзель никак не мог забыть тех жирных генеральских эполет, которые уже готовы были повиснуть на его широких плечах, но по одной маленькой случайности не только не повисли, но заставили Майзеля выйти в отставку и поступить на частную службу. Рядом с Майзелем, выложенным и вычищенным, как на смотр, доктор Кормилицын представлял своей длинной, нескладной и тощей фигурой жалкую противоположность. В нем как-то все было не к месту, точно платье с чужого плеча: тонкие ноги с широчайшими ступнями, длинные руки с узкой, бессильной костью, впалая чахоточная грудь, расштанная походка, зеленовато-серое лицо с длинным носом и узкими карими глазами, наконец вялые движения, где все выходило углом. Прозоров бойко и насмешливо посмотрел на своих слушателей и проговорил, обращаясь к Майзелю:

— Итак, драгоценнейший Николай Карлыч, дни наши сочтены, и воздастся коемуждо поделом его...

— Что вы хотите этим сказать?..

— Ха-ха... Ничего, ничего! Я пошутил...

— И очень глупо!..

— Нет, кроме шуток: с Лаптевым едет генерал Блинов, и нам всем достанется на орехи.

Последняя фраза целиком долетела до ушей входившего в библиотеку бухгалтера из Заозерного завода. Сгорбленный лысый старичок тускло посмотрел на беседовавших, неловко поклонился им и забился в самый дальний угол, где из-за раскрытой газеты торчало его любопытное старческое ухо, ловившее интересный беглый разговор.

Этого было достаточно, чтобы через полчаса все заводские служащие узнали интересную новость. Майзель торопливо уехал домой, чтобы из первых рук сообщить все слышанное своей Амалии Карловне, у которой — скажем в скобках — он нес очень тяжелую фронттовую службу. Тем, кто не был в этот день на службе, интересное известие обязательно развез доктор Кормилицын, причем своими бессвязными ответами любопытную половину человеческого рода привел в полное отчаяние. Через два часа новинка уже катилась по дороге в Заозерный завод и по пути была передана ехавшему навстречу кассиру из Куржака и Мельковскому заводскому надзирателю. Словом, полу-

ченое утром Раисой Павловной известие начало циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший переполох. Как это часто случается, последним узнал эту интересную новость главный управляющий Кукарских заводов Платон Васильич Горемыкин. Он с механиком дождался отливки катальных валов, когда старик дозорный, сняв шапку, почтительно осведомился, не будет ли каких особенных приказаний по случаю приезда Лантева.

— Что-нибудь да не так,— усомнился Горемыкин.

— Нет, они едут-с...— настаивал дозорный.— Вся фабрика в голос говорит.

— Вы разве ничего не слышали, Платон Васильич? — с удивлением спрашивал механик.

— Нет.

— Странно... Все решительно говорят о приезде Евгения Константиныча на заводы.

— Гм.. Нужно будет спросить у Раисы Павловны,— решил Горемыкин.— Она знает, вероятно.

Главный виновник поднявшегося переполоха, Прозоров, был очень доволен той ролью, которая ему выпала в этом деле. Пущенным наудачу слухом он удовлетворил свое собственное озлобленное чувство против человеческой глупости: пусть-де их побеснуются и поломают свои пустые головы. С другой стороны, этому философу доставляло громадное наслаждение наблюдать базар житейской суеты в его самых живых движениях, когда наверх всплывали самые горячие интересы и злобы. Подавленная тревога Майзеля, детское равнодушие доктора, суета мелкой служительской сонки — все это доставляло богатый запас пищи для озлобленного ума Прозорова и служило материалом для его ядовитых сарказмов. Побродив по заводууправлению, где в четырех отделениях работало до сотни служащих, Прозоров отправился к председателю земской управы Тетюеву, который по случаю летних вакансий жил в Кукарском заводе, где у него был свой дом.

— Слышали повесть, Авдей Никитич? — крикливо спрашивал Прозоров еще из передней небольшого вертялого господина в синих очках, который ждал его в дверях гостиной.

— Да, слышал... Только это нас не касается, Виталий Кузьмич,— отвечал председатель, протягивая свою корот-

кую руку.— Для zemства это совершенно безразлично.

— Ой ли?

— Конечно, безразлично... Хотя бы три дня шел дождь Лаптевыми, скажу словами Лютера, до zemства это не касается... Zemство должно держать высоко знамя своей независимости, оно стоит выше всего этого.

Прозоров засмеялся.

— Вы чему смеетесь?

— Да так... Скажу вам на ушко, что всю эту штуку я придумал — и только! Ха-ха!.. Пусть их поворачают мозгам...

— В таком случае, я могу вас уверить, что Лаптев действительно едет сюда. Я это знаю из самых пайдостовернейших источников...

— Вот те и раз! Значит, иногда можно соврать истинную правду.

— Вы, конечно, знаете, какую борьбу ведет zemство с заводоуправлением вот уже который год,— торопливо заговорил Тетюев.— Приезд Лаптева в этом случае имеет для нас только то значение, что мы окончательно выясним наши взаимные отношения. Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде всего необходимо понять его планы. Мы так и сделаем. Я поклялся сломить заводоуправление в его нынешнем составе и добьюсь своей цели.

— Война алой и белой розы?

— Да, около того. Я поклялся провести свою идею до конца, и не буду я, если когда-нибудь изменю этой идее.

— Враг силен, Авдей Никитич...

— Чтобы я когда-нибудь перешел на сторону Лаптева?! Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть тень чего-нибудь подобного.

Плотная, приземистая фигура Тетюева, казалось, дышала той энергией, которая слышалась в его словах. Его широкое лицо с крупными чертами и окладистой русой бородкой носило на себе интеллигентный характер, так же как и простой домашний костюм, приспособленный для кабинетной работы. Вообще Тетюев представлял собой интересный тип земского деятеля, этого homo novus ¹

¹ нового человека (лат.).

захолустной провинциальной жизни. Отец и дед Тетюева служили управителями в Кукарском заводе и прославились в темные времена крепостного права особенной жестокостью относительно рабочих; под их железной рукой стонали и гнулись в бараний рог не одни рабочие, а весь штат заводских служащих, набранных из тех же крепостных. Авдей Никитич только чуть помнил это славное время процветания своей фамилии, а самому ему уже пришлось пробивать дорогу собственным лбом и не по заводской части. Полученное им университетское образование, вместе с наследством после отца, дало ему полную возможность не только фигурировать с приличным шиком в качестве председателя Ельниковской земской управы, но еще загигать углы такой крупной силе, как кукарское заводууправление. В последнем случае одною из побудительных причин, поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое простое обстоятельство: он не мог никак примазаться к заводам, куда его неудержимо тянуло в силу семейных традиций, и теперь в качестве земского деятеля солил заводууправлению в его настоящем составе.

— А я вот «Лоэнгрин» здесь штудирую...— объяснял Тетюев, усаживая гостя на диван.— Чертовски трудная эта вагнеровская музыка.

— Ага!

— Знаете, такие оригинальные музыкальные фразы попадают, что бьешься-бьешься над ними...

— Ага! Ага, ворона!

— Да вот я вам лучше сыграю, сами увидите!

Тетюев подбежал к щегольскому роялю и бойко заиграл какую-то сцену из второго акта «Лоэнгрин». Поместившись на диване, Прозоров старался вслушаться в шумные аккорды музыки будущего; музыкальная тема была слишком растянута и расплывалась в неясных деталях. Старик предпочитал музыку прошедшего, где все было ясно и просто: хоры так хоры, мелодия так мелодия, а то извольте-ка выдержать всю пьесу до конца. Играл Тетюев порядочно и страстно любил музыку, которой отдавал все свое свободное время. В нем была артистическая жилка, которая теперь сближала этих антиподов. В сущности, Прозоров не понимал Тетюева: и умный он был человек, этот Авдей Никитич, и образование приличное получил, и хорошие слова умел говорить, и благородной энер-

гией постоянно задыхался, а все-таки, если его разобрать, так черт его знает, что это был за человек... Собственно, Прозорова отталкивала та мужицкая закваска, какая порой сказывалась в Тетюеве: неискренность, хитрость, неуловимое себе на уме, которое вырабатывалось под давлением крепостного режима целым рядом поколений. Прозорову хотелось верить в Тетюева, но эту веру постоянно подмывала какая-то холодная и фальшивая нотка.

Обстановка большого председательского дома отличалась пестрой смесью старой крепостной роскоши с требованиями нового времени. Почерневшие кресла из красного дерева с тонкими ножками и выгнутыми спинками простояли в этом доме целых полвека и теперь старчески-неприятно смотрели на новую венскую мебель, на пестрые бархатные ковры и на щегольской рояль. Старик Тетюев был крепкий человек и не допустил бы к себе в дом ничего легковесного: каждая вещь должна была отслужить минимум сто лет, чтобы добиться отставки. Но старика Тетюева не стало, и в его дом вместе с новыми легковесными людьми ворвался целый поток разной дребедени. Звуки вагнеровской оперы дополняли картину, наполняя стены, выстроенные крепостным трудом, мелодиями музыки будущего. Прозоров слушал «Лоэнгрин» и незаметно позабылся, погрузившись в воспоминания своего тревожного прошлого, где вставало столько дорогих сердцу лиц и событий.

— Ну-с, как вы находите? — спрашивал хозяин, поднимаясь из-за рояля.

— А... что?

Тетюев немного обиделся. Невнимание к его игре задело его за живое, как артиста.

— Вот что, — прибавил он. — Соловья музыкой будущего не кормят... Так? Адмиральский час на дворе, и пора закусить.

От закуски Прозоров не отказался, тем более что Тетюев любил сам хорошо закусить и выпить, с теми специально барскими приемами, какие усваиваются на официальных обедах и парадных завтраках. За бутылкой рейнвейна Прозоров разболтался, и Тетюев много и долго говорил о процветании Ельниковского земства, о народном образовании, а особенно о том, что Кукарские заводы в стройном земском концерте являются страшным диссонансом, который необходимо перевести в гармонические ком-

бинации. Развивая свою мысль, он доказывал, как дважды два четыре, что заводы должны быть обложены вчетверо больше, чем теперь, что должны быть обеспечены на счет заводовладельца все искалеченные на заводской работе, изработавшиеся и сироты, что он притянет заводовладельца по поводу профессионального образования и т. д. Прозоров, слушая все это внимательно, пил и не возражал, улыбаясь блаженной улыбкой довольного пьяницы. В заключение Тетюев не без ловкости принялся расспрашивать Прозорова о генерале Блинове, причем Прозоров не заставлял просить себя лишний раз и охотно повторил то же самое, что утром уже рассказывал Раисе Павловне.

— Так, так... — мягким грудным баритоном поддакивал Тетюев, рассматривая охмелевшего Прозорова через очки. — А я, знаете, несколько иначе думал об этом генерале Блинове...

— Да что вам дался этот генерал Блинов? — закончил Прозоров уже пьяным языком. — Блинов... хе-хе!.. это великий человек на малые дела... Да!.. Это... Да пу, черт с ним совсем! А все-таки какое странное совпадение обстоятельств: и женщина в голубых одеждах приходила утру глубокоу... Да!.. Чер-рт побери... Знает кошка, чье мясо съела. А мне плевать.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,—

декламировал старик, склоняясь на подушку дивана.

— Отдохните здесь, Виталий Кузьмич.

— И то добре... «Звезды сияют во мраке их глаз»... Недурно сказано... Чисто восточная форма сравнения, а в этом анафемском «сияют» — настоящая музыка! Хе-хе!.. Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь! фюить!..

И погибнет священная Троя,
И град кошьепосца Приама священный...

V

Отдыхать у Тетюева Прозоров, однако, не остался, а побрел домой, «под свою смоковницу», как он объяснил своим заплетавшимся языком.

— Блинов едет... Великий человек едет!.. Ха-ха...— думал вслух Прозоров, петвердой походкой приближаясь к своему жилищу.— Светило науки, финансист... Х-ха!.. Лукреция?

— Опять нализался?..— сердито встретила отца Луша, помогая ему добраться до своего кабинета.

— М-мы завтракали, Лукреция... Авдей Никитич — хороший челаэк... Он... он задаст перцеазра с горошком царице Раисе. Х-ха... А Майзель — дурак... солдафон!..

Пошатываясь на месте, Прозоров изобразил дочери падутую фигуру русского немца. В следующий момент он представил вытянутую и сутуловатую «патуру» доктора и засмеялся своим детским смехом.

— А что, Лукреция, Яшка Кормилицын все еще ухаживает за тобой? Ах, бисов сын! Ну, да ничего, дело житейское, а он парень хороший — как раз под дамское седло годится. А все-таки враг горами качает:

Мой совет: до о-обрученья
Две-ерь не отворя-ай!
Две-ерь не от-воо-ря-ай!..—

хрипло пропел Прозоров арию Мефистофеля.

— Ты слышал, папа, что сюда едет Лаптев? — перебила Луша пьяную болтовню старика.

— Слышал... Его тащит сюда на буксире генерал Блинов... Царица Раиса нарочно прибежала ко мне утром выведать кое-что о Блинове. Уж я ей врал-врал... Потом Тетюев тоже стороной выпытывал, и тому врал сторицей. Вот, Лукреция, поучайся житейской философии: когда-то Блинов... Ну, да что об этом говорить: плевать!.. Наше время другое было: идеалисты были, эстетика... На хороших словах помешались... Вам это даже слушать скучно, а мы обливались кровью над разными красивыми благоглупостями. Посвящали себя служению истине, добру и красоте, а вместо того вышло — распивочно и навынос... Ха-а!.. Лукреция:

На щеках, как в жаркое лето,
Румянец, пылая, горит...
А сердце морозом одето,
И зимний там холод стоит.

— Будет, папа, ложись и выпись сначала. Твои стихи давно и всем надоели...

— Нет, стой, это Гейне стихи. Шалишь... Ты слушай:

Верь, милая! время настанет,
Время придет,
И солнце в сердечко заглянет,
И щечки морозом зальет!..

Гейне... О! это была такая шельма, Лукреция... это... это... ну, в ваше архиреальное время никто не напишет таких стихов! — болтал старик, обращаясь в пространство.

Девушка прошла в свою комнату, которая выходила в сад, села к окну и заплакала. Болтовня пьяного отца переполнила чашу. Разговоры Раисы Павловны привели Лушу в самое возбужденное состояние, и она ушла из господского дома в каком-то тумане, унося в душе жгучую жажду иной жизни, о какой могла только мечтать. Действительность слишком мало отвечала этим мечтам; напротив, она шла вразрез с теми идеальными постройками, какие сложились в голове семнадцатилетней девушки. Жажда богатства, наслаждений, веселья — вот что теперь сладко кружило голову Луши, а тут полугнилой флигель, нищенская обстановка, позорная бедность в каждом углу, полусумасшедший пьяница-отец и какой-то идиот-поклонник, в лице доктора Кормилицына. Тут было от чего заплакать... Луша теперь ненавидела даже воздух, которым дышала: он, казалось ей, тоже был насыщен той бедностью, какая обошла флигелек Прозорова со всех сторон, пряталась в каждой складке более чем скромных платьев Луши, вместе с пылью покрывала полинялые цветы ее летней соломенной шляпы, выглядывала в отверстия проносившихся прюнелевых ботинок и сквозила в каждую щель, в каждое отверстие.

Стоило ли жить так, как она жила? — думала девушка. Это какое-то прозябание, хуже — медленное разложение, как гниет где-нибудь в сыром углу плесень. И в то же время Раиса Павловна наслаждается всеми благами жизни, царствует в полном смысле этого слова. Кораллы, которые Раиса Павловна утром предлагала Луше, еще раз подняли в ней всю желчь; молодая гордость заколотила у нее в душе. Разве она нищая, чтобы принимать подарки от Раисы Павловны? Разве ей нужны эти безделушки? Нет, она задыхалась под наплывом не таких желаний: уж если роскошь — так настоящая роскошь, а не

эти лохмотья роскоши, которые хуже ее бедности. В Луше теперь с страшной силой заговорил тот разлагающий элемент, который шаг за шагом незаметно привила к ней Раиса Павловна.

«А тут еще Яшка Кормилицыни... — со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по комнате из угла в угол. — Вот это было бы мило: madame Кормилицына, Гликерия Витальевна Кормилицына... Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть... Нужно быть идиоткой, чтобы слушать этого долговолосого дурня...»

Подойдя к зеркалу, Луша невольюно рассмеялась своей патетической реплике. На нее из зеркала с сдвинутыми бровями гневно смотрело такое красивое, свежее лицо, от недавних слез сделавшееся еще краше, как трава после весеннего дождя. Луша улыбнулась себе в зеркало и капризно топнула ногой в дырявой ботинке: такая редкая типичная красота требовала слишком изящной и дорогой оправы.

Чтобы понять странные мысли Луши, мы должны обратиться к самому Прозорову.

Это был замечательный человек в том отношении, что принадлежал к совершенно особенному типу, который, вероятно, встречается только на Руси: Прозорова заело красное словцо... С блестящими способностями, с счастливой наружностью в молодые годы, с университетским образованием, он кончил тем, что доживал свои дни в страшной глуши, на конеечном жалованье. Из богатой, но разорившейся помещичьей семьи по происхождению, Прозоров унаследовал привычки и замашки широкой русской натуры. Еще ребенком он поражал учителей своим светлым, бойким умом; в университете около него группировался целый кружок молодежи; первые житейские дебюты обещали ему блестящую будущность. «Прозоров далеко пойдет» — было общим мнением учителей и товарищей. Внимание женщин сопровождало каждый шаг молодого счастливецца, который был так умен, находчив, остер и с таким редким талантом читал лучших поэтов. Прозоров готовился к университетской кафедре, где ему пророчили судьбу второго Грановского. Только один старичок профессор, к которому молодой магистрант иногда обращался за разными советами по поводу своей магистерской диссертации, в минуту откровенности прямо высказал Прозорову: «Эх, Виталий Кузьмич, Виталий Кузьмич... Хоро-

ший вы человек, и мне вас жаль!» — «Что так?» — «Да так... Ничего из вас не выйдет, Виталий Кузьмич». Этот профессор принадлежал к университетским замухрышкам, которые всю жизнь тянут самую неблагоприятную лямку: работают за десятерых, не пользуются благами жизни и кончают тем, что оставляют после себя несколько томов исследования о каком-нибудь греческом придыхании и голодную семью. Товарищи-профессора относятся к таким замухрышкам с сдержанным чувством ученого презрения, студенты свысока, — и вдруг именно такой замухрышка делает Виталию Прозорову, будущему Грановскому, такое обидное предсказание. В первый момент вся кровь бросилась в голову Прозорову, но он сдержал себя и с принужденной улыбкой спросил: «На каком же основании вы заживо меня хороните, Н. Н.?» — «Да как вам сказать... Одним словом, вы принадлежите к людям, про которых говорят, что в них бочка меду, да ложка дегтя».

Вся дальнейшая карьера Прозорова служила точно оправданием этого глупого пророчества. Началось с того, что Прозоров для первого раза «разошелся» с университетским начальством из-за самого ничтожного повода: он за глаза сострил над профессором, под руководством которого работал. Профессор смолчал, но вступились товарищи и провалили магистерскую диссертацию будущего Грановского по всем правилам искусства. От такой неожиданности Прозоров сначала опешил, а потом решил идти напролом, то есть взять магистра с бою, по рецепту Тамерлана, который учился своим военным успехам у «мравия», сорок раз втаскивавшего зерно в гору и сорок раз свалившегося с ним, но все-таки втащившего его в сорок первый. Но, как на грех, в это время ему подвернулась одна девушка из хорошего семейства, которая отнеслась с большим сочувствием к его ученому горю. В отношениях с женщинами Прозоров держал себя очень свободно, а тут его точно враг попутал: в одно прекрасное утро он женился на сочувствовавшей ему девушке, точно для того только, чтобы через несколько дней сделать очень неприятное открытие, — именно, что он сделал величайшую и бесповоротную глупость... Он даже не любил своей жены, как припомнил после, а просто женился на ней от неожиданного огорчения.

К счастью Прозорова, жена ему попалась умная и с твердым характером. Она очень много поддерживала

мужа, но все-таки не могла его дотянуть до профессорской кафедры. Как все бесхарактерные люди, Прозоров во всех своих неудачах стал обвинять жену, которая мешала ему работать и постепенно низвела его с его ученой высоты до собственного среднего уровня. В течение десяти лет Прозорову привелось переменить больше десятка служебных мест. Сначала он обыкновенно легко осваивался с своим новым положением и новыми товарищами, а потом неожиданно возникало какое-нибудь препятствие, и Прозоров, в счастливом случае, когда его не выгоняли со службы, сам убирался подобру-поздорову. Таким образом, Прозоров успел послужить учителем в трех мужских гимназиях и в двух женских, потом был чиновником министерства финансов, из министерства финансов попал в один из женских институтов и т. д. И везде Прозоров был прежде всего сам виноват, то есть непременно что-нибудь сболтнет лишнее, посмеется над начальством, устроит каверзу. В конце концов он решил, что служить на коронной службе не стоит и, не долго думая, перешел на частную. Тут уж ему пришлось совсем плохо, тем более что никакой подходящей профессии он не мог себе подыскать и бестолково толкался между крупными промышленниками. В это тяжелое время он получил свою дурную привычку утешаться в холостой компании, где сначала пили шампанское, а потом спускались до сивухи.

Жена Прозорова скоро разглядела своего мужа и мирилась с своей мудреной долей только ради детей. Мужа она уважала как пассивно-честного человека, но в его уме разочаровалась окончательно. Так они жили год за годом с скрытым недовольством друг против друга, связанные привычкой и детьми. Вероятно, они так дотянули бы до естественной развязки, какая необходимо наступает для всякого, но, к несчастью их обоих, выпал новый случай, который перевернул все вверх дном.

В один из самых тяжелых моментов своего мудреного существования, когда Прозоров целых полгода оставался без всяких средств и чуть не сморил семью голодом, ему предложили урок в очень фешенебельном аристократическом семействе, — именно: предложили преподавать русскую словесность скучавшей малокровной барышне, типичной представительнице вырождавшейся аристократической семьи. Здесь Прозоров развернулся и по обыкновению показал товар лицом: его приличные манеры, ост-

роты, находчивость и декламация открыли ему место своего человека и почти друга дома. Аристократическая обстановка богатого барского дома совсем оцепянила увлекающуюся натуру Прозорова, тем более что для сравнения с ней вставало собственное полунищенское существование. Сделавшись почти своим человеком в доме, где он был совсем на особых правах, Прозоров позабыл, что он семейный человек и не в шутку увлекся одной барышней, которая жила у его патронов воспитанницей. Это и была Раиса Павловна, или, как ее там называли, Раечка. Стихи и самая непринужденная французская болтовня настолько сблизили молодых людей, что белокурая Раечка первая открыла чувства, какие питала к Прозорову, и не остановилась перед их реальным осуществлением даже тогда, когда узнала, что Прозоров не свободный человек. Умная, пылкая, с пикантным оттенком гривуазности¹, она очертя голову отдалась Прозорову и быстро забрала его в свои бархатные руки. Эти интимные отношения, конечно, открылись; Раечку кое-как пристроили за инженера Горемыкина, а Прозорову пришлось вернуться к своим пенатам.

Как это нередко случается, жена Прозорова узнала последняя о разыгравшемся романе. Эта женщина слишком много перенесла в жизни, чтобы простить мужу ничем не заслуженное оскорбление, и разошлась с ним. Прозоров и здесь сыграл самую жалкую, бесхарактерную роль: валялся в ногах, плакал, рвал на себе волосы, вымаливая прощение, и, вероятно, добился бы обидного для всякого другого мужчины снисхождения, если бы Раиса Павловна забыла его. Но эта женщина хорошо помнила свою первую любовь и не выпускала Прозорова из вида. Явившись к Прозоровой, она сама объяснила ей все и устроила окончательный разрыв между супругами. Расставшись с мужем, жена Прозорова несколько лет перебивалась в столице уроками и кончила свою незадавшуюся жизнь скоротечной чахоткой. Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения ее памяти исправиться, но не мог никак освободиться от влияния Раисы Павловны, которая не выпускала его из своих рук. Это были самые странные отношения, какие только можно себе представить: Раиса Павловна ненави-

¹ игривости, нескромности (от фр. grivois).

дела Прозорова и всюду тащила его за собой, заставляя опускаться все ниже и ниже. Неудачный декламатор очутился в положении самого тяжелого рабства, которое он не в силах был разорвать и которое он всюду таскал за собой, как каторжник таскает прикованное к ноге ядро. Когда Горемыкины поехали на Урал, Прозорову было приказано ехать туда же, где для него специально было создано место инспектора заводских школ. Раиса Павловна не умела прощать и заживо похоронила свою первую любовь в гнилом флигельке кукарского господского дома.

У Прозорова после жены осталась маленькая дочь, Луша, которая вместе с отцом переживала все невзгоды его цыганского существования. Это был восприимчивый, впечатлительный ребенок, к своему несчастью унаследовавший от отца его счастливую наружность и известную дозу того дегтя, каким был испорчен отцовский мед. Прозоров, песмотря на все свои недостатки, отлично понимал сложный характер подраставшей девочки и решил переломить природу воспитанием. Свою педагогическую деятельность он начал с того, что переодел девочку мальчиком, точно в женском костюме таились все напасти и злобы, какими была отравлена жизнь Прозорова. Затем, с четырех лет он принялся проделывать на Луше все входившие в моду педагогические новинки: читать Луша училась по звуковому методу, играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци и т. д. Недостаток прозоровского воспитания заключался в том, что он не мог выдержать характера в своих занятиях: то надсаживался и лез из кожи, то забывал о дочери на целый месяц. Девочка, пока была маленькой, мирилась с своим мужским костюмом, но с Фребелем и Песталоцци повела самую упорную, партизанскую войну, какую умеют вести только дети. А когда она подросла, Прозоров, к своему ужасу, убедился в той печальной истине, что его Лукреция увлеклась бантиками и ленточками гораздо больше тех девочек, которые всегда ходили в женских платьях.

Интересно проследить взаимные отношения между Лушей и Раисой Павловной. В первый момент, когда Раиса Павловна увидела маленькую девочку-сиротку, она почувствовала к ней почти органическую ненависть. Ребенок искал матери и с детской наивностью несколько раз ласкался к единственной женщине, которая напоми-

нала ему мать. Но Раиса Павловна грубо и почти цинически отталкивала от себя эти доверчиво тянувшиеся к ней детские руки: она ненавидела эту девочку, которая для нее являлась всегда живым укором. Луша, как многие другие заброшенные дети, росла и развивалась наперекор всяким невзгодам своего детского существования и к десяти годам совсем выровнялась, превратившись в красивого и цветущего ребенка. Самая красота подраставшей Луши бесила Раису Павловну, и она с удовольствием по целым часам дразнила и мучила беззащитную девочку, которая слишком рано для своего возраста привыкла скрывать все свои душевные движения.

— Какая ты, Лукерка, упрямая, — удивлялась иногда Раиса Павловна. — Настоящая дикарка!

Девочка отмалчивалась в счастливом случае или убегала от своей мучительницы со слезами на глазах. Именно эти слезы и нужны были Раисе Павловне: они точно успокаивали в ней того беса, который мучил ее. Каждая ленточка, каждый бантик, каждое грязное пятно, не говоря уже о мужском костюме Луши, — все это доставляло Раисе Павловне обильный материал для самых тонких насмешек и сарказмов. Прозоров часто бывал свидетелем этой травли и относился к ней с своей обычной пассивностью.

Луше было двенадцать лет, когда в ее жизни произошел крупный переворот: раньше она бежала от преследований Раисы Павловны, теперь должна была бежать от ее ласк. Это случилось как-то вдруг. Раз летом, когда Раиса Павловна делала свой обычный предобеденный моцион по саду, она случайно забрела в самый глухой конец сада, куда редко заходила. На повороте одной аллеи она услышала чей-то шепот и сдержанный смех. Это, конечно, ее заинтересовало, а в следующий момент Раиса Павловна уже подкрадывалась к тому таинственному зеленому уголку, где ожидала вспугнуть влюбленную парочку. Действительно, разговаривали два голоса: один — детский, другой — женский. Раздвинув осторожно последний куст смородины, Раиса Павловна увидела такую картину: в самом углу сада, у каменной небеленой стены, прямо на земле сидела Луша в своем запачканном ситцевом платье и стоптанных башмаках; перед ней на разложенных в ряд кирпичиках сидело несколько скверных кукол. Девочка разговаривала за всех разом, подавала реплики и

впересыпку вставляла свои собственные замечания. Она ухитрилась даже сохранять интонацию всех действующих лиц. На сцене фигурировало четверо: папа, мама, Раиса Павловна и сама Луша.

— Я не люблю папу, потому что он боится Раисы Павловны,— говорила кукла Луша.— Когда я вырасту большая, я откушу вам нос, Раиса Павловна! У меня будут хорошие платья, много, много лент и такой же браслет, как у Раисы Павловны. Какая она злая... папа зовет ее старой крымзой... Ххи-ххи-и!.. Ну, старая крымза, сиди смирно, пока я тебе не откусила нос. И коса у тебя фальшивая, и зубы фальшивые, и глаза подведены. Ах! как я тебя не люблю! А когда вырасту большая, поеду к маме... Мама ведь добрая, не такая, как папа. Мамочка, я приеду к тебе в гости... Ты обрадуешься мне... да?.. Не будешь смеяться надо мной, как Раиса Павловна? Славная ты моя, голубушка... Мы тогда прогоним Раису Павловну и будем жить вместе. Я выйду замуж за офицера с черными усами.

Вся эта детская беззаботная болтовня, как в фокусе, сосредоточивалась в одном магическом слове: мама... От него уже лучами расходились во все стороны детские грезы, воспоминания, радости и огорчения. В этом лепете звучало столько любви, чистой и бескорыстной, какая может жить только в чистом детском сердце, еще не омраченном ни одним дурным желанием больших людей. Так блестит алмазной яркой искрой капля ночной росы где-нибудь в густой траве, пока не сольется с другими такими же каплями и не попадет в ближайший мутный ручеек...

Раиса Павловна не помнила, сколько прошло времени, пока она слушала маленькую глупую девочку. От этого детского лепета у ней точно что оборвалось и растаяло в груди. Домой она вернулась бледная и взволнованная, с красными глазами. Целую ночь затем ей снился тот зеленый уголок, в котором притаился целый детский мир с своей великой любовью. «Злая... ведьма...» — стояли у ней в ушах роковые слова, и во сне она чувствовала, как все лицо у ней горело огнем и в глазах накалились слезы. Она хотела обнять эту маленькую девочку, но та ловко скрывалась и убегала. Этот сон повторился, и Раиса Павловна не могла избавиться от него наяву. Что-то такое новое, хорошее, еще не испытанное проснулось у ней в груди, не в душе, а именно — в груди, где теперь встава-

ла с страшной силой жгучая потребность не того, что зовут любовью, а более сильное и могучее чувство... Оно подавляло ее своей необъятностью, все остальное казалось таким жалким и ничтожным. Под наплывом этих ощущений Раиса Павловна сделала первый шаг к сближению с Лушей и сразу получила молчаливый, но глухой отпор. Луша с светлым инстинктом детства отстаивала неприкосновенность своего крошечного мирка, может быть слишком рано выкроившегося из пестрой смеси самых разнообразных впечатлений. Эта маленькая девочка каким-то чутьем разгадала истинные отношения своего отца к Раисе Павловне и почувствовала к ней непреодолимое отвращение, хотя в то же время, по странному психологическому процессу, в присутствии этой женщины каждый раз испытывала какое-то болезненное влечение к ней.

Если бы маленькая девочка с первого раза сдалась на ласки Раисы Павловны, тогда, по всей вероятности, это увлечение так же скоро прошло бы, как оно родилось. Но упорство Луши и ее недоверчивость только сильнее разжигали Раису Павловну: она, перед которой ползали и заискивали сотни людей, она бессильна перед какой-нибудь девчонкой... Самолюбивая до крайности, она готова была возненавидеть свою фаворитку, если бы это было в ее воле: Раиса Павловна, не обманывая себя, со страхом видела, как она в Луше жаждет долюбить то, что потеряла когда-то в ее отце, как переживает с ней свою вторую весну. Это чувство являлось результатом очень сложной душевной комбинации, составные нити которой проходили через целую жизнь.

Вот молодость Раисы Павловны, молодость в чужом богатом доме, где она испытала все прелести существования из милости. А между тем она была молода, хороша собой, умна, энергична. Случай с Прозоровым выкинул бы ее прямо на улицу, если бы не подвернулся Горемыкин, за которого она вышла замуж. Мужа она никогда не любила, а смотрела на него только как на мужа, то есть как на печальную необходимость, без которой, к сожалению, обойтись было нельзя. Платон Васильич был честный и хороший человек, но он слишком был занят своей специальностью, которой посвящал почти все свое свободное время. По всей вероятности, ему, как многим другим труженикам, никогда не привелось бы играть никакой выдающейся роли. Таких «черноделов» много во всяких

специальностях. Но Раиса Павловна не могла помириться с такой скромной долей и собственными силами потащила мужа в гору. Это была трудная работа, сопровождавшаяся неудачами и разочарованиями на каждом шагу. Стараясь при помощи разных протекций и специально женских интриг составить карьеру мужу, Раиса Павловна случайно познакомилась с Прейном, который сразу увлекся белокурой красавицей, обладавшей тем счастливым «колоритным темпераментом», какой так ценится всеми пресыщенными людьми. О любви тут, конечно, не могло быть речи, но Раиса Павловна была молода, полна сил и переживала опасный душевный момент, когда настоящее было неизвестно, а будущее темно. Что происходило и произошло ли что-нибудь серьезное между ними — сказать трудно, но это знакомство совпало как раз с эмансипацией, и Горемыкин получил место главного управляющего Кукарских заводов. Много прошло времени с тех пор. Раиса Павловна успела утратить одно за другим все свои женские достоинства, оставшись при одном колоритном темпераменте и беспокойном, озлобленном уме, который вечно чего-то искал и не находил удовлетворения. Полнота окончательно погубила и то последнее, что сохраняется красивыми женщинами от счастливой молодой поры. Но Прейн, несмотря на самые очевидные доказательства этих геологических переворотов, продолжал сохранять прежние дружеские отношения к Раисе Павловне, хотя успел за этот длинный период времени подарить своими симпатиями десятки других красивых женщин.

— Все эти мужчины, все до одного — подлецы! — таков был общий знаменатель, к которому пришла Раиса Павловна.

В Луше, таким образом, для Раисы Павловны сосредоточивались и подавленная жажда неудовлетворенного чувства и чисто материнские отношения, каких она совсем не испытала, потому что не имела детей. Когда прямая атака не удалась, Раиса Павловна пошла к своей цели обходным движением: она принялась исподволь воспитывать эту девочку, платившую ей самой черной неблагодарностью за все хлопоты. Капля за каплей она прививала девочке свой мизантропический взгляд на жизнь и людей, стараясь этим путем застраховать ее от всяких опасностей; в каждом деле она старалась показать прежде всего его черную сторону, а в людях — их недостатки и пороки.

Такая политика, конечно, принесла самые быстрые плоды: Луша бессознательно копировала во всем свою воспитательницу и удивляла отца своими резкими выходками и недевической пронизательностью. Только в одном ученица и воспитательница расходились диаметрально: это было непреодолимое тяготение Луши к богатству. Но и этот недостаток в глазах Райсы Павловны вполне выкупался тем, что девушка была далеко от сорочьей жадности обыкновенных людешек. Ее трудно было купить теми блестящими безделушками, за которые продаются женщины. Сама Райса Павловна любила не богатство, а власть.

VI

Все время, пока Родион Антоныч возвращался в своей зеленой тележке из господского дома домой, он вздыхал, делал кислые гримасы и морщился. Он был так удручен волновавшими его мыслями, что даже не замечал попадавшихся навстречу знакомых служащих и снимавших шляпы рабочих. В таком прескверном настроении Родион Антоныч миновал главную заводскую площадь, на которую выходило своим фасадом «Главное кукарское заводоуправление», спустился под гору, где весело бурлила бойкая река Кукарка, и затем, обогнув красную кирпичную стену заводских фабрик, повернул к пруду, в широкую зеленую улицу.

«Уж Прохор Сазоныч недаром помянул про меня в письме к Райсе Павловне,— с горечью думал Родион Антоныч, когда тележка мягко подкатилась к большому двухэтажному каменному дому, упиравшемуся тенистым садом прямо в пруд.— Ох, недаром... «Она настроена в особенности против Сахарова»,— повторил про себя Родион Антоныч слова письма.— Вот не было печали, а тут па, расхлебывай... И чего ей понадобилось от меня? Ох-хо-хо!.. Да и какая там особа... Шлюха какая-нибудь примазалась к этому генералу Блинову и теперь всем и вертит. Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...»

Старичок дворник торопливо распахнул перед зеленой тележкой крепкие ворота, и она мирно подкатилась к раскрашенному деревянному подъезду, откуда как угорелый выскочил великолепный белый сеттер с желтыми подпалинами. Собака с радостным визгом металась около

хозяйина и успела выбить у него изо рта сигару, пока он грузно вылезал из своей тележки.

— Ох, не до тебя, Зарез... отстань! — стонал Родион Антоныч, хозяйским всевидящим оком оглядывая усыпанный желтым песочком и чисто подметенный широкий двор, конюшни, где торчала лошадиная голова, и ряд хозяйственных пристроек.

— Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешанинки,— проговорил он, обращаясь к дворнику.— Да тележку-то смазать надо, а то заднее левое колесо все поскрипывает... Ох, ничего вы не смотрите, погляжу я, все скажи да все укажи!.. Курочкам-то, курочкам-то задали ли корму даве, как я уехал?

— Обыкновенно, Родион Антоныч, все как следует,— каким-то убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая.— Курочки любят овес-от...

— Любят, любят... И ты вот тоже любишь его, Архипушка. Любишь ведь? Половину курочкам, а половину себе... Ох, за всеми за вами глаз да глаз нужен!

Архипушка только переминался на одном месте и почесывал в затылке, пока Родион Антоныч не прикрикнул на него:

— Ну, чего ты статуем-то торчишь передо мною? Вон и кучер, глядя на тебя, тоже вытаращил глаза. Откладывайте лошадку да к столбу и привяжите. Пусть выстоится!

После этого нравоучения Родион Антоныч поднялся к себе наверх, в кабинет, бережно снял камлотовую крылатку, повесил ее в угол на гвоздик и посмотрел кругом взглядом человека, который что-то потерял и даже не может припомнить хорошенько, что именно. «Ах, да... едет Лаптев на заводы», — мелькнуло в голове Родиона Антоновича, когда он принялся раскуривать потухшую сигару. Эта мысль завертелась опять в его голове, как жестяное колесо в вентиляторе. Собственно Лаптева Родион Антоныч, нисколько не боялся и даже был рад его видеть, а вот эта особа, которая едет с генералом Блиновым... О, чтоб пусто было всем этим бабам!.. Родион Антоныч с тоской посмотрел на расписной потолок своего кабинета, на расписанные трафаретом стены, на шелковые оконные драпировки, на картину заводского пруда и облепивших его домиков, которая точно была нарочно вставлена в раму окна, и у него еще тяжелее засосало под ложечкой. На стене, у которой стояла удобная кушетка, было

развешано несколько хороших охотничьих ружей: пара бельгийских двустволок, шведский штуцер, тульская дробовка и даже «американка», то есть американский штуцер Пибоди и Мартини. Этот арсенал был красиво гарнирован различной охотничьей сбруей — ягдташами, патронницами, пороховницами, кожаными мешками с дробью, сумками и сумочками — вообще всякой охотничьей дрянью, назначение которой известно только записным охотникам.

«А я еще обещал на неделе ехать с Ильей Сергеечем за дупелями, — думал Родион Антоныч, взглянув на свои ружья, — вот тебе и дупеля... Ох-хо-хо!..»

По обстановке кабинета трудно было определить профессию его хозяина. О его секретарской деятельности говорил только стеклянный шкаф, плотно набитый какими-то канцелярскими делами, да несколько томиков разных законов, сложенных на письменном столе в пирамиду. Стеклянная старинная чернильница с гусиными перьями — Родин Антоныч не признавал стальных — говорила о той патриархальности, когда добрые люди всякой писаной бумаги, если только она не относилась к чему-нибудь божественному, боялись, как огня, и боялись не без основания, потому что из таких чернильниц много вылилось всяких зол и напастей. Чернильница Родиона Антоныча тоже могла бы много-много рассказать о своей деятельности. Сначала она стояла в заводской конторе, куда попал Родион Антоныч крепостным писцом на три с полтиной жалованья; потом Родион Антоныч присвоил ее себе и перенес на край завода, в бедную каморку, сырую и вонючую. Дальше эта чернильница видела целый ряд метаморфоз, пока не попала окончательно в расписной кабинет, где все дышало настоящим тугим довольством, как умеют жить только крепкие русские люди. В крепостное время из этой чернильницы выходило много головомоек управителям и служащим, но тогда она не имела самостоятельного значения, а только служила орудием неистовавшего старика Тетюева. Настоящее дело для нее наступило с эпохой освобождения, когда на месте Тетюева водворилась Раиса Павловна, и Родион Антоныч обязан был представлять массу докладных записок, отдельных мнений, проектов, соображений и планов.

Вот из этой же чернильницы велись подкопы под Тетюева-сына, когда он, в пику кукарскому заводууправи-

телю, занял пост председателя земской управы, чтобы до-
нимать заводы разными новыми статьями земских пагогов.
Да, эта чернильница много испортила крови Авдею Ни-
китичу, а теперь Авдей Никитич всем животы подвел:
выписал какого-то генерала Блинова да еще и с «особой»...
«И ведь прямо, бестия этакая, на меня указал, — раздумы-
вал Родион Антоныч. — А то откуда этой шлюхе знать о
каком-то Сахарове... Конечно, это Авдей Никитич всю
механику подвел. Его работа...»

«И ведь как все вдруг случилось: трах — и всему ко-
нец. Уж, кажется, Раиса ли Павловна не крепко сидит
на своем месте, и вот нашлась же и на нее гроза». Са-
харов крепко задумался. Целую жизнь он прожил в ка-
честве маленького человека за чужой спиной и вдруг по-
чувствовал, как стена, на которую он упирался столько
лет, пачинает пошатываться и того гляди рухнет да еще и
его задавит. А чем он виноват? Он маленький человек и
целую жизнь только и знал, что творил волю пославшего.
Конечно, крепко солил Тетюеву и не раз ему подставлял
ножку, но ведь это он делал не для собственного удоволь-
ствия, а потому, что так хотела Раиса Павловна. Ведь
Тетюев...

— Зарежет вас с Раисой Павловной этот Тетюев! —
шептал какой-то предательский голос.

Как для всех слишком практических людей, для Са-
харова его настоящее неопределенное положение было
хуже всего: уж лучше бы знать, что все пропало, чем эта
проклятая неизвестность. Ну, Тетюев так Тетюев... Чем
он хуже Раисы Павловны? Нужно же и ему пожить, не
век мыкаться председателем управы. И Тетюев не пропадет,
и Раиса Павловна тоже, а вот он, Родион Антоныч, чем
виноват, что им стало тесно жить на белом свете! Припоми-
ная свои подходы под Тетюева, Родион Антоныч теперь от
чистого сердца скорбел о том, что не принял заблаговре-
менно во внимание переменчивости человеческого сча-
стья... И как было не подумать: вчера Раиса Павловна,
сегодня Раиса Павловна, все это хорошо! — вдруг после-
завтра Авдей Никитич Тетюев. «Ох, не ладно! — застонал
про себя Родион Антоныч. — Сморит он, если крылья от-
растут. В батюшку, видно, пошел, хоть и не с того конца.
А кто бы мог подумать? И Раиса Павловна тоже говорила:
«Тетюев — болтун, Тетюев — недоносок...» Ох, Раиса Пав-
ловна, Раиса Павловна!»

Целый день Родиона Антоныча был испорчен: везде и все было неладно, все не так, как раньше. Кофе был пережарен, сливки пригорели; за обедом говядину подали пересушенную, даже сигара, и та сегодня как-то немного воняла, хотя Родион Антоныч постоянно курил сигары по шести рублей сотня.

— Да что ты на всех сегодня кидаешься, точно угорел! — заметила наконец Родиону Антонычу жена, когда он своему любимцу Зарезу дал здорового пинка.

— Я-то не угорел... гм... — опомнился Родион Антоныч, начиная гладить напрасно обиженную собаку. — Вот как бы мы все не угорели, матушка. Тетюев-то...

— Что Тетюев?

— Ах, отстань. Не твоего бабьего ума дело...

Мысль о Тетюеве и генерале Блинове просто давила Родиона Антоныча, и он напрасно бегал от нее по своему расписанному дому. Везде было хорошо, уютно, светло, но от этого Родиону Антонычу делалось еще тяжелее, точно пред ним живьем вставала та темнота, из которой возникало настоящее великолепие и довольство. Да и было от чего застонать: место под дом Родиону Антонычу подарил один подрядчик, которому он устроил деловое свидание с Раисой Павловной. Давно приглядывался к этому местечку Родион Антоныч — ах, хорошее было местечко: с садом у самого пруда! — а тут сам бог и нанес подрядчика; камень и кирпич поставил при случае другой подрядчик, когда пристраивали флигель к господскому дому. И подрядчик не в накладе остался, да и Родион Антоныч даром получил материал; железо на крышу, скобки да гвоздики были припасены еще заранее, когда Родион Антоныч был еще только магазинером, — из остатков и разной заводской «ветхости»; лес на службы и всякое прочее обзаведение привезли сами лесообъездчики тоже ни за грош, потому что Родион Антоныч, несмотря на свою официальную слепоту, постоянно ездил с Майзелем за дупелями. Дом клали из даровых кирпичей, штукатурили, крыли крышей, красили, украшали — все это делалось при случае разными нужными людьми, которые сами после приходили благодарить Родиона Антоныча и величали его в глаза и за глаза благодетелем. А разве кого Родион Антоныч притеснил, обидел? Все сами делали... Еще Родион Антоныч не успел подумать, а нужный человек уж говорит: «Родион Антоныч, вам бы крышку-то

малахитцом покрасить... Оно бы в лучшем виде, потому как там течь и всякое прочее!» Глядишь, крыша и выкрашена даром, да еще нужный же человек и благодарит, что ему позволили испытать такое удовольствие. Все делалось как-то само собой — каждый гвоздь сам собой лез в стену, песочек, глинка, известочка и прочая строительная благодать тоже сама собой тащилась с разных сторон к дому, — и вдруг все это пачнет расползаться в разные стороны — тоже само собой. Родион Антоныч живо видел все каверзы и проделки, при которых созидал свое настоящее; он считал их давно похороненными и забытыми, и вдруг какая-нибудь пройдоха примется раскапывать всю подноготную! При одной мысли о такой возможности Родиона Антоныча прошибал холодный пот, хотя в душе он считал себя бессребреником, что выводилось, впрочем, сравнительно: другие-то разве так рвали, да сходило с рук! Хотя бывали примеры и другого рода. Недалеко ходить, взять хоть того же старика Тетюева: уж у него-то был не дом — чаша полная, — а что осталось? — так, пустяки разные: степы да мебелишка сборная. Разве Авдей Никитич поправит... Ох, этот Авдей Никитич! Из каждой щели теперь смотрел на Родиона Антоныча этот страшный призрак, заставляя его вздрагивать.

— Что же, я ограбил кого? украл? — спрашивал он самого себя и нигде не находил обвиняющих ответов. — Если бы украсть — разве я стал бы руки марать о такие пустяки?... Уж украсть так украсть, а то... Ах ты, господи, господи!.. Пóтом да кровью все наживал, а теперь вот под грозу попал.

Что ни делал Родион Антоныч, он никак не мог успокоиться. Даже в курятнике, куда он зашел по привычке, все было не по-старому: все эти кохинхинки, куропаточные, «галапки», бойцовые сегодня точно стоворились вывести его из терпения. Драка, беспорядок, отчаянное кудаханье. В этом птичьем гаме Родиону Антонычу все слышались роковые звуки: «Тетюев — Тетюев — Тетюев — Тетюев... Блинов — Блинов — Блинов — Блинов»... Точно в самое ухо забрался какой-то безголовый дьячок и долбит поминанье за поминаньем, как в родительскую субботу. Великолепный брахмапутровый петух, гордость и сладость Родиона Антоныча, выглядел сегодня совсем плохо и только глупо моргал глазами, точно его оглушили. «Уж не окормил ли его кто-нибудь солью?» — подумал

Родион Антоныч, но сейчас же спохватился и, махнув рукой, фатально проговорил:

— Все к одному пошло...

Даже ночью, когда Родион Антоныч лежал на одной постели со своей женой, он едва забылся тревожным тяжелым сном, как сейчас же увидел самый глупейший сон, какой только может присниться человеку. Именно, видит Родион Антоныч, что он не Родион Антоныч, а просто... дупель. Как есть, настоящий дупель: нос вытянулся, ноги голенастые, все тело обросло перышками пестренькими. Видит Родион Антоныч, что ходит он по болоту и копает носом вязкую тепловатую тину, и так ему хорошо: в воздухе парит, над ним густая осока колышется, всякая болотная мошка гудит-гудит... И вдруг, его собственный Зарез шасть в это самое болото и давай нюхать. Да ведь как взялся-то, разбойник! картину с него пиши! Вот ближе, ближе... На след напал, вот уж слышно, как он обнюхивает кочки и бултыхает лапами по воде. Дупель припал за кочку и даже закрыл глаза от страху... Ближе, ближе... Собака остановилась над ним и сделала молодецкую стойку! Родион Антоныч хочет взлететь, но никак не может подняться, открывает со страху глаза и вскрикивает: вместо Зареца над ним стоит та особа, о которой писал Загнеткин, а в сторонке покатывается со смеху Тетюев.

Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, судорожно крестил свое толстое, заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на бок.

VII

Округ Кукарских заводов занимал собой территорию в пятьсот тысяч десятин, что равнялось целому германскому княжеству или даже маленькому европейскому королевству. На этом громадном пространстве было разбросано семь заводов: Логовой, Исток, Заозерный, Мельковский, Баламутский, Куржак и Кукарский. Центр заводской тяжести распределялся по заводам, конечно, не одинаково. Главным заводом в административном отношении считался Кукарский, раз — потому, что это был самый старейший и самый большой завод, во-вторых, потому, что он занимал центральное положение относительно дру-

гих заводов. За ним, вторым по важности, следовал Баламутский завод. Он занимал лесной, богатый топливом район и поэтому с каждым годом все шире и шире развивал свои операции. Остальные заводы служили дополнениями этих двух, переделывая черновое железо с Баламутского завода в сортовое. Заозерный существовал только благодаря богатому запасу воды, которая служила неистощимой двигающей силой, а Куржак вырос около богатого железного рудника.

Кукарский завод являлся, таким образом, во главе всех других заводов, их душой и административным сердцем, от которого радиусами разбегались по другим заводам все предписания, ордера, рапорты и рапортчики. Служить на Кукарском заводе, на виду у пачальства, считалось завидной честью, о которой мелкая служительская сошка с других заводов иногда напрасно мечтала целую жизнь. Насколько громадное значение имел Кукарский завод, достаточно сказать только то, что во всех заводах, вместе с селами, деревнями и «половинками», считалось до пятидесяти тысяч рабочего населения. В крепостное время из Кукарского завода особенно много налетало напастей по окрестностям: главный управляющий тогда пользовался неограниченной властью и гнул в бараний рог десятки тысяч безответных людей. Кукарского завода боялись и сами приказчики мелких заводов, потому что это был крепостной, подневольный народ. Случалось нередко так, что приказчики попадали «в гору», то есть в железный рудник, что тогда считалось равносильным каторге. Какой-нибудь Тетюев пользовался княжескими почестями, а насколько сильна была эта выдержка на всех уральских заводах, доказывает одно то, что и теперь при встрече с каждым, одетым «по-городски», старики рабочие почтительно ломают шапки. Только людям «оборотистым», каким был, например, Родион Антоныч, Кукарский завод был настоящей обетованной землей, где можно было добиться всего.

Сын какого-то лесообъездчика, Родион Антоныч первоначальное свое бытие получил в кукарской заводской конторе в качестве крепостного писца, которому выдавалось жалованья три с полтиной на ассигнации в месяц, то есть на наш счет — всего один рубль. Счастье для Сахарова заключалось в том, что он служил в Кукарском заводе и поймал случай попасть на глаза к самому старику

Тетюеву. В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах. Под его железной лапой задохлось много даровитых и умных людей, которые не умели подслуживаться и подличать. А для покладистого Родиона Антоныча такой человек был истинным кладом. Точкой сближения послужило пустое обстоятельство, которое, впрочем, в доброе старое время многих вывело в люди: это обстоятельство — красивый почерк. Нынче уже мало так пишут, что зависит, может быть, оттого, что стальным пером нельзя достичь такого каллиграфического искусства, как гусиным, а может быть, и оттого, что нынче меньше стали ценить один красивый почерк. Одним словом, как-никак, а Сахарова заметили — этого уже было достаточно, чтобы сразу выделиться из припиженной, обезличенной массы крепостных заводских служащих, и Сахаров быстро пошел в гору, то есть из писцов попал прямо в поденные записчики работ, — пост в заводской иерархии довольно видный, особенно для молодого человека.

Но здесь же Сахаров и получил первый жестокий урок за свое излишнее усердие: чтобы выслужиться, он принялся нажимать на рабочих и довел их до того, что в одну темную осеннюю ночь его так поучили, что он пролежал в больнице целый месяц.

— Эх, братец, ты не тово... — весело заметил старик Тетюев, когда выздоровевший Сахаров пришел к нему за приказаниями. — Не везде нужно с маху брать, а ты потихоньку да исподволь тяни...

— Я, Никита Ефремыч, всегда буду исподволь и потихоньку...

— Ну, вот так-то лучше: все люди — все человеки. Мало ли я что вижу, а другой раз и смолчу. Так-то...

Этот урок глубоко запал в душу Родиона Антоныча, так что он к концу крепостного права, по рецепту Тетюева, добился совершенно самостоятельного поста при отправке металлов по реке Межевой. Это было тепленькое местечко, где рвали крупные куши, но Сахаров не зарывался, а тянул свою линию год за годом, помаленьку обгоняя всех своих товарищей и сверстников.

— Хочешь, я тебя приказчиком сделаю в Мельковском заводе? — говорил ему в веселую минуту старик Тетюев. — Главное — ты хоть и воруюшь, да потихоньку. Не так, как другие: назначишь его приказчиком, а он и

давай надуваться, как мыльный пузырь. Дуется-дуется, глядишь, и лопнул...

Сахаров отказался от такой чести, раз — потому, что караванное дело по части безгрешных доходов было выгоднее, а второе — потому, что не хотел хоронить себя где-нибудь в Мельковском заводе.

— Ну, тебе лучше знать... — согласился нравный старик, благодушествовавший после горячей бани. — Ты и так не пропадешь.

— Я по письменной части больше, Никита Ефремыч...

— Вот и вышел дурак: хочешь околеть с голоду с своей письменной частью! Убирайся с глаз долой!..

Когда Родион Антоныч считал себя совсем на линии, освобождение крестьян чуть не размыло его благополучия вплоть до самого основания.

Погром пошел сверху донизу. Крепостные порядки кончились, и на их место пошли новые. Даровой крепостной труд нужно было заменить трудом наемным, оставляя цифру владельческих доходов нетронутой. Старик Тетюев был совсем негоден для выполнения такой сложной задачи и прочил передать свое место сыпу Авдею. Но случилось не так: сам Тетюев неожиданно получил чистую отставку, хотя и с приличным пенсионом, а на его место, по протекции всесильного Прейна, был назначен Горемыкин. Рассказывали интересный анекдот о том, как выжили Тетюева с места. Отказать заслуженному старику прямо не решались, нужно было подыскать предлог. Специально за этим на заводы выехал Прейн и прожил целое лето, напрасно выжидая, что старый Тетюев догадается и сам подаст в отставку. Может быть, Прейн так и уехал бы в Петербург с пустыми руками, а Тетюев остался бы опять царствовать на заводах, но нашелся маленький служащий, который научил, что нужно было сделать. Именно, Прейн назначил внезапную ревизию заводоуправления и послал за Тетюевым как раз в тот момент, когда старик только что сел обедать — самое священное время тетюевского дня. Тетюева взорвало, он наотрез отказался идти в контору и тут же, не выходя из-за стола, подал в отставку. Гордый старик не перенес такого удара и прожил в отставке всего несколько месяцев: его хватил коцдрашка. За Тетюевым полетели с своих мест все другие приказчики, за исключением двух-трех, которые удержались на своих местах каким-то чудом. Родион Анто-

ныч тоже потерял свое место и некоторое время находился совсем не у дел. Реформы, как все реформы, начались с сокращений и урезок: сократили количество служащих, урезали всем жалованье, прибавили работы и т. д. Впрочем, сам Горемыкин в этом случае не был виноват ни душой, ни телом: всем делом верховодила Раиса Павловна, предоставившая мужу специально заводскую часть. Вместо старых крепостных приказчиков везде были посажены управителями люди, получившие специальное образование, потому что Горемыкин хотел пополнить все ущербы, понесенные отменой крепостного права, расширением заводской производительности. Как специалист-техник и честный человек, он был незаменим. Но в практическом отношении ему недоставало многих качеств. Так, он не умел выбирать людей и часто попадал под влияние очень сомнительных личностей.

— Что же, это очень естественно, что я в каждом прежде всего стараюсь видеть честного человека, — оправдывался иногда Горемыкин.

— Очень убедительно для всех, кто привык, чтобы его везде водили за нос, — замечала Раиса Павловна с своей стороны.

Чтобы пробить себе дорогу при новом порядке вещей, Сахаров поступил сначала в счетное отделение, которое славилось тем, что здесь служащие, заваленные письменной работой, гибли, как мухи. Конечно, Сахаров мечтал не о такой письменной части и очень скоро попал на настоящую дорогу. Нужно было составлять уставную грамоту, которая для заводов являлась вопросом самой капитальной важности. В это смутное время еще не выяснилось хорошенько, где будут самые большие места совершающегося акта. Неразрывные до тех пор интересы заводладельца и мастеровых теперь раскалывались на две неровных половины, причем нужно было вперед угадать, как и где встретятся взаимные интересы, что необходимо обеспечить за собой и чем, ничего не теряя, поступиться в пользу мастеровых. Для решения массы возникших недоумений и вопросов были устроены еженедельные съезды новых управителей, которые и выработали после усиленных хлопот проект уставной грамоты. Вот этот-то проект и дал случай Родиону Антонычу после разгрома крепостного права не только вынырнуть из неизвестности, но встать на такую высоту, с которой его уже трудно было

столкнуться. Прочитавши проект уставной грамоты, выработанный управительскими съездами, он по поводу его составил собственную докладную записку, в которой очень подробно и основательно разобрал все недостатки выработанного проекта. К докладной записке был приложен собственный проект Родиона Антоныча. Вся эта «история» при помощи хорошего человека была партикулярным путем передана в руки самой Раисы Павловны.

Когда эта умная женщина, достаточно умудренная в изворотах и петлях внутренней политики, прочла докладную записку Родиона Антоныча, то пришла положительно в восторженное состояние, хотя такие душевные движения совсем были не в ее натуре.

— Это Мазарини... Нет, Ришелье!..— воскликнула она несколько раз, перечитывая записку Родиона Антоныча.— Так все предусмотреть и предугадать,— нет, это положительно Ришелье... И какая дьявольски топкая работа, какая пронизательность!..

Первым делом Раисы Павловны было, конечно, сейчас же увидеть заводского Ришелье, о котором, как о большинстве мелких служащих, она до сих пор ничего не знала. Непрезентабельный вид Родиона Антоныча и особенно его рабья манера держать себя несколько поохладили восторги Раисы Павловны. Ее аристократическую выдержку сильно шокировали стоны и вздохи вновь явленного Ришелье, который морщился и стонал, как раздавленный. Жирная физиономия и заискивающе-покорные взгляды Родиона Антоныча тоже были не в его пользу, но Раиса Павловна была, как многие умные женщины, немного упряма и не желала разочароваться в своей находке. Она взяла Ришелье таким, каким он явился к ней на выручку в критический момент. В этом случае она поддалась чисто женской слабости, хотя сама же первая смеялась над ней в других людях.

— Как это вы до сих пор пропадали в неизвестности с такой головой? — откровенно удивлялась Раиса Павловна прямо в глаза Родиону Антонычу.

— Темное время было, сударыня-с...

— Зачем вы говорите: «сударыня-с»... Зовите меня по имени.

— Буду стараться, Раиса Павловна-с.

Это «с» немного покорило Раису Павловну, но с такой маленькой частичкой можно было и помириться.

— При Никите Ефремыче трудно было, суд... Раиса Павловна, особенно, ежели кто был расположен к письменной части. Они самую эту письменную часть, можно сказать, совсем ни во что ставили...

— Да... Но теперь другое время... Извините, все забываю: как вас зовут?

— Родион Антонов.

— Ах, да, Родион Антоныч... Что я хотела сказать? Да, да... Теперь другое время, и вы пригодитесь заводам. У вас есть эта, как вам сказать, ну, общая идея там, что ли... Дело не в названии. Вы взглянули на дело широко, а это-то нам и дорого: и практика и теория смотрят на вещи слишком узко, а у вас счастливая голова...

Умиленный этими похвалами, Родион Антоныч даже пощупал свою «счастливую» голову, которая до сих пор шла за самую обыкновенную.

— А так как вы питаете такое пристрастие к письменной части, то вам и книги в руки: мужу необходим домашний секретарь — вот вам на первый раз самое подходящее место. А вперед увидим...

Составленный Родионом Антонычем проект уставной грамоты действительно был *chef-d'oeuvre*¹ в своем роде. Он обеспечил за Кукарскими заводами такие преимущества, которые головой выдавали десятки тысяч заводского населения в руки заводовладельца. Даже сомнительные статьи, которые, кажется, трудно было обойти, были так неясно отредактированы и опутаны такими хитросплетенными условиями, что можно было только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. Во-первых, по этой уставной грамоте совсем не было указано сельских работников, которым землевладелец обязан был выделить крестьянский надел, так что в мастерские попали все крестьяне тех деревень, какие находились в округе Кукарских заводов. Затем, все мастерские, по новой грамоте, пользовались выгоном, покосами, рощистями и лесом «на прежних основаниях», пока заводовладелец не изменит их по собственному усмотрению и пока мастерские работают на его заводах. В виде особенной милости заводовладельца мастерские получили от него *в дар* свои дома и усадьбы. Оговорено было даже то, что

¹ шедевром (*фр.*).

содержание церквей, школ и больниц остается на том же усмотрении заводовладельца, который волею все это в одно прекрасное утро «прекратить», то есть лишить материального обеспечения. Но центр тяжести всей уставной грамоты заключался в том, что уставная грамота касалась только мастеровых и давала им известные условные гарантии только на том условии, если они будут работать на заводах. Все остальное население, которое не принимало непосредственного участия в заводской работе, совсем не шло в счет. Так что в результате на стороне заводовладельца оставались все выгоды, даже был оговорен оброк за пользование покосами и выгонами с тех мастеровых, которые почему-либо не находятся на заводской работе. Помещикам, наградившим своих бывших крепостных кошачьими дарами наделами, во сне никогда не снилось ничего подобного, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что Лаптев был даже не заводовладелец в юридическом смысле, а только «пользовался» своими полумиллионами десятин богатейшей в свете земли на посессионном праве. Благодаря проекту Родиона Антоныча кукарское заводоуправление брало не только со всех посторонних, но даже со своих собственных мастеровых за пользование *казенной* землей в свою выгоду очень почтительный оброк — пятьдесят копеек и дорожке за каждую десятину. Спорный юридический вопрос о правах посессионных владельцев *на недра земли*, в случае нахождения в них минеральных сокровищ, тоже был выговорен уставной грамотой в пользу заводовладельца, так что мастеровые не могли быть уверены, что у них не отберут для заводских целей даже те усадебные клочки, которые им принадлежат по закону, но которые, по проекту уставной грамоты Родиона Антоныча, великодушно были подарены им заводовладельцем. Словом, в юридическом отношении проект Родиона Антоныча составлял выдающееся явление.

Раиса Павловна со своей стороны осыпала всевозможными милостями своего любимца, который сделался ее всегдашним советником и самым верным рабом. Она всегда гордилась им как своим произведением; ее самолюбию льстила мысль, что именно она создала этот самородок и вывела его на свет из тьмы неизвестности. В этом случае Раиса Павловна обольщала себя аналогией с другими великими людьми, прославившимися умением угадывать талантливых исполнителей своих планов.

Родион Антоныч, конечно, быстро освоился в своей новой обстановке и быстро забрал в свои руки все кругом. Погром, произведенный 19 февраля, оставил в его душе неизгладимый горький след, который заставлял его постоянно морщиться и стонать. Он так сросся душой и телом с крепостными порядками, что не мог помириться ни с чем новым, даже ради той сторицы, какую теперь получил. Его постоянно сосал какой-то червь, который не давал покоя. Неисправимый крепостник в душе, Родион Антоныч давил и гнул все новые порядки и всех новых людей, насколько хватало сил. Это был своего рода крепостной фанатизм, и в этом отношении у Родиона Антоныча была родственная черта с замашками великих французских кардиналов, хотя, конечно, это были величины несоизмеримые. Достаточно сказать, что ни одного дела по заводам не миновало рук Родиона Антоныча, и все обращались к нему, как к сказочному волшебнику. Его влияние отражалось на всех сферах заводской жизни и деятельности.

Но интереснее всего было то, как расправлялся Родион Антоныч с теми, кто ему не поддавался. Первым таким делом было то, что несколько обществ, в том числе и Кукарское, не захотели принять составленной им уставной грамоты, несмотря ни на какие увещания, внушения и даже угрозы. Глухие мужики уперлись и стояли на своем. Отыскиались неизвестные законники, которые сумели растолковать им, какой паутиной опутывала их уставная грамота. Мировой посредник, становые, исправник выбивались из сил, стараясь привести стороны к соглашению: мужичье стояло на своем. Тогда взялся за эту распрю Родион Антоныч и покончил ее в несколько дней: подыскал несколько подходящих старичков, усовестил их, наобещал золотые горы, и те подмахнули за все общество. Этого было достаточно на первый раз, а там пусть дело гуляет по судам да палатам. Как упрямые мужики ни артачились, как ни хлопотали, дело оставалось в том положении, в какое его поставил Родион Антоныч, а сельские общества только несли убытки от своих хлопот да терпели всяческое утеснение на заводской работе.

— Еще бабушка-то надвое сказала, — говорил Родион Антоныч жалившимся общественникам. — Вы бы мирком да ладком лучше старались...

В этом случае он хотел показать заводскому населению, обрадовавшемуся «воле», что крепостное право для него еще не миновало. Ему доставляло громадное наслаждение давить этих свободных мастеровых на всех пунктах, особенно там, где специально заводские интересы соприкасались с интересами населения.

Другим подвигом, прославившим имя Родиона Антоныча, была его упорная борьба с Ельниковским земством, другими словами — с Авдеем Никитичем Тетюевым. Но здесь Родиону Антонычу пришлось некоторым образом идти даже против самого себя, потому что перед самой фамилией Тетюевых, по старой привычке, он чувствовал благоговейный ужас и даже полагал некоторое время, что Авдей Никитич в качестве нового человека непременно займет батюшкино местечко. Но вышло не так, — одолела Раиса Павловна, и ему пришлось идти против заветного имени. Но в этом случае Родион Антоныч утешал себя тем, что начал поход против Тетюева не по собственной инициативе, а только творил волю пославшего. Борьба между земством, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой, велась не на живот, а на смерть. Оно и понятно... Как! когда заводы на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством государства, которое поддерживало их постоянными субсидиями, гарантиями и высокими тарифами; когда заводчикам задаром были отданы миллионы десятин на Урале с лесами, водами и всякими минеральными сокровищами, только насаждай отечественную горную промышленность; когда на Урале во имя тех же интересов горных заводов не могли существовать никакие огнедействующие заведения, и уральское железо должно совершать прогулку во внутреннюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться в краску, отправлялся в Англию, — когда все это творилось, конечно, притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того ни с сего принялось обкладывать заводы палогам, эти притязания просто были смешны. Но Тетюев не дремал, и в первый же год существования земства Кукарские заводы были обложены пятьюдесятью тысячами налога.

— Родион Антоныч, я ничего не пожалею, чтобы сломить Тетюева! — заявила Раиса Павловна. — Это бес-

совестно: пятьдесят тысяч... Раньше заводы не несли никаких налогов и пользовались даровым трудом крепостных, а теперь и то и другое.

— Можно будет постараться, Раиса Павловна. Только мы будем подводить свою липу под Авдея Никитича исподволь да потихоньку... Дело-то вернее будет!..

— Как хотите, так и делайте... Если хлопоты будут стоить столько же, сколько теперь приходится налогов, то заводам лучше же платить за хлопоты, чем этому земству! Вы понимаете меня?

Политика Родиона Антоныча приводилась в действие, и результаты не замедлили себя показать: сначала были изъяты из обложения земскими налогами золотые промысла, потом железный рудник, фабрики и т. д. Ходатайства, докладные записки и прошения дождем сыпались в Петербург, где разные нужные человечки умели вовремя их представить куда следует. Каша заварилась вкрутую, и политика Родиона Антоныча много испортила крови Тетюеву. Например, гора Куржак, целиком состоявшая из магнитного железняка и по приблизительным вычислениям заключающая в себе до тридцати миллиардов богатейшей в свете железной руды, приносила земству всего-навсего два рубля семнадцать копеек дохода, как любая усадьба какого-нибудь мастерового. Тетюев рвал на себе волосы, когда заходила речь о Куржаке, но поделаться с последовательной политикой Родиона Антоныча ничего не мог. Когда все законные способы ограничения земской дерзости были исчерпаны, Родион Антоныч вкупе с Раисой Павловной решились нанести этому ненавистному учреждению самый роковой удар его же собственным оружием: неисповедимыми путями в Ельниковское земское собрание большинство гласных были избраны заводские приспешники и клеветы управителя, поверенные, разная мелкая служащая сошка и, наконец, сам Родион Антоныч, который сразу организовал большинство голосов в свою пользу. Сам губернатор был на стороне Родиона Антоныча и назначал председателями земских собраний тех лиц, на которых указывало кукарское заводоуправление. Таким образом, с каждым годом, по мере того как возрастала земская сумма налогов, Кукарские заводы платили меньше и меньше, слагая свою долю на крестьянское население. Тетюев был совсем прижат к стене, и, казалось, ему ничего не оставалось, как только покориться и перейти

на сторону заводов, но он воспользовался политикой своих противников и перешел из осадного положения в наступающее. Поездка Лаптева в сопровождении генерала Блинова служила самым блестящим ответом с его стороны Родиону Антонычу и Раисе Павловне за всю их политику против него. Стороны теперь встали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и самый решительный удар.

Усложняющим обстоятельством в этой крупной игре являлись интриги и происки Майзеля с другими управителями, которые, как это свойственно человеческой природе, желали сами занять место повыше. Но Родион Антоныч относился к этим случайным людям с достойным презрением. Что они такое были сами по себе? Мыльные пузыри, не больше. Всплывет, покружится, поиграет и рассыплется радужной пылью... Этим людям везде скатертью дорога; где больше дадут — там они и покорные слуги. Это уж совсем не то, что Раиса Павловна, Авдей Никитич или сам Родион Антоныч. Для них троих заводы составляли все, они к ним приросли, вне их ничего не желали знать. Тот же Авдей Никитич, легко сказать, тянет второе трехлетие председателем управы и глазом не моргнет. Все крепкий, ухватистый народ, хотя и не без недостатков. Родион Антоныч, например, когда строил свой дом, то прежде чем перейти в него, съездил за триста верст за двумя черными тараканами, без которых, как известно, богатство в доме не будет держаться. Он же лечился хрусталем, когда у него болели глаза. Доктор Кормилицын пришел в ужас, когда узнал рецепт этого хрустального лечения. Именно: Родион Антоныч взял толстый хрустальный стакан, истолок его в порошок и это толченое стекло вышил преблагополучным образом. Раиса Павловна верила в сны и разные другие приметы, а Тетюев занимался спиритизмом.

VIII

Мы уже видели, как Родион Антоныч принял известие о приезде Лаптева на заводы. Он был трус по натуре и, как всякий трус, после первого припадка отчаяния деятельно принялся отыскивать путь к спасению. Прежде всего в нем поколебалась вера в Раису Павловну, которая не сегодня-завтра слетит с своей высоты. Раиса Павловна

с свойственной ей пронизательностью давно изучила за-
ячью душу своего Ришелье и сейчас же угадала истинный
ход его мыслей. Это обстоятельство ее не особенно огор-
чило, потому что она бывала и не в таких переделках и вы-
ходила суха из воды. Как все великие психологи-практики,
она умела больше всего воспользоваться дурными сторо-
нами и слабостями других людей в свою пользу. Так и
теперь она решилась воспользоваться страхом Родиона
Антоныча перед Тетюевым.

В господском доме шел ужаснейший переполох по
случаю приезда барина, который не бывал на заводах с
раннего детства. Для его приема готовили главный корпус
господского дома, где на скорую руку переклеивали обои,
обивали мебель, ложили полы, подкрашивали и замазыва-
ли каждую щель. Прейн был не особенно прихотливый че-
ловек и довольствовался всего двумя комнатами, которые
сообщались с половиной Раисы Павловны и с кабинетом
самого владельца. Для такого важного гостя, как сам
заводовладелец, нужно было устроить княжеский прием.
Не хватило тысячи самых необходимых вещей, которых в
Кукарском заводе и в уездном городишке Ельникове не
достанешь ни за какую цену, а выписывать из столицы
было некогда.

— Как же мы будем? — спрашивал Родион Антоныч.

— А Прейн? — отвечала удивленная Раиса Павлов-
на. — Ах, как вы просты, чтобы не сказать больше... Не-
ужели вы думаете, что Прейн привезет Лаптева в пустые
комнаты? Будьте уверены, что все предусмотрено и устрое-
но, а нам нужно позаботиться только о том, что будет за-
висеть от нас. Во-первых, скажите Майзелю относительно
охоты... Это главное. Думаете, Лаптев будет заниматься
здесь нашими делами? Ха-ха... Да он умрет со скуки на
третьи сутки.

— А Блинов?

— Ну, это еще бабушка надвое сказала: страшен
сон, да милостив бог. Тетюев, кажется, слишком много
надеется на этого генерала Блинова, а вот посмотрите...
Ну, да сами увидите, что будет.

— Увидим, все увидим, — уныло соглашался Родион
Антоныч, терявший последние признаки своей бодрости
при одном имени барина.

— Да вы не трусьте; посмотрите на меня, ведь я же
не трушу, хотя могла бы трусить больше вашего, потому

что, во-первых, главным образом все направлено против меня, а во-вторых, в худом случае я потеряю больше в-шего.

Родион Антоныч щупал свою голову, вздыхал и даже тряс ушами, как понюхавшая дыму собака.

— Я давно хочу вам сказать, Раиса Павловна, одну вещь... — нерешительно заговорил Сахаров. — Нельзя ли будет войти в какое-нибудь соглашение-с...

— С Тетюевым? Никогда!.. Слышите, никогда!.. Да и поздно немного... Мы ему слишком много насолили, чтобы теперь входить в соглашения. Да и я не желаю ничего подобного: пусть будет что будет.

Стороны взаимно наблюдали друг друга, и Родиона Антоныча повергло в немалое смущение то обстоятельство, что Раиса Павловна, даже ввиду таких критических обстоятельств, решительно ничего не делает, а проводит все время с Лушей, которую баловала и за которой ухаживала с необыкновенным приливом нежности. К довершению всех бед черные тараканы поползли из дома Родиона Антоныча, точно эта тварь предчувствовала надвигающуюся грозу.

Действительно, Раиса Павловна, кажется, совсем не желала видеть, что делается кругом, как торопливо белили заводские здания, поправляли заборы, исправляли улицы, отовсюду убирали щепы и мусор. Особенное внимание было обращено на фабрики, где внутренний двор теперь был усыпан песком и каждая машина, при помощи песка и разных порошков, чистилась и охорашивалась, точно невеста под венец. Облупившаяся штукатурка, отставшие доски, проржавевшее железо — все одинаково подвергалось поправкам. Заводский надзиратель, плотинный, уставщики — все лезли из кожи, чтобы привести фабрику в настоящий форменный вид. Доменные печи были выкрашены заново розовой краской, механический корпус — бледно-сиреневой, катальная фабрика — желтой и т. д. Пробоицы в крышах и степах заделывались, выбитые стекла вставлялись, покосившиеся двери навешивались прямо, даже пудлинговые, отражательные, сварочные и многие иные печи не избегали общей участи и были густо намазаны каким-то черным блестящим составом.

Платон Васильевич почти не выходил из фабрики, ставилось громадное маховое колесо для сортовой ка-

тальной. Раньше в Кукарском заводе приготавливали только болванку, которая переделывалась в мелкое сортовое железо уже на других заводах. Мельковский славился своим листокатальным производством, Заозерный — полосовым и проволокой, Баламутский — рельсами и т. д. Горемыкин задался целью расширить производительность заводов в качественном отношении, чтобы не тратить напрасно денег на перевозку металлов с завода на завод. Другая стальная болванка, из каких делаются рельсы, прогуливалась из Кукарского завода в Баламутский и обратно раз до шести, что напрасно только увеличивало стоимость готовых рельсов и набивало карманы разных подрядчиков, уделявших, конечно, малую толику кое-кому из влиятельных служащих. Разные безгрешные доходы процветали в полной силе, и к ним все так привыкли, что общим правилом было то, чтобы всяк сверчок знал свой шесток и чтобы сору из избы не выносил. Горемыкин, несмотря на свои физические немощи и плохое зрение, всегда сам наблюдал за производившимися работами, а теперь в особенности, потому что дело было спешное. Он ходил домой только есть, а все остальное время проводил на фабрике. В этом царстве огня и железа Горемыкин чувствовал себя больше дома, чем в своей квартире в господском доме. Для него было наслаждением по целым часам наблюдать торопливую фабричную работу, которая кипела кругом. Это была настоящая работа гномов, где покрытые сажей человеческие фигуры вырывались из темноты при неровно вспыхивавшем пламени в горнах печей, как привидения, и сейчас же исчезали в темноте, которая после каждой волны света казалась чернее предыдущей, пока глаз не осваивался с нею. Старик на время забывал о своих недостатках: при ослепительном блеске добела раскаленного железа он отчетливо различал подробности совершавшейся работы и лица всех рабочих; при грохоте вертевшихся колес и стучавших чугуновых валов говорить можно было, только напрягая все свои голосовые средства, и Горемыкин слышал каждое слово. Когда он выходил из фабрики на свежий воздух, предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные, расплывавшиеся очертания — обыкновенный дневной свет был слаб для его глаз. Точно так же и ухо не могло уловить обыкновенного разговора, и он делал какое-то сосредоточенно-глупое лицо, стараясь не выдавать своей глухоты. Вообще Горе-

мыкин жил полной, осмысленной жизнью только на фабрике, где чувствовал себя, как и все другие люди, но за стенами этой фабрики он сейчас же превращался в слепого и глухого старика, который сам тяготился своим существованием. За минуту одушевленное лицо, точно омытое волной свежих впечатлений, быстро теряло свой жизненный колорит и получало вопросительно-недоумевающее выражение.

Кроме своего заводского дела, во всех других отношениях Горемыкин был чистейшим ребенком. Его душа слишком крепко срослась с этими колесами, валами, эксцентриками и шестернями, которые совершали работу нашего железного века; из-за них он не замечал живых людей, вернее, эти живые люди являлись в его глазах только печальной необходимостью, без которой, к сожалению, самые лучшие машины не могут обойтись. Старик мечтал о том, как шаг за шагом, вместе с расширением производства, живая человеческая сила мало-помалу заменяется мертвой машинной работой и тем самым устраняются тысячи тех жгучих вопросов, какие создаются развивающейся крупной промышленностью. С этой именно точки зрения он и смотрел на все те общественные и экономические вопросы, которые создавались жизнью специально заводского населения. В них он видел только механическое препятствие, вроде того, какое происходит от трения колеса о собственную ось. В будущем, вместе с развитием промышленности и усовершенствованием техники, они падут до своего естественного минимума. Это была слишком своеобразная логика, но Горемыкин вполне довольствовался ею и смотрел на работу Родиона Антоныча глазами постороннего человека: его дело — на фабрике; больше этого он ничего не хотел знать. Машины, машины и машины, — чем больше машин, тем меньше живых рабочих, которые только тормозят величественное движение промышленности. Горемыкин проводил у семейного очага очень немного времени, но и оно не было свободно от заводских забот; он точно уносил в своей голове частицу этого двигавшегося, вертевшегося, пилившего и визжавшего железа, которое разрасталось в громадное грохотавшее чудовище нового времени. Перед этим чудовищем все отступало на задний план, действительность представлялась в самом миниатюрном масштабе, а действующие лица походили на пигмеев. Железный братец Антей каждым сво-

им движением давил кого-нибудь из пигмеев и даже не был виноват, потому что пигмеи сами лезли ему под ноги на каждом шагу.

— Я уверен,— говорил Горемыкин жене,— что Евгению Константинычу стоит только взглянуть на наши заводы, и все Тетюевы будут бессильны.

— Ты думаешь? Ха-ха... Да Евгений Константиныч и не заглянет к вам на фабрики. Очень ему нужно глотать заводскую пыль...

— А вот увидишь.

Раисе Павловне ничего не оставалось, как только презрительно пожать своими полными плечами и еще раз пожалеть о том обстоятельстве, что роковая судьба связала ее жизнь с жизнью этого идиота. Что такое этот Платон Васильич, если его разобрать? Сумасброд, ничтожность. Своим настоящим выдающимся положением он обязан ей — и только ей одной. Она создала его точно так же, как создала Родиона Антоныча и как теперь создавала Лушу. И ей же приходится испытать всю чашу предстоящих испытаний исключительно из-за мужа... Ну как она покажет его Евгению Константинычу, с его глухотой и слепыми глазами? Предстоявший позор вперед заливал краской ее обрюзгшие, полные щеки. Мерзавец Тетюев хорошо рассчитал удар: если он ничего и не выиграет, то чего будет стоить Раисе Павловне эта новая победа над Тетюевым. У ней просто начинала кружиться голова от одолевавших ее планов, и она невольно припоминала ту лису, которая с своей тысячью думушек попала к старухе на воротник.

Первые неприятности уже дали себя почувствовать Раисе Павловне.

В господском доме были заведены Раисой Павловной официальные завтраки по воскресеньям. На этих завтраках фигурировал прежде всего заводской *beau monde*¹, который Раиса Павловна держала в ежовых рукавицах, а затем разный заезжий празднующийся люд — горные инженеры, техники, приезжавшие на сессию члены судебного ведомства, светила юридического мира, занесенные неблагоприятной фортуной артисты, случайные корреспонденты и т. д. Здесь Раиса Павловна являлась настоящей царицей: недаром Тетюев называл господский дом

¹ высший свет (*фр.*).

«малым двором», в отличие от «большого двора», группировавшегося около самого Лаптева. Люди солидные расточали любезности ес увядшим прелестям, люди средних лет удивлялись уму и великосветским непринужденным манерам, молодежь — ее ласковому приему, отдававшему веселой пикантной ноткой. Вообще все присзжие оставались необыкновенно довольны этими завтраками и следовавшими за ними обедами, слава о которых попадала даже в столичную прессу, благодаря услужливости разных литературных прощелыг. Раиса Павловна умела принять и важное сановное лицо, проезжавшее куда-нибудь в Сибирь, и какого-нибудь члена археологического общества, отыскивавшего по Уралу следы пещерного человека, и всплывшего на поверхность миллионера, обнюхивавшего подходящее местечко на Урале, и какое-нибудь сильное чиновное лицо, выкинутое на поверхность безличного чиновного моря одной из тех таинственных пертурбаций, какие время от времени потрясают мирный сон разных казенных сфер, — никто, одним словом, не миновал ловких рук Раисы Павловны, и всякий уезжал из господского дома с неизменной мыслью в голове, что эта Раиса Павловна удивительно умная женщина. Старичок сановник, сладко закрывая глаза, песколько раз рассказывал себе пикантный анекдот, которым его угостила Раиса Павловна; археолог бережно завертывал в бумагу каменный топор, который Раиса Павловна пожертвовала ему из своей коллекции; миллионер испытывал зуд во всем теле от комплиментов Раисы Павловны; сильное чиновное лицо долго нюхало воздух, насквозь прокуренный Раисой Павловной самым великосветским фимиамом. Когда никого не было из чужих, воскресные завтраки принимали более интимный характер, и Раиса Павловна держала себя, как мать большой семьи. Весь зависевший от главного управляющего люд съезжался на эти завтраки с благоговейным трепетом: здесь постоянно разыгрывались те бескровные драмы, какими полна жизнь, и кипели вечные интриги. Раиса Павловна любила развлекаться этой бурей в стакане воды, где все подкапывались друг под друга, злословили и даже нередко доходили в азарте до рукопашной.

Чтобы дополнить картину этих семейных завтраков, нам остается сказать два слова о *demoiselles de compagnie*¹, которые вечно ютились под гостеприимной кровлей

¹ компаньонках (*фр.*).

кукарского господского дома. Раиса Павловна, как многие другие женщины, совсем не создапа была для семейной жизни, но она все-таки была женщина и в качестве таковой питала непреодолимую слабость окружать себя какими-нибудь компаньонками, недостатка в которых никогда не было. Эти компаньонки, набранные со всех четырех сторон, в глухие сезоны развлекали свою патронессу взаимными ссорами, сплетнями и болтовней, во время приездов служили танцевальным материалом и составляли *partie de plaisir*¹ для молодых людей и молодившихся старичков; но главная их служба заключалась в том, чтобы своим присутствием оживлять воскресные завтраки, занимать гостей. В настоящее время штат этих приживалок состоял всего из трех экземпляров: институтка Эмма, лимфатическая полная особа немецкого происхождения, какая-то безымянная дворяночка Аннинька, веселое и беспечное создание, и истерическая, прекрасная девица Прасковья Семеновна. Штат этих приживалок очень часто обновлялся. Раньше жила французенка *м-ле Louise*², до нее — красавица Лукина. Судьба этих приживалок была самая странная: они исчезали неизвестно куда, как и появлялись. Никто не замечал таких исчезновений, а сама Раиса Павловна не любила об этом рассказывать. Злые языки говорили, что такие обновления состава приживалок совпадали с приездами Прейна, который, как все старые холостяки, очень любил женское общество.

Из настоящего состава приживалок всего интереснее была судьба Прасковьи Семеновны. Она принадлежала к числу «заграничных», какие еще встречаются кое-где на заводах. Происхождение этого названия относится к первой четверти настоящего столетия, когда уральскими заводчиками овладела магия посылать молодых людей из своих крепостных за границу для получения специального образования по горной части. Из Кукарских заводов было послано двенадцать человек, выбранных из самых способных школьников при заводских училищах. Эти школьники прожили за границей лет десять, получая большое содержание. Они совсем освоились на новой почве и почти все пережились на иностранных. Вдруг

¹ Здесь в смысле — развлечение (*фр.*).

² мадмуазель Луиза (*фр.*).

их всех требуют в Россию, на заводы. Молодые парочки едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные Лаптева, следовательно, попали в крепостные и их жены, все эти немки и француженки, а затем они из-под европейских порядков перешли прямо в железные лапы Никиты Тетюева, который возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. Положение «заграничных» в Кукарских заводах было самое трагическое, тем более что переход от европейских свободных порядков к родному крепостному режиму ничем не был сглажен. Тетюев с своей стороны особенно палел на молодых людей, чтобы сразу выбить из них всю европейскую и ученую дурь. Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по самым ничтожным должностям, на копейное жалованье, без всякого выхода впереди. Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники — машинистов, минералогии — в лесном отделении, металлургии — при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д. Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал крутой старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажень, должны были копать медную руду. Эту каторжную работу не могли выносить самые привычные и сильные рабочие, а заграничные в своих европейских обносках были просто жалки, и их спускали в гору на верную смерть. Но Тетюев был неумолим. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до последней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспи-

тывать голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия. Но и в самые черные дни своего существования они не могли расстаться с своим европейским костюмом, с теми модами, какие существовали в дни их юности... Трагедия переходила в комедию. Эта страшная кара перешла и на детей заграничных, которые явились на свет с тяжелыми хроническими болезнями и медленно вымирали от разных нервных страданий, запоя и чахотки. Прасковья Семеповна, дочь кассельской немки, с раннего детства осталась круглой сиротой и была счастлива, по крайней мере тем, что не видала позора матери. Она с пяти лет страдала истерическими припадками и в качестве блажененькой проживала по богатым купеческим домам. В разгар своей борьбы с Тетюевым Раиса Павловна обратила на нее свое внимание, взяла ее к себе в дом и принялась воспитывать. Это доброе дело нехорошо было только тем, что оно делалось с специальной целью насолить Тетюеву: пусть он, проповедник гуманных начал и земского обновления, полюбуется, в лице Прасковьи Семеновны, тятенькиными поступками... Прасковья Семеповна с годами приобретала разные смешные странности, которые вели ее к тихому помешательству; в господском доме она служила общим посмешищем и проводила все свое время в том, что по целым дням смотрела в окно, точно поджидая возвращения дорогих, давно погибших людей.

Итак, в господском доме совершался семейный завтрак. Посторонних никого не случилось, а сидел все свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, жена Майзеля, разбитная немка aus Riga ¹, Амалия Карловна, управитель Баламутского завода Демид Львович Вершинин, Мельковского — отставной артиллерийский офицер Сарматов, Куржака — чахоточный хохол Буйко, Заозерного — вечно общипывавшийся и охорашивавшийся полячок Дымцевич. В общей трапезе принимали участие старичок механик Шубин и молодой человек, служивший по лесной части, Иван Иваныч Половинкин или просто m-r Половинкин. Эта компания в своем составе представляла очень пеструю картину. Сарматов славился как отчаянный враль и самый бессовестный интриган; Буйко — своей

¹ из Риги (нем.).

бесцветностью; Дымцевич — глупостью. Самым видным лицом являлся Вершинин, всегда спокойный и неизменно остроумный, пезаменимый собеседник за столом и величайший в свете артист устраивать официальные и полуофициальные обеды. На этом последнем поприще Вершинин был в своем роде единственный человек: никто лучше его не мог поддержать беглого, остроумного разговора в самом смешанном обществе; у него всегда наготове имелся свеженький анекдот, ядовитая шуточка, остроумный каламбур. Сказать спич, отделать тут же за столом своего ближнего на все корки, посмеяться между строк над кем-нибудь — на все это Вершинин был великий мастер, так что сама Раиса Павловна считала его очень умным человеком и сильно побаивалась его острого языка. В трудных случаях, когда нужно было принять какую-нибудь важную особу, вроде губернатора или даже министра, Вершинин являлся для Раисы Павловны кладом, хотя она не верила ему ни в одном слове. Среди этой заводской аристократии и козырных тузов м-г Половинкин являлся в роли *parvenu*¹, которому Раиса Павловна очень покровительствовала, задавшись целью женить его на Анпишке. Такие двусмысленные личности встречаются в каждом обществе, и им достается самая жалкая роль. Злые языки в м-г Половинкине видели просто фаворита Раисы Павловны, которой нравилось его румяное лицо с глупыми черными глазами, но мы такую догадку оставим на их совести, потому что на завтраках в господском доме всегда фигурировал какой-нибудь молодой человек в роли *parvenu*. Покровительствовать молодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы Павловны, которая вообще любила устраивать чужое счастье. Механик Шубин замечательен был тем, что про него решительно ничего нельзя было сказать — ни худого, ни доброго, а так, черт его разберет, что за человек. Такие люди иногда встречаются: живут, служат, работают, женятся, умирают, от их присутствия остается такое же смутное впечатление, как от пробежавшей мимо собаки.

Приживалки, конечно, были все налицо. Прасковья Семеновна смотрела в окно, Анпишка шепталась и хихикала с м-г Половинкиным, который глупо и самолюбиво улыбался, покручивая выхолненные усики. М-Не

¹ выскочки (*фр.*).

Эмма стойчески выдерживала атаку с двух сторон: слева сидел около нее слегка подвыпивший Прозоров, который под столом напрасно старался прижать своей тощей ногой жирное колено m-lle Эммы, справа — Сарматов, который сегодня врал с особенным усердием. В течение десяти минут он успел рассказать, прищуривая один косою глазом, что на последней охоте одним выстрелом положил на месте щуку, зайца и утку, потом, что когда был в Петербурге, то открыл совершенно случайно еще не известную астрономам планету, но не мог воспользоваться своим открытием, которое у него украли и опубликовали какой-то пройдохой, американский ученый, и, наконец, что когда он служил в артиллерии, то на одном смотре, на Марсовом поле, через него переехало восьмифунтовое орудие, и он остался цел и невредим.

— Ах, виноват, — поправился Сарматов, придавая своей щетинистой, изборожденной морщинами роже серьезное выражение, — у меня тогда оторвало пуговицу у мундира, и я чуть не попал за это на гауптвахту. Уверю вас... Такой странный случай: так прямо через меня и переехали. Представьте себе, четверка лошадей, двенадцать человек прислуги, наконец орудие с лафетом.

— Я слышал, что одним колесом вам придавило голову? — спокойно заметил Вершинин, улыбаясь в свою подстриженную густую бороду. — А планету вы уже открыли после этого случая... Я даже уверен, что между этим случаем и открытой вами планетой существовала органическая связь.

— Отстаньте, пожалуйста, Демид Львович! Вы все шутите... А я вам расскажу другой случай: у меня была невеста — необыкновенное создание! Представьте себе, совершенно прозрачная женщина... И как случайно я узнал об этом! Нужно сказать, что я с детства страдал лупатизмом и мог видеть с закрытыми глазами. Однажды...

Такие разговоры повторялись слишком часто, чтобы обращать на них внимание. M-lle Эмма слушала весь этот вздор с своей обычной апатией, не обращая внимания на Прозорова, который после неудачной атаки под столом принялся ей отчитывать самые страстные строфы из Гейне и даже Саади. Райса Павловна, конечно, все это видела, но не придавала таким глупостям никакого значения, потому что сама в веселую минуту иногда давала подколелника какому-нибудь кавалеру-новичку, в виде

особенной ласки называла дам свиньями и употребляла по-французски и даже по-русски такие словечки, от которых краснела даже m-lle Эмма. Но теперь ей было не до того: ее беспокоило поведение Вершинина и m-me Майзель, которые несколько раз обменялись многозначительными взглядами, когда разговор зашел на тему об ожидаемом приезде Лаптева на заводы. Очевидно, это был сткрытый заговор против нее, и где же? — в ее собственном доме... Это было уже слишком! Сарматов и Дымцевич тоже как будто переглядываются между собой... О! без сомнения, все они переметнулись на сторону Тетюева, и каждый дурак ждет, что именно его сделают главным управляющим. В Раисе Павловне забунтовала каждая жилка от непреодолимого желания отделать на все корки это собрание Иуд, а всех прежде — Амалию Карловну.

— М-г Половинкин,— обратилась m-me Майзель к рабчену,— будьте настолько добры, сходите за моей рабочей корзинкой. Я ее оставила дома...

М-г Половинкин съезжился, не зная, как выпутаться из своего неловкого положения; от господского дома до квартиры Майзеля было битых полторы версты. Если не пойти — старик Майзель, под начальством которого он служил, сживет со свету, если идти — Раиса Павловна рассердится. Последнее он хорошо заметил по лицу своей патронши.

— Ваша лошадь, кажется, у подъезда, Амалия Карловна...— пробормотал наконец м-г Половинкин.— Я с удовольствием, если позволите... оно скорее...

— Ах, нет...— с кислой улыбкой протестовала Амалия Карловна.— Лошадь устала, а вам пройтись немного, право, очень полезно... Уверяю вас!.. Ведь это всего в двух шагах — рукой подать.

— Я полагаю, Амалия Карловна,— отчетливо и тихо заговорила Раиса Павловна, переставляя чашку с недопитым кофе,— полагаю, что monsieur Половинкину лучше знать, что ему полезно и что нет. А затем, вместе с своей рабочей корзинкой, вы, кажется, забыли, что у monsieur Половинкипа, как у всех присутствующих здесь, есть имя и отчество...

— Виновата,— жеманно ответила m-me Майзель, прищуривая свои ястребиные глаза,— если не ошибаюсь — Семеч Семеныч...

— Нет, Иван Ивапыч...

— Еще раз виновата, Иван Иванович...— с расстановкой заговорила взбешенная Амалия Карловна, раскладываясь с м-г Половинкиным.— Я уж лучше попрошу mademoiselle Эмму сходить за моей корзинкой. Ведь это недалеко: всего в двух шагах.

— Вам, Амалия Карловна, лучше всего обратиться к кому-нибудь из прислуги с вашей просьбой или к Демиду Львовичу...— отрезала м-ше Эмма, обладавшая большой находчивостью.

Эта глупая сцена сама по себе, конечно, не имела никакого значения, но в данном случае она служила вызовом, который Амалия Карловна бросила прямо в лицо Раисе Павловне. Приживалки притихли, ожидая бури; Вершинин с улыбкой гладил жирного мопса Нерона, который слезившимися, вылупленными глазами глупо смотрел ему в рот. Прозоров улыбался растерянной, пьяной улыбкой. Кормилицы препарировал ножку цыпленка, остальные напрасно старались изобразить из себя слушающую публику, которая была занята рассказом Сарматова, как он однажды в Бессарабии давал настоящий концерт на фарфоровой гитаре. Буря пронеслась, и все понемногу успокоились, даже м-г Половинкин, который теперь с самым развязным видом старался рассмешить Анциньку. Сама Амалия Карловна как ни в чем не бывало продолжала доедать порцию холодного рябчика и аппетитно вытирала толстые губы салфеткой. С острым носом, с узкими черными глазками и с резкими, точно что-то хватавшими движениями, она всегда походила на птицу; это сходство увеличивалось еще пестрым баржевым платьем и кружевной наколкой на голове. Теперь Амалия Карловна, набивая рот рябчиком, рассказывала о необыкновенно красивой шляпке, которую м-ше Тетюева на днях получила из Петербурга. Упомянуть фамилию Тетюевых в присутствии Раисы Павловны было вообще дерзостью, но Амалия Карловна с самой ехидной искренностью, на какую только способны великосветские дамы, еще прибавила, обращаясь к Раисе Павловне:

— А вы ничего не ждете себе из Петербурга? Я хочу сказать, не выписали ли вы себе какую-нибудь новинку... на голову?

— Амалия Карловна, вы слишком много себе позволяете!..— вскипела наконец Раиса Павловна, бросая на тарелку вилку.

— Я?.. Я, кажется, пичего не сказала такого... — чистосердечно удивилась Амалия Карловна, обводя присутствующих удивленным взором.

— Нет, вы отлично понимаете, что хотели сказать. Я только могу удивляться вашей дерзости: явиться в мой дом... и...

— После этого моя пога никогда не будет в вашем доме!.. — величественно произнесла Амалия Карловна, торопливо проглатывая последний кусок рябчика.

— Мы не много от этого потеряем...

— Вы меня оскорбляете, Раиса Павловна!.. Николай Карлыч вызовет Платона Васильича на дуэль, если вы не извинитесь сейчас же...

— Дуэль? Ха-ха... Зачем дуэль, идите лучше и поцелуйтесь с вашим Тетюевым!..

Амалия Карловна ждала поддержки со стороны присутствовавших единомышленников, но те предпочитали соблюдать полнейший нейтралитет, как это и приличествует посторонним людям. Этого было достаточно, чтобы Амалия Карловна с быстротой пушечного ядра вылетела в переднюю, откуда доносились только ее отчаянные вопли: «Я знаю все... все!.. Вас всех отсюда метлой выгонят... всех!..»

— Нероп, кусь!.. — уськнула вдогонку m-ше Эмма, и собака с громким лаем понеслась в переднюю.

Лицо Раисы Павловны горело огнем, глаза метали молнии, и в уютной столовой с дубовой мебелью и суровыми драпировками долго царил самое принужденное молчание. Доктор ковырял какую-то копченую рыбешку, Вершинин с расстановкой смаковал чайный ликер из крошечной рюмочки на тонкой высокой ножке, Дымцевич покручивал усики, толкая локтем Буйко. Прозоров и Сарматов разговаривали вполголоса, Аннинька кормила хлебными шариками вернувшегося из погони Нерона. После приживалок Нероп пользовался у Раисы Павловны особенными привилегиями. Он мог делать решительно все, что ему вздумается, и Раиса Павловна от души хохотала над его остроумными собачьими проказами, когда он, например, с ловкостью записного эквилибриста бросался к лакею, разносившему кушачье, и выхватывал с блюда лучший кусок или во время завтрака взбирался на обеденный стол и пачинал обнюхивать тарелки и чашки завтракавших. Собачья фантазия была неистощима, и Нероп по

какому-то инстинкту особенно падодал тем, кого Раиса Павловна почему-либо недолюбливала. Все, кто хотел угодить Раисе Павловне, прежде всего был должен заслужить расположение Нерона. В этих видах Родион Антоныч, м-г Половинкин и другие приспешники всегда носили в кармане что-нибудь съестное, и даже сам Вершинин гладил и ласкал злую и ожиревшую собачонку.

— А я на вашем месте просто дала бы ей в шею... — лениво заметила м-ле Эмма, нарушая общее молчание.

Все засмеялись. Раиса Павловна тоже улыбнулась. Эта м-ле Эмма молчит-молчит, а потом и скажет всегда что-нибудь такое смешное. Высказав свое мнение, девушка с забавной серьезностью вытянула губы и посмотрела вызывающе на Вершинина. Положительно, эта немочка была интересна, если бы окончательно не «потеряла фигуру» благодаря своей увеличивавшейся полноте. Раиса Павловна с ужасом смотрела на ее расплывавшийся бюст, точно под корсетом у м-ле Эммы была налита вода. Да и одеться к лицу она никогда не умела: пемка — так пемка и есть, все на ней кошелем. То ли дело Анпинька — и лицом хуже м-ле Эммы, а фигурка у нее точно на заказ выточена, стройная да гибкая.

— Нет, в самом деле, Раиса Павловна, я на вашем месте лихо смазала бы эту Амальку, — повторила м-ле Эмма, поощренная общим смехом.

— Ах, душечка, меня, вероятно, самое скоро в шею смажут в собственном доме, — ответила Раиса Павловна. — Если бы Амалька вцепилась мне в физиономию, я уверена, что ни один из присутствующих здесь не вступился бы за меня... Взять хоть Демида Львовича для примера.

— Я сначала подождал бы, Раиса Павловна, на чьей стороне останется победа, — грудным тенором ответил Вершинин, прищуривая глаза. — А потом уж пристал бы, конечно, не к побежденной стороне...

IX

От Загнеткина было получено уже несколько писем. Он подробно описывал все, что успевал разузнать о предстоящей поездке Лаптева на заводы. Каждое письмо Раиса Павловна подвергала самому тщательному анализу и все-таки оставалась в конце концов неудовлетворенной: в

затейной Тетюевым игре ей оставалось много неясного. Что такое этот генерал Блинов — прежде всего? Получалось самое смутное, расплывавшееся в подробностях представление: если он «ученый профессор» по преимуществу, то каким образом примазался к нему Тетюев с своими интригами? Если, затем, генералом так вертит эта таинственная особа, то что же смотрит Прейн? Если наконец генерал задался неременной целью произвести на заводах необходимые финансовые реформы, то отчего до сих пор ни в заводууправлении, ни Платону Васильевичу не было решительно ничего известно? Получалась кружившая голову путаница, в которой невозможно было разобраться. Ясно было только то, что сама Раиса Павловна самым глупым образом попала между двумя сходящимися стенами: с одной стороны был Тетюев, завербовавший себе сильную партию Майзеля, Вершинина и др., с другой — генерал Блинов. Стоило только им сойтись вместе, и Раиса Павловна неизбежно будет похоронена под развалинами недавнего своего величия. Главное, теперь решительно ничего нельзя было предпринять для рассеяния сгущавшейся мглы, а нужно было ждать, ждать и ждать... Из тумана выступали пока совсем неопределенные фигуры генерала Блинова с его особой и какой-то балерины Братковской, из-за которой Лаптев откладывает свою поездку на Урал день за днем. Сам хитроумный и на все оборотистый Родион Антоныч решительно ничем не мог помочь Раисе Павловне и только нагонял на нее тоску своими бесконечными охами и вздохами.

— Уж вы лучше бы мне на глаза не показывались! — откровенно высказывалась ему Раиса Павловна.

Приживалки, которых Прозоров называл «галками», бесцельно слонялись по всему дому, как осенние мухи по стеклу, или меланхолически гуляли по саду. Делать им было решительно нечего, и единственным развлечением являлся только м-г Половинкин, который держал себя с «галками» настоящим денди.

— Душечка, ты постарайся меньше кушать, — уговаривала Раиса Павловна м-ше Эмму, — а то ведь ты начинаешь совсем походить на индюшку... У тебя даже из-под пазух жир так и лезет складками!

Мадмуазель делала сердитое лицо и ничего не отвечала.

— Необходимо принять меры, голубчик, — продолжала Раиса Павловна. — Наконец посоветуйся с доктором: есть

такие средства, от которых такие толстушки делаются интересными девицами. Что же делать, если природа иногда несправедлива к нам...

Когда не было Раисы Павловны, девушки осторожно шушукались между собой, критикуя каждый шаг своей патронши.

— Я решительно не понимаю,— говорила m-lle Эмма,— чего она находит интересного в этой вертушке Лукерье? Прейн и не взглянет на нее. Очень ему нужно смотреть на всякую дрянь!

— У Луши носик хорошенький, с горбиком.

— Только и есть, что один носик, Аннинька. Ну, да Прейну сойдет... для счета.

— Ты уж не ревнуешь ли ее к нему?

— Я?.. Очень мне пужно. Этот Прейн такой отвратительный, если бы ты знала. Он так умеет надоесть...

— Однако когда-то ты им была, кажется, очень заинтересована.

— Не больше, чем ты своим Иван Ивановичем... Вот погоди, и ты не уйдешь от Прейна, Аннинька. Ему была бы только юбка... Я была тогда глупа, когда он ухаживал за мной, и не умела забрать его в руки. Если он начнет проделывать с тобой такую же историю, я тебя научу, что нужно делать. Следовало бы его проучить... А все это паща Раиса Павловна! Я была еще совсем девчонкой, когда Прейн приехал сюда в первый раз. Ну, конечно, принялся ходить за мной, а Раиса Павловна сейчас с своими шуточками да анекдотами—проходу не дает. А потом... Помнишь из «Belle Hélène»¹:

...но ведь бывают столкновения,
когда мы нехотя грешим!..

— Что же, он скоро тебя бросил? — допытывалась Аннинька.

— Да, у него все это скоро делается: через неделю, кажется... Мерзавец вообще, каких мало. А теперь Раиса Павловна будет ловить Прейна на Лукерью, только она не продаст ее дешево. Будь уверена. Недаром она так ухаживает за этой девчонкой...

— А знаешь, что я думаю,— говорила Аннинька.— Не думает ли Раиса Павловна прельстить Лушей самого Лаптева.

¹ «Прекрасной Елены» (фр.).

— Ну, уж ты очень далекохватила: Лаптева!.. Дай бог Прейна облюбовать с грехом пополам, а Лаптев уже занят, и, кажется, занят серьезно. Слыхали про Братковскую? Говорят, красавица: высокого роста, с большими голубыми глазами, с золотистыми волосами... А сложена как богиня. Первая красавица в Петербурге. А тут какая-нибудь чумичка — Луша... фи!..

— Я не понимаю только одного, ведь Луша выходит за Яшу Кормилицына, давно всем известно, и сама же Раиса Павловна об этом так хлопотала.

— Тогда хлопотала, а теперь оставит Яшеньку с носом и только,— засмеялась m-lle Эмма.— Не дорого дано... Да я на месте Луши ни за что не пошла бы за эту деревянную лестницу... Очень приятно!.. А ты слышала, какой подарок сделал доктор Луше, когда она изъявила желание выйти за него замуж?

— Нет.

— Это потеха: какую-то глисту в спирте... Честное слово! Мне Вершинин под секретом рассказывал, и она его с этой глистой в три шеи.

— Значит, у них все дело разохлось?

— А черт их разберет... Разве нашу Раису Павловну узнаешь, что она думает. Комар носу не подточит.

— Однако она сильно изменилась в последнее время,— задумчиво говорила Аннинька,— лицо осунулось, под глазами синие круги... Я вчера прихожу и рассказываю ей, что мы с тобой видели Амальку, как она ехала по улице в коляске вместе с Тетюевой, так Раиса Павловна даже побелела вся. А ведь скверная штука выйдет, если Тетюев действительно смажет нашу Раису Павловну. Куда мы тогда с тобой денемся, Эмма?

— Вздор!.. Наша Раиса всех в один узел завяжет — вот увидите,— уверенно отвечала m-lle Эмма, делая энергичный жест рукой.— Да если бы и смазали ее, невелика беда: не пропадем. Махнем в столицу, и прямо объявление в газетах: «Молодая особа и т. д.» Вот и вся недолга. По крайней мере, можно пожить в свое удовольствие.

Эти рассудительные барышни очень обстоятельно обсудили все, что должно произойти по случаю приезда Лаптева. Конечно, будет несколько балов, потом разные поездки в горы, пикники и просто parties de plaisir¹.

¹ увеселительные прогулки (фр.).

Майзель будет устраивать охоты с интересными превращениями, Вершинин — обеды, Сарматов — спектакли, и т. д. Интересно будет посмотреть, как Раиса Павловна будет мириться с Амалькой. Впрочем, это не первый случай между ними. Гораздо серьезнее будет встреча Раисы Павловны с той особой, которая едет с генералом Блиновым. Вот будет потеха, когда эти старые бабы встретятся и зафукают, как старые кошки!

Прасковья Семеновна в этих разговорах почти не принимала никакого участия, хотя в последнее время она чувствовала себя особенно хорошо: всеобщая суматоха и перестройка совпадали с ее душевным настроением, и она ходила из комнаты в комнату с самым довольным лицом. Девушка совершенно разумно рассуждала с рабочими, которые не выходили из господского дома. Она внимательно следила за каждым шагом вперед: где выкрасили, где переклеили новые обои, где покрыли лаком — все это, вместе взятое, служило самым верным доказательством приближающихся событий. Когда работы были кончены, Прасковья Семеновна заняла наблюдательную позицию в том окне, из которого виднелась трактовая дорога. Именно по этой дороге Лаптев и должен был приехать, и Прасковья Семеновна терпеливо ждала его по целым дням. Однажды она вбежала в комнату Аппицьки и проговорила задыхающимся голосом:

— Едут!..

— Кто?

— Все едут.

Аппицька и m-lle Эмма бросились к окнам и должны были убедиться в справедливости этого известия.

Действительно, через площадь, мимо здания заводоуправления, быстро катился громадный дорожный дормез, запряженный четверней. За ним, заливаясь почтовыми колокольчиками, летели пять троек, поднимая за собой тучу пыли. Миновав заводоуправление, экипажи с грохотом въехали на мощный двор господского дома.

— Это Евгений Констаптинич! — вскрикнула Аппицька, бросаясь предупредить Раису Павловну.

— Вздор, Аппицька! — решила рассудительная немка. — Лаптев так никогда не поедет. Это, вероятно, прислуга.

Любопытные барышни прильнули к окну и имели удовольствие наблюдать, как из дормеза, у которого фор-

дзек был поднят и закрыт наглухо, показался высокий молодой человек в ботфортах и в соломенной шляпе. Он осторожно запер за собой дверь экипажа и остановился у подъезда, поджидая, пока из других экипажей выскакивали какие-то странные субъекты в охотничьих и шведских куртках, в макинтошах и просто в блузах.

— Музыканты...— шептала Аннинька, прижимаясь плечом к своей флегматической подруге, которая все время не сводила глаз с запертого дормеза.

— Что бы там такое было? — подумала вслух m-lle Эмма, не обращаясь ни к кому.— Уж не та ли особа, которая едет с Блиновым.

— Какой красивый!.. восторг!..— восхищалась откровенная Аннинька, любуясь молодым человеком из дормеза, около которого теперь собрались все остальные.

На подъезд растерянно выскочил без фуражки швейцар Григорий и, вытянувшись по-солдатски, не сводил глаз с молодого человека в соломенной шляпе. Слышался смешанный говор с польским акцентом. Давно небритый седой старик, с крючковатым польским носом, пообещал кому-то тысячу «дьяблов». К галдевшей кучке, запыхавшись, подбегал трусцой Родион Антоныч, вытирая на ходу батистовым платком свое жирное красное лицо.

— Где нам остановиться? — обратился к нему молодой человек в ботфортах.— Я — домашний секретарь генерала Блинова, а это — венский оркестр.

— Отлично, отлично...— торопливо отвечал Родион Антоныч.— Для генерала Блинова приготовлено особое помещение... Вы с ним остановитесь?

— О, это все равно...— с улыбкой проговорил молодой человек, глядя на кисло сморщившуюся физиономию Родиона Антоныча своими ясными, голубыми, славянскими глазами.— Мне крошечную комнатку — и только.

— Найдется и комнатка... все найдется. А относительно оркестра... Позвольте... Да пожалуйста, сначала вас нужно поместить, а потом и господам музыкантам место найдем. Извините, не знаю вашего имени и отчества...

— Гуго Альбертович Могула-Братковский, к вашим услугам... А позвольте узнать...

— Меня, Гугу...

— Гуго...

— Да, да... меня, Гуго Альбертович, зовут просто

Родионом Антонычем. Тоже домашний секретарь при главном управляющем всеми Кукарскими заводами, Платоне Васильевиче Горемыкине.

— Очень приятно,— баритоном протянул красавец поляк, заглядывая между прочим в окна, где виднелись лица Анниньки и m-lle Эммы.

— Так уж я сначала вам отведу квартиру, Гуго Альбертович... Эй, кучер, за мной!..

Поляк взъерошил свою красивую русую бородку, передернул широкими плечами и красиво зашагал по двору за торопливо семенившим Родионом Антонычем. Дормез покатился за ними, давя хрустевший под колесами речной хряц, которым был усыпан весь двор, и остановился в следующем, где в сиренях и акациях кокетливо прятался только что выбеленный флигелек в три окна.

— Вот здесь...— проговорил Родион Антоныч с подавленным вздохом.— Григорий, ты вынесешь вещи,— обратился он к следовавшему в почтительном отдалении швейцару.— Или лучше я сам вытащу чемоданы...

— Нет, уж позвольте мне самому,— с утонченной вежливостью отказался Братковский.— У меня там очень капризные пассажиры сидят.

Молодой человек подошел к экипажу, отворил дверцу и на тонкой стальной цепочке вывел оттуда двух порядочных обезьян, из которых одна сейчас же оскалила свои большие белые зубы на онемевшего от изумления Родиона Антопыча.

— Это... это что же такое, Гуго Альбертович? — проговорил он, машинальным движением снимая перед обезьянами свою соломенную шляпу.

— Обезьяны Нины Леонтьевны...

— Гм...— промычал Родион Антоныч.

«У Раисы Павловны Нерон, а у Нины Леонтьевны обезьяны... Так-с. Ох, уж эти дамы, дамы!.. А имя, должно быть, заграничное! Нина... Должно быть, какая-нибудь черкешенка, черт ее возьми совсем. Злющие капальи, говорят, эти черкешенки!»

— Я теперь обойдусь без вашей помощи, Родион Антоныч,— предупредил Братковский, когда свел обезьян в комнату.

— Отлично, отлично... Я вам пошлю человека: платье вычистить с дороги, сапожки.

— Пожалуй, пошлите, — лениво согласился молодой человек, исчезая в дормезе, откуда выглядывали углы чемоданов и каких-то поставцев.

— Сейчас же...

Родион Антопыч расклапался с дормезом, в котором сидел Братковский, и уныло побрел к господам музыкантам, размышляя дорогой, куда он денет эту бесшабашную ораву. Пожалуй, еще стянут что-нибудь... Все это выдумки Прейна: паггал орду дармоедов, а теперь изволь с ними возиться, когда работы без того по горло.

Появление гостей подняло весь господский дом на ноги. Горничные шныряли из комнаты в комнату с рассказом об обезьянах, как мыши, побывавшие в муке. Родион Антопыч, конечно, рассказал все Раисе Павловне с неизменными охами и вздохами, причем догадкам и предположениям не было конца. Первой догадалась, что сделать, Аннинька: она торопливо надела шляпу и отправилась в сад, в ту аллею, которая проходила как раз под окнами занятого Братковским флигелька. Эта стратегика удалась ей — в окне сидел таинственный секретарь и курил сигару. Заметив проходившую девушку, он вежливо поклонился ей.

— Красавец... — рассказывала Аннинька, рдея румянцем. — Как сложен: кровь с молоком! А какие глаза, Эммочка, — чудо! голубые, большие... Просто расцеловала бы разбойника!..

Раиса Павловна тоже успела из-за гардины разглядеть таинственного молодого человека, которого сейчас и определила, поместив его в разряд крупных молодых людей. Это был не какой-нибудь выродок, как большинство пыпешней молодежи, а настоящий молодой человек, сильный, здоровый, непременно веселый. Такие субъекты попадают только в среде кавалеристов и обыкновенно сводят с ума вдовушек с богатырской комплекцией. Когда в дни своей молодости Раиса Павловна жила в аристократическом семействе, где познакомилась с Прозоровым, там часто бывали именно такие молодые люди. Все это был крайне развязный и остроумный народ, обращавшийся с женщинами с той особенной милой простотой, какая приобретается ранним знакомством с закулисной жизнью маленьких театров, загородных гуляний и цирков. От этих откровенных молодых людей всегда пахло лошадьми и конюшней, а в их преждвременной напускнуой серьез-

ности слишком рано сказывались бессонные ночи и дорогие кутежи в обществе продажных красавиц. По человеческой логике казалось бы, что такие слишком опытные молодые люди не должны бы были пользоваться особыми симпатиями тепличных институтских созданий, но выходит как раз наоборот: именно на стороне этой золотой молодежи и сосредоточивались все симпатии восторженной и невинной юности, для которой запретный плод имел неотразимо притягательную силу. Раиса Павловна все это испытала на себе самой, и у пей невольно екнуло в груди ее сорокалетнее сердце при виде этого поляка-красавца, в котором все выдавало его кровное аристократическое происхождение.

— Да ведь это брат той балерины Братковской, о которой писал нам Загнеткин?!.— первая опомнилась Раиса Павловна.— Конечно, брат...

Родион Антоныч в ужасе развел руками и даже растворил рот: как это он сам не мог догадаться, когда молодой человек отрекомендовался ему! Вот тебе и началось: сестрица вертит Лаптевым, братец — секретарем у генерала Блинова,— нечего сказать, хорошенькая парочка. Значит, что захочет Нина Леонычевна, ей стоит только передать Братковскому, тот — своей сестре, а эта все и перевернет в барине вверх дном. Тонко придумано... Ай да Тетюсов! Вот где зацепил ловко!.. И где же с таким человеком тягаться, когда он, Родион Антоныч, даже забыл спросить Братковского, когда придет генерал Блинов? Пробовал он навести справки через господ музыкантов, но те про генерала ничего не знали и только на четырех языках просили водки.

— Ужо, я как-нибудь заверну к нему, Раиса Павловна,— предлагал Родион Антоныч.— А там под рукой и расспрошу о генерале, может и о сестричке что скажет...

— Нет, пожалуйста, этого не делайте: неделikatно надоедать пезнакомому человеку, который, может быть, совсем и не желает видеть нас с вами.

Раиса Павловна говорила это, конечно, неспроста: она ждала визита от Братковского. Действительно, он заявился к пей на другой же день и оказался именно тем, чем она представляла его себе. Это был премилый человек во всех отношениях и сразу очаровал дамское общество, точно он был знаком сто лет.

«Вишь, какая приворотная гривенка,— думал про себя Родион Антоныч, наблюдая все время интересного молодого человека.— Небойсь о генерале да о своей сестричке ни гу-гу... Мастер, видно, бобы разводить с бабами. Ох-хо-хо, прости, господи, наши прегрешения».

М-г Половинкин совсем потерялся в обществе блестящего молодого человека и только жалко хлопал глазами, когда тот заставлял Анниньку хохотать до слез. В своей черной паре и белом галстуке Братковский был необыкновенно хорош: все на нем точно было вылитое и могучие формы обрисовывало особенно эффектно. Когда он смеялся, Анниньке очень хотелось влепить ему самую отчаянную институтскую безешку. Эта беззаботная девушка в присутствии Братковского испытывала необыкновенно приятное волнение, обдававшее ее щекотавшим теплом, а когда он на прощание особенно внимательно пожал ей руку, она вся вспыхнула горячим молодым румянцем и опустила глаза.

— Что это с тобой, Аннинька? — спрашивала м-ле Эмма, когда они ложились вечером спать.— Ты какая-то страшная сегодня, точно угорелая бродишь...

— Ах, не то, не то совсем, Эммочка... милая!..— вскрикнула Аннинька, начиная целовать подругу самыми отчаянными поцелуями: на глазах у ней были слезы.— Я так... мне хорошо.

М-ле Эмма сразу поняла, что творилось с Аннинькой, и только покачала головой. Разве для такой «галки», как Аннинька, первая любовь могла принести что-нибудь, кроме несчастья? Да еще любовь к какому-то лупоглазому прощельге, который, может быть, уж женат. М-ле Эмма была очень рассудительная особа и всего больше на свете дорожила собственным покоем. И к чему, подумаешь, эти дурацкие восторги: увидала красивого парня и распустила слюни.

— Глупости, Аннинька... вздор! — сердито проговорила м-ле Эмма, снимая с своих круглых ног чулки.

Бедная «галка» ничего не отвечала; уткнувшись головой в подушку, она тихо рыдала. М-ле Эмма даже плюнула при виде таких телячьих нежностей и пообещала Анниньке немецкого черта.

Братковский бывал в господском доме и по-прежнему был хорош, но о генерале Блинове, о Нине Леоптьевне и своей сестре, видимо, избегал говорить. Сарматов и Про-

зоров были в восторге от тех анекдотов, которые Братковский рассказывал для одних мужчин; Дымцевич в качестве компатриота ходил во флигель к Братковскому запросто и познакомился с обеими обезьянами Нины Леонтьевны. Один Вершинин заметно косился на молодого человека, потому что вообще не выносил соперников по части застольных анекдотов.

— А когда же ваш патрон приедет? — по сту раз на день спрашивали домашнего секретаря генерала Блинова. — Ничего неизвестно, господа... Решительно — ничего! — уклончиво отвечал осторожный молодой человек.

Родион Антоныч в сообществе с Сарматовым надеялся спонть крепкого полячка, авось пьяный развяжет язык, но Братковский гил крайне умеренно и совсем не думал пьянеть.

Пока «малый двор» исключительно был занят секретарем генерала Блинова, ежедневно прибывали новые гости: подкатил целый обоз с кухней и поварами, потом приехало несколько подвод специально с гардеробом, затем конюшня и экипажи, наконец привалила охота. Вся эта орда большей частью была «устроена» на нижнем дворе, где в тетюевские времена помещалась господская дворня. Егеря в голубых кунтушах, целый штаб из камердинеров, паездники, кучера, музыканты — все это смешалось в невообразимо пеструю кучу, точно на нижнем дворе остановился для нескольких представлений какой-нибудь громадный странствующий цирк.

— Ведь все они до последнего есть каждый день хоятят!.. — восклицал Родион Антоныч, ломая в отчаянии руки. — А тут еще нужно кормить двадцать пять лошадей и целую свору собак... Извольте радоваться. Ох-хо-хо!..

Х

Прошел май, а барин все не ехал.

В господском доме стояла страшная и томительная скука, какая овладевает человеком перед грозой. Даже самые трусливые, в том числе Родион Антоныч, настолько были утомлены этим тянущим душу чувством, что, кажется, уже ничего не боялись и желали только одного, чтобы все это поскорее разрешилось в ту или другую сторону. Братковский держался по-прежнему и чувствовал

себя как рыба в воде; музыканты, егеря, кухня и паздники пьянствовали напропалую, не обращая никакого внимания на кислые гримасы Родиона Антоныча, оплакивавшего каждую бутылку водки.

Когда все таким образом привыкли к своему положению и даже начали говорить, что все равно — двух смертей не бывать, а одной не миновать, из Петербурга от Прохора Сазоныча прилетела наконец давно ожидаемая телеграмма, гласившая: «Сегодня Лаптев выезжает с Прейном и Блиновым. Заводных приготовьте пятнадцать троек».

— Ну, началось! — простонал Родион Антоныч, чувствуя, как у него подгибаются колени со страху.

— Пятнадцать троек! — думала вслух Раиса Павловна, перечитывая телеграмму. — Это целая орда сюда валит. От Петербурга до Москвы сутки, от Москвы до Нижнего сутки, от Нижнего до Казани — двое, от Казани по Волге, потом по Каме и по Белой — трое суток... Итого, неделя ровно. Да от Белой до Кукарского завода двести тридцать верст — тоже сутки. Через восемь дней, следовательно, все будут здесь. Слышите, Родион Антоныч?

— Ох, слышу, все слышу...

— У вас все будет готово?

— Все, все... Не знаю, как на других заводах, а у нас все...

— Да нам до других заводов дела нет; там свои управители есть, и пусть отдуваются. Да Лаптев едва ли и поедет от нас... Нам придется за всех здесь муку принимать.

— Точно так-с. Майзель уж собрал лесообъездчиков со всех сторон и мундиры им заказал... Около Куржака медвежью берлогу отыскали, матерая медведица с двумя медвежатами ходит. Под Заозерным оленей сказывают.

— Значит, отлично на первый раз. А как театр?

— Это уж Сарматов орудует...

— Главное: костюмы... понимаете? У Наташи Шестеркиной плечи хорошие, ну, ее декольтируем, а Капущикову в русском сарафане покажем. Я за этим сама паблюду.

— Вот я хотел вам сказать, Раиса Павловна, насчет Лукерьи Витальевны... Барышня совсем заневестилась и по всем статьям вышла. Вот бы показать на сцене-то.

— Молода еще она для сцены, сробеет... — уклончиво ответила Раиса Павловна, что-то обдумывая про себя.

— И даже нисколько не сробеют... Я их как-то видел: так и наливаются, вроде как малина! Ей-богу!

— Ну, это уж мое дело. Пусть ее наливается, а для сцены она не годится: совсем еще девчонка девчонкой... Плечи узенькие, тут (Раиса Павловна сделала выразительный жест рукой) ничего нет.

— Ватки бы подложить да пажиком бы и показать. Хе-хе. Они точно что из себя сублильные, а может, это и нужно будет. Господская душа — потемки, сударыня. Ах, все я вам забываю доложить, — попизив топ, продолжал Родион Антоныч, — родитель-то Гликерии Витальевны...

— Запил?

— Даже весьма. Точно назло: все стараются, всякий по своей части из кожи лезут, а он мертвую закладывает. Приступа даже нет... А вдруг Евгений Константиныч захотят заводские школы осмотреть? «Где инспектор?» А у них даже костюма подходящего нет...

— Костюм нужно сшить, да приставьте к нему садовника Абрама, чтобы день и ночь караулил. Да еще не забудьте сказать доктору, чтобы прописал чего-нибудь: хлорала или нашатырного спирта.

— Слушаю-с.

Родион Антоныч хотел уходить, но вернулся и конфиденциально сообщил:

— А Вершинин-то, Раиса Павловна, с Тетюевым да с Майзелем хотят контру устроить Платону Васильичу... И Сарматов с Дымцевичем туда же.

— Подлецы! Ах, да все они на одну колодку выкроены. Тетюева видели? Доволен?..

— Издальки видел... Веселый такой едет на новой лошади. Серая, в яблоках...

— Ну, и пусть его повеселится, а вы тоже не печальтесь.

— Я, Раиса Павловна, не печалюсь: двух смертей не бывает...

— То-то и есть. Гусей по осени считают, и хорошо только то, что хорошо кончается... Так?

Восемь дней, оставшиеся до приезда Лаптева, промелькнули незаметно в общей, теперь уже бесцельной суматохе, какая овладевает людьми в таких исключительных случаях. Наконец наступил и роковой восьмой

день. С раннего утра весь завод был на ногах. По улицам бродили праздные кучки любопытных, а на площади, перед зданием заводууправления и особенно около господского дома, народ стоял стена в стену, несмотря на отчаянные усилия станového и нескольких полицейских водворить порядок в этом галдевшем живом море. Мастеровые в новых зипунах и армяках, старики с палками, бабы в пестрых платках, босоногие ребятишки — все слилось в одну массу, которая приготовилась простоять здесь до самого вечера, чтобы хотя одним глазком взглянуть на барина. Загорелые, обожженные в огненной работе лица заводских рабочих выглядели сегодня празднично, с тем довольным выражением, с каким смотрит отдыхающий человек. Бабы трещали, как сороки, пощелкивая кедровые орехи; ребятишки совались меж ног, толкали всех и, как воробьи, рассыпались в мгновение ока при первом грозном слове какого-нибудь сердитого старика, с благовоением глядевшего в окна барского дома. Общее настроение толпы было самое торжественное. Ведь барин являлся чем-то вроде стихийной силы, которая слепо осыпает своими милостями и невзгодами; барин служил олицетворением возможного на земле могущества. Мужичья фантазия терялась в перечислении всех необходимых атрибутов такого барина, каким был Лаптев. Он все может сделать, что захочет; казне нет счету, земле — конца-краю, и т. д.

Для человека нового эта пятитысячная толпа представлялась такой же однообразной массой, как трава в лесу, но опытный взгляд сразу определял видовые группы, на какие она распадалась естественным образом.

Основание составляли собственно фабричные рабочие, которых легко было отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам, вытянутым, сутуловатым фигурам и той заводской сажке, которой вся кожа пропитывается, кажется, навеки. Тут были простые поденщики, чернodelы и рабочая аристократия. Все эти люди, изо дня в день тянувшие каторжную заводскую работу, которую бойкий заводский человек педаром окрестил огненной, теперь слились в одно общее желание взглянуть на барина, для которого они жарились у горнов, ворочали клещами раскаленные двенадцатипудовые крицы, вымогались над такой работой, от которой пестрядевые рубахи, после двух смеп, вставляли от потовой соли коробом.

Фабрика рядом поколений выработала совершенно особый тип заводского фабричного, который в состоянии выпести нечеловеческий труд. Эти жилистые, могучие руки, эти красные затылки, согнутые спины и крепкая, уверенная поступь были точно созданы для заводской работы. Каждая фигура была сколочена из одних костей и мускулов и дышала чисто заводской силой. На первый раз могло поразить то, что самые здоровые субъекты отличались худобой, но это и есть признак мускульной, ничем не сокрушимой силы. Как рядовой солдатик-пехотинец, так и заводский мастеровой страдают жировым перерождением только в исключительных случаях. Красные рубахи, накинутаые на плечи чекмени и лихо надвинутые на одно ухо войлочные шляпы придавали фабричным рабочим вид записных щеголей, которые умеют поставить последнюю копейку ребром.

Полным контрастом с заводскими мастеровыми являлись желтые рудниковые рабочие, которые «робили в горе». Изнуренные лица, вялые движения и общий убитый вид сразу выделял их из общей массы, точно они сейчас только были откопаны откуда-то из-под земли и не успели еще отмыть прильнувшей к телу и платью желтой вязкой глины. Работа «в горе», на глубине восьмидесяти сажен, по всей справедливости может назваться каторжной, чем она и была в крепостное время, превратившись после эмансипации в «вольный крестьянский труд». Конечно, «в гору» толкала этих желтых, выцветших людей самая горькая нужда, потому что там платили дороже, чем на других работах. Стоило только раз попасть рабочему в медный рудник, чтобы на веки вечные обречь следующие поколения на эту же работу. Это объясняется очень просто: молодых, здоровых рабочих толкает «в гору» возможность больших заработков, но самый сильный человек «израбливается» под землей в десять — двенадцать лет, так что поступает на содержание к своим детям в тридцать пять лет. Таким образом, детям рудниковых рабочих приходится слишком рано содержать не только самих себя и свои семьи, но и семью отца, а такой заработок может дать только одна «гора». Получается роковой круг, из которого вырваться могут только счастливы: рудниковый рабочий органически связан со своей «горой», как устрица со своей раковиной. Вообще трудно сказать, что труднее — работать «в горе» или в огненной

работе, по и те и другие рабочие являются постоянными гномами нашего «века огня и железа».

Между этими основными группами толкались черномазые углежоги, приехавшие поглядеть барина из дальних лесных деревень, «транспортные», прозванные за свою отчаянность «соловьями», и всякий другой рабочий люд, не имевший определенной специальности или менявший ее с каждым годом. Сюда же прибрели самые древние старики, вытянувшиеся еще на крепостном праве. Достаточно было взглянуть на эти согнутые в дугу спины, подгибавшиеся колени и дрожавшие корявые руки, чтобы сразу узнать бывших огненных и рудниковых рабочих. Они чинно держались в стороне от молодых рабочих, большинство было с длинными черемуховыми палками. Около них вертелись босоногие ребятишки, особенно те, которые еще не успели отведать заводской работы. И слабые детские руки тоже принимали участие в гигантской заводской работе, с десяти лет помогая семьям своим гривенником поденщины.

— Одначе долго-таки барин не едет! — говорил какой-то седой старик, поглядывая в окна господского дома. — Пора бы! с которого времени дожидаем...

— Уехали, слышь, встречать на Половинку: Платоп Васильич с управителями, Родивоп Аптоныч, Николай Карлыч.. На пяти тройках угнали, а лесобъездчики — на вершних. Так запалили, что страсть...

Когда вдали, по Студеной улице, по которой должен был проехать барин, показывалась какая-нибудь черная точка, толпа глухо начинала волноваться и везде слышались возгласы: «Барин едет!.. Барин едет... Вот он!..» Бывалые старики, которые еще помнили, как наезжал старый барин, только посмеивались в седые бороды и приговаривали:

— Он и есть, барин! Как есть, дураки! Разве барин так тебе и поехал! Перво-наперво пригонят загонщики, потом в колокола ударят по церквам, а уж потом и барин, с фалетуром, на пятерке. А то: барин! Только вот Тетюева не стало, некому принять барина по-настоящему. Нынче уж что! только будто название, что главный управляющий!

— Ноне народ вольный, дедушка, — заметил кто-то из толпы мастеровых. — Это допрежь того боялись барина пуще огня, а ноне что нам барин: поглядим — и

вся тут. Управитель да надзиратель нашему брату куда хуже барина!

— Сравнял... Эх, вы-ы!.. Мало вас драли, вот и брешете. Кабы жив был старик Тетюев, да...

— Это ты верно говоришь, дедушка, — вступился какой-то прасол. — Все барином кормимся, все у него за спиной сидим, как тараканы за печкой. Стоит ему сказать единое слово — и кончено: все по миру пойдем... Уж это верно! Вот взять хошь нас! живем своей торговой частью, барин для нас тьфу, кажется, а разобрать, так... одно слово: барин!.. И пословица такая говорится: из барина пух — из мужика дух.

— Уж это что говорить, знамо дело, что все барином дышим! — согласился за всех кто-то в толпе.

Во двор господского дома пускались только избранные: депутации от всех волостей, заслуженные мастера в дареных господских кафтанах, обшитых позументом, служащие, рыженький священник с причтом и т. д. В передней с раннего утра топталась степенная группа стариков. Это были коповоды той партии общественников, которые тягались с Родионом Аптонычем из-за уставной грамоты. Теперь они пришли в господский дом с новой надеждой, что с приездом барина наконец уладится и их дело. В уверенном выражении этих серьезных лиц сказывалась непоколебимая вера в правоту своего дела и твердое желание послужить миру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все увидит, все разберет и все устроит.

— Что, старички? жалобу принесли барину? — спрашивала Раиса Павловна, проходя по передней.

— А уж что бог даст, Раиса Павловна. Мы ведь из вашей господской воли не выходим, только нам наше бы добыть.

— Напрасно вы с своими пустяками Евгения Константиныча хотите беспокоить, старички!

— Уж это как господь ему на душу положит.

В приемных комнатах господского дома в выжидательном молчании сидели старшие служащие. В громадной зале был сервирован стол для обеда, а на хорах гудела разноязычная толпа приезжих музыкантов, приготовившихся встретить гостей торжественным тушем.

Среди общего молчания раздавались только шаги Аппиньки и m-lle Эммы: девицы, обнявшись, уныло

бродили из комнаты в комнату, нервно оправляя на своих парадных шелковых платьях бантики и ленточки. Раиса Павловна сама устраивала им костюмы и, как всегда, осталась очень недовольна m-lle Эммой. Аннинька была хороша — и своей стройной фигуркой, и интересной бледностью, и лихорадочно горевшими глазами, и чайной розой, небрежно заколотой в темных, гладко зачесанных волосах.

XI

На фабрике часы пробили двенадцать, час, два, а барин все не ехал. Толпы все прибывали, заполнив морем голов всю площадь перед зданием заводоуправления и вытянувшись в длинный шевелившийся хвост мимо господского дома вдоль всей Студеной улицы. Чтобы как-нибудь не прозевать барина, большинство поступило даже обедом. В господском доме выжидательное настроение давно уже отразилось в усталом выражении всех глаз, в побледневших лицах и в том особенном нервном состоянии, от которого у всех пересохло во рту. Раиса Павловна не знала, как ей убить мучительно тянувшееся время. Она нервно переходила из одной комнаты в другую, осматривала в сотый раз, все ли готово, и с тупым выражением лица останавливалась у окна, стараясь не глядеть в дальний конец Студеной улицы.

— Этот Платон Васильич больше, чем идиот, — говорила она Анниньке. — Ну что ему стоило послать из Половинки какого-нибудь лесообъездчика?.. Наконец Родион Антоныч чего смотрит! Это можно с ума сойти!

— Раиса Павловна! — перебила эту горячую реплику появившаяся в дверях m-lle Эмма, — там... пришел Виталий Кузьмич...

— Ох, боже мой! Этого только еще недоставало! и, конечно, пьян?

— Да... сильно пошатывается.

— Что ему нужно? Скажи кому-нибудь, чтобы его прибрали подальше от глаз...

В этот момент толпа на улице глухо загудела, точно по живой человеческой ниве гулкой волной прокатилась волна. «Едет!.. Едет!..» — поднялось в воздухе, и

Студеная улица зашевелилась от начала до конца, пропуская двух верховых, скакавших к господскому дому на взмыленных лошадях во весь опор. Это и были давно ожидаемые всеми загонщики, молодые крестьянские парни в красных кумачных рубахах.

— Сейчас выезжает с Половинки...— кричали они, спешиваясь у крыльца господского дома.

Не успели загонщики «отлепортовать» по порядку слушавшему их служащему, как дальний конец Студеной улицы точно дрогнул, и в воздухе рассеянной звуковой волной поднялось тысячеголосое «ура». Но это был еще не барин, а только вихрем катилась кибитка Родиона Антоныча, который, без шляпы, потный и покрытый пылью, отчаянно махал обеими руками, выкрикивая охрипшим голосом:

— Тише!.. Ах, б-божже мой!.. Чертоломы вы этакие! чего напрасно глотку дерете?! Чему обрадовались?

— Ну? — спрашивала Раиса Павловна, выбегая навстречу к Сахарову.

— Ох, беда! Сорок лошадей загнали на восьми станциях... Семнадцать троек бежит... Видел *самого* и к ручке приложился! — высыпал Родион Антоныч привезенные новости.

— Да что вы так долго там, на Половинке, сидели?

— Чай пили...

— Отчего же вы меня не известили? Мы тут голову совсем потеряли, а они там чай распивают.

— Не мы, а *сам* чай пил.

— Так бы и послали сказать. А *ты* видели?

Родион Антоныч только махнул рукой и побежал в переднюю, где сейчас же накиннулся на депутацию с хлебом-солью:

— В церковь ступайте... все в церковь!.. Да чтобы звонили, во вся звонили, как только покажется пыль на дороге.

Точно в ответ на эти слова на пяти заводских церквях загудели все колокола, и Родион Антоныч торопливо начал креститься. Через минуту он уже подымался на паперть главной церкви, которая стояла посреди базарной площади. Там уже ждало духовенство во всем облачении, и народ набожно снял шапки. Выстроив депутацию с хлебом-солью у паперти, Родион Антоныч, заслонив рукой глаза от солнца, впился в дальний ко-

пец Студеной улицы, по которой теперь, заливаясь колокольчиками, вихрем мчалась исправничья тройка с двумя казаками пазадн. За ней во весь карьер летел открытый дорожный дормез, заложенный пятеркой. В воздухе катилась целая буря отчаянных звуков, нараставших и увеличивавшихся с каждым шагом вперед, как катившийся под гору снежный ком. Когда дормез подъезжал к церкви, вся Студеная улица и площадь представляли собой настоящее море, которое кипело и бурлило каждым своим атомом. Гул колоколов и дружный крик тысяч людей слились в один протяжный стон. Общее внимание было приковано к катившемуся дормезу, в котором сидели трое в белых летних костюмах. Один из них время от времени снимал какую-то пеструю шапочку без козырька и расклапывался на обе стороны.

— Вотан, барин-от... Уррра-а-а!.. — пейстово орал какой-то мастеровой, в порыве энтузиазма хватаясь за колесо останавливавшегося экипажа.

— Голубчик ты наш! родименький! — подвывали в толпе бабы, вытягиваясь на посочки.

Дормез остановился перед церковью, и к нему торпливо подбежал молодцеватый становой с несколькими казаками, в пылу усердия делая под козырек. С заднего сиденья нерешительно поднялся полный, среднего роста молодой человек, в пестром шотландском костюме. На вид ему было лет тридцать; большие серые глаза, с полузакрытыми веками, смотрели усталым, неподвижным взглядом. Его правильное лицо с орлиным носом и белокурыми кудрявыми волосами много теряло от какой-то обрюзгшей полноты.

— И к чему вся эта дурацкая церемония, генерал? — лениво по-французски протянул молодой человек, оглядываясь с подножки экипажа на седого старика с строгим лицом.

— Нельзя, Евгений Константиныч, такой обычай! — по-французски ответил старик, поднимаясь с места.

Шотландский костюм барина сначала немного смутил восторженную публику, но потом все решили, что, вероятно, так нужно, потому барин — значит, закон ему не писан. Баб ужасно заинтересовала клетчатая пестрая юбочка, а мужиков — отсутствие штанов. Пестрый плед, пестрая шапочка, с длинными лентами на затылке, и чулки на ногах тоже были, конечно, подвергнуты самой

строгой критике и тоже получили свое объяснение: барин. Только голые колени барина немного смутили самых смелых, потому что решительно не находилось для них никакого подходящего извиняющего мотива. Зато генерал своей внушительной высокой фигурой и сердитыми седыми усами произвел на окружающих самое хорошее впечатление: настоящий генерал, хотя и штатский. Его длинное лицо, с резкими, точно обрубленными линиями, отдавало солдатской выправкой; только небольшие темные глаза смотрели добрым и открытым взглядом. Дорожный простой костюм старика и мягкая пуховая шляпа представляли рядом с пестротой шотландского костюма приятный контраст.

— Что же мне теперь делать? — с капризными нотками в голосе спрашивал Лаптев, когда генерал вышел из экипажа.

— Ничего больше, как только подняться на колокольню и оттуда раскланяться с народом, — отозвался из экипажа сухонький подвижной господин неопределенных лет.

— Ах, мне не до шуток, Прейн! — усталым голосом проговорил Лаптев.

Сухощавое лицо Прейна с щурившимися бесцветными глазами и тонкими морщинами около породистого горбатого носа улыбнулось беспечной и вместе уверенной улыбкой. Небольшого роста, с сильной грудью и топенькими пожками, Прейн походил на жокея в отставке или наездника из цирка. Слишком нервная натура сказывалась в каждом движении, особенно в игре личных мускулов и улыбающемся, пристальном взгляде. И одет Прейн был как жокей: коротенькая синяя куртка, лакированные сапоги, белые штаны, шляпа-котелок на голове. Его маленькая, тощая фигурка рядом с массивной, представительной фигурой генерала казалась особенно жалкой. Этот подвижный, юркий человек обладал неистощимым запасом какого-то бесшабашного веселья и так же весело и беззаботно острил, когда отправлялся на дуэль, как и сидя за стаканом вина.

Когда Лаптев, в сопровождении Блинова и Прейна, поднимался на церковную паперть, к церкви успели подъехать три следующих экипажа, из которых торопливо повыскакивали Горемыкин, Майзель, Вершинин и двое еще не известных лиц. Они рысцой вбежали на па-

перть, где теперь Лаптев, сняв свою шотландскую шапочку, прикладывался к кресту. Сахаров первым успел просунуть свою коротко остриженную голову и торопливо приложился к барской ручке, подавая пример стоявшим с хлебом-солью депутатам, мастеровым в дареных синих кафтанах и старым служащим еще крепостной выправки. Осанистый старик священник с окладистой седой бородой достал из-под ризы бумажку и хотел по ней прочесть приветственное пастырское слово, но голос у него дрогнул на первых строках, и он только бессвязно пробормотал какой-то текст из Священного писания.

— Пожалуйста, увезите меня отсюда скорее! — взмолился Лаптев, когда на него со всех сторон посыпались рабы поцелуи; кто-то в пылу энтузиазма целовал даже его голое колено.— Это какие-то сумасшедшие!

Выбраться из толпы, которая была слишком наэлектризована этой торжественной минутой, было не так-то легко, и только при помощи казаков и личном усердии станowego и исправника Лаптева наконец освободили от сыпавшихся на него со всех сторон знаков участия. Пришлось пробираться до экипажа через живую стену.

— Евгений Константиныч, куда же это вы? — кричал по-французски Блинов, стараясь пробиться через толпу, которая отделяла его от Лаптева.— Сейчас будет молебен, Евгений Константиныч...

— Оставьте его! — ответил Прейн из экипажа, в который он залез через облучок.— После отслужим... Валийте, генерал, по моему примеру, через облучок: все дороги ведут в Рим.

У коляски Лаптева ожидало новое испытание. По мановению руки Родиона Антоныча десятка два катальных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили тяжелый дорожный экипаж на себе. Толпа неистово редела, сотни рук тянулись к экипажу, мелькали вспотевшие красные лица, раскрытые рты и осовевшие от умиления глаза.

— Что же это такое наконец? — уже сердито обратился Лаптев к Прейну.

Прейн только пожал плечами и сквозь зубы проговорил:

— Пусть их везут, если им это доставляет удовольствие.

— Да я этого не хочу!.. Я лучше пойду пешком.

— Сейчас доедем, Евгений Константиныч,— успокаивал генерал.— Воп, кажется, и господский дом, если не ошибаюсь...

— Да, да...— подтверждал Прейн,— всего несколько шагов...

— Мне остается только поблагодарить вас, генерал, за этот даровой спектакль,— с иронией заметил Лаптев.

— Что делать! нужно потерпеть, Евгений Константиныч! Имейте терпение.

— Стоит для этого тащиться из Петербурга в такую даль.

Когда торжественная процессия приблизилась к господскому дому, окна которого и балкон были драпированы коврами и красным сукном, навстречу показалась депутация с хлебом-солью от всех заводов. Старик, с пожелтевшей от старости бородой, поднес большой каравай на серебряном блюде.

— Примите блюдо и поблагодарите,— шепнул Блинов смутившемуся заводовладельцу.

— Благодарю, господа... Я... очень доволен, хотя, право, это совсем лишнее,— развязно заговорил Лаптев, принимая блюдо от старика.

Чтобы предупредить давешнюю сцену народного энтузиазма, проход от экипажа до подъезда был оцеплен стеной из казаков и лесообъездчиков, так что вся компания благополучно добралась до зала, где была встречена служащими и громким тушем. Лаптев рассеянно поклонился служащим, которые встретили его также хлебом-солью и речью, и спросил, обратившись к Прейну:

— Вы заметили второе окно направо?

— О да... премилое личико! Вероятно, какая-нибудь интересная провинциалочка. Вам не мешает переодеться после дороги...

Прейн провел Лаптева в его уборную, где уже ждал англичанин-камердинер, м-р Чарльз. Лаптев точно обрадовался и даже осведомился, благополучно ли м-р Чарльз сделал последнюю станцию, причем детски-капризным голосом начал жаловаться на страшную усталость и на те церемонии, какими его сейчас только угостили. М-р Чарльз выслушал своего повелителя с почти-тельным достоинством, как и следует слуге высшей школы. Его упитанная, выхоленная фигура, красивое, бесстраст-

ное лицо, безукоризненные манеры, костюм, прическа, произношение, ногти на руках — все было пропикнуто одним сплошным достоинством, которому не было границ. Когда м-г Чарльз гулял для моциона пред обедом, его можно было принять за министра в отставке. Недаром один остряк сказал про Лаптева, что он уважает в свете только одного человека — м-г Чарльза. Этот отзыв был близок к истине.

— Не угодно ли вам выбрать костюм для завтрака? — проговорил м-г Чарльз, предлагая вниманию своего повелителя две дюжины панталон, таковое же количество жилетов, визиток, галстуков и сорочек.

Лаптев ежедневно переодевался *minimum* четыре раза и теперь переменял свой шотландский костюм на светло-серую летнюю пару из какой-то мудреной индийской материи. М-г Чарльз, конечно, не надел бы такого костюма для парадного завтрака, но величественно и с достоинством промолчал.

XII

Пока совершался торжественный проезд Лаптева от церкви до господского дома, в этом последнем первом напряжении достигло до последней степени. Раиса Павловна чувствовала, как у ней похолодели пальцы, а в висках стучала кровь. В своем шелковом кофейном платье, с высоко взбитыми волосами на голове, она походила на театральную королеву, которая готовится из-за кулис выйти на сцену с заученным монологом на губах. Аннинька, м-ше Эмма и Прасковья Семеновна выглядывали на улицу из-за оконных драпировок, а Раиса Павловна стояла у окна вместе с Лушей, одетой в свое единственное парадное платье из чечунчи. «Галки» с лихорадочным нетерпением переживали все перипетии разворачивавшейся пред их глазами комедии. Аннинька во всей этой суматохе видела только одного человека, и этот человек был, конечно, Гуго Братковский; м-ше Эмма волновалась по другой причине — она с сердитым лицом ждала того человека, которого ненавидела и презирала. Прасковья Семеновна смотрела вдоль Студеной улицы со слезами на глазах, точно сегодняшний день должен был окончательно разрешить ее долголетние ожидания. Теперь уж

ждала не одна она, а все ждали — и Раиса Павловна, и m-lle Эмма, и Аппинька. Раиса Павловна внимательно наблюдала Лушу и любовалась ею. Разве эта девушка нуждалась в бархате, кружевах и остальной мишуре, когда природа наделила ее с такой несправедливой щедростью? В порыве чувства Раиса Павловна тихонько поцеловала Лушу в шею и сама покраснела за свою институтскую нежность, чувствуя, что Луше совсем не нравятся проявления чувства в такой форме.

Волна оглушительных криков, когда поезд с барином двинулся от церкви, захлестнула и во второй этаж господского дома, где все встрепенулось, точно по Студеной улице ползло тысячеголовое чудовище. Луша смотрела на двигавшуюся по улице процессию с потемневшими глазами; на нее напало какое-то оцепенелое состояние, так что она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Вот и дормез, который катился по улице точно сам собой... Мелькнула шапочка Лаптева, его волнистые белокурые волосы; Прейн весело раскланялся с Раисой Павловной и, прищурившись, пристально взглянул на Лушу. Луше показалось, что и Лаптев тоже смотрит на нее, и она инстинктивно отскочила от окна в глубину комнаты.

— Приехал! приехал! — восторженно шептала Праксovia Семеновна, не утирая слез, катившихся у нее по щекам.

Пока Лаптев принимал хлеб-соль, к господскому дому подъезжала одна тройка за другой. Из экипажей выходил всевозможный человеческий сброд, ютившийся вокруг Лаптева: два собственных секретаря Евгения Константиныча, молодые люди, очень смахивавшие на сеттеров; корреспондент Перекрестов, попавший в свиту Лаптева в качестве представителя русской прессы, какой-то прогоревший сановник Летучий, фигурировавший в роли застольного забавника и складочного места скабрезных анекдотов, и т. д. Большинство составляло какие-то темные, потертые личности в отличных дорожных костюмах; кто они и что — вероятно, не открыть никаким химическим анализом, никаким самым тщательным микроскопическим исследованием. Эти господа смотрели свысока на всех, презрительно пожимали плечами и лениво перебрасывались шаблонными французскими фразами. Раиса Павловна достаточно насмотрелась на своем веку на эту человеческую мякину, которой обрастает

всякое известное имя, особенно богатое, русское, барское имя, и поэтому пропускала этих бесцветных людей без внимания; она что-то отыскивала глазами и наконец, толкнув Лушу под руку, прошептала:

— Вот она, Луша...

— Кто?

— Да та каналья, которая едет с генералом в качестве его... пу, его метрессы.

Раиса Павловна в бинокль пристально рассматривала толстую, безобразную, небольшого роста даму, которая сидела в дорожной коляске генерала.

— Это какой-то орангутанг! — пропичкала Аннинька, сдержанно хихикая. — Эммочка, голубчик! посмотри... Настоящая обезьяна в мешке!

— Жеваная котлетка... — коротко проговорила m-lle Эмма, лорнируя незнакомку. — Точно сейчас вынутый из банки со спиртом урод!

— Удивляюсь! — медленно протянула Раиса Павловна, поднимая кверху свои жирные плечи.

«Галки» тоже подняли свои плечи и удивились неприхотливому вкусу генерала Блинова. Суд был короток, и едва ли какой другой человеческий суд вынес бы такой строгий вердикт, как суд этих женщин.

Коляска генерала проследовала к генеральскому флигельку, где Нину Леонтьеву встретил пан Братковский, улыбающийся и державший почтительно свою соломенную шляпу в руках.

— Настоящая чугунная болванка! — проговорила m-lle Эмма, когда Нина Леонтьевна вкатилась своей почти квадратной тушей в недра генеральского флигелька.

— Удивляюсь! — еще раз протянула Раиса Павловна и улыбнулась уничтожающей улыбкой, какая убивает репутацию человека, как удар гильотинного ножа.

— Видели? — сдержанным шепотом спрашивал Родион Антоныч, точно вынырнувший около Раисы Павловны из-под земли.

— Да, да... поздравляю с находкой!.. Это какое-то гороховое чучело... монстр! Удивляюсь!.. А что Евгений Константиныч?

— Изволят одеваться, Раиса Павловна. Просто чистая беда... Отец Аристарх давеча хотел сказать ответственное слово и со страху только бородкой трясет...

Ей-богу!.. А народ что делает! Видели, как лесобъездчики катили дормез-то! Как быки, так и прут!

— Что вы тут толчетесь? — оборвала его болтовню Раиса Павловна.— Посмотрите, все ли готово в столовой.

— Смотрел, все смотрел. Готово все-с. Только Евгений Константинович выйдут из уборной, сейчас я вам прибегу сказать.

— Хорошо, хорошо... Mademoiselle Эмма, у вас пуговка у лифа расстегнулась. Аннинька, поправьте галстучек... А ты куда, Луша?

— Я домой, Раиса Павловна.

Раиса Павловна торопливо поцеловала свою фаворитку и отпустила ее восвояси. Луша, пошатываясь, вышла из комнаты, прошла через веранду и в каком-то тумане побрела к своему нищенскому углу. Глаза у ней горели, грудь тяжело поднималась, в горле стояли слезы. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной, как в этот момент, и от бессильной злобы в клочки рвала какую-то несчастную оборку на своем платье. А июньское солнце светило таким благодатным светом, обливая дрожавшим и переливавшимся золотом деревья, траву, цветы и ряды волн, плескавшихся о каменистый берег. Ничего этого не видела Луша, придавленная и уничтоженная своей нищетой.

Раиса Павловна тревожно поглядывала на часы, считая минуты, когда ей нужно будет идти в столовую в качестве хозяйки и вывести за собой «галок», как необходимый элемент, в видах оживления предстоящей трапезы. Прасковья Семеновна в счет не шла.

— Раиса Павловна! — прошептала Аннинька, показывая глазами на то окно, из которого можно было видеть генеральский флигелек.

Измученным глазам Раисы Павловны представилась такая картина: Гуго Братковский вел Нину Леонтьевну под руку прямо к парадному крыльцу. «Это еще что за комедия?» — тревожно подумала Раиса Павловна, едва успев заметить, что «чугунная болванка» была одета с восточной пестротой.

— Прошли в господский дом... — как эхо повторила Аннинька мысли своей патронши.— Вероятно, это чуело ошиблось подъездом.

Когда через пять минут в комнату вбежал встревоженный и бледный Родион Антоныч, дело разъяснилось

вполне, с самой беспощадной ясностью для всех действующих лиц.

— Раиса Павловна! Раиса Павловна! — задыхаясь, шептал верный слуга.— *Она... та*, которая приехала с генералом, теперь в столовой п... и... всем распоряжается. Да, своими глазами видел!

— Не может быть, вы ошиблись? — заметила Раиса Павловна, выпрямляясь во весь рост.

— Нет, Раиса Павловна... Я слышал, как *она* сказала генералу, что желает быть здесь полной хозяйкой и никому не позволит угощать Евгения Константиныча обедом. Генерал ее начал было усовершенствовать, что настоящая хозяйка здесь вы, а она так посмотрела на генерала, что тот только махнул рукой.

В голове у Раисы Павловны от этих слов все пошло кругом; она бессильно опустилась на ближайшее кресло и только проговорила одно слово: «Воды!» Удар был нанесен так верно и так неожиданно, что на несколько мгновений эта решительная и энергичная женщина совсем потерялась. Когда после нескольких глотков воды она немного пришла в себя, то едва могла сказать Родиону Антонычу:

— Передайте Прейну и Платону Васильичу, что я извиняюсь пред Евгением Константинычем, что не могу сегодня, по болезни, занять за столом свое место хозяйки дома...

«Галки» окружили Раису Павловну, как умирающую. Аннинька натирала ей виски одеколоном, m-lle Эмма в одной руке держала стакан с водой, а другой тыкала ей прямо в нос каким-то флаконом. У Родиона Антоныча захолонуло на душе от этой сцены; схватившись за голову, он выбежал из комнаты и рысдой отправился отыскивать Прейна и Платона Васильевича, чтобы в точности передать им последний завет Раисы Павловны, которая теперь в его глазах являлась чем-то вроде разбитой фарфоровой чашки.

В столовой, где был сервирован обед, Родион Антоныч увидел Нину Леонтьевну, окруженную обществом милых бесцветных людей, ходивших за ней хвостом. Тут же толклись корреспондент Перекрестов и прогревший сановник Летучий, ходившие по столовой под ручку и уже давно нюхавшие воздух.

— Когда я был в Сингапуре, нас капитан угостил

однажды китайской рыбой...— повествовал Перекрестов, жидкий и вихлястый молодой человек, с изношенной, нахальной физиономией, мочальной бородежкой и гнусавым, как у кастрата, голосом.

Летучий был не лучше, хотя и в другом роде. Это был седой приличный субъект, с слезившимися голыми глазами старого развратника и плотоядной улыбкой на сморщенных, точно выжатых губах; везде, где только можно, у него блестело массивное золото без пробы и фальшивая бриллиантовая булавка в галстук. Говорил он хриповатым баском и постоянно потирал свои большие руки, затянутые в безукоризненно-свежие лайковые перчатки. Когда-то Летучий был саповником, попечениям которого был вверен целый край, по колесо фортуны повернулось, и он очутился в приживалках у Лаптева, которого утешал своими анекдотами «из детской жизни». Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом помпадурства, являлся настоящим homo novus; в качестве представителя русской прессы он не только из конца в конец обрыскал свое отечество, но исколесил Европу и даже сделал несколько кругосветных путешествий. Его гений не знал меры и границ: в Америке на всемирной выставке он защищал интересы русской промышленности, в последнюю испанскую войну ездил к Дон-Карлосу с какими-то дипломатическими представлениями, в Англии «поднимал русский рубль», в Черногории являлся борцом за славянское дело, в Китае защищал русские интересы и т. д. Единственным плодом от этой кипучей деятельности остались только захватывающие воспоминания о том, что и как он, Перекрестов, ел в Яффе, в Сан-Франциско, в Шанхае, в Кадиксе, в Бостоне, в Каире, Биаррице, Ментоне, на острове Уайте и т. д. На Урал Перекрестов явился почти делегатом от горнопромышленных и биржевых тузов, чтобы «нащупать почву» и в течение двух недель «изучить русское горное дело», о котором он будет реферировать в разных ученых обществах, печатать трескучие фельетоны и входить с докладными записками в каждую официальную щель и в каждую промышленную дыру.

Среди этого сомнительного общества сомнительных людей Нина Леонтьевна являлась настоящим перлом. Небольшого роста, с расплывшимся бюстом, с короткими жирными руками и мясистым круглым лицом,

она была безобразна, как ведьма, но в этом лице сохранились два голубых крошечных глаза, смотревших насквозь умным, веселым взглядом, и характерная саркастическая улыбка, открывавшая два ряда фальшивых зубов. В каком-то невозможном голубом платье, с огненными и оранжевыми бантами, она походила на аляповатую детскую игрушку, которой только для проформы проковыряли иглой глаза и рот, а руки и все остальное набили паклей.

— Послушай, Нина, сейчас Прейн передал мне, что Раиса Павловна хочет сказаться больной, — говорил нерешительно генерал, покручивая усы. — Это выйдет очень неловко... Горемыкина — хозяйка в этом доме, и не пригласить ее просто неделикатно.

— Ты ошибаешься, — с тонкой улыбкой ответила Нина Леонтьевна, — предоставь это, пожалуйста, мне... Необходимо сразу показать ей, где ее настоящее место. К чему разводить эти никому не нужные нежности? Я такая же хозяйка здесь, и ты можешь выбирать между мной и ей...

— Ты забываешь, Нина, как к этому отнесется Прейн.

— О, это не ваша забота, Мирон Геннадич... Не лучше ли вам позаботиться о том, что Евгению Константиновичу пора показаться к народу, который просто неистовствует на улице.

Действительно, под окнами господского дома время от времени точно закипала волна буруна, и в воздухе дыбом поднимался тысячеголосый крик. Генерал только пожал плечами и направился в уборную. Теперь в приемных комнатах оставалась только приехавшая с Лаптевым челядь да избранники в лице заводских управителей. Вершинин, Майзель, Буйко, Дымцевич, Сарматов, доктор Кормилицын, Платон Васильевич и еще несколько человек заслуженных стариков сбились в одну плотную кучу и терпеливо выжидали, когда наконец покажется Евгений Константиныч. «Малый двор» чувствовал себя не совсем хорошо пред лицом «большого двора», хотя Прейн успел со всеми поздороваться и всякому сказать бойкое приветливое слово. Генерал пока познакомился только с Платоном Васильичем и Майзелем, он не обладал счастливым даром скоро сходитьсь с людьми.

Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, он вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной под гребенку. Горемыкин был во фраке и постоянно поправлял свой белый галстук, который все сбивался у него на сторону.

— Жаль, очень жаль...— говорил генерал, поглядывая на двери уборной.— А какой был талантливый человек! Вы думаете, что его уже невозможно спасти?

— Трудно, ваше превосходительство...

— Так, так... Необходимо будет увезти его отсюда,— вслух думал генерал.— У него, кажется, была дочь, если не ошибаюсь?

— Да, теперь совсем взрослая девушка... и очень красивая. Виталий Кузьмич вообще ведет странный образ жизни и едва ли удержится на каком-нибудь другом месте.

Родион Антоныч, не теряя из виду управительского кружка, зорко следил за всеми, особенно за Братковским, который все время сидел в комнате, где была Нина Леонтьевна, и только иногда показывался в зале, чтобы быть на виду у генерала на всякий случай. «Тонкая бестия эта шляхта,— думал про себя Родион Антоныч, утирая вспотевшее лицо платком и со страхом поглядывая на сердитого генерала.— Ох, всех подтянет, всех... Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!..» Когда генерал поворачивался в сторону Родиона Антоныча, он слегка наклонялся вперед и начинал улыбаться блудливой, жалкой улыбкой. Но главное внимание Родиона Антоныча было занято улицей, где гудела десятитысячная толпа и время от времени нестройными вспышками поднималось «ура»; он постоянно подбегал к окошку и зорко вглядывался в море голов, отыскивая кого-то глазами. Швейцару и лесообъездчикам строго-настрого было заказано не пускать близко к подъезду всяких «сомнительных» мужиков, которые могли принести за пазухой какую-нибудь «бумагу к барину», но все-таки осторожность не была лишней. Рабье сердце Родиона Антоныча было теперь преисполнено блаженным трепетом: барин был в двух шагах — он сейчас выйдет. У верного слуги даже щипало в горле от неиспытанного счастья лицезреть барина, который в течение двадцати лет являлся каким-то полумифическим существом.

Ожидание продолжалось уже целый час, а барин все не показывался. Прейш несколько раз наведывался в его комнату и успел уже переодеться два раза. Генералу тоже надоело ждать, и он тоже отправился в уборную, где и застал такую картину. Чарльз, вытянутый и важный, почтительно стоял у дверей, а сам Лаптев заставлял великолепного бланжевого пойнтера Брунгильду подавать попку. Умная собака, стоявшая несколько тысяч, сходила за бешеным платком раз десять, а затем, видимо, смутилась и, помахивая тонким хвостом, вопросительным умным взглядом смотрела на м-г Чарльза.

— Господи, что же это такое? — взмолился генерал, останавливаясь перед Лаптевым. — Евгений Константиныч! вас ждут целый час тысячи людей, а вы возитесь здесь с собакой! Это... это... Одним словом, я решительно не понимаю вас.

— Посмотрите, генерал, какая упрямая эта Брунгильда, — весело ответил Лаптев, — а я еще упрямее и непременно заставлю ее сделать по-своему. Вы сами увидите... Brunehaut, apportel!.. ¹

XIII

Когда Родион Антопыч сообщил о болезни Раисы Павловны, Прейш только поднял высоко брови и равнодушно проговорил:

— Ага!

— Она извиняется, что не может выйти к обеду, — продолжал Родион Антопыч, склоняя голову на один бок.

— Ага!

— Раиса Павловна просила передать свои извинения Евгению Константинычу.

— Ага!

У бедного Ришелье зацемило на душе от этого «ага», которое черт его знает что значило.

За обедом о Раисе Павловне тоже не было сказано ни одного слова, хотя за столом сидели битых два часа, вплоть до самого вечера. Это был своего рода первый застольный турнир между малым и большим двором, на котором противники могли померяться силами. «Больш-

¹ Брунгильда, принеси!.. (фр.)

шой двор», конечно, подавлял «малый» своими исключительными преимуществами, хотя все по возможности старались держать себя на равной ноге. Евгений Константинович говорил мало и преимущественно обращался к Нине Леонтьевне, которая, видимо, пользовалась его особенным вниманием. Кроме других лакеев, за столом прислуживал и м-г Чарльз, который подавал кушанье только своему патрону, Прейну, генералу, Нине Леонтьевне и Платону Васильевичу. Последний все время сидел как на иголках: у бедного ходили круги в глазах при одной мысли о том, что его ждет вечером у семейного очага. Нина Леонтьевна в качестве хозяйки старалась поддержать самый неприпужденный разговор, что ей было не особенно трудно сделать при трогательных усилиях всех действующих лиц. Перекрестов рассказывал о всевозможной еде, какую он испробовал во всевозможных широтах и долготах, при самом разнообразном барометрическом давлении и всевозможных отклонениях магнитной стрелки. Сарматов, конечно, воспользовался таким удобным случаем и довольно развязно присоединил к этому повествованию свой скромный голос.

— Когда я служил с артиллерийским парком на Кавказе, — рассказывал он, стараясь закрыть свою лысину протянутым из-за уха локоном, — вот где было раздолье... Представьте себе: фазаны! Настоящие золотые фазаны, все равно как у нас курицы. Только там их едят не так, как у нас. Вообще записной охотник не дотронется до свежей дичи, а мы убитых фазанов оставляли на целую неделю на воздухе, а потом уж готовили... Получался необыкновенный букет!

— Ага! — протянул Прейн.

— Не много ли будет: неделя? — заметил Вершинин. — Температура на Кавказе высокая, и в неделю из ваших фазанов останутся одни перья.

— Ах, Демид Львович... В этом-то и шик! Мясо совсем черное делается и такой букет... Точно так же с кабанями. Убьешь кабана, не тащить же его с собой: вырежешь язык, а остальное бросишь. Зато какой язык... Мне случалось в день убивать по дюжине кабанов. Меся даже там прозвали «грозой кабанов». Спросите у кого угодно из старых кавказцев. Раз на охоте с графом Воронцовым я одним выстрелом положил двух матерых кабанов, которыми целую роту солдат кормили две недели.

Бесстрастное неподвижное лицо Лаптева обратилось к рассказчику, и на нем мелькнула едва заметная улыбка. Наклонившись к Прейну, он тихо спросил:

— Это кто?

— Штабс-капитан Сарматов, управитель Мельковского завода.

Этого было достаточно, чтобы до десятка лиц с скрытой завистью посмотрели на Сарматова, который был замечен Евгением Константинычем. Это была целая карьера для «грозы кабанов». Летучий и Перекрестов переглянулись и блудливо заерзали на своих местах; неожиданный успех Сарматова задел их за живое. Бесцветные люди павели свои лорнеты и пенсне на «грозу кабанов». Прейн еще раз сказал свое «ага». Нина Леонтьевна потихоньку наблюдала представителей «малого двора» и особенно осталась довольна Вершининым и Майзелем, которые держали себя с достоинством и отвечали очень находчиво. Вершинин настолько освоился с «большим двором», что раза два очень ядовито оборвал завравшегося Перекрестова, которого невзлюбил с первого раза, как соперника по застольному красноречию. Между строк скоро выработалось то молчаливое соглашение, при помощи которого определяются взаимные отношения людей, видевших друг друга в первый раз. Генерал пытался было поднять серьезный разговор на тему о причинах общего упадка заводского дела в России, и Платон Васильевич наострил уже уши, чтобы не пропустить ни одного слова, но эта тема осталась гласом вопиющего в пустыне и незаметно перешла к более игривым сюжетам, находившимся в специальном заведовании Летучего. Нина Леонтьевна нимало не смутилась таким оборотом разговора и громко смеялась над остроумными анекдотами прогоревшего помпадура. Один м-г Чарльз оставался в этой компании невозмутимо спокойным и неподвижным, точно замороженный. Он смотрел на обедающих свысока, как сфинкс, которого никто не может разгадать. По всей вероятности, если бы м-г Чарльз имел право и возможность, он всей собравшейся здесь компании молча и замороженно показал бы на дверь.

После обеда, когда вся компания сидела за стаканами вина, разговор принял настолько непринужденный характер, что даже Нина Леонтьевна сочла за лучшее удалиться восвояси. Лаптев пил много, но не пьянел, а

только поправлял свои волнистые белокурые волосы. Когда Сарматов соврал какой-то очень пикантный и невозможный анекдот из бессарабской жизни, Лаптев опять спросил у Прейна, что это за человек.

— Ага! Это штабс-капитан Сарматов, или «гроза кабанов»! — ответил Прейн, щуря свои бесцветные глаза.

Бесцветные молодые люди смеялись, когда смеялся Лаптев, смотрели в ту сторону, куда он смотрел, пили, когда он пил, и вообще служили громадным зеркалом, в котором отражалось малейшее движение их патрона.

Из-за обеда вся компания поднялась вместе с сумерками, когда в открытые окна со стороны сада потянуло свежей пахучей струей. Господский дом, здание заводоуправления, фабрика и сад были роскошно иллюминированы, а на пруду, на громадном плоту из бревен, затрепал и захлопал фейерверк. Для гудевшего на улице народа на балконе господского дома играла музыка, и ночной воздух при каждом хлопке взвивавшихся кверху огненными дугами ракет потрясался взрывами народного восторга. Появлялись пьяные и особенно усердно орали барину хриплую пьяную «уру». Евгений Константиныч выходил на балкон, и каждый раз его встречали оглушительными залпами самых восторженных криков. Генерал задумчиво смотрел на волновавшуюся тысячеголовую толпу, которая в его глазах являлась собранием тех пудо-футов, которые служили материалом для его экономических выкладок и соображений.

Все это трескучее торжество отзывалось на половине Райсы Павловны похоронными звуками. Сама она, одетая в белый пенюар с бесчисленными прошивками, лежала на кушетке с таким истомленным видом, точно только сейчас перенесла самую жестокую операцию и еще не успела хорошенько проснуться после хлороформирования. «Галки» сидели тут же и тревожно прислушивались к доносившимся с улицы крикам, звукам музыки и треску ракет.

Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Райса Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести

Евгения Константиныча по фабрикам, на медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.

Летняя короткая почь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю. Домики Кукарского завода на этой руке сделались бы не больше тех пылинок, которые остаются у нас на пальцах от крыльев моли, а вместе с ними погибли бы и обитатели этих жалких лачуг, удрученные непосильной пошей своих подлостей, иштриг, глулости и чисто животного эгоизма.

Посмотрите, как крестится и шепчет торопливо молитву на сон грядущий Родион Антоныч; в голове кукарского Ринелье работает тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления тревожного дня. У Родиона Антоныча тяжело на душе, а в ушах все еще отдается «ага» Прейна. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы ухватиться придавленный неудачей мозг. Он теперь переживает в сотый раз пансенное оскорбление Раисе Павловне и не видит выхода. Стоит ему сомкнуть глаза, как встает целый ряд обидных картин: вот торжествует Майзель с своей птицей—Амальхой, вот улыбается в бороду Вершинин, вот ликует Тетюев...

В генеральском флигельке наступившая ночь не припесла с собой покоя, потому что Нина Леонтьевна недовольна поведением генерала, который, если бы не она, паверно позволил бы Раисе Павловне разыгрывать совсем неподходящую ей роль. В своей ночной кофточке «чугунная болванка» убийственно походит на затасканную замшевую куклу, но генерал боится этой куклы и боится сказать, о чем он теперь думает. А думает он о своем погибающем друге Прозорове, которого любил по студенческим воспоминаниям.

— Посмотрим, как вы будете держать себя дальше... — грозно шипит «чугунная болванка». — С своей стороны могу сказать только то, что при первой вашей уступке *этой* женщине я сейчас же уезжаю в Петербург.

Генерал уверяет, что никаких уступок не последует с его стороны и что он должен честно выполнить взятую на себя задачу.

В убогом флигельке Прозорова мигает слабый свет, который смотрится в густой тени тополей и черемух яркой точкой. Сам Прозоров лежит на прорванном диване с папироской в зубах. Около него на стуле недопитая бутылка с водкой, пепельница с окурками, рюмка с обломанным донышком и огрызки соленого огурца.

— Набоб приехал... Ха-ха! — смеется он своим нехорошим смехом, откидывая волосы.— Народный восторг и общее виляние хвостов. О почтеннейшие подлецы с Мироном Блиновым во главе! Неужели еще не выросла та осина, на которой всех вас следует перевешать... Комедия из комедий и всероссийское позорище. Доколе, о господи, ты будешь терпеть сих подлецов?.. А царица Раиса здорово струхнула, даже до седьмого пота. Ха-ха!

Луша слышит эту болтовню, и ей делается страшно в своей комнате, где она напрасно старается углубиться в чтение романа, который ей принес на днях Яшка Кормилицын. Ей душно и тяжело. Эти стены ее давят. Хочется воли, простора, воздуха, чтобы хоть раз вздохнуть полной грудью, вздохнуть и... а там будет что будет! Она унесла в своей головке частичку той суеты, свидетельницей которой была давеча. У ней еще стоят в ушах крики тысячной толпы, волны музыки, и она все еще видит этот разноцветный дождь, который рассыпался над ней во время фейерверка. Она видит обрюзглого молодого человека, который смотрел на нее давеча из коляски, видит его волнистые белокурые волосы и переживает тяжелое, томительное чувство странной зависти за свое существование. Отчего она не была на этом обеде, где весело играла музыка, слышался смех и лилось дорогое вино? Воображение рисовало ей заманчивую картину: как она является царицей таких обедов, как все удивляются ее красоте и как все преклоняется пред ней, даже этот белокурый молодой человек с усталыми глазами. Сегодня подушка ей кажется особенно тяжелой, а роман Яшки Кормилицына скучнее его самого. Воздуха! воздуха!

А в спальне Лаптева происходит в это время такая сцена. Евгений Константиныч сидит с папиросой в зубах и задумчиво смотрит в пространство.

— Альфред! ты видел этого молодого человека?..— говорит он, обращаясь к Прејну, который маленькими шажками бойко бегал по кабинету.

— Секретаря генерала... Братковского? Да. Он обедал с нами.

— Я и говорю об этом. Такие же глаза, такие же волосы и такая же цветущая сильная фигура... Он очень походит на свою сестру. Как ты находишь, Альфред?

— Ага...— неопределенно мычит Прејн, вскидывая глаза на своего друга-повелителя.— Кажется... Гортензия Братковская... красавица?

— А что она теперь делает, по-твоему?

— Вероятно, где-нибудь на водах. Она собиралась ехать... Да, очень красивая и еще более упрямая девочка. Знаете, что она имела в виду?

— ?

— Она мечтала быть madame Лаптевой.

Лаптев издает неопределенный носовой звук и улыбается. Прејн смотрит на него, прищуриив глаза, и тоже улыбается. Его худощавое лицо принадлежало к типу тех редких лиц, которые отлично запоминаются, но которые трудно определить, потому что они постоянно меняются. Бесцветные глаза под стать лицу. Маленькая эспаньолка, точно приклеенная под тонкой нижней губой, имеет претензию на моложавость. Лицо кажется зеленоватым, изможденным, но крепкий красный затылок свидетельствует о большом запасе физической силы.

— Что мы будем здесь делать? — спрашивал Лаптев лениво.

— А генерал?

— Да-а...

— Потом необходимо съездить на другие заводы, побываем в горах, устроим охоту... Будет любительский спектакль и бал. Кстати, завтра будем осматривать завод, то есть собственно фабрику и рудник.

— А без этого нельзя обойтись, Альфред?

— Нет.

— А «гроза кабанов» будет завтра? Он смешно врет...

Лаптев лениво смеется, и если бы бесцветные «почти молодые люди» видели эту улыбку, они мучительно бы перевернулись в своих постелях, а Перекрестов написал бы целый фельетон на тему о значении случайных фаворитов в развитии русского горного дела.

Через полчаса, при помощи м-г Чарльза, Евгений Константинович отходит ко сну, напрасно стараясь решить, что теперь делает Гортензия Братковская. Ночь покрывает и этого магната-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч населения, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводский округ, покровительственная система, генерал Блинов, во сне грезящий политико-экономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить в две недели русское горное дело, и десяток тех цепких рук, которые готовы вырвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развлечениях!

XIV

На другой день по приезде Лаптева, по составленному генералом маршруту, должен был последовать генеральный осмотр всего заводского действия.

Евгений Константинович проснулся довольно поздно, когда на фабрике отдали свисток к послеобеденным работам. В приемных комнатах господского дома уже толклись с десяти часов утра все главные действующие лица. Платон Васильич с пяти часов утра не выходил с фабрики, где ждал «великого пришествия языков», как выразился Сарматов. Прейн сидел в спальне Раисы Павловны, которая, на правах больной, приняла его, не вставая с постели.

— Мне остается только поблагодарить вас за внимание... — говорила Раиса Павловна, запуская своему другу шпильку.

— Что же мне было делать, когда эта свинья сама залезла за стол! — оправдывался Прейн. — Не тащить же было ее за хвост... Вы, вероятно, слышали, каким влиянием теперь пользуется генерал на Евгения Константиныча.

— Но ведь тут маленькая разница: генерал или его метресса...

Прейн только поднял брови и развел руками.

— Что она такое, если разобрать... — продолжала

Раиса Павловна волнуясь.— Даже если мы закроем глаза на ее отношения к генералу, что она такое сама по себе?

— Это черт, а не женщина — вот она что такое! — проговорил Прейн.— Представьте себе, она *нравится* Евгению Константинычу. Понятно, нравится не как женщина, а как остроумный и ядовитый человек.

— Я это знала раньше вас и могла только удивляться, как вы могли допустить подобную вещь...

— Как Пилат, я могу умыть руки в этом деле с чистой совестью.

Раиса Павловна горько усмехнулась и с презрением посмотрела на Пилата.

— А в сущности, все это пустяки, моя дорогая,— заговорил торопливо Прейн, поглядывая на часы.— Могу вас уверить, что вся эта история кончится ничем. Увлечение генералом соскочит с Евгения Константиныча так же скоро, как наскочило, а вместе с ним улетит и эта свинушка...

Надеждам и обещаниям Прейна Раиса Павловна давно знала настоящую цену и поэтому не обратила на его последние слова никакого внимания. Она была уверена, что если слетит с своего места по милости Тетюева, то и тогда Прейн только умоет руки во всей этой истории.

— Вы папейтесь кофе у меня,— предлагала Раиса Павловна, дергая сощетку.

— Мне, собственно, некогда...— завертелся Прейн, выпимая часы.— Евгений Константиныч проспнулся и сейчас отправляется осматривать фабрики.

— Ничего, пусть подождет. У меня есть кое-что передать вам...

Пока Прейн пил чашку кофе с поджаренными сухариками, Раиса Павловна рассказала ему о происках Тетюева и компании, причем сделала предположение, что и поездка Лаптева на заводы, по всей вероятности, дело тетюевских рук. Прейн слушал ее внимательно, как доктор слушает рассказ пациента, и, прихлебывая из чашки кофе, после каждой паузы повторял свое неизменное «ага». Когда этот длинный рассказ был кончен, Прейн на минуту задумался и, повертев пальцем около лба, проговорил:

— Это для меня новость, хотя, собственно говоря, я и подозревал кое-что. Если это устроил Тетюев, то он

замечательно ловкий человек, и чтобы разбить его, мы воспользуемся им же самим... Ха-ха!.. Это будет отлично... У меня есть свой план. Вот увидите.

— А я не могу узнать ваш план?

— Отчего же, с большим удовольствием! План самый простой: я постараюсь дать полный ход всем замыслам Тетюева, буду ему помогать во всем — вот и только.

Раиса Павловна онемела от изумления, а Прейн засмеялся своим неопределенным смехом.

— Я решительно ничего не понимаю... — проговорила она, стараясь угадать, не шутит ли Прейн. — Вы говорите серьезно?

— О, совершенно серьезно. Это будет замечательная комедия...

— Комедия, в которой душой останусь я одна?

— Да нет же, говорят вам... Право, это отличный план. Теперь для меня все ясно, как день, и вы можете быть спокойны. Надеюсь, что я немножко знаю Евгения Константиныча, и если обещаю вам, то сдержу свое слово... Вот вам моя рука.

— Честное слово?

— Самое честное слово!.. Честное слово старого друга... Однако мне пора идти, меня ждут.

Поцеловав руку Раисы Павловны, Прейн быстро направился к двери, но вернулся с дороги и с улыбкой проговорил:

— А как насчет живности, моя дорогая? Ведь это один из самых капитальных вопросов, а то мы можем соскучиться...

— Какие вы глупости говорите, Прейн! — улыбнулась Раиса Павловна уже с сознанием своей силы. — Mademoiselle Эмма, которую вы, кажется, немного знаете, потом Анпинык!.. и будет! У меня не воспитательный дом.

— Это какая Анпинык? Не та ли самая, которая стояла с вами в окле, когда мы въезжали на ослах?

Раиса Павловна ничего не ответила, а только загадочно улыбнулась неисправимому старому грешнику.

В это время прибежал лакей, разыскивавший Прейна по всему дому, и интересный разговор остался недокопченным. Евгений Константиныч кушали своей утрепный кофе и уже два раза спрашивали Альфреда Осипыча. Прейн нашел своего повелителя в столовой, где он за

стаканом кофе слушал беседу генерала на тему о причинах упадка русского горного дела.

— Насколько я успел познакомиться с горнозаводской промышленностью в Швеции... — перебивал несколько раз Перекрестов, седлая свой нос пенсне, но генерал не обращал на него внимания.

Летучий сидел уже с осовелыми, слипавшимися глазами и смотрел кругом с философским спокойствием, потому что его роль была за обеденным столом, а не за кофе. «Почти молодые» приличные люди сделали серьезные лица и упорно смотрели прямо в рот генералу и, по видимому, вполне разделяли его взгляды на причины упадка русского горного дела.

— Где это ты пропадал? — спросил лениво Лаптев, когда Прейн занял свое место за столом.

— Делал маленький моцион по саду, — соврал Прейн, не моргнув глазом. — Мы сейчас отправляемся в завод, генерал?

— Да, — коротко отвечал генерал.

Вершинин и Майзель сидели с самыми благочестивыми лицами, как те праведники, для которых разгневанный бог мог пощадить целый город грешников. Они тоже намерены были сопровождать своего повелителя по тернистому пути. Сарматов вполголоса рассказывал Летучему какой-то, вероятно, очень скромный анекдот, потому что сановник морщил свой тонкий орлиный нос и улыбался плотоядной улыбкой, открывавшей гнилые зубы.

До фабрики от господского дома было рукой подать, и Прейн предложил идти пешком, тем более что день был великолепный, хотя немного и жаркий. Когда вся компания вышла к подъезду, к ней присоединился Родион Антоныч, стерегший здесь свою позицию, чтобы кто не угостил барина проклятой «бумагой». Но ходоки от сельского общества были прогнаны казаками, и вся компания благополучно проследовала до ворот фабрики, где уже ждал Платон Васильич, взволнованный и бледный, с крупными каплями пота на лице. Фабричные корпуса и всевозможные печи выглядели сегодня по-праздничному, как и попадавшиеся рабочие и мелкие служащие. Все было на своем месте и при своем деле. Уставщики и надзиратели вытягивались в струнку, рабочие встречали барина без шапок. Даже вычищенные и смазанные машины, кажется,

были готовы приветливо улыбнуться, если бы в них было устроено подходящее для такой цели колесо или вал.

— Вот мы и посмотрим все у вас, Платон Васильич, — тараторил Прейн, забегаая вперед и весело здороваясь с рабочими. — Тут у меня много старых знакомых... Кум Елизарыч, Вавило да Гаврило, Спиридон...

Кум Елизарыч, осанистый, седой, плотный, с окладистой бородой старик, скоро был представлен вниманию Евгения Константиныча, который сказал ему несколько милостивых слов и спросил, сколько ему лет.

— Семьдесят, Евгений Константиныч! — ответил бодрый старик, перекладывая свое правило из руки в руку.

— А сколько лет служишь в заводе, кум Елизарыч? — допрашивал Прейн, похлопывая старика по плечу.

— Лет с шестьдесят наберется, Альфред Осипыч.

Кум Елизарыч был отчаянный плут и обдирал рабочих на каждом шагу, но, глядя на это старческое, открытое и убеленное благообразной сединой лицо, можно было умилиться. У Родиона Антоныча с кумом Елизарычем были вечные дела, и они не оставались в накладе от взаимных услуг. Вавило и Гаврило были знаменитые катальные мастера, бросавшие двенадцатицудовую рельсовую болванку на катальной машине с вала на вал, как игрушку; Спиридон, первый силач, работал у обжимочного молота. Рабочие любили Прейна, который умел обращаться с ними. В свои побывки на заводы он часто приглашал лучших мастеров к себе и пил с ними чай, не отказывался крестить у них ребят и задавал широкие праздники, на которых сам пил водку и любил слушать мужицкие песни. Конечно, это было немного, но этого немногого было совершенно достаточно, чтобы Прейна, никогда не сделавшего никакого добра рабочим, все любили, а молчаливого и бесцветного Платона Васильича, по-своему хорошо относившегося к рабочим и делавшего для них все, что от него зависело, не только не уважали, но готовы были ему устроить всякую пакость.

— Ведите нас в катальную фабрику, — предложил Прейн затруднившимся, с чего начать, Платону Васильичу; он заметил уже, что Евгений Константиныч морщится и бредет по заводу только из приличия.

Собственно завод занимал широкую квадратную площадь, ограниченную с одной стороны плотиной, а с трех остальных — длинными зданиями фабричной конторы,

механической, амбарами и высокой каменной стеной. По самой середине пробегала пенившаяся Кукарка. На площади там и сям валялись кучки песку, свежего доменного шлака, громадные горновые камни и полузаросшие свежей зеленой травкой сломанные чугунные шестерни и катальные валы, походившие издали на крепостные пушки. В дальнем углу виднелось несколько дровосушных печей, около которых, среди беспорядочно наваленных дровяных куч, пестрела голосистая толпа поденщиц-дровосухек; эта чумазая и покрытая сажей толпа с жадным любопытством провожала глазами барина, который прошел прямо в катальную. Визг и звонкий девичий смех как-то не вязался с этой суровой обстановкой дымивших доменных печей и подавленного грохота катальных машин, являясь каким-то диссонансом в этом царстве огня и железа. На дороге попало несколько рабочих, очевидно только что кончивших свою смену. Растегнутые ворота пестрядевых рубах, сожженные, покрытые потом лица, бессильно опущенные с напружившимися жилами руки, усталая походка — все говорило о том, что они сейчас только вышли из огненной работы. У входа в катальную их встретил рабочий с зажженным пуком березовой лучины. На первый раз трудно было что-нибудь разглядеть в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, обжимочный молот в одном углу, темные стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями, в которые весело глядело летнее голубое небо и косыми пыльными полосами врывались солнечные лучи. В глубине корпуса около низких печей, испускавших сквозь маленькие окошечки ослепительный свет, каким светит только добела накаленное железо, быстро двигались и мелькали фигуры рабочих; на всех были надеты кожаные передники — «защитки», на головах войлочные шляпы, а на ногах мягкие пеньковые пряденики. Со стороны водяного ларя тянула холодная струя сквозного воздуха; где-то глухо капала вода и с подавленным визгом вертелось колесо, заставляя вздрагивать даже чугунные плиты, которыми была вымощена вся фабрика.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — проговорил Платон Васильич, когда по фабрике пронесся пронзительный свист.

Старик уставщик, сняв шапку, ждал у катальной машины.

— Пустите машину! — приказал Горемыкин.

Где-то глухо загудела вода, и за стеной грузно повернулось водяное колесо. Вся фабрика вздрогнула, и стальные валы катальной машины завертелись с неприятным лязгом и взвизгиванием. Сначала еще можно было различить их движения, а потом все слилось в одну мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, которое невольно заставляло думать, что вот-вот, еще несколько поворотов водяного колеса — и вся эта масса вертящегося чугуна, железа и стали разлетится вдребезги. В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую минуту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую железную тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью; Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве стга и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости.

Перекрестов вытащил из бокового кармана записную книжечку и что-то царапал в ней, по временам вскидывая глазами на Вавило и Гаврилу.

— Этакие медведи! — восхищался кто-то.

После катальной посмотрели на Спиридона, который у обжимочного молота побрасывал сырую крицу, сыпавшую дождем горевших искр, как бабы катают хлебы. Тоже настоящий медведь, и длинные руки походили на железные

клетки, так что трудно было разобрать, где в Спиридоне кончался человек и начиналось железо.

— Молодец! — похвалил Прейн своего фаворита.

— Теперь пойдёмте смотреть новый маховик, — предложил Горемыкин, когда совсем готовый рельс был сброшен с машины на пол.

Маховик помещался в новом деревянном корпусе. Молодой машинист в запачканной блузе, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки масло в медную подушку маховика, который еще продолжал двигаться, поднимая ветер. Уставщик распорядился пустить воду, чтобы показать во всей красоте работу этого чудовища в тысячу пудов. Эффект вышел действительно поразительный, и Горемыкин смотрел на это чугунное детище глазами счастливого отца. Лаптев не мог разделять этого чувства и наблюдал вертевшееся колесо своими усталыми глазами с полнейшим равнодушием.

После рельсовой фабрики были осмотрены кирпичные горны и молоты, пудлинговые печи, печи Мартена, или Мартына, как их окрестили рабочие; затем следовал целый ряд еще новых печей: сберегающая топливо регенеративная печь Сименса, сварочные, литейные, отражательные, калильные и т. д. Осмотрены были водяные турбины, которые приводили в движение воздуходувные меха, пять паровых машин, механический корпус, где работали вертикальные и горизонтальные токарные станки, строившийся паровой молот и даже склады чугуна в штыках и припасах, железо во всевозможных видах: широкополосное, брусковое, шинное, листовое и т. д. Но Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы. Только под доменной печью, где нарочно для него был сделан выпуск, он долго и внимательно следил за выплывавшей из отверстия печи огненной массой расплавленного чугуна, которая красными ручейками расходилась по чугунным и вырытым в песке формам, время от времени, когда на пути попадалось сырое место или какая-нибудь щепочка, вскидывая кверху сноп ослепительно ярких искр.

— Да, красиво... — проговорил он точно про себя, тыкая горячий шлак тросточкой. — Теперь, кажется, все? — обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему главному управляющему.

— Нет, еще не все,— отозвался Прейн.— Мы сейчас едем на Медный рудник и спустимся в шахту.

Генерал был того же мнения, но Лаптев протестовал против такого решения и повернул к выходу, а за ним повернули и все остальные соглядатаи и приспешники. Они все время лезли из кожи, чтобы выказать свое внимание к русскому горному делу: таращили глаза на машины, ощупывали руками колеса, лазили с опасностью жизни везде, где только может пролезть человек, и даже нюхали ворвань, которой были смазаны машины. Генерал ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу.

— Домой! — проговорил Лаптев, торопливо направляясь к выходу.

— Ага! — ответил Прейн.

Сотни любопытных глаз следили все время, как барин осматривал фабрики, и можно было подумать, что все стены и щели имели глаза.

XV

Барин приехал. Что это был за человек — едва ли кто на Кукарских заводах знал хорошенько, хотя барину было уже за тридцать лет. На своих заводах Лаптев всего был раз, десятилетним мальчиком, когда он приезжал в Россию из-за границы, где родился, получил воспитание и жил до последнего времени. Впрочем, вся восходящая линия Лаптевых вела точно такой же образ жизни, появляясь в России наездом. Исключение представляли только первые представители этой семьи, которые основывали заводы и жили в них безвыездно. Это была крепкая мужицкая семья настоящих «расейских» лапотников: первым в родословном дереве заводовладельцев считался Гордей, по прозванию Лапоть.

Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип, собственно, только два поколения — сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли всю

Европу и, в частности, облюбленный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством. В Париже, Вене, Италии были понастроены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они и коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков. Здесь они родились, получали воспитание и женились на аристократических вырождаках или знаменитостях сцены и *demi-monde*'а¹, пускали семья и в крайнем случае возвращались на родину только умереть. Некоторые из представителей этой фамилии не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски; единственным основанием фигурировать в качестве «русских принцев» были те крепостные рубли, которые текли с Урала на веселую далекую за границу неиссякаемой широкой волной. Эти мужицкие вырождаки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств. Были тут жуиры и прожигатели жизни *pur sang*², были меломаны, были чудачки по профессии, были меценатствующие «вельможи», антиквари, библиоманы и просто шалопаи. Единственная вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро «раскланываться с здешним миром», как говорят китайцы о смерти. За последние полтора-два десятилетия средняя цифра жизни этих магнатов не превышала сорока лет. Но и этого периода было совершенно достаточно, чтобы около каждого из Лаптевых выросла своя собственная баснословная легенда, где бессмысленная роскошь азиатского пошиба рука об руку шла с грандиозным российским самодурством, которое с легким сердцем перешагивало через сотни тысяч в миллионы рублей, добытые где-то там, на каком-то Урале, десятком тысяч крепостных рук... Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги фамилии Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе европейских и всесветных безобразников.

Последний из Лаптевых — Евгений Константиныч — был замечателен тем, что к нему никак нельзя было при-

¹ полусвета (фр.).

² чистой крови (фр.).

мениться. Даже такие люди, как Прейн, у которого на руках вырос маленький «русский принц» — и тот не знал хорошенько, что это был за человек. Вероятно, в часы раздумья, если они только находили на него, Евгений Константиныч сам удивлялся самому себе, так все в его жизни было перепутано, непонятно и непредвидимо. Когда еще он был бойким, красивым мальчиком, приспешники и приживальцы возлагали на него большие надежды, как на талантливого и способного ребенка; воспитание он, конечно, получил в Париже, под руководством разных светил педагогического мира, от которых, впрочем, не получил ничего, кроме органического отвращения ко всякому труду и в особенности к труду умственному. Юношей он прошел школу всех молодых набобов и в двадцать лет выглядел усталым, пресыщенным человеком, который собственным опытом убедился в «суете сует и всяческой суете» нашей общей юдоли плача. Но ведь каждый человек вносит с собой хоть какую-нибудь микроскопическую особенность, по которой его можно было бы отличить от других людей. Такой особенностью Евгения Константиныча служила уже упомянутая нами взбалмошность: никто не мог поручиться за его завтрашний день. По природе он не был ни зол, ни глуп, но отчасти воспитание, отчасти обстановка, отчасти грехи предков сделали из него капризного ребенка с отшибленной волей. Единственное, что еще он любил и мог любить, — это была еда и, между прочим, женщины, как острая приправа к другим мудреным кушаньям.

Поездка и даже окончательное переселение в Россию у Евгения Константиныча случились как-то вдруг, почти само собой, когда его обругала какая-то бульварная парижская газетка. Дворцы и палаццо, рассованные по разным укромным уголкам Европы, пошли с молотка вместе с фамильными редкостями, из которых можно было бы составить великолепный музей для назидания благодарного потомства. В числе распроданных редкостей, попавших в руки барышников и ростовщиков, находились такие замысловатые вещицы, как сахарница в пятнадцать тысяч франков, охотничья лядунка в двадцать тысяч, экран к камину в сорок и т. д.

Поселившись в России, которая для Лаптева заключалась в Петербурге, он неожиданно для всех задумал поездку на Урал.

«Большой двор», группировавшийся около заводо-владельца, во главе имел всеявного Прейпа, который из всех других достоинств обладал ничем незаменимым качеством — никогда не быть скучным. Кто он такой был сам по себе — трудно сказать, если только Прейн сам знал свою родословную. Впрочем, он никогда не чувствовал особенного пристрастия к историческим и генеалогическим изысканиям, вполне удовлетворяясь настоящим. Достаточно сказать, что у Лаптевых он был с детства своим человеком и забрал великую силу, когда бразды правления перешли в собственные руки Евгения Константиныча, который боялся всяких занятий, как огня, и все передал Прейну, не спрашивая никаких отчетов. Таким образом в руках Прейна сосредоточивались за последние двадцать лет все нити и пружины сложного заводского хозяйства, хотя он тоже не любил себя обременять усиленными занятиями. В качестве главноуполномоченного от заводо-владельца Прейн года через три приезжал на заводы, проводил здесь лето и уезжал за границу. Он пользовался хорошей репутацией у служащих и у рабочих, хотя ни те, ни другие не видели от него большой пользы. Секрет заключался в том, что Прейн умел всех хорошо и ласково принять и наобещать гору. Заводские остряки по этому поводу говорили, что Прейпа можно даже послать в лавочку за папиросами. Но вместе с тем податливый на обещания, Прейн с дьявольской ловкостью умел отвернуться от их исполнения, и поймать его в этом случае было крайне трудно. Каким был Прейн при крепостном праве, таким остался и после воли. Враги называли его глупым, друзья считали умным. Во всяком случае, положительного зла он не делал никому, хотя смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не заметил он». Время на заводах Прейн обыкновенно проводил на охоте. Вообще люди, близко знавшие Прейна, могли про него сказать очень немного, как о человеке, который не любил скучать, мог наобещать сделать вас завтра бухарским эмиром, любил с чаем есть поджаренные в масле сухарики, всему на свете предпочитал дамское общество... и только. Ко всевозможным переменам и пертурбациям в составе большого и малого дворов Прейн относился почти индифферентно, и его жизнь катилась вольно и широко, как плохая сама по себе, но дружно разыгранная на сцене пьеса.

Само собой разумеется, что в жизни «большого двора»

Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда в стороне от всяких происков и интриг. После него в состав «большого двора» входили служащие главной петербургской конторы, как стоявшие ближе других к особе заводовладельца, этому источнику заводского света: управляющий конторой, заведующий счетной частью и т. д. Далее, в состав «большого двора» в качестве «случайных» попадали всевозможные люди, удовлетворявшие минутным прихотям Лаптева и умевшие угодить его капризам. Это был странный сброд, вроде сановника не у дел Летучего, корреспондента Перекрестова и т. д. Под эту же рубрику подходили разные женщины, умевшие на время удержаться на покато́й плоскости прихотливой барской натуры, как танцовщица Братковская и другие дамы и полудевицы этого разбора. Такие дельцы, как Раиса Павловна или Нина Леонтьевна, в силу своих физических особенностей уже не могли иметь прямого значения, а должны были довольствоваться тем, что выпадало на их долю из-за чужой спины.

Неожиданно для всех воссиявшая звезда генерала Блинова представляла собой в жизни большого и малого двора такое исключение, которое составляло неразрешимую задачу для большинства. Подозревали, что генерал был *создан* совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны, жаждавшими вкусить от заводского пирога и спровадить Раису Павловну. Вообще вся интрига была задумана и приведена в исполнение с дьявольской ловкостью. Сам генерал, во всяком случае, не был виноват ни душой, ни телом в той роли, какую ему пришлось разыгрывать. Между тем все дело, как и многое другое на свете, объяснялось очень просто: Тетюев воспользовался теми недоразумениями, которые возникли между заводоуправлением и мастеровыми по поводу уставной грамоты, тиснул несколько горячих статей в газетах по этому поводу против заводов, и когда Лаптев должен был узнать наконец об этом деле, он ловко подсунул ему генерала Блинова как ученого экономиста и финансовую голову, который может все устроить. Лаптев схватился за брошенную ему приманку и сейчас же решил ехать на Урал с генералом сам. Истинные свои цели Тетюев, конечно, скрыл от доверчивого генерала с большим искусством, надеясь постепенно воспользоваться им. Генерал с своей стороны очень горячо и добросовестно отнесся к своей задаче и

еще в Петербурге постарался изучить все дело, чтобы оправдать возложенные на него полномочия, хотя не мог понять очень многого, что надеялся пополнить уже на самом месте действия.

На третий день своего приезда в Кукарский завод генерал через своего секретаря пригласил к себе Прозорова, который и заявился к однокашнику в том виде, в каком был, то есть сильно навеселе.

— Давненько мы с тобой не видались, Виталий Кузьмич... — говорил генерал, обнимая Прозорова.

— Да... давненько, ваше превосходительство... — ядовито отвечал Прозоров, оглядывая сановитую, представительную фигуру бывшего однокашника.

— Ты остался такой же занозой, каким был раньше, — ответил генерал на эту колкость. — Я надеюсь, что мое превосходительство нисколько не касается именно тебя: мы старые друзья и можем обойтись без чинов...

— Прикажете называть Мироном Геннадьичем?

— Я вообще не люблю приказывать кому-нибудь, а тебе в особенности... Перестань разыгрывать комедию, душа моя. Этакая у тебя дьявольская привычка!..

— Полюбите нас черненькими, Мирон Геннадьич...

Генерал пожал плечами и зашагал по кабинету. Он любил Прозорова, но теперь перед ним была только тень прежнего товарища. Обоим было одинаково тяжело. Генерал хотел выйти из затруднительного положения старым дружеским тоном, Прозоров — дерзостями.

— А я так рад был видеть тебя, — заговорил генерал после длинной паузы. — Кроме того, я надеялся кое-что разузнать от тебя о том деле, по которому приехал сюда, то есть я не хочу во имя нашей дружбы сделать из тебя шпиона, а просто... ну, одним словом, будем вместе работать. Я взялся за дело и должен выполнить его добросовестно. Если хочешь, я продался Лаптеву, как рабочий, но не продавал ему своих убеждений.

В коротких словах генерал передал Прозорову значение своей миссии и те цели, которых желательно было достигнуть; причем он не скрыл, что его смущает и в чем он нуждается.

— Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу, — продолжал свою мысль генерал. — Я не желаю мирволить ни владельцу, ни рабо-

чим и представить только все дело в его настоящем виде. Там пусть делают, как знают. Из своей роли не выходить — это мое правило. Теория — одно, практика — другое.

Прозоров все время осматривал кабинет генерала, напрасно отыскивая в нем что-то, что ему было пужно, и наконец проговорил:

— Вот что, Мирон Гешадич, прикажите-ка подать водочки... Тогда поговорим о разных разностях.

Генерал поморщился, но позвонил и велел лакею подать водки. Эта неделикатная выходка Прозорова задела его за живое, но он еще раз сдержал себя и заговорил размеренно-спокойным тоном, как говорил на кафедре:

— Я — поклонник Кэри и отчасти Мальтуса... Не будем говорить о тех абсурдах, которые стараются вывести из их систем, но возьмем только самую сущность. Нам приходится иметь дело именно с ними, когда вопрос зайдет, с одной стороны, о покровительственной системе, и второе — когда мы коснемся рабочего вопроса. Да... важно иметь определенную, строго выработанную систему, от этого зависит все. По моему мнению, даже известные ошибки, как необходимая дань всякого практического применения теорий, могут иметь оправдание только в том единственном случае, если они явились как результат строго проведенной общей идеи.

После этого вступления генерал очень подробно развил основания своей собственной системы. «Кульминационный пункт, основная точка, операционный базис» этой системы заключался в виде капиталистического производства, которая должна строго преследоваться как во внутреннем строе, так и во внешней обстановке. Конечно, утопистам и мечтателям в принципе капитализма греется призрак всепоглощающей привилегии, которая из трудящихся классов создает самый безвыходный пролетариат, но это несправедливо, если на дело взглянуть беспристрастно. Именно: один и тот же капитал, если он разделен между несколькими тысячами людей, почти не существует, как экономическая сила, тогда как, сосредоточенный в одних руках, он представляет громадную величину, которою следует только воспользоваться надлежащим образом. В данном случае именно по отношению к заводовладельцу было бы смешно остановиться на том выводе, что он воспользуется своей силой во вред своим рабочим. Наоборот, по коренному

свойству человеческой природы можно предположить, что по мере увеличения силы заводовладельца будет возрастать благосостояние его рабочих, потому что именно здесь их интересы совпадают. Логика — самая простая: лучше заводам — лучше заводовладельцу и рабочим, тем более что с расширением производства будет прогрессировать запрос на рабочие руки. Кажется, ясно? Это — относительно, так сказать, внутренней политики; что же касается до внешних отношений, то здесь вопрос усложняется тем, что нужно говорить не об одном заводе, даже не о заводском округе, даже не об Урале, а вообще о всей нашей промышленной политике, которая постоянно колебалась и колеблется между полной свободой внешнего рынка и покровительственной системой в строгом смысле слова. Можно сказать вполне утвердительно, что эти колебания во взглядах правительства до сих пор самым пагубным образом отражались на всей русской промышленности, а на горной в особенности. Строго проведенная покровительственная система является в промышленной жизни страны тем же, чем служит школа для каждого человека в отдельности: пока человек не окреп и учится, ясное дело, что он еще не может конкурировать со взрослыми людьми; но дайте ему возможность вырасти и выучиться, тогда он смело выступит конкурентом на всемирный рынок труда. Вот именно такой школы до сих пор и недоставало русской промышленности, и наша задача — ее создать. В этом случае нельзя не соглашаться с выводами Кэри, который отстаивает покровительственную систему.

— Да, а рабочим, по Мальтусу, будете рекомендовать нравственное воздержание? — спросил Прозоров прищурившись.

— До этого пока еще не дошло, но и это иметь в виду не мешает. Отчего мы можем воздерживаться от брака до того времени, пока не составим себе определенного общественного положения, а рабочий будет плодить детей с шестнадцати лет?

— По-моему, это проповедовать открытый разврат, хотя и теперь нравственность заводского населения стоит не особенно высоко. Я выпью еще, Мирон Геннадич?..

— Выпей. Только о Мальтусе я упомянул, Виталий Кузьмич, между прочим, собственно для выяснения своих взглядов — это еще вопрос далекого будущего;

а теперь прежде всего необходимо самое существенное: развязаться с этой уставной грамотой, а потом освободить заводы от долгов. Ведь у нас все металлы заложены в государственный банк...

— Знаю, слышал... Только я хотел бы сказать тебе слова два о твоей системе.

Прожевывая ломтик балыка, Прозоров забегал по кабинету с своими обычными жестами. Генерал смотрел на него с тем оттенком снисхождения, с каким умеют смотреть добрые русские генералы.

— Ты уж меня извини за откровенность, Мирон,— предупреждал Прозоров.— Я, конечно, пьяница и потерянный человек...

— Это, право, не относится к делу.

— Ну, хорошо, допустим, что не относится. А я тебе прямо скажу, что вся твоя система выеденного яйца не стоит. Да... И замечательное дело: по душе ты не злой человек, а рассуждаешь, как людоед.

— Именно?

— Очень просто: ты продал душу черту, то есть капиталистам, а теперь утешаешься разными софизмами. Ведь и сам чувствуешь, что совсем не то говоришь...

— Нет, я этого не чувствую.

— Тем хуже для тебя! Если я погибаю, то погибаю только одной своей особой, от чего никому ни тепло, ни холодно, а ты хочешь затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во имя своих экономических фантазий. Иначе я не могу назвать твоей системы... Что это такое, вся эта ученая галиматья, если ее разобрать хорошенько? Самая некрасивая подтасовка научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу.

Генерал поморщился, но продолжал слушать это немножко откровенное возражение. Упомянув о значении капитализма, как общественно-прогрессивного деятеля, поскольку он, при крупной организации промышленного производства, возвышает производительность труда, и далее, поскольку он расчищает почву для принципа коллективизма, Прозоров указал на то, что развитие нашего отечественного капитализма настойчиво обходит именно эту свою прямую задачу и, разрушив старые крепостные формы промышленности, теперь развивается только на счет технических улучшений, почти не увеличивая числа рабочих даже на самый ничтожный процент,

не уменьшая рабочего дня и не возвышая заработной платы. Ясное дело, что когда все кругом дорожает и, кроме того, наш курс все падает, фабричному рабочему приходится выводить на фабрику свою жену и детей. Если продолжать в этом же направлении, впереди вырастут страшные промышленные кризисы, с одной стороны, а с другой — создастся русский пауперизм.

— Вот вам результаты прославленного наукой рационального разделения труда, — уже кричал Прозоров, страшно размахивая руками. — Вы забываете о рабочем и его будущности, а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу кучки крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от труда сотен тысяч рабочих... Притом вы, во имя развития отечественной промышленности, стараетесь непременно занять привилегированное положение, что опять-таки всей своей тяжестью ложится все на того же рабочего: каждый нажитый вами этим путем рубль является дефицитом в народном хозяйстве, потому что рабочему он стоит десять рублей. Нет, батенька, все это гниль и чепуха...

Прозоров продолжал в том же роде; генерал слушал его внимательно, стараясь проверить самого себя.

— А впрочем, ну вас к черту совсем, со всей вашей ученой ерундой! — неожиданно закончил Прозоров, наливая себе рюмку водки.

— Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! — проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. — Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..

— Что рассказывать: весь налицо... Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней...

— У тебя, кажется, дочь была?

— Да, была... И теперь она имеется в наличности. Так, пустельга... Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно...

С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул...

«Действительно, настоящая свинья...» — с горечью подумал генерал.

У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как вспугнутый вальдшнеп, оторопело выбегал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.

Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечером.

— Это какой-то идиот... — резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. — И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощелыги Перекрестова!

— Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, — мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. — Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.

— Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость... За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?

— Нет, а мне какво достается! — перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. — Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего... Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная — ступить по-человечески не умеет.

— А Канунникова?

— Канунникова... Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы... Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонки между пальцами.

— Чем труднее задача, тем приятнее победа, — заметил Вершинин. — Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.

— Тем более неприлично унывать аргиллеристу, через которого переехало целое орудие... — прибавил Майзель.

— Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, — защищался Сарматов. — Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова... Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?

— Я вас не понимаю, Сарматов, — отозвался доктор.

— Не понимаете? Пустяки, батенька, печего прикидываться... Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глисту?

— Совсем не маринованную... Зачем вы врете, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией — ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр *taenia solium*. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.

— Виноват, а я думал — в уксусе. Что же вам ска-

зала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глитель?

— Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только...

Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденьким дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! — со злобой думал Майзель, закручивая ус. — Пожалуй, еще все разболтает...» Он пожалел, что пригласил сегодня доктора на общий совет.

— Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? — спрашивал Вершинин. — Девочка ничего себе...

— Не приказано... Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..

— А mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?

У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.

— А Раиса Павловна что-нибудь устроит, — говорил кто-то. — Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.

— Ну, это еще Андроны едут, — сомневался Майзель. — Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала... А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха...

Вершинин засмеялся деланным смехом из уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золотую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный боров, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности, собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг

друга; все потихошкы тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин висел на волоске, и предоставлялось каждому решать мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три — это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев — как юрист и делец, а Майзель — как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливецом, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?

Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель, взорванный такой невнимательностью, решил без него приступить к делу.

— Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой парод и никто не вынесет сору из избы, — начал он, отчеканивая слова. — Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере, для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?

— Да, он совсем глух и слеп, — провозгласил Сарматов.

— Господа, кто-то, кажется, подъехал? — заметил

Дымцевич, все время ошипывавшийся и охорашивавшийся, как курица перед дождем.— Это, наверно, Тетюев...

— Конечно, он...

В кабинет действительно вошел сам Тетюев, облеченный в темную синюю пару, серые перчатки и золотое пенсне. Он с деловой, сосредоточенной улыбкой пожал всем руки, извинился, что заставил себя ждать, и проговорил, сосредоточенно роняя слова, как доктор отсчитывает капли лекарства:

— Дела по горло, на части так и рвут. Едва успел вырваться из управы.

— Врешь, врешь и врешь! — перебил Сарматов.— Наверно, наигрывал на какой-нибудь дудке... Знаем твои дела!.. А мы без тебя тут чуть не составили целый заговор.

Майзель поморщился и сердито хрустнул пальцами; он еще раз пожалел, что пригласил на совещание доктора и Сарматова, хотя без них счет был бы не полон.

— Я догадываюсь, господа, о чем шла речь,— подхватил Тетюев брошенную реплику.— Да, нам необходимо соединиться во имя общей цели, хотя мое дело, собственно говоря, сторона.

— Ну, ну, Авдей Никитич, полноте притворяться,— заговорил Вершинин.— Кто заварил кашу, тому и красная ложка...

— Я, ей-богу, ничего... Я в первый раз слышу. Какая каша? Обо мне, право, много лишнего говорят.

— Однако будет, господа, толковать о пустяках,— остановил эти препирательства Майзель.— Приступимте к делу; Авдей Никитич, за вами первое слово. Вы уж высказали мысль о необходимости действовать вместе, и теперь остается только выработать самую форму нашего протеста, чтобы этим дать делу сразу надлежащий ход. Как вы полагаете, господа?

— Подадимте петицию на имя Евгения Константиныча,— предложил Сарматов.— Выскажемся в ней прямо: что так и так, уважая Платона Васильича и прочее, мы не можем больше оставаться под его руководством. Тут можно напелсти и о преуспевании заводского дела, и о нравственном авторитете, и о наших благих намерениях. Я даже с своей стороны предложил бы формулировать эту петицию в виде ультиматума...

— Я первый на это никогда не соглашусь,— заявил Вершинин,— потому что это по меньшей мере глупо...

С какой стаги ради Платона Васильича я буду рисковать своим местом?

— Я тоже,— заговорил Майзель.— Мы — люди семейные... Как вы думаете, господа?

Дымцевич и Буйко были, конечно, согласны с ним, потому что хотя были бы не прочь получать пятнадцать тысяч годовых, но лишаться своих трех тысяч тоже не желали. Доктор протестовал против такого решения, потому что уж если начинать дело, так нужно вести открытую игру.

— Что же нам прятаться, если наше дело справедливо? — своим жиденьким тенорком вытягивал доктор.— Нас много, а Платон Васильич один.

— Хорошо вам толковать, Яков Яковлевич,— вступился Вершинин,— когда у вас ни кола ни двора. Отказали от места, попустил на другое — и вся недолга. На докторов теперь везде спрос, а нашему брату получить место — задача не маленькая.

— Но ведь это наконец не честно,— горячился доктор.— Из-за своих личных, можно сказать, семейных расчетов влиять хвостом перед заводовладельцем...

— Ничего вы не понимаете! — оборвал Майзель.— Вы, Яков Яковлич, штанов-то не умсете застегнуть хорошенько, а еще толкуете о честности...

Яша Кормилицын позеленел от злости и, кажется, даже готов был вцепиться в солдатскую физиономию Майзеля, но это неожиданное и неприятное недоразумение было сейчас же устранено вмешательством Тетюева, который несколькими фразами потушил занявшийся пожар.

— Он меня оскорбил! — тоненьким голоском жаловался Кормилицын, размахивая руками, как манекен.

— Ну что ж из этого? — удивлялся Тетюев.— Николай Карлыч почтенный и заслуженный старик, которому многое можно извинить, а вы — еще молодой человек... Да и мы собрались сюда, право, не за тем, чтобы быть свидетелями такой неприятной сцены.

— Завтра дуэль учиним, Яша! — кричал Сарматов доктору.— На тридцати шагах стрелять, постепенно подходя к барьеру, пока один из вас не покончит земное странствие...

После этого маленького эпизода приступили к обсуждению имеющей быть кампании. Выпито было две бутылки шартреза, лица у всех раскраснелись, голоса

охрипли. Наконец порешили представить Евгению Константинычу свои мотивы и соображения на словах, по той программе, которую разработает особая комиссия.

— А кто же возьмет на себя роль оратора, господа? — спрашивал Тетюев.

— Как кто? А вы-то на что? Да мы на вас, Авдей Никитич, надеемся, как на каменную стену...

— Помилуйте, господа, я-то тут при чем! — удивлялся Тетюев. — Я, конечно, сочувствую вам и готов помочь вам всеми силами, потому что настоящий цезаризм касается и меня как представителя земства. Я должен внести свою лепту в общее дело, но ведь теперь вы являетесь в качестве заводских служащих, как же я к вам пристану?

— Действительно, это не совсем удобно, — согласился Вершинин.

— Я могу представить проект от лица земства — это другое дело, — продолжал Тетюев. — Но в таком случае мне лучше явиться на аудиенцию к Евгению Константинычу одному.

Еще немножко поспорили и согласились с доводами Тетюева.

— Это еще будет лучше, — соображал Сарматов. — Мы откроем действие с двух сторон разом. А все-таки, господа, кто из нас будет оратором? Я подаю голос за доктора...

— И я тоже, — отозвался Вершинин.

— И я тоже... — зараз посыпались голоса.

— Право, уж не знаю, как быть... — сомневался Яша Кормилицын, вытягивая шею и поправляя свою гриву. — Оратор-то я плохой; пожалуй, еще и перевру что-нибудь.

— Ничего, мы вам напишем всю речь, а вы ее выучите паизусть, — успокаивал Тетюев.

— Пустяки! пропустить две рюмки коньяку перед тем, как идти к Евгению Константинычу, — и вся недолга.

— Что ж, я, пожалуй, согласен! — вяло уступил доктор.

— Вот и отлично, Яша! — говорил Сарматов, хлопая доктора по плечу. — Послужи миру, голубчик... А нам как-то неловко: пожалуй, Евгений Константиныч еще подумает про всякого, что он именно и желает занять место Платона Васильича. Ведь так, Яшенька?

После этого соглашения приступили к разработке программы будущих действий и Яшиной речи, в частно-

сти. Тетюев стоял за то, чтобы не торопиться, а дать время хорошенько выясниться обстоятельствам.

— А если мы будем тянуть, да и пропустим Евгения Константиныча,— сомневались Буйко и Дымцевич.— Что ему стоит сесть, да и уехать?

— Не упустим,— уверенно говорил Тетюев, потирая руки.— Извините, господа, мне сегодня некогда... Дело есть. В другой раз как-нибудь потолкуем...

Взглянув на свой полухронометр, Тетюев с прежней улыбкой начал прощаться. Заговорщики выпили после него еще бутылку какого-то вина и тоже начали прощаться.

— До завтра...— коротко говорил Майзель, протягивая руку друзьям.— Завтра надеюсь опять видеть вас у себя. Для друзей у меня всегда найдется бутылочка порядочного вина и горячий бифштекс.

Когда все убралось, Майзель медленно сделал налево кругом, как будто поворачивал целую роту, и тяжело, как матерой седой медведь, побрел на половину Амалии Карловны, которая встретила его в дверях спальни в одной кофточке, совсем готовая отойти ко сну.

— Ну, что?—спросила она, вытягивая свое птичье лицо.

— Ничего... дураки!

Майзель коротко засмеялся, награждая свою Амальхен русско-немецким «кюссхен»¹.

— Кто дураки?

— Да все, Амальхен... И вдобавок еще настоящие русские свиньи! Представь себе, Вершинин и Тетюев мечтают занять место Горемыкина... Ха-ха-ха!..

Амальхен тоже засмеялась, презрительно сморщив свой длинный нос. В самом деле, не смешно ли рассчитывать на место главного управляющего всем этим свиньям, когда оно должно принадлежать именно Николаю Карлычу! Она с любовью посмотрела на статную, плечистую фигуру мужа и кстати припомнила, что еще в прошлом году он убил собственноручно медведя. У такого человека разве могли быть соперники?

— Свиньи все...— еще раз проговорил Майзель, облекаясь в расшитый шелками шлафрок.— Я им покажу всем, где раки зимуют, только бы...

Еще один кюссхен, и плотная чета предалась крепкому, счастливому сну.

¹ поцелуйчик (от нем. küssen).

У Тетюева действительно было серьезное дело. Прямо от Майзеля он отправился в господский дом, вернее, к господскому саду, где у калитки его уже поджидала горничная Нины Леонтьевны. Под предводительством этой особы Тетюев благополучно достиг до генеральского флигелька, в котором ему сегодня была назначена первая аудиенция.

— Пожалуйте сюда...— шепотом пригласила его горничная в полуосвещенную маленькую гостиную, окна которой были завешаны драпировками.

Оставшись в комнате один, Тетюев почувствовал невольное смущение. Его шокировало это обходное движение через господский сад и вообще вся таинственная обстановка, при которой приходилось вести дело. Но отступить было поздно. От нечего делать он принялся рассматривать тропические растения, которые топорщились из углов гостиной зелеными лапами. Воздух был пропитан запахом пудры и еще какими-то сильными духами, какие любят женщины зрелых лет. Но вот в соседней комнате зашуршало по полу шелковое тяжелое платье, и на пороге появилась квадратная, заплывшая жиром фигура Нины Леонтьевны. Она по обыкновению была расцвечена самыми пестрыми бантами, кольцами и перьями; на голове из кружев и лент образовалось что-то вроде радужного гребня. Первое впечатление, которое Нина Леонтьевна произвела на Тетюева, можно было сравнить только с тем, если бы в дверях показалась цветочная копна.

Дельцы окинули друг друга с ног до головы пронизательными взглядами, как люди, которые видятся в первый раз и немного не доверяют друг другу. Нина Леонтьевна держала в руках серебряную цепочку, на которой прыгала обезьяна Коко — ее любимец.

— Вы опоздали на полчаса...— хрипло проговорила наконец Нина Леонтьевна, взглянув на свои золотые часы, болтавшиеся у ней на груди на брильянтовом аграфе.

— Виноват, меня задержали...— смущенно пробормотал Тетюев, совсем не ожидавший такого приема.— Я сейчас от Майзеля.

— Знаю.

— Там было маленькое совещание по нашему делу.

— Знаю.

«Это черт, а не баба», — подумал Тетюев, опять рассматривая свою собеседницу.

— Генерал весь вечер пробудет у Евгения Константиновича, и мы с вами можем потолковать на досуге, — заговорила Нина Леонтьевна, раскуривая сигару. — Надеюсь, что мы не будем играть втемную... Не так ли? Я, по крайней мере, смотрю на дело прямо! Я сделаю для вас все, что обещала, а вы должны обеспечить меня некоторым авансом... Ну, пустяки какие-нибудь, тысяч двадцать пока.

Тетюев даже съежился от такой цифры и только промывчал в ответ какую-то бессвязную фразу. Он теперь уже окончательно убедился, что действительно имеет дело с чертом, и потому решил, что нечего церемониться с этой цветочной копной.

— Видите ли, Нина Леонтьевна, — заговорил Тетюев с деловой вкрадчивостью, — ведь дело еще совсем не верное, и кто знает, чем оно может кончиться.

— Та-ак... А для кого же я везла сюда Евгения Константиныча, по-вашему?

— Так как вы высказали сейчас желание говорить откровенно, то я вам отвечу вопросом: разве вы что-нибудь проиграли от такой поездки?

— Это уж мое дело, милостивый государь.

— Вот именно это-то и хорошо, что вы ехали для своего дела, другими словами — для себя, а мое положение совсем неопределенное и почти безнадежное: я хлопочу, работаю, а плодами моих трудов могут воспользоваться другие...

— Что вы хотите сказать этим?

— А то, что даже в счастливом случае, когда нам удастся столкнуть Горемыкиных, кандидатами на их место являются Вершинин и Майзель... Извините, но за такое удовольствие платить двадцать тысяч по меньшей мере глупо.

— Но ведь без меня вам не добиться аудиенции у Евгения Константиныча? И кроме того, его нужно очень и очень подготовить к такой аудиенции.

— Все это так, но все это может-кончиться в результате нулем. Я полагал, Нина Леонтьевна, что найду в вас сотрудника по общему делу, а вы ставите вопрос совершенно на другую почву.

— Благодарю за внимание... Но вы, как видите, ошиб-

лись в своих расчетах, поэтому нам лучше расстаться сейчас же.

В первую минуту Тетюев онемел, но Нина Леонтьевна поднялась с вызывающим видом: значит, или двадцать тысяч, или уходи. На несколько мгновений Тетюев остановился, но потом сделал деловой поклон и молча направился к двери. Когда он надевал в передней свое пальто, Нина Леонтьевна окликнула его:

— Авдей Никитич, вернитесь!..

— Незачем, Нина Леонтьевна, — ответил Тетюев. — Я не могу дать вам и двадцати копеек... вперед.

— Ха-ха-ха! — залилась квадратная женщина. — Да вернитесь, говорят вам. Очень мне нужны ваши двадцать копеек... Я просто хотела испытать вас для первого раза. Поняли? Идите и поговоримте серьезно. Мне нужно было только убедиться, что вы в состоянии выдержать характер.

В уютной гостиной генеральского флигелька завязался настоящий деловой разговор. Нина Леонтьевна подробно и с обычным злым остроумием рассказала всю историю, как она подготавливала настоящую поездку Лаптева на Урал, чего это ей стоило и как в самый решительный момент, когда Лаптев должен был отправиться, вся эта сложная комбинация чуть не разлетелась вдребезги от самого пустого каприза балерины Братковской. Ей самой приходилось съездить к этой сумасшедшей, чтобы Лаптев не остался в Петербурге.

Потом Нина Леонтьевна очень картинно описала приезд Лаптева в Кукарский завод, сделанную ему торжественную встречу и те впечатления, какие вынес из нее главный виновник всего торжества. В коротких чертах были сделаны меткие характеристики всех действующих лиц ~~малого двора~~. Тетюеву оставалось только удивляться пронизательности Нины Леонтьевны, которая по первому взгляду необыкновенно метко очертила Вершинина, Майзеля и всех остальных, причем пересыпала свою речь самой крупной солью.

— Откуда все это вы могли узнать? — удивлялся Тетюев.

— Мало ли я что знаю, Авдей Никитич... Знаю, например, о сегодняшнем вашем совещании, знаю о том, что Раиса Павловна приготовила для Лаптева лакомую приманку, и т. д. Все это слишком по-детски, чтобы не сказать больше... То есть я говорю о плапах Раисы Павловны.

Этот разговор с умной женщиной наполнил плутоватую душу Тетюева настоящим восторгом, так что он даже не допытывался, откуда Нина Леонтьевна могла все знать. Для него ясно было, что теперь он созерцает настоящего дельца, дельца высшей пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счеты идут на сотни тысяч и миллионы. Эта сфера всегда неудержимо тянула к себе Тетюева, и он в минуты откровенности с самим собою иногда думал, что именно создан для нее, а совсем уж не за тем, чтобы пропадать где-то в медвежьей глуши. Пред Ниной Леонтьевой он почувствовал себя таким маленьким и ничтожным, как новичок, которого только что привели в класс. В самом деле, что могло быть печальнее председателя уездной земской управы, получающего годовых две с половиной тысячи, когда другие рвали десятки и сотни тысяч? Вот хоть эта самая Нина Леонтьевна, безобразная и старая баба — и больше ничего, а ведь умела же поставить себя, да еще как поставить! Ему, Тетюеву, нужно трубить в своем земстве десять лет, чтобы получить столько, сколько получит Нина Леонтьевна, если подготовит всего одно дело. А между тем разве он, Тетюев, хуже других, если бы ему попал в руки хороший случай?

— А как вы думаете, Нина Леонтьевна, долго Евгений Константиныч пробудет у нас? — спрашивал Тетюев после наступившей тяжелой паузы.

— Это неизвестно, Авдей Никитич, никому неизвестно. Все будет зависеть от обстоятельств, как они сложатся... Во всяком случае я убеждена, что Евгений Константиныч не заживется здесь, и поэтому не следует даром терять времени...

В течение двух часов, которые пробыл Тетюев в генеральском флигельке, было переговорено подробно обо всем, начиная с обсуждения общего плана действий и кончая тем проектом о преобразованиях в заводском хозяйстве, который Тетюев должен будет представить самому Евгению Константинычу, когда Нина Леонтьевна подготовит ему аудиенцию.

Возвращаясь из генеральского флигелька опять по саду, Тетюев уносил в душе частичку того самого блаженного чувства, которое предвкусил в обществе Нины Леонтьевны, точно он поднимался неведомой силой кверху, в область широких начинаний, проектов, планов и соображений. На половине Раисы Павловны в двух окнах вид-

нелся слабый огонек. Взглянув на него, Тетюев сладко улыбнулся про себя. В самом деле, как странно и нелепо устроен свет: даже если он, Тетюев, и не займет места Горемыкина, все-таки благодаря борьбе с Раисой Павловной он выдвинется наконец на настоящую дорогу. Это так же верно, как верно то, что завтра будет день...

В спальне Раисы Павловны действительно горел огонь в мраморном камине, а сама Раиса Павловна лежала на кушетке против огня, наслаждаясь переливами и вздрагиваниями широких огненных языков, лизавших закопченные стенки камина. Около Раисы Павловны сидела в кресле Луша. На полу валялась разогнутая французская книга, которую они только что читали. Раиса Павловна задумчиво смотрела на огонь, испытывая закачивавшее чувство дремы, уносившее ее в далекий мир воспоминаний; Луша ничего не испытывала, кроме своей обыкновенной тоски.

— Луша, ты видела их? — спрашивала Раиса Павловна, просыпаясь от своего забытья.

— Кого их?

— Ну, Евгения Константиныча, Прейна и компанию?

— Да, мельком.

Раиса Павловна опять задумчиво смотрела на огонь и как-то мягко, точно в полупросонье, заговорила:

— Голубчик, *это* все не то... Да. Я считала их гораздо выше, чем они есть в действительности. Во всей этой компании, включая сюда и Евгения Константиныча с Прейном, есть только один порядочный человек в смысле типичности — это лакей Евгения Константиныча, *mister* Чарльз.

Луша не понимала, зачем Раиса Павловна говорит все это, но сделала внимательное лицо и приготовилась слушать.

— *Mister* Чарльз — цельная, выдержанная натура, — продолжала Раиса Павловна, полузакрывая глаза. — Это порядочный человек в полном смысле слова, хотя и лакей... Я уверена, что Евгений Константиныч только и уважает его одного, потому что *mister* Чарльз единственный *gentleman* во всей компании. Даже сам Евгений Константиныч не дорос до такого *gentleman*'а, хотя и корчит из себя ультрафешенебельного денди во вкусе *young*

Albion ¹. Это просто, как и Пре́йн, то, что генцы и берлинцы называют *Lebemann*'ом, то есть человеком, живущим во всю ширь. У него недостает характера, выдержки... Вернее назвать его просто русским набобом, да и то с оговоркой. Вообще я думала о нем лучше.

— А другие? — спрашивала Луша, глядя на пробежавшее в камине пламя и синие струйки газа.

— Другие? Другие, выражаясь по-русски, просто сволочь... Извини, я сегодня выражаюсь немного резко. Но как иначе назвать этот невозможный сброд, прильнувший к Евгению Константинычу совершенно случайно. Ему просто лень прогнать всех этих прихлебателей... Вообще свита Евгения Константиныча представляет какой-то подвижной каба́к из отборнейших тунеядцев. Видела Летучего? Да все они одного поля ягоды... И я удивляюсь только одному, чего смотрит Пре́йн! Тащит на Урал эту орду, и спрашивается — зачем?

Раиса Павловна после этого темного патетического вступле́ния перешла к *jeunesse dorée* ² вообще и русской в частности. Такая молодежь в ее глазах являлась всегдашним идеалом, последним словом той жизни, для которой стоило существовать на свете порядочной женщине, в особенности женщине красивой и умной. Она с увлечением рассказывала о блестящей европейской клике, к которой русская *jeunesse dorée* присосалась только одним боком, никогда не достигая чистокровного дендизма. Из русской золотой молодежи Раиса Павловна отдавала предпочтение дипломатической и министерской фракциям, а всего выше ставила гвардейскую золотую молодежь. Получалась необыкновенно эффектная комбинация из дрессированных лошадей, модных каба́ков, ужинов, устриц, пикников, *avec de ces dames* ³, шампанского, векселей и самых высоких понятий о чести мундира и т. д.

— Да, это совершенно особенный мир, — захлебываясь, говорила Раиса Павловна. — Нигде не ценится женщина, как в этом мире, нигде она не ценится больше, как женщина. Женщине здесь поклоняются, ей приносят в жертву все, даже жизнь, она является царицей, связующей нитью, всемогущим центром.

¹ Здесь в смысле — аристократической молодежи Англии (*англ.*).

² золотой молодежи (*фр.*).

³ дам (*фр.*).

С самого первого дня появления Лаптева в Кукарском заводе господский дом попал в настоящее осадное положение. Чего Родион Антоныч боялся, как огня, то и случилось: мужичье взбеленилось и не хотело отходить от господского дома, несмотря на самые трогательные увещания не беспокоить барина.

— Уж ты, Родивон Антоныч, оставь нас, пожалуйста, оставь! — упирались мужики. — Не к тебе пришли...

— А-ах, б-боже м-мой!.. — отмахивался Родион Антоныч руками и ногами. — Разве я держу вас... а? А вы то рассудите: устал барин с дороги или нет?

Ходоки переминались с ноги на ногу, пыхтели, переглядывались, чесали в затылках и кончали тем, что опять начинали старую песню:

— Уж ты, Родивон Антоныч, не препятствуй... Дельце у нас до барина есть.

Какими-то неведомыми путями по заводу облетела весть, что генерал будет разбирать дело крестьян насчет уставной грамоты и что генерал строгий, но справедливый. К этому было прибавлено много посторонних соображений и своих собственных фантазий, так что около слова «генерал» выросла настоящая легенда. Барин молод, не надеется на себя, а другие-то его обманывают, вот он и привез с собой генерала, чтобы все, значит, сделать на совесть, по-божескому, чтобы мужичков не пзводить напрасно, и т. д. Ходоки особенно надеялись на генерала и, желая послужить миру, пробивались к барину во что бы то ни стало. У них были уже заготовлены на всякий случай две бумаги: одна барину, другая генералу. Родион Антоныч, конечно, все это знал и удвоил усилия, чтобы не пропускать мужиков. Расставлены были сотские и десятники, чтобы отгонять подозрительный народ от господского дома; даже приглашена была полиция на всякий случай, если бы мужичье вздумало бунтовать.

Из числа ходоков особенно выделялись два старика раскольника, которые добивались своей цели особенно настойчиво. Один, с косматой седой бородой и большим лысым лбом, походил на одного из тех патриархов, каких изображают деревенские богомазы; складки широкого армяка живописно драпировали его высокую, сгорбленную, ширококостную фигуру. Другой, толстый и слаща-

вый, с сладкой заговаривающей речью, принадлежал к типу мужицких «говорков», каких можно встретить на каждом сельском сходе; раскольничья выдержка и скрытность придавали ему вид настоящего коновода. Первого звали Ермилом Кожиным, второго просто Семенычем. Выдавался еще третий говорок, испитой, чахоточный мужик с широким горлом, по фамилии Вачегин. Люди этого типа составляют истинное несчастье на всех сельских сходах, где горланят и кричат за четверых. В сущности, Вачегин был глупый и несуразный мужик, но его общество выбрало впридачу Кожину и Семенычу на том основании, что Вачегин уж постоит на своем, благо господь пастью его наградил. Другие ходоки были набраны больше для «числа», чтобы придать вес «бумаге», которая должна была быть подана барину. Большинство принадлежало к тем волостным «старичкам», которые особенно падки на даровое мирское винцо. Толку от них, конечно, было мало, но все-таки главным говоркам как-то было веселее выступить под этим прикрытием. Оно там, как-никак, а все-таки страшно идти к барину, и только кровные мирские интересы заставляли забывать страх.

Нужно сказать, что все время, как приехал барин, от господского дома не отходила густая толпа, запрудившая всю улицу. Одни уходили и сейчас же заменялись другими. К вечеру эта толпа увеличивалась и начинала походить на громадное шевелившееся животное. Вместе с темнотою увеличивалась и смелость. Поднимался крик и гвалт. Все желали непременно видеть барина и ни за что не хотели уходить от господского дома. Чтобы разогнать толпу, генерал уговаривал Евгения Константиныча выйти на балкон, но и эта крайняя мера не приносила результатов: когда барин показывался, подымалось тысячеголосое «ура», летели шапки в воздух, а народ все-таки не расходился по домам. Родион Антоныч с ужасом видел, как из моря голов поднимались чьи-то руки с колыхавшимися листами писаной бумаги, и сейчас же посылал казаков разыскивать буянов. Руки с бумагами на время исчезали. Только раз чуть-чуть не перехитрили Родиона Антоныча, именно, лист такой бумаги подняли на длинной палке к самому балкону, и, по всей вероятности, Лаптев принял бы это прошение, если бы лихой оренбургский казак вовремя не окрестил нагайкой рук, которые держали шест с прошением. Опасность счастливо миновала,

но виновный, как и в предыдущих случаях, не был отыскан.

Бунтовщики не удовольствовались этим, а какими-то неисповедимыми путями, через десятки услужливых рук, добрались наконец до неприступного и величественного м-г Чарльза и на коленях умоляли его замолвить за них словечко барину. В пылу усердия они даже пообещали ему подарить «четвертной билет», но м-г Чарльз с величественным презрением отказался как от четвертного билета, так и от ходатайства перед барином.

— Я хорошо знаю свои обязанности и никогда не мешаюсь в дела Евгения Константиныча,— сухо ответил gentleman, полируя свои ногти каким-то розовым порошком.— Это мое правило...

Когда мужики начали кланяться этому замороженному холопу в ноги, м-г Чарльз величественно пожал плечами и с презрением улыбнулся над упижавшейся перед ним бесхарактерной «русской скотиной».

Эта игра кончилась наконец тем, что ходоки как-то пробрались во двор господского дома как раз в тот момент, когда Евгений Константиныч в сопровождении своей свиты отправлялся сделать предобеденный променад. В суматохе, происходившей по такому исключительному случаю, Родион Антоныч прозевал своих врагов и спохватился уже тогда, когда они загородили дорогу барину. Картина получилась довольно трогательная: человек пятнадцать мужиков стояли без шапок на коленях, а говорки в это время подавали свою бумагу.

— Что вам пужло? — спросил Лаптев поморщившись.

Он надевал перчатки и уже занес было ногу на подножку экипажа. Эта маленькая остановка неприятно подействовала на его нервы.

— Мы к тебе, батюшка-барин! — голосили старички, кланяясь в землю.— Вот прими от нас бумагу, там все прописано.

— Насчет наделу, батюшка-барин,— прибавил голос одного из ходоков.— Обезживотили нас без тебя-то... На тебя вся надёжа!

— Хорошо, хорошо... В чем дело? — проговорил лениво Лаптев, принимая измятую «бумагу».

Мельком взглянув на заголовок прошения, он опять поморщился и передал «бумагу» генералу.

— Это, кажется, по вашей части...— прибавил он.

— Да, мы рассмотрим после,— проговорил генерал, обращаясь к стоявшим на коленях просителям.— Встаньте... Приходите ко мне послезавтра, тогда разберем ваше прошение, а теперь, как сами видите, барину некогда.

«Бумага» от генерала перешла в руки его секретаря, у которого и исчезла в пзящном портфеле. Экипаж быстро унес барина с его свитой, а старички остались на коленях.

— Ах, вы, ироды, ироды!..— ругался Родивон Антоныч, наступая на ходоков по-петушиному.— Не нашли другого времени... а? Уж я говорил-говорил вам, а вот теперь и ценяйте на себя. Лезут с бумагой к барину, когда тому некогда...

— Родивон Антоныч, уж ты, право... Ах, какой ты! Мы тебе добром говорили: пусти... а?

Толпа старичков уныло побрела с господского двора. Десяток корявых рук чесался в мужицком затылке, выскребая оттуда какие-то мудреные соображения. Кожин шагал, сосредоточенно опустив голову; он позабыл надеть шапку и бережно нес ее в той руке, которая еще так недавно держала бумагу. У Семеныча заскребло на душе, когда генерал передал бумагу какому-то стрикулисту, а тот ее спрятал. Дойдет или не дойдет бумага до барина?— вот роковой вопрос, который клином засел в крепкой мужицкой голове. А если бы дошла бумага, барин своими глазами увидел бы, что их дело совсем правое... Ведь Родивон Антоныч прижимку им сделал в уставной грамоте, а барину зачем прижимать! барин все разберет, потому ему — своя часть, нам — своя. Семеныч думал то же самое, что думал Кожин и что думали другие, с той разницей, что его начинало разбирать то чувство неуверенности, в каком он боялся сознаться самому себе. «А-ах, неладно мапешко вышла наша бумага!» — думал Семеныч, дергая плечом.

— А ведь он тово...— проговорил наконец Семеныч, нарушая общее молчание.

— Чево: тово?

— Да наш Родивон-то Антоныч...

— Ну?..

— Просолим, пожалуй, нашу бумагу. Кабы неустойка не вышла...

— А генерал?

— Генерал, оно, конешно... Уж тут что говорить: генерал заправский. Да, уж оно обнаковешно...

Кожин сердито посмотрел на Семеныча и даже плюнул. Это были два совершенно противоположные характера. Они мало в чем сходились между собой, но не могли обойтись один без другого, когда дело заходило о том, чтобы послужить миру. Кожин слишком был тяжел и по уму и по характеру, но это был железный человек, когда добивался своей цели; Семеныч был мягче, податливее и часто мучился «сумлениями» и любил обходные пути, когда не находил прямой дороги. В трудную минуту Семеныч умел разогнать тоску своим балагурством и шуточками, и теперь, после палетевшего сумления, он добродушно проговорил:

— А я, братцы, так полагаю, что мы подведем животы Родьке нашей бумагой... Недаром он бегаёт, как очумелый. Уж верно!.. Загадали ему такую загадку, что не скоро, брат, раскусишь. А бумагу генерал обещал разобрать послезавтра... Значит, все ему обскажем, как нас Родька облапошивал, и всякое прочее. Тоже и на них своя гроза есть. Вон, он какой генерал-от: строгой...

Родион Антоныч действительно почувствовал себя крайне плохо, когда роковая бумага наконец попала в руки генералу, который сейчас же назначил мужичью и время для объяснений. Это проклятое «послезавтра» теперь было точно приколочено к мудрой голове Родиона Антоныча двухвершковым гвоздем, и он со страхом думал: «Вот когда началось-то...» Теперь он чувствовал себя в положении человека, которого спускают в глубокий колодезь. Что-то будет, и удастся ли ему еще раз вынырнуть из медленно поглощавшей его бездны... Ох, недаром он видел себя во сне дупелем! Соп вышел в руку. В довершение всех бед Раиса Павловна приняла известие о поданной мужиками бумаге с самым обидным равнодушием, точно это дело нисколько ее не касалось. На поверку выходило так, что Родион Антонович должен был выпутываться за всех одной своей головой. И зачем было этой Раисе Павловне тягаться с Тетюевым, точно места для двоих не хватило бы! А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, да еще не смей пикнуть ни о чем, что могло бы бросить тень на Раису Павловну. Родион Антоныч чувствовал себя тем клопом, который с неуклюжей торопливостью бежит по стене от занесенного над его головой палыца — вот-вот раздавят, и поминай, как звали маленького человека, который целую жизнь старался для других.

— Что за беда, если вам придется объясниться с генералом! — говорила Раиса Павловна. — Ну, возьмем крайний случай, что он покричит на вас, даже если выгонит... Мне тоже не сладко достается!

— Я готов претерпеть за правду, Раиса Павловна.

— Тем лучше. Я могу уверить вас только в том, что наше дело еще не проиграно. Генерал, конечно, пользуется громадным авторитетом в глазах Евгения Константиныча, но и Альфред Осипыч...

— Ох, Альфред Осипыч... Альфред Осипыч! — стонал Родион Антоныч, хватаясь за голову.

— Главное, не забывайте, что наше дело совсем правое, мы отстаиваем заводские интересы, а Тетюев разводит фантазии.

Настало и роковое «послезавтра». Партия старичков с раннего утра расположилась на крыльце генеральского флигелька в ожидании, когда генерал проснется. Ермило Кожин был настроен особенно угрюмо, Семеныч испытывал некоторое сумление, а Полуехт Вачегин находился, как всегда, в неопределенном настроении духа. Другие старички вздыхали, чесали поясницы и торопливо вскакивали, когда из флигелька выходил кто-нибудь. Братковский прошел мимо них уже несколько раз, но генерал все еще спал. Июньское горячее солнце было уже высоко и начинало порядком допекать ходоков, но они не чувствовали жара в ожидании предстоявшего объяснения с генералом. Этим скоробленным, зачерствевшим на господской работе людям мерещились те покосы, выгоны и леса, которые у них оттягал Родька Сахаров и которые они должны получить, потому что барину стоит сказать слово... Вот ужо генерал все разберет!..

Наконец генерал проснулся. Лакей провел ходоков прямо в кабинет, где генерал сидел у письменного стола с трубкой в руках. Перед ним стоял стакан крепкого чая. Старички осторожно вошли в кабинет и выстроились у ступи в смешанную кучу, как свидетели на допросе у следователя.

— Читал я ваше прошение, мужички, — заговорил генерал, пуская клубы дыма. — Да вы садитесь.

Генерал указал на кушетку и несколько венских стульев, но мужички отказались наотрез, «свои ноги есть, постоим, ваше высокопревосходительство...» Ходокам пра-

вилось солдатское лицо генерала, потому строгий генерал, справедливый, выходит. Громкий голос и уверенные манеры тоже говорили в его пользу.

— На тебя вся надежда...— заговорили ходоки, бухая в поги.

— Встаньте, встаньте! Я не бог, чтобы мне кланяться в землю.

— На тебя вся надежда! — галдели мужики, подымаясь с полу.

— Я постараюсь сделать для вас все, что от меня зависит. Но я должен предупредить вас, что для меня одинаково дороги как ваши интересы, так и интересы заводовладельца...

— Уж это известно... на совесть...

Генерал заговорил об уставной грамоте и о тех недоразумениях, какие возникли по поводу ее между заводским населением и заводоуправлением. По мнению генерала, обе стороны по-своему были правы и не правы. Чтобы выяснить свою мысль, он начал объяснения с того, что такое заводы, заводовладелец и заводский рабочий. Заводы не походят на другие частные предприятия и ремесла, в которых большею частью связаны интересы очень ограниченного числа лиц. На заводах же переплелись в крепкий узел интересы тысяч людей, поэтому говорить о моем и твоём здесь нужно особенно осторожно. Если польза заводовладельца тесно связана с благосостоянием десятков тысяч, то его убытки еще теснее связаны с их судьбой, поэтому нужно быть справедливым одинаково к обоим заинтересованным сторонам. Что такое заводовладелец по существу? Это человек, который на свой страх ведет миллионное предприятие, которое не только должно давать работу десяткам тысяч рабочих и доход ему лично, но еще должно приносить пользу всему государству. Это раз. Что такое заводский рабочий? Человек, который трудом своих рук снискивает себе пропитание на заводской работе. Отсюда: от благосостояния заводов одинаково зависит и участь заводовладельца и участь рабочих. Заводское дело — живое дело, в котором рука руку моет, а заводы являются живым связующим звеном между фамилией заводовладельца и целым рядом поколений рабочих. Отсюда понятно, что заводы одинаково дороги всем, и в общей громадной работе не пропадает бесследно ни одна крупица труда.

— Я сам работаю теперь для заводов,— продолжал генерал, отхлебывая чай из стакана.— И я горжусь своей работой потому, что в виду имеется польза десятков тысяч рабочих. Но мне кажется, что между рабочими и заводоуправлением по поводу уставной грамоты возникло просто недоразумение, стороны не выяснили своих взаимных отношений. Вы добиваетесь расширения своих земельных наделов, забывая, что главная задача заводского рабочего — работа на заводской фабрике, в руднике или курене. Так ли я говорю?.. Чтобы выяснить, что вы можете требовать, я сейчас определил вам понятия завода, заводо-владельца и заводского рабочего.

От этих общих понятий и определений генерал перешел к частностям, то есть принялся разбирать пункт за пунктом все спорные вопросы уставной грамоты и те требования, какие были изложены в «бумаге». Пока речь генерала вертелась на общей почве, мужички кряхтели, вздыхали и потели, не понимая десятого слова из этой лекции, но когда он заговорил о кровных мужичьих интересах, ходки наострили уши и отлично поняли все, что им было нужно. Генерал пока ничего еще определенного не высказал, но, видимо, он был уже против некоторых требований, так как они шли вразрез с интересами заводов.

— Нет, это ты, ваше превосходительство, неправильно говоришь,— отрезал Ермило Кожин, когда генерал кончил.— Конечно, мы люди темные, не ученые, а ты — неправильно. И насчет покосу неправильно, потому мужику лошадь с коровою первое дело... А десятинки две ежели у мужика есть, так он от свободности и пашенку распашет — не все же на фабрике да по курепям болтаться. Тоже вот насчет выгону... Наша заводская лошадь зиму-то зимскую за двоих робит, а летом ей и отдохнуть надо.

— Да ведь это все оговорено в уставной грамоте?

— Оно оговорено... это точно, что оговорено, ваше высокопревосходительство,— заговорил Семеныч, давая Кожину передохнуть,— только нам тошнехонько от этой грамоты. Ведь ее писал Родивон Антоныч.

— Какой Родивон Антоныч?

— Ну, секретарь у Платона Васильича, выходит... Он все и палатил. Такую сухоту напустил нам всем... Потому как он сам заводский и все знает; знает, где и мужика прижать... Разе мы от работы заводской опира-

емся, — никогда!.. А ты нам дай угодые — мужик будет справный, вдвое сробит барину-то. А теперь, бают, все от конторы пойдет, по уставной-то грамоте: захочет контора — даст тебе покос, не захочет — шабаш. Уж это не порядок, ваше высокопревосходительство... Когда мы господские-то были, так барину не рука была нас обижать, а теперь мы — отрезанный ломоть. Сами должны промышлять о своей голове.

Генералу хотелось узнать из первых рук, чего добиваются рабочие, чтобы оценить по достоинству их требования. Но пока он убедился только в том, что, несмотря на все усердие ходяков, понять их было очень трудно. Они путались, перебивали друг друга и совсем не могли связно и последовательно развивать отдельные мысли. Необходимо было сначала привыкнуть к мужичьей терминологии, а потом уже толковать с ними. Первое впечатление из двухчасовой беседы как-то двоилось: с одной стороны — мужики как будто были и правы, а с другой — как будто не правы. Очевидно было только то, что свои интересы они будут отстаивать из последнего, следовательно, необходимо дело вести крайне осторожно, чтобы не подавать повода к лишним надеждам и новым недоразумениям.

— Теперь я слышал от вас сам, что вы желаете, — говорил генерал, — читал ваше прошение. Мне нужно еще недели две, чтобы хорошенько разобрать ваше дело, а там опять побеседуем... Могу пока сказать только одно: что барин вас не обидит.

Мужички опять всей гурьбой повалились в ноги и заговорили:

— На тебя вся надёжа, ваше высокоблагородие... Не оставь нас своей милостью, ослобони от прижимки.

— Хорошо, хорошо... Только я не люблю, когда в землю кланяются: я не бог.

— А ты, ваше высокоблагородие, не слушай Родивона-то Антоныча — от него вся прижимка вышла... Уж он нам такого сахару насыпал!

Генерал, чтобы успокоить мужичков, записал в памятную книжку фамилию секретаря Платона Васильича и еще раз пообещал разобрать дело по-божески, а потом представить его на усмотрение самому барину, который не обидит мужичков, и т. д.

Вечером этого же дня генерал послал за Родионом Антонычем, который и явился в генеральский флигель с за-

мирающим сердцем. Генерал принял его сухо, даже строго. Наружность Родиона Антоныча произвела на него отталкивающее впечатление, хотя он старался подавить в себе это невольное чувство, желая отнестись к секретарю Горемыкина вполне беспристрастно.

— Не желаете ли вы дать некоторые объяснения по составлению уставной грамоты,— приступил генерал прямо к делу.— Я уже говорил с мужиками.

«Началось»,— подумал Родион Антоныч, делая кислую гримасу.

— Я должен вам объяснить, что недоразумения, вызванные уставной грамотой, вызвали и настоящую поездку Евгения Константиныча на заводы. Он требует, чтобы это дело было покончено раз навсегда и чтобы на его имени не было ни одного пятна. Я должен предупредить вас, что вообще все это дело об уставной грамоте мне крайне не нравится. Чтобы не быть голословным, я объясню, почему. Во-первых, оно всегда могло быть кончено путем взаимных уступок, миролюбиво; затем, поведение кукарского заводоуправления вызвало недоверие и враждебное к себе отношение рабочих; наконец вся эта история слишком дорого стоит как рабочим, так и заводладельцу. Надеюсь, что я выражаюсь достаточно ясно... А главное, чего я никак не могу себе объяснить,— кукарское заводоуправление точно поставило себе задачей постоянно раздражать рабочих и этим подготовляло те взаимные недоразумения, какие на официальном языке носят название бунтов. С своей стороны я глубоко убежден, что ни вы, ни кто другой из участников в редакции уставной грамоты не давал себе отчета в той громадной ответственности, какую вы так самоуверенно,— чтобы не сказать больше,— возлагали на себя... Вероятно, вы слышали, чем кончаются такие бунты? Несколько погубленных жизней, громадные материальные убытки для обеих сторон — и никому пользы... Это самый ложный и глубоко несправедливый путь, и я могу сказать вам от имени Евгения Константиныча, что он никогда и ничего подобного не желал, не желает и не может желать. В настоящем случае я буду действовать от его имени, со всеми полномочиями.

Такое грозное вступление не обещало ничего доброго, и Родион Антоныч совсем съезжился, как человек, поставленный на барьер, прямо под дуло пистолета своего противника. Но вместе с тем у него мелькало сознание того,

что он является козлом отпущения не за одни свои грехи. Последнее придавало ему силы и слабую надежду на возможность спасения.

— Ваше превосходительство! я, конечно, маленький человек... даже очень маленький,— заговорил дрогнувшим голосом Родион Антоныч,— и мог бы сложить с себя всякую ответственность по составлению уставной грамоты, так как она редактировалась вполне ответственными по своим полномочиям лицами, но я не хочу так делать, потому что, если что и делал, так всегда старался о пользе заводов... В этом вся моя вина, ваше высокопревосходительство. И я могу желать только одного: чтобы вы отнеслись вполне беспристрастно к делу. Вы желаете пользы заводам и должны убедиться, что рабочие ошибаются, предъявляя ни с чем несообразные требования.

Генерал внимательно слушал эту не совсем правильную речь и про себя удивился уму Родиона Антоныча, относительно которого он уже был предупрежден Ниной Леонтьевной, а также и относительно той роли, какую он играл у Раисы Павловны. Этот кукарский Ришелье начинал его интересовать, хотя генерал не мог преодолеть невольного предубеждения против него.

Игра втемную началась. Каждая сторона старалась сохранить за собой все выгодные стороны своей позиции, и генерал скоро почувствовал, что имеет дело с очень опытным и сильным противником, тем более что за ним стояла Раиса Павловна и отчасти Прейн. Из объяснений Родиона Антоныча он вынес на первый раз очень немного, потому что дело требовало рассмотрения массы документов, статистического материала и разных специальных сведений.

— Если позволите, я вам представлю по этому делу подробную докладную записку, ваше высокопревосходительство,— говорил Родион Антоныч.

— А это не затянет наших занятий? — спросил генерал, пытливо глядя на своего противника.

— Никак нет-с... — ответил Родион Антоныч, вынимая из бокового кармана своего сюртука довольно объемистую рукопись. — Я заранее приготовил ее, ваше превосходительство.

Перекинув несколько листов четко переписанной докладной записки, генерал сухо проговорил:

— Хорошо, мы еще увидимся с вами.

По истари заведенному порядку заводоладелец давал официальный бал, на котором он обыкновенно знакомился со всем заводским обществом. Все приготовления к балу были кончены еще до приезда Лаптева; поэтому оставалось только назначить день, который и был выбран. Собственно, такие балы для слабой половины человеческого рода были единственным случаем, когда они имели возможность показать себя. Понятное дело, что главными действующими лицами здесь явились не жены и дочери мелких служащих, а представительницы заводского beau monde'a, более строгого и исключительного, чем всякий другой beau monde, что служит характеристической чертой провинциальных нравов вообще. В столичных центрах городская жизнь кипит ключом, разница общественного положения сглаживается, по крайней мере, в проявлениях чисто общественной жизни, а в провинции таких нивелирующих обстоятельств не полагается, и перегородки между общественными группами почти непроницаемы, что особенно чувствуется женщинами, живущими слишком замкнутой жизнью, подобно тому как размещаются в музеях и зверипцах животные разных классов и порядков.

Понятное дело, что такое выдающееся событие, как бал, подняло страшный переполох в женском заводском мирке, причем мы должны исключительно говорить только о представительницах beau monde'a, великодушно предоставивших всем другим женщинам изображать народ, — другими словами, только декорировать собой главных действующих лиц. Если представители мужского beau monde'a, по деловым своим сношениям, по необходимости, стаповятся в близкие отношения к рядовым заводским служащим, не отмеченным перстом провидения, и принимают их у себя дома, как своих людей, то этого нельзя сказать относительно женщин. Здесь малейшее преимущество, каждый лишний рубль в жалованье мужа создает непроходимые преграды. Если, например, Родион Антоныч и другие заслуженные дельцы являлись своими в управительском кружке и появлялись даже на завтраках Рапы Павловны, то жене Родиона Антоныча, как существу низшего порядка, нельзя было и думать о возможности разделять общественное положение мужа.

Бал вызвал на сцену, кроме уж известных нам дам п девиц, целую плеяду женских имен: м-ме Вершинина, тощая и чахоточная дама, пропитанная бонтопностью; м-ме Сарматова с двумя дочерьми, очень бойкая особа из отряда полковых дам; м-ме Буйко, ленивая и хитрая хохлушка, блиставшая необыкновенной полнотой плеч и черными глазами; м-ме Дымцевич, из польских графинь, особа с гонором; м-ме Кашина с дочерью, представлявшая собой исключение в этой типичной группе как завзятая раскольница, находившаяся в периоде перерождения на дворянскую ногу управительского мирка, и т. д. Весь этот рой женщин, существование которого было совсем незаметно в мирное время, теперь выступил во всеоружии своих женских желаний, надежд и домогательств. Они тоже имели право на самостоятельное существование и теперь заявляли это право в самой рельефной форме, то есть под видом новых платьев, дорогих кружев, бантов и тех дорогих безделушек, которые так красноречиво свидетельствуют о неизлечимом рабстве всех женщин вообще. Нужно ли говорить о том, какая борьба кипела на этом ограниченном поле сражения. М-ме Дымцевич выписала себе специально платье для этого бала из Варшавы, м-ме Буйко и м-ме Тетюева ограничились Петербургом, м-ме Вершинина — Москвою и т. д. Едва ли генералу Блинову были известны те сравнительные методы исследования, какие проявили кукарские дамы на изучение, расплачивку и применение своих бальных костюмов. Никакой химик не достиг, вероятно, такой точности в своей работе, и величайшие математики позавидовали бы смелому полету воображения. Для философа оставался неразрешимым вопрос о том, для какой цели затрачивался такой громадный запас энергии, если в мировой системе не пропадает даром ни один атом материи, ни один штрих проявившейся тем или другим путем мировой силы... Зачем? куда? для чего? И все это с единственной целью покружиться несколько часов и унести с собой свои тряпицы, как уносит бабочка помятые крылья.

Между тем виновник этой суеты сует проводил время в обществе клеветов и приспешников самым загадочным образом, точно он серьезно подготовлялся к чему-нибудь решительному, набирая силы. Дело в том, что Прейн серьезно взялся за дело и повел его опытной рукой. У генерала было несколько серьезных разговоров с Евгением

Константинычем, причем подробно обсуждались разные дела, а главным образом вопрос об уставной грамоте. Прейн принимал иногда участие в этих беседах и осторожно выводил линию Тетюева, то есть в этом случае соглашался с генералом, который, конечно, как и многие другие ученые мужи, совсем не подозревал, в какую игру он играет.

— Меня это дело начинает занимать,— говорил Лаптев.— И, как мне кажется, настоящий состав заводоуправления не вполне удовлетворяет необходимым требованиям... Как вы думаете, генерал?

— Я полагаю, что вам лучше всего будет выслушать мастеровых лично,— отвечал генерал,— это будет спокойнее и для них.

— И, кроме того, можно выслушать мнение других лиц, компетентных в этом деле,— прибавил Прейн.— По моему мнению, Евгений Константиныч, следует составить маленькую консультацию, с участием людей посторонних, близко знакомых с этим делом, но не заинтересованных в нем.

Лаптев с удивлением слушал Прейна, который, против своего обыкновения, сегодня говорил серьезно, что с ним случалось крайне редко, так что его повелитель имел полное право удивляться. Генерал тоже имел свои основания не понимать Прейна, хотя и знал его сравнительно еще очень недавно. Но, вероятно, всех больше удивился бы и даже пришел бы в священный ужас наш уважаемый Родион Антоныч, если бы имел удовольствие слышать настоящий разговор, когда Прейн выдавал Раису Павловну вместе с ее Ришелье прямо на растерзание «компетентных, но не заинтересованных в этом деле лиц».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Лаптев Прейна, обращаясь с ним на «вы», что можно было объяснить только его безграничным удивлением.

— Я уже сказал, что, по моему мнению, не дурно бы составить маленькую консультацию из специалистов,— повторил Прейн.— А на помощь к ним можно будет пригласить в качестве нейтрального элемента председателя здешней земской управы господина Тетюева... Он, кстати, кажется, теперь живет на заводах.

— Что-то знакомая фамилия? — спрашивал Лаптев.— Я точно где-то ее слышал...

— О, конечно, слышали сотни раз! Отец настоящего

Тетюева был вашим главным управляющим до Горемыкипа.

— Да, да... Горемыкин мне нравится,— в раздумье проговорил Лаптев.— Конечно, он почти слеп и плохо слышит, но он, кажется, честный человек... Как вы полагаете, генерал?

— Относительно Платона Васильича или господина Тетюева?

— Относительно обоих.

— О господине Тетюеве ничего не могу вам сказать, кроме того, что могу положиться на рекомендацию Альфреда Осипыча, который более меня знаком с заводами. А что касается Платона Васильича, я не отрицаю, что это безусловно честный человек, но в таком громадном предприятии, как заводское дело, кроме честности, нужно много кое-чего другого, чего, как я начинаю думать, Платону Васильичу недостает... Я скажу прямо, Евгений Константиныч: Платон Васильич, как все хорошие люди, позволяет себя водить за нос разным пройдохам и доморощенным дельцам и смотрит на дело из вторых рук. Так что мы отчасти обязаны ему затруднениями и хлопотами по составлению уставной грамоты.

— Я тоже согласен с мнением генерала, — присоединил свой голос Прейн.— Если бы заменить Платона Васильича кем-нибудь другим, заводы много выиграли бы от этого, в чем я окончательно начинаю убеждаться.

Преследуя свою цель, Прейн забежал вперед генерала и предупредил то, что тот хотел высказать только после известной подготовки.

Этот серьезный разговор как раз происходил перед самым балом, когда Евгений Константиныч, одетый, завитой и надушенный, был уже совсем готов показаться в приемных залах господского дома, где с подавленным шорохом гудела и переливалась цветочная живая человеческая масса. Перед самым выходом к гостям генерал конфиденциально сообщил Прейну, что Нине Леонтьевне что-то сегодня нездоровится.

— Ага! — проговорил Прейн, делая нетерпеливый жест плечами.

— Она едва ли покажется вечером и просила меня извиниться за нее.

Прейн улыбнулся про себя. Нина Леонтьевна больна, значит, Раиса Павловна будет на балу... «О женщины,

женщины!..» Известие о болезни Нины Леоптьевны не особенно огорчило Евгения Константиныча, который желал теперь познакомиться с провинциальными красавицами.

Появление Лаптева на балу, где собралось публики до двухсот человек, вызвало подавленную тишину, которая охватила все залы разом. Едва успел Евгений Константиныч сделать несколько шагов, как его засыпали рекомендациями. Мужья церемониальным шагом подводили своих жен, рекомендовали их, улыбались с смущенным достоинством и ретировались, уступая место другим парам, жаждавшим чести представиться самому «подателю светов». Таким образом продефилировали четы Майзелей, Вершининых, Дымцевич, Буйко и т. д. Евгений Константиныч с утонченной вежливостью подавал свою руку дамам и по-французски повторял стереотипные приветственные фразы, удивляясь их свежести, красоте, молодости и другим достоинствам. Сирепевое платье м-ме Дымцевич, гранатное м-ме Вершининой, небесно-голубое шелковое м-ме Майзель, цвета свежескошенного сена м-ме Буйко и какого-то необыкновенного канареечного цвета м-ме Сарматовой произвели свой эффект, переливаясь в глазах Евгения Константиныча всеми цветами солнечного спектра. Девицы явились в самых бледных тонах, как слабое отражение своих маман, или совсем в белых платьях. Чадолюбивые мамыши, конечно, постарались обнажить все, что допускали общественные приличия, но Евгений Константиныч на своем веку видел столько голых плеч и рук, что его трудно было удивить. Прейн улыбался, сыпал любезностями и все что-то отыскивал глазами в переливавшейся кругом толпе.

— Моя жена, Раиса Павловна... — слышался голос Платона Васильича, который должен был представиться первым, но, по своей рассеянности, попал в последние.

— Очень рад, очень рад... — бормотал Евгений Константиныч, любезно подавая руку Раисе Павловне, которая остроумно и непринужденно извинилась за свою болельню.

Прейн критически оглядел Раису Павловну и остался ею доволен. Вечером в своем платье «цвета медвежьего уха» она была тем, чем только может быть в счастливом случае женщина ее лет, то есть эффектна и прилична, даже чуть-чуть более. При вечернем освещении она много вы-

игрывала своей статной фигурой и смелым типичным лицом с взбитыми белокурыми волосами.

— Могу пригласить вас на вальс? — говорил Евгений Константиныч, обязанный открыть танцы.

Полилась с хор музыка, и пары полетели одна за другой, смешавшись в цветочный вихрь, где людей из-за волновавшейся разноцветной материи трудно было различить. Приличные «почти молодые люди» отличались особенным усердием, работая ногами с изумительным искусством. Прейн отыскал м-лле Эмму и кружился с ней, нашептывая что-то ей на ухо. Аннинька танцевала с Братковским, совсем распустившись у него на руках, «как подкошенный цветок». Она не танцевала, а летала по воздуху, окрыленная чувством, и смотрела на своего улыбавшегося уверенной улыбкой кавалера глазами, полными негой.

— Теперь я могу вас познакомить с нашими красавицами, — говорила Раиса Павловна, когда Евгений Константиныч выводил ее из кружившейся толпы.

Раиса Павловна подвела своего кавалера к Наташе Шестеркиной и м-лле Канунниковой. Потом той же участи подверглись Аннинька и м-лле Эмма. По лицу Евгения Константиныча Раиса Павловна сразу заметила, что ее придворные красавицы не произвели на него никакого впечатления, хотя открытые плечи Наташи Шестеркиной могли выдержать самую строгую критику.

— Ах, чуть не забыла! я представляю вам еще одну молоденькую барышню, — спохватилась Раиса Павловна, проталкиваясь с своим кавалером в следующую комнату, где на голубом шелковом диванчике сидела Луша в обществе Кормилицына.

— Вот, Гликерия Витальевна... — равнодушно проговорила Раиса Павловна, чувствуя, что у ней за плечами улыбается довольной улыбкой Прейн.

Луша поднялась с своего диванчика и неловко подала руку Евгению Константинычу, который неподвижно, с застывшей улыбкой на губах, смотрел на ее белое кисейное платье, на скромно открытые плечи, на несложившиеся руки с розовыми локтями, на маленькую розу, заколотую в темной волне русых волос. Девушка была хороша, она сознавала и чувствовала это и спокойно перенесла бесцеремонный, усталый взгляд. Ее молодое лицо было серьезно и тихо освещалось уверенным взглядом ее прекрасных карих глаз. Прейн, прищурившись, тоже смот-

рел на нее, как смотрели другие, и под этим перекрестным огнем удивленных взглядов она оставалась такой же спокойной и уверенной в себе, как в первый момент. Раиса Павловна задыхалась от волнения, чувствуя, как вся кровь хлынула ей в голову: этот момент был самым решительным, и она ненавидела теперь Прейна за его нахальную улыбку, за прищуренные глаза, за гнилые зубы.

Евгений Константиныч пригласил Лушу на первую кадрили и, поставив стул, поместился около голубого диванчика. Сотни любопытных глаз следили за этой маленькой сценой, и в сотне женских сердец закипала та зависть, которая не знает пощады. Мимо прошла м-ме Майзель под руку с Летучим, потом величественно проплыла м-ме Дымцевич в своем варшавском платье. Дамы окидывали Лушу полупрезрительным взглядом и отпускали относительно Раисы Павловны те специальные фразы, которые жалят, как укол отравленной стрелы.

— Ничего, вы хорошо ведете свои дела! — говорил Прейн, когда Раиса Павловна шла с ним под руку.

— Не понимаю.

— А я отлично понимаю! Чертовски красивая девочка, и я только могу удивляться, где вы могли отыскать такую.

— Еще раз не понимаю вас, — сухо ответила Раиса Павловна по-французски. — Чему вы улыбаетесь?

Прейн ничего не ответил, а только чмокнул губами. Раиса Павловна окончательно возненавидела этого человека, который совсем не хотел и не мог ее понять.

— А мы вас сегодня решили сменить, — с улыбкой заметил Прейн. — Только еще не решили, кого выбрать на место Платона Васильича. Генерал уважает его как честного человека, но что-то имеет против него...

— Это старая новость.

— Да? Я с своей стороны предложил пригласить Тетюева в качестве консультанта.

— Вы с ума сошли, Прейн?!

— О, совсем напротив... Я иду прямо к цели. Ага! посмотрите, как Евгений Константиныч идет на вашу удочку!

В это время мимо них прошел Лаптев; он вел Лушу, отыскивая место для кадрили. Девушка шла сквозь строй косых и завистливых взглядов с гордой улыбкой на губах.

Раиса Павловна опять испытывала странное волнение и боялась взглянуть на свою любимицу; по восклицанию Прейна она еще раз убедилась в начинавшемся торжестве Луши.

— Что с вами? — удивился Прейн, взглянув на побледневшее лицо своей дамы.

— Так... пройдет. Вы не поймете меня...

— Тайна? — насмешливо спросил Прейн.

— Да... для вас.

Раиса Павловна издали все время старалась наблюдать за Лушей, пока шла первая кадрили. Танцевала Луша безукоризненно, с какой-то строгой грацией.

— На следующую кадрили я могу вас пригласить? — спрашивал Евгений Константиныч свою даму.

— Нет... Я танцую с доктором.

— А следующую за этой следующей?

— Хорошо.

Лаптев передал Лушу на руки Раисы Павловны, и они втроем болтали с полчаса на том же голубом диванчике, где Луша сидела с доктором. Лаптев заметно оживился, и на его дряблых щеках показался слабый румянец; он говорил комплименты, острил и постоянно обращался к Раисе Павловне, как к третьей стороне. Раиса Павловна пустила в ход все свои знания светской жизни, чтобы сделать незаметным то расстояние, которое разделяло Лушу от подержанного молодого магната. При ее помощи Луша могла показаться с своей лучшей стороны и отвечала на любезности своего кавалера с остроумной находчивостью.

— Знаете, Гликерия Витальевна, что я подумал, когда в первый раз увидел вас? — говорил Лаптев дружеским тоном. — Угадайте!

— Очень просто. Вы думали: какие эти провинциальные девицы скучные, не отличишь одну от другой.

— Ах, нет... Я подумал, что можно ли быть красивой так... так бессовестно!.. Ведь это несправедливо со стороны природы — наделить одну всеми дарами в ущерб остальным...

— Вы не обидитесь, Евгений Константиныч, если я скажу одну маленькую правду? — с лукавой улыбкой спросила Луша.

— Нет... Я никогда не мог бы рассердиться на вас.

— Зачем вы говорите со мной в таком тоне, как гово-

рят пехотные офицеры, когда хотят рассмешить провинциальную барышню...

— О, вот вы какая злая!.. — засмеялся Лаптев.

Раиса Павловна незаметно удалилась, предоставив молодых людей самим себе. Теперь она была уверена за Лушу. А Луша в это время с оживлением рассказывала, с каким нетерпением все ждали приезда заводовладельца, и представила в самом комическом свете его въезд в господский дом.

— Вы не знаете, кто стоял тогда во втором этаже господского дома, второе окно слева? — спрашивал Лаптев. — О, я тогда же заметил вас... Ведь это были вы? Да?

Луша засмеялась и замолчала. Лаптев заложил ногу за ногу, начал жаловаться на одолевавшую его скуку, на глупые дела, с которыми к нему пристаёт генерал каждый день, и кончил уверенным, что непременно уехал бы завтра же в Петербург, если бы не сегодняшняя встреча.

— Я опять начинаю говорить, как пехотный офицер, — смеялся Лаптев. — Но меня делает глупым неожиданное счастье.

— Слишком большое счастье вообще опасно; поэтому мне ничего не остается, как только оставить вас, Евгений Константиныч. Вон мой кавалер меня отыскивает.

— Доктор?

— Да.

— Вы позволите мне ему позавидовать? Он, кажется, пользуется особенными преимуществами...

— Да. Доктор — мой жених.

Лаптев с ленивой улыбкой посмотрел на подходившего Яшу Кормилицына и долго провожал Лушу глазами, пока она не скрылась в толпе, опираясь на руку своего кавалера.

— Каков бсенок? — спрашивал по-английски точно вынырнувший из-под земли Прейн.

— Странно, что она совсем не походит на других, — заметил Лаптев, зевая.

— Это воспитанница Раисы Павловны, — объяснил Прейн, засовывая руки в карманы.

— А вы не знаете, кто эта девушка?

— Гликерия Витальевна?

— Да. Дьявольски мудренное имя, нужно язык пе-

реломить пополам, чтобы выговорить его. Кто она такая?

— Дочь инспектора школ... Товарищ генерала по университету, по фамилии Прозоров.

— Ага!

Раиса Павловна не упускала Лаптева из вида все время, пока он разговаривал с Прейном. Она заметила, как м-ме Дымцевич несколько раз прошла мимо них, волоча свой шелковый трен; потом то же самое проделали — м-ме Майзель и м-ме Вершинина. Ясное дело, что они добивались приглашения Евгения Константиновича и не получили его. «Этакие дурищи!» — со злостью думала Раиса Павловна, меряя своих врагов с ног до головы. Она торжествовала, упоенная успехом своей Луши, и не замечала, как Аннинька совсем прильнула к Братковскому, а м-ме Эмма слишком долго разговаривала в темном уголке с Перекрестовым.

Бал кипел. В комнатах подальше толпились мелкие служащие, наблюдавшие Лаптева только издали. Некоторые для смелости успели подвыпить, и женам стоило большого труда удержать их на месте, подальше от управителей. Мимо Раисы Павловны прошли Майзель и Вершинин и злобно посмотрели на нее, потом торопливо пробежал Родион Антоныч, походивший в своей черной паре на хомяка. Он издали раскланялся с Раисой Павловной и молча указал глазами на Лаптева, который отыскивал Лушу. Да, это была крупная победа, и Раиса Павловна не могла удержаться, чтобы не подумать: «А, господа, что, взяли!..»

— Царица Раиса... несравненная из несравненных! — послышался около нее разбитый голос Прозорова, заставивший ее вздрогнуть.

— А вы как сюда попали? — сухо спросила его Раиса Павловна, не подавая руки. — И уж, кажется, готов... Господи! как от вас водкой разит.

— Это только одна внешность, царица Раиса! — бормотал Прозоров заплетавшимся языком. — А душа у меня чище в миллион раз, чем... Видели генерала Мирона? Ха-ха... Мы с ним того... побеседовали... Да-а!.. А где Луша?

— Она с доктором танцует.

— Ну, пусть ее срывает цветы удовольствия в свою долю... Яшка — славный парень... Царица Раиса! а мы с вами не пустимся в кадрили?

— Нет, благодарю вас... Наша кадрили давно протанцована. Ах, уйдите, пожалуйста! Сюда идет Евгений Константиныч...

Родион Антоныч заметил осадное положение Раисы Павловны и поспешил к ней на выручку. Он подхватил Прозорова под руку и потащил его в буфет.

— Родька, ведь ты настоящий Иуда Искариотский! — бормотал Прозоров.— И, наверно, тридцать сребреников в кармане у тебя шевелятся... Ведь шевелятся? Постой, это с кем Лаптев идет... Ведь это моя Лукреция!.. Постой, Иуда, я ее уведу домой... Раиса Павловна сказала, что она танцует с Яшкой.

Родион Антоныч загородил дорогу порывавшемуся вперед Прозорову и, мягко обхватив его в свои объятия, увлек к буфету. Прозоров не сопротивлялся и только махнул рукой. В буфете теперь были налицо почти все заговорщики, за исключением доктора и Тегюева. Майзель, выпячивая грудь и внимательно рассматривая рюмку с каким-то мудреным ликером, несколько раз встряхивал своей коротко остриженной седой головой.

— Я говорил, что нужно действовать быстро и решительно,— говорил Майзелю подвыпивший Сарматов.— Вот теперь и пеняйте на себя, что тогда меня не послушались...

— Ничего вы не говорили,— обрезал его сердито Вершинин.— Это у вас воображение разыгралось. Действительно, нам следовало предупредить Раису Павловну, но она оказалась значительно нас всех умнее...

— Погодите еще, гусей по осени считают! — процедил Майзель.

— Если нас принять за гусей, то можно сосчитать и теперь,— говорил Сарматов.— Я говорил, не хотели меня слушать.

Появившийся Прозоров нарушил эту интимную беседу. На него покосились, а Сарматов, схватив за руку, начал поздравлять с «милостью».

— Что-то плохо понимаю...— бормотал озабоченный Прозоров, но потом спохватился и побледнел как полотно.

— Лукерья Витальевна протанцевала уже две кадрили с Евгением Константинычем,— пояснил Сарматов, подмигивая Вершинину, и многозначительно прибавил: — А знаете, чем дело пахнет, когда сразу протанцуют три кадрили?

Прозоров взглянул на Сарматова какими-то мутными осоловелыми глазами и даже открыл искривившийся рот, чтобы что-то ответить, но в это время благодетельная рука Родиона Антоныча увлекла его к столику, где уже стоял графин с водкой. Искушение было слишком сильно, и Прозоров, махнув рукой в сторону Сарматова, поместился за столом, рядом с Иудой.

— Ну, иудейская закваска, наливай! — ласково шептал Прозоров, улыбаясь блаженной улыбкой. — Вот у меня какой характер: знаю, что ты из подлецов подлец, а не могу тебе отказать...

— Ах, какие вы слова говорите! — с ужасом шептал Родион Антоныч, оглядываясь по сторонам на разговаривавшие кучки служащих.

— Слова... Да, слова говорю... — в раздумье говорил Прозоров, хлопая две рюмки водки. — Тебя царица Раиса приставила ко мне? Ну, не отпирайся... Она боится меня! Тебе, Иуда, никогда этого не понять...

— А я вам скажу одно, Виталий Кузьмич, — вкрадчиво шептал Сахаров, тоже вкушая единую от трудов праведных, — какая голова у вас, Виталий Кузьмич! Ах, какая голова!.. Если бы к этой голове да другой язык — цены бы вам не было...

— Так, змий-искуситель, так! язык мой — враг мой. Постой, что я тебе скажу... Ах, да... три кадрили...

Выпив рюмку, Прозоров впал в ожесточенное настроение, поправил лихорадочно свои волосы и опять направился было к разговаривавшим управителям.

— Виталий Кузьмич! Виталий Кузьмич!.. — шептал Сахаров, удерживая Прозорова за рукав. — Это дело нужно оставить... Ей-богу, так: оставить. Выпьемте лучше по рюмочке...

— Нет, я им покажу третью кадрили! — горячился Прозоров, пошатываясь на месте. — Эта артиллерийская лошадь добивается хлыста...

— Охота вам руки марать о таких людей, Виталий Кузьмич!

Эта выходка рассмешила Прозорова, и он несколько мгновений пытливо смотрел на своего дядьку.

— Я так полагаю, что умный человек прежде всего должен уважать себя, — продолжал Сахаров. — Особенно человек с высшим образованием... Я вам по совести говорю!

— А ведь у тебя ума палата, Родька! Право... Разбирая строго логически, это не ум, а хитрость, но если хитрость делается дьявольской, тогда ее можно назвать даже умом.

— Какой уж у нас ум, Виталий Кузьмич! Так, бродим в потемках — вот и весь наш ум. Если бы вот высшее образование, тогда другое дело...

Генерал Блинов присутствовал на бале, хотя и не принимал никакого участия в общем веселье, потому что был слишком занят своими собственными мыслями, которые были взбудоражены мужицкой бумагой. Он все время разговаривал с Платоном Васильичем, который среди этой кружившейся легкомысленной толпы чувствовал себя совсем чужим человеком. Поместившись в уголке, эти люди не от мира сего толковали о самых скучнейших материях для непосвященного: о пошлинах на привозной из-за границы чугун, о конкуренции заграничных машинных фабрикантов, о той всеильной партии великих в заводском мире фирм с иностранными фамилиями, которые образовали государство в государстве и в силу привилегий, стоявших на сторопе иностранных капиталов, давили железной рукой хромавшую на обе ноги русскую промышленность. Платон Васильич понимал все это дело, и генерал с удовольствием слушал, что он вполне разделяет его взгляды, хотя не мог помириться с Горемыкиным как с главным управляющим Кукарских заводов.

— Наша задача — выбить эти фирмы из их позиции, — глубокомысленно говорил генерал. — Мы устроим ряд специальных съездов в обеих столицах, где представители русской промышленности могут обсудить свои интересы и выработать программу совместного действия. Нужно будет произвести известное давление на министерства и повести отчаянную борьбу за свое существование.

К ним подсел Перекрестов и, вслушавшись в разговор, поспешил, конечно, выразить свое полное сочувствие этим планам и даже предложил свою посильную помощь, насколько он мог быть полезен в качестве представителя русской прессы, задачи которой, и т. д. Генерал заговорил о наших технических выставках, которые служили яркой иллюстрацией того печального положения русских заводов, которое создалось под влиянием сильной иностранной конкуренции. Необходимы были крутые

меры и энергический отпор со стороны сплоченной массы русских заводчиков, чтобы вырвать зло с корнем. Все эти машиностроительные заводы из иностранного чугуна, все фабрики иностранных фирм и их склады должны исчезнуть сами собой, вместе с теми субсидиями и гарантиями, какими в настоящую минуту они пользуются от русского правительства.

— Я далек от мысли осуждать промышленную политику правительства вообще, — говорил генерал, разглаживая усы. — Вообще я друг порядка и крепкой власти. Но вместе с тем интересы русской промышленности, загнанные иностранными капиталами в дальний угол, заставляют нас принять свои меры. Кэри говорит прямо...

Перекрестов соглашался, кивал головой и даже вытащил из кармана написанную корреспонденцию с Урала, в которой он вполне разделял взгляды генерала. Русская пресса слишком ценит интересы русского горного дела, чтобы не поднять своего голоса в их защиту. Генерал считал Перекрестова пустым малым вообще, но в этом случае вполне одобрял его, потому что, как хотите, а даже и русская пресса — сила. Он даже пообещал Перекрестову посвятить его в свои планы самым подробным образом, документально, как выразился генерал; Платон Васильич тоже обещал содействовать представителю русской прессы.

— Мы должны высоко держать знамя русских интересов! — патетически восклицал Перекрестов своим гнусавым голосом.

Можно было бы представить себе изумление этих двух простецов, если бы они знали, что Перекрестов — замаскированный агент тех иностранных фирм, в поход против которых собирался генерал Блинов вместе с своим излюбленным Кэри. Иностранное золото гоняло продажного корреспондента по всему свету, а теперь его миссия заключалась в том, чтобы проникнуть в планы генерала Блинова, поездка которого на Урал серьезно беспокоила немецких, французских и английских коммерсантов, снабжавших Россию железными изделиями. Теперь Перекрестов с удовольствием потирал руки, обдумывая трескучий фельетон в духе генерала, и в то же время он продавал этого генерала своим патронам. Обыкновенно думают, что беспардонные люди, вроде Перекрестова,

только смешны — не больше, но это одно из общих печальных заблуждений: из таких маленьких пакостей складывается иногда громадное зло. Кроме разведки по части планов генерала Блинова, Перекрестов еще имел специальное поручение объехать весь Урал, чтобы навести справки о проектируемой здесь сети железных дорог, чтобы вперед обеспечить сбыт вагонов, локомотивов и рельсов иностранного дела. Собранный этим путем материал потом пройдет через горнило передних, черных ходов и тех «узких врат», которыми входят в царство гешефтов князя и короли русской промышленности.

Раиса Павловна, может быть, одна из всех несколько понимала предательскую натуру Перекрестова и подозрительно следила за ним все время. Ее женский инстинкт досказал то, чего не мог проникнуть генерал с своими широкими финансовыми планами и всей эрудицией. Она пыталась подслушать этот интимный разговор, но Перекрестов уже заметил ее и не поддавался в ловушку. Он хорошо знал, что значат некоторые дамы в деловых сферах, и поэтому побаивался Раисы Павловны, о которой собрал необходимые сведения еще в Петербурге.

А музыка лилась; «почти молодые люди» продолжали работать ногами с полным самоотвержением; чтобы оживить бал, Раиса Павловна в сопровождении Прейна переходила от группы к группе, поощряла молодых людей, шутила с своей обычной откровенностью с молодыми девушками; в одном месте она попала в самую веселую компанию, где все чувствовали себя необыкновенно весело, — это были две беззаботно болтавшие парочки: Аннинька с Братковским и Летучий с m-Ne Эммой. Последний был сегодня особенно в ударе и выгружал неистощимый запас самых пикантных анекдотов, заставлявших «галок» хихикать, краснеть и даже закрываться. Это было «немного слишком», но Раиса Павловна смотрела сегодня па все сквозь пальцы, наблюдая только одну Лушу. Она гордилась своим созданием и вынашивала теперь в своей душе самый отчаянный и несбыточный план, который испугал бы даже Прейна, если бы он мог подслушать истинный ход мыслей своей дамы.

— Бал удался... — подчеркивая слова, говорил Прейн. — Вы не можете на него пожаловаться, Раиса Павловна.

— Увидим.

— Посмотрите, какой фурор производит ваша Прозорова... Если бы я был моложе на десять лет, я не поручился бы за себя.

Раиса Павловна начала расспрашивать его о Гортензии Братковской, но Прейн так пеловко принялся лгать, что дальнейший разговор продолжать в том же тоне было совершенно излишне.

Бал кончился только к четырем часам утра, когда было уже совсем светло и во все окна радостно смотрело поднимавшееся июньское солнце. Измученная публика потянулась к выходу, унося в душе смутное впечатление недавней суеты. Свечи догорали в люстрах и канделябрах, на полу валялись смятые бумажки от конфет и апельсиновые корки, музыканты нагружались в буфете, братаясь с запоздалыми подкутившими субъектами, ни за что не хотевшими уходить домой. Из всей публики осталось только избранное общество, которое получило приглашение к ужину. Дамы были бледны и смотрели усталыми, покрасневшими глазами; смятые платья и разбившиеся прически дополняли картину. Женщины подходили па толпу мух, побывавших в меду и запачкавших крылья. Легкомысленная молодость еще продолжала улыбаться, не отдавая себе отчета в происходившем кругом и жалея только о том, что балы не продолжаются вечно. Зато чадолюбивые мамы сейчас же подвели итоги всему: «галки» остались незамеченными, Канунникова и Шестеркина тоже, Луша вела себя непозволительно и бессовестно вешалась сама на шею Евгению Константинычу, который танцевал, кроме нее, только с m-me Дымцевич и m-me Сарматовой. Когда у Луши в руках появился букет из чайных роз, негодование дам перешло все границы, и они прямо поворачивались к ней спинами. Раиса Павловна торжествовала, переживая лихорадочное состояние. Она ходила теперь по залам под руку с Лушей, поправляла ей волосы и платье и потихоньку несколько раз поцеловала ее. Сама Луша выглядела усталой, щеки у нее побледнели, но прекрасные глаза смотрели мягким, удовлетворенным взглядом. Раиса Павловна крепко прижимала ее маленькую руку к себе, чувствуя, как из вчерашней девочки возрождается чарующая красавица.

Ужин прошел весело. Сарматов и Летучий наперебыв рассказывали самые смешные истории. Евгений Константиныч улыбался и сам рассказал два анекдота;

он не спускал глаз с Луши, которая несколько раз загоралась горячим румянцем под этим пристальным взглядом. М-г Чарльз прислуживал дамам с неизмеримым достоинством, как умеют служить только слуги хорошей английской школы. Перед дамами стояли на столе свежие букеты.

Раиса Павловна была сегодня хозяйкой и вела себя с тактом великосветской женщины; она умела поддержать разговор и несколько раз очень ядовито проплась насчет «почти молодых людей».

— Ну, что, мой ангел? — спрашивала Раиса Павловна свою любимицу, когда ужин кончился. — Весело тебе было, моя крошка?

— Сначала было весело... — уклончиво ответила Луша, лениво потягиваясь.

Этот ответ заставил улыбнуться опытную Раису Павловну: «мой ангел» хотел быть счастливым один... Желание настолько законное, против которого трудно было что-нибудь возразить.

XX

Через несколько дней после бала Евгений Константиныч сделал визит Раисе Павловне и Майзелю. Это было выдающееся событие, которое толковалось умудренными во внутренней политике людьми различно. Партия Тетюева была крайне недовольна сближением Евгения Константиныча с Раисой Павловной; от такого знакомства можно было ожидать всего, тем более что тут замешалась Луша. В действительности визит Лаптева к Раисе Павловне был самого невинного свойства, и она приняла его даже несколько холодно.

— А где эта... эта ваша родственница? — спрашивал Лаптев, когда по правилам вежливости ему оставалось только уйти.

— Какая родственница? — удивилась Раиса Павловна. — Аннипка?

— Нет, не то... Еще такое длинное имя.

— Mademoiselle Эмма?

— Ах, не то.

— Наташа Шестеркина? Канунникова?

— Нет.

Прейн улыбнулся про себя, но предоставил своего высокого покровителя в жертву своему коварному другу.

— Ах, да...— равнодушно припоминала Раиса Павловна.— Вы хотите сказать о Гликерии Виталиевне?

— Да, да. Именно про нее: Гликерия... Гликерия...

— Она немножко больна, Евгений Константиныч. Бал расстроил ее первы... Ведь она еще совсем девочка, недавно ходила в коротеньких платьицах.

— Отец у ней, кажется, служит на заводах?

— Да. Он тоже не совсем здоров...

Этим разговор и кончился. После Лаптева на Раису Павловну посыпались визиты остальных приспешников: явились Перекрестов с Летучим, за ними сам генерал Блинов. Со всеми Раиса Павловна обошлась очень любезно, памятуя турецкую пословицу, что один враг делает больше зла, чем сто друзей добра.

После Раисы Павловны и Майзеля Евгений Константиныч отправился в генеральский флигель навестить больную Нину Леонтьевну. Эта последняя приняла его очень радушно и засыпала остроумным разговором, причем успела очень ядовито пройгись относительно всего кукарского общества. Евгений Константиныч слушал ее с ленивой улыбкой и находил, что болезнь не отразилась на ее умственных способностях в дурную сторону, а даже напротив, как будто еще обострила этот злой мозг.

— Я убежден,— говорил Прейн, когда они возвращались из флигелька,— я убежден, что у этой бабы, как у змеи, непременно есть где-нибудь ядовитая железка. И если бы у ней не были вставные зубы, я голову готов прозакладывать, что она в состоянии кусаться, как змея.

— Но змея очень остроумная,— прибавил Евгений Константиныч, припоминая выходки остроумного уroda.

— Да, да...

Сарматов лез из кожи, чтобы угостить пабоба любительскими спектаклями и делал по две репетиции в день. С артистами он обращался, как с преступниками, но претензий на директора театра не полагалось, потому что народ был все подневольный, больше из мелких служащих, а женский персонал готов был перенести даже побои, чтобы только быть отмеченным из среды других женщин в глазах всесильного набоба. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной с ее наливными плечами; Сарматов

обращался с ней, как с пожарной лошастью, так что это наивное создание даже плакало за кулисами.

— Пожалуйста, уберите коленки, Наталья Ефимовна! — кричал Сарматов на весь театр, представлявший собой большую казарму, в которой раньше держали пожарные машины.— Можно подумать, что у вас под юбками дрова, а не ноги...

Эта Наташа Шестеркина была очень симпатичная и миловидная девушка, хотя немножко и простоватая. Свежее лицо с завидным румянцем и ласковыми серыми глазами манило своей девичьей красотой; тяжелая русая коса и точно вылепленные из алебаstra плечи могли нагнать тоску на любого молодца, конечно, не из разряда «почти молодых людей», предпочитающих немного тронувшийся товар. Канунникова тоже была красивая девушка, только в другом роде. Такие типы встречаются в старых раскольничьих семьях. Высокая, с могучей грудью и серьезным лицом, она в русском сарафане была замечательно эффектна, хотя густые соболиные брови и строго сложенные полные губы придавали ей немного сердитый вид. Какая сила выдвинула этих русских красавиц на грязные театральные подмостки, где над ними ломался какой-нибудь прощелыга Сарматов? Имя этой силе — тщеславие... Раиса Павловна отлично умела пользоваться этой человеческой слабостью в своих целях и теперь с свойственным ей бессердечием подвергла двух юниц тяжелому испытанию.

После кровавой битвы с артистами и репертуаром Сарматов, наконец, поставил «Свадьбу Кречинского». В этой пьесе он сам играл Расплюева, и, нужно отдать ему справедливость, играл хорошо, а роль Кречинского обязательно взял на себя Перекрестов. Вместо водевиля шла «Русская свадьба». В день спектакля зала театра, конечно, была битком набита. Набоб заставил себя подождать, и скептики уже начинали уверять, что он уехал на охоту, но были опровергнуты появлением Евгения Константиныча во фраке и белом галстуке. Во время спектакля он внимательно осматривал зрителей, отыскивая кого-то глазами.

— Раисы Павловны, кажется, нет? — спросил он наконец Прейна.

— Нет... Она немного больна, — ответил Прейн.— Ниша Леонтьевна здесь.

Лаптев не досидел до конца спектакля и, послав Наташе Шестеркиной за ее плечи букет, уехал домой.

На следующем спектакле, когда шла «Бедность не порок», Раиса Павловна присутствовала, а Нина Леонтьевна была больна. Даже Евгений Константиныч не мог не заметить такого странного совпадения и спросил Раису Павловну:

— Меня несколько удивляет ваше здоровье, Раиса Павловна. Не отражается ли его состояние на других особах?

— Что вы хотите этим сказать, Евгений Константиныч? — вспыхнула Раиса Павловна, не понимая вопроса.

— О, успокойтесь... Я не имел в виду тех особ, которые поправляются, а тех, которые постоянно больны.

— Труднобольные, вероятно, найдут себе помощь в докторских советах... Я тут решительно ни при чем.

Этот ответ заставил Прейна улыбнуться.

— Вы очень зло отвечаете, — проговорил Лаптев после короткой паузы. — Я всегда уважаю докторов, за исключением тех случаев, когда они выходят из пределов своей специальности. Впрочем, в данном случае докторские советы должны принести двойную пользу, и мне остается только пожалеть, что я совершенный профан в медицине.

Разговор шел по-французски, и любопытные уши m-me Майзель не могли уловить его, тем более что эта почтенная матрона на русско-немецкой подкладке говорила сама по-французски так же плохо, как неподкованная лошадь ходит по льду. Но имя доктора она успела поймать и отыскала глазами Яшу Кормилицына, который сидел в шестом ряду; этот простец теперь растворялся в море блаженства, как соль растворяется в воде, потому что Луша, которая еще так недавно его гнала, особенно после несчастного эпизода с «маринованной глистой», теперь относилась к нему с особенным вниманием. Доктор каждый день бывал в прозоровском флигельке и проводил там по несколько часов. Он натащил туда своих любимых книжек и читал Луше тонким тенориком. Луша обыкновенно слушала его очень внимательно и только раз прервала эти занятия вопросом:

— А вы не знаете английского языка, Яков Яковлич?

Яков Яковлич с грехом пополам читал английские книжки, но не владел секретом английского произно-

шения. Он только мог удивляться, зачем Луше понадобился английский язык. На душе у доктора лежало камнем одно обстоятельство, которое являлось тучкой на его небе,— это проклятый заговор, в котором он участвовал. По всей вероятности, он откровенно исповедался бы во всем Луше, но его удерживало то, что тут была замешана Раиса Павловна, которая распорядилась Лушей, как завоеванной провинцией. Несколько раз доктор думал совсем отказаться от взятой на себя роли, тем более что во всем этом деле ему было в чужом пиру похмелье; он даже раза два заходил к Майзелю с целью покончить все одним ударом, но, как все бесхарактерные люди, терялся и откладывал тяжелое объяснение до следующего дня. Заговорщики, по настоянию Майзеля, должны были спешить протестом, но любительские спектакли мешали выбрать подходящий момент. Крайний срок был назначен после второго спектакля, и теперь Яша Кормилицын, сидя в шестом ряду, испытывал неприятные мучения совести, особенно когда в антрактах встречался с Раисой Павловной. Он в сотый раз начинал рассуждать на тему, зачем он согласился произнести протест перед Лаптевым, и в сотый раз находил, что поступил очень глупо.

На другой день после второго спектакля, рано утром, доктор получил записку от Майзеля с приглашением явиться к нему в дом; в *post scriptum*'е ¹ стояла знаменательная фраза: «по очень важному делу». Бедный Яша Кормилицын думал сказать больным или убежать куда-нибудь, но, как нарочно, не было под руками даже ни одного труднобольного. Скрепя сердце и натянув залежавшийся фрак, доктор отправился к Майзелю. Заговорщики были в сборе, кроме Тетюева.

— Господа, я, право, не знаю, сумею ли я...— начал было доктор, но его протест был заглушен взрывом общего негодования.

— По-ря-доч-ные люди так не по-сту-па-ют...— начал Майзель, подступая к самому носу доктора.— Вы хо-ти-те продать нас или уже про-да-ли?..

— Я знаю причину, почему доктор изменяет нам,— заявил Сарматов, находившийся в самом игривом настроении духа.— Выражаясь фигурально, на его уста

¹ приписке (лат.).

положила печать молчания маленькая ручка прекрасной юной волшебницы.

Это фигуральное выражение довело общее негодование до последних границ, и доктору ничего не оставалось, как только покрыть свой грех самым строгим исполнением долга.

В час дня, когда просыпался Евгений Константиныч, заговорщики уже были в приемных комнатах господского дома, во фраках, с вытянутыми лицами и меланхолически-задумчивым выражением в глазах. Особенно хорош был Майзель. Раздувая грудь, как турман, он в последний раз делал внушения доктору, который теперь должен действовать во имя заводов и пятидесятитысячного заводского населения. Вершинин и Сарматов принужденно улыбались, глядя на вялую, точно выжатую фигуру доктора, который глупо хлопал глазами. Дымцевич, как всегда, ошпыивался, как воробей перед дождем, а Буйко глухо кашлял. Когда лакей заявил, что Евгений Константиныч встали и принимают, Яша Кормилицын сделал инстинктивное движение к выходным дверям, но его схватила железная рука Майзеля и втокнула в кабинет пабоба. Общее изумление на мгновение всех заставило оцепенеть, когда в кабинете Евгения Константиныча, кроме самого хозяина и Прейна, заговорщики увидели... Прозорова. Да, это был сам Виталий Кузьмич, успевший каким-то чудом протрезвиться и теперь весело рассказывавший пабобу что-то, вероятно, очень остроумное, потому что Евгений Константиныч улыбался. Как попал Прозоров в кабинет пабоба и вдобавок попал в такое время дня, когда к Евгению Константинычу имели доступ только самые близкие люди или люди по особенно важным делам, — все это являлось загадкой. В глубине кабинета стоял м-г Чарльз, неумолимый и недоступный, как сама судьба; из-под письменного стола выставилась атласная голова Brunehaut, которая слегка заворчала на заговорщиков и даже оскалила свои ослепительно-белые зубы.

Кабинет Евгения Константиныча был меблирован почти бедно: письменный стол черного дерева, такой же диван, два кресла, кушетка, шкаф с бумагами и несколько стульев стоили всего пятьдесят тысяч. Прибавьте к этому макартовскую голую красавицу на стене, великолепную шкуру белого медведя на полу и несколько безделушек на письменном столе — вот и

все. Это была временная обстановка, потому что набоб жил, по выражению Прейна, на биваках. Для человека, имевшего пятьсот тысяч годового дохода, такой кабинет граничил с приличной бедностью.

— Чем обязан вашему посещению, господа? — спрашивал Лаптев, поднимаясь навстречу гостям.

Прейн, заложив руки в карманы, едва заметно улыбался, покуривая короткую венскую трубочку. Он знал о заговоре через Майзеля и сам назначил день, когда сделать нападение на набоба.

Доктор, подтолкнутый Майзелем, начал свою выученную заранее речь, стараясь не смотреть в сторону Прозорова. В маленьком вступлении он упомянул о тех хороших чувствах, которые послужили мотивом настоящего визита, а затем перешел к самой сущности дела, то есть к коллективному протесту против диктатуры Горемыкина, который губит заводское дело и т. д. Евгений Константиныч слушал эту длинную речь очень рассеянно и все время занимался рассматриванием тощей фигуры доктора, его серо-зеленого лица и длинных, точно перевязанных узлами рук. Прозоров несколько раз улыбнулся и взъерошил себе волосы, а когда доктор кончил, он подумал про себя: «Чистый ты дурак, Яшка!»

— Как мне понять ваше заявление? — спрашивал Евгений Константиныч, обращаясь к оратору. — Как ваше личное мнение или как мнение большинства?

— Это наш общий протест, — разом заявили Майзель и Сарматов.

— Хорошо. Я на днях буду иметь объяснение с делегатами от заводских мастеровых, тогда приму во внимание и ваш протест. Пока могу сказать только то, что изложенные вами чувства и доводы совпадают с моими мыслями. Нужно сказать, что я недоволен настоящими заводскими порядками, и генерал тоже, кажется, разделяет это недовольство. Господа, что же это вы стоите? Садитесь...

Но господа наотрез отказались от такой чести и гурьбой пятились к двери.

— Ах, я чуть не забыл... — спохватился Лаптев, делая порывистое движение рукой. — Вот, по мысли Прейна, мы думаем составить маленькую консультацию, куда решились пригласить кого-нибудь из... из знающих дело по посторонним заводам. Так я говорю, Прейн?

— О, совершенно так... Пока выбор пал на Авдея Никитича Тетюева. Вы, господа, можете заявить сейчас же Евгению Константинычу, если что-нибудь имеете против этого выбора.

— Нет, мы ничего не имеем...

— Авдей Никитич совершенно постороннее лицо в этом деле,— процедил с своей стороны Майзель.— И мы доверяем ему, как незаинтересованному в нашем общем деле.

— А вы, доктор, ничего не имеете против Тетюева? — спросил Евгений Константиныч.

— Нет... мне все равно,— протянул тенориком доктор.

— Так как вы явились во главе депутации,— продолжал серьезно Евгений Константиныч,— то не могу ли я попросить вас остаться для некоторых переговоров?

Толпа заговорщиков переглянулась. Никто не ожидал такого оборота дела, но приходилось помириться с желанием набоба.

— Я также попросил бы остаться и господина Сарматова,— прибавил Евгений Константиныч.— А затем не смею вас больше задерживать, господа.

Заговорщики удалились, а доктор и Сарматов остались.

— Садитесь, господа,— пригласил Евгений Константиныч, с серьезным видом раскуривая сигару.

В кабинете наступила тяжелая пауза. Даже Прейн не знал, что за фантазия явилась в голове владыки и украдкой недоверчиво посмотрел на его бесстрастное лицо с полузакрытыми глазами.

— Доктор! мне нужно, собственно, поговорить с вами,— серьезно продолжал Лаптев.— Меня удивляет ваше поведение... Буду говорить прямо, без церемоний. Я понимаю, зачем приходили другие, но ведь вы, в качестве доктора, нисколько не заинтересованы в наших заводских делах. Затем, вы поднимаете руку... на кого же? Если Раиса Павловна узнает о вашем поведении, вас ожидает самая печальная участь. Кстати, и папаша Гликерии Витальевны налицо, и мы можем семейным образом обсудить ваш образ действий... Не правда ли, «гроза кабанов»?

— Со мной был точно такой же случай, Евгений Константиныч,— заговорил Сарматов, угадавший теперь, зачем набоб оставил их.— У меня была невеста, Евгений Константиныч... Совершенно прозрачное существо и при-

том лунатик. Раз я сделал донос на одного товарища, и она меня прогнала с глаз долой.

Все засмеялись, а вместе с другими засмеялся и доктор, немного опешивший в первую минуту.

— Прежде чем мы будем окончательно решать вашу участь, доктор, мы подкреним свои силы,— заговорил Лаптев, довольный своей выходкой.— Чарльз, мы здесь будем пить кофе.

Кофе был подан в кабинет, и Лаптев все время дурачился, как школьник; он даже скопировал генерала, а между прочим досталось и Нине Леонтьевне с Раисой Павловной. Мужчины теперь говорили о дамах с той непринужденностью, какой вознаграждают себя все мужчины за официальные любезности и вежливость с женщинами в обществе. Особенно отличился Прозоров, перещеголявший даже Сарматова своим ядовитым остроумием.

— Итак, мы кутим у вас на свадьбе, доктор? — говорил Лаптев, когда тема о женщинах вообще была исчерпана.

— Я, право, еще не знаю... — смущенно бормотал доктор.

— Ах, как он умеет притворяться! — удивлялся Прейн, хлопая доктора по плечу. — Гликерия Виталиевна гораздо откровеннее вас... Она сама говорила Евгению Константинычу, что вы помолвлены. Да?

— Ну, Яша, признавайся! — поощрял Прозоров.

Прозорова вытрезвил и притащил к Лаптеву не кто другой, как Прейн. Для чего он это делал — было известно ему одному. Прозоров держал себя джентльменом, точно он родился и вырос в обществе Прейна и Лаптева.

XXI

По вечерам в господском саду играл оркестр приезжих музыкантов и по аллеям гуляла пестрая толпа заводской публики. С наступлением сумерек зажигались фонари и шкалики. На таких гуляньях присутствовала вся свита Евгения Константиныча, а сам он показывался только в обществе Прейна, без которого редко куда-нибудь выходил. Само собой разумеется, что если гуляла Раиса Павловна, то Нина Леонтьевна делалась больна и

наоборот. Провинциальная публика, как и всякая другая публика, падкая до всевозможных эффектов, напрасно ожидала встречи этих двух ненавидевших друг друга женщин.

Приезжий элемент незаметно вошел в состав собственно заводского общества, причем связующим звеном явились, конечно, женщины: они dokonчили то, что одним мужчинам никогда бы не придумать. Все общество распалось на свои естественные группы, подгруппы, виды и разновидности. Около m-те Майзель вертелся Перекрестов и Летучий, два секретаря Евгения Константиныча, которым решительно нечего было делать, ухаживали за Наташей Шестеркиной и Канунниковой, пан Братковский бродил с «галками», «почти молодые люди» — за дочерьми Сарматова, Прейн любил говорить с m-те Дымцевич и т. д. Сам набоб проводил свое время на гуляньях в обществе Раисы Павловны или Нины Леонтьевны, причем заметно скучал и часто грыз слоновый набалдашник своей палки. Когда устраивались танцы на маленькой садовой эстраде, он подолгу наблюдал танцующие пары, лениво отыскивая кого-то глазами. Все, особенно женщины, давно заметили, что набоб скучает, и по-своему объясняли истинные причины этой скуки.

Евгений Константиныч действительно скучал, и его больше не забавляли анекдоты Летучего и вранье Сарматова; звезда последнего так же быстро закатилась, как и поднялась. Теперь новинкой в обществе набоба являлся Прозоров, который, конечно, умел показать товар лицом и всех подавлял своим остроумием. Всего интереснее были те моменты, когда Прозоров встречался с Ниной Леонтьевной, этой неуязвимой женщиной в области красноречия. Происходили самые забавные схватки из-за пальмы первенства, и скоро всем сделалось очевидной та печальная истина, что Нина Леонтьевна начинала быстро терять в глазах набоба присвоенное ей право на остроумие. Пьяница Прозоров оказался умнее и находчивее в словесных турнирах и стычках, что, конечно, не могло не огорчать Нины Леонтьевны, которая поэтому от души возненавидела своего счастливого противника. Даже приспешники и прихлебатели встали сейчас же на сторону Прозорова, поддерживая его своим смехом; все знали, что Прозоров потерянный человек, и поэтому его возвышение никому не было особенно опасно. Если могли ревновать к Сар-

матову, то за участь Прозорова были все совершенно спокойны; все его величие могло разрушиться, как картонный домик, от одной лишней рюмки водки. Даже Летучий и Перекрестов относились к Прозорову снисходительно, переваривая его неистощимое красноречие. Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась. Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как Лаптев рано утром возвращался из прозоровского флигелька.

— Послушайте, Прозоров, где же ваша дочь в самом деле? — спросил однажды Лаптев, когда они сидели после обеда с сигарами в зубах.

— Сидит дома...

— Ага! А доктор часто бывает у вас?

Прозоров засмеялся и только махнул рукой.

Странное поведение Луши заинтересовало капризного набоба, за которым ухаживали первые красавицы всех наций. Как! эта упрямая девчонка смеет его игнорировать, когда он во время бала оказал ей такие ясные доказательства своего внимания. Задетое самолюбие досказало набобу остальное, хотя он старался не выдать себя даже перед Прейном. Это новое, почти незнакомое чувство заинтересовало пресыщенного молодого человека, и он сам удивлялся, что не может отвязаться от мысли о капризной, взбалмошной девчонке. Чтобы утешить самого себя, он старался раскритиковать ее в своем воображении, сравнивая ее достоинства по отдельным статьям с достоинствами целого легиона «этих дам» всех наций и даже с несравненной Гортензией Братковской. По необъяснимому психологическому процессу результаты такой критики получались как раз обратные: набоб мог назвать сотни имен блестящих красавиц, которые затмевали сиянием своей красоты Прозорову, но все эти красавицы теряли в глазах набоба всякую цену, потому что всех их можно было купить, даже такую упрямую красавицу, как Братковская, которая своим упрямством просто поднимала себе цену — и только. В нежелании Луши показываться Лаптев видел пассивное сопротивление своим чувствам, которое нужно было сломить во что бы то ни стало. Иногда набоб старался себя утешить тем, что Луша слишком занята своим доктором и поэтому нигде не показывается, — это было пло-

хое утешение, но все-таки на минуту давало почву мысли; затем иногда ему казалось, что Луша избегает его просто потому, что боится показаться при дневном свете — этом беспощадном враге многих красавиц, блестящих, как драгоценные камни, только при искусственном освещении. Но все эти логические построения разлетались прахом, когда перед глазами Лаптева, как сон, вставала стройная гордая девушка с типичным лицом и тем неуловимым шиком, какой вкладывает в своих избранников одна тароватая на выдумки природа. Собственно говоря, набоб даже не желал овладеть Лушей, как владел другими женщинами; он только хотел ее видеть, говорить с ней — и только. Все ему нравилось в ней: и застенчивая грация просыпавшейся женщины, и несложившаяся окончательно фигура с прорывавшимися детскими движениями, и полный внутреннего огня взгляд карих глаз, и душистая волна волос, и то свежее, полное чувство, которое он испытывал в ее присутствии.

В душе набоба являлась слабая надежда, что он встретит Лушу где-нибудь — в театре, на гулянье вечером или, наконец, у Раисы Павловны. Но время бежало, а Луша продолжала упорно выдерживать свой характер и не хотела показываться решительно нигде. Прейн и Раиса Павловна делали такой вид, что ничего не понимают и не видят. То, чего добивался Лаптев, случилось так неожиданно и просто, как он совсем не предполагал. Раз утром он возвращался по саду из купальни и на одном повороте лицом к лицу столкнулся с Лушей, которая, очевидно, бесцельно бродила по саду, как это иногда любила делать, когда в саду никого нельзя было встретить. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга одинаково смущенным и нерешительным взглядом. Луша была в простеньком ситцевом платье и даже без шляпы; голова была подвязана пестрым бумажным платком, глубоко надвинутым на глаза.

— Здравствуйте! — нерешительно протягивая руку, проговорил набоб.

— Здравствуйте!

Девушка сделала движение, чтобы продолжать свою прогулку, но набоб загородил ей дорогу и как-то залпом проговорил:

— Послушайте, Гликерия Виталиевна, зачем вы прячетесь от меня?

— Я и не думала ни от кого прятаться, это вам показалось...

— Пусть будет так... Какая ж причина заставляла вас все время сидеть дома?

— Самая простая: не хотелось никуда выходить.

— Только?

Лаптев недоверчиво оглянулся, точно ожидая встретить, если не самого доктора налицо, то по крайней мере его тень.

— Да, только! — спокойно подтвердила Луша. — Кажется, достаточно; всякий человек имеет право на такое простое желание, как сидеть дома...

— Вы не искренни со мной...

Девушка улыбнулась. Они молча пошли по аллее, обратно к пруду. Набоб испытывал какое-то странное чувство смущения, хотя потихоньку и рассматривал свою даму. При ярком дневном свете она ничего не проиграла, а только казалась проще и свежее, как картина, только что вышедшая из мастерской художника.

— Что вам от меня нужно? — спросила Луша, когда они подходили уже к самому пруду.

— Ничего... мне просто хорошо в вашем присутствии — и только. В детстве бонна-итальянка часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастливыми одним своим присутствием, — вот вы именно такая волшебница, с той разницей, что вы не хотите делать людей счастливыми.

— Как красиво сказано! — смеялась Луша. — Только интересно знать, которым изданием выпущена ваша «маленькая фея»?

— Клянусь вам, Гликерия Витальевна, что это самое первое...

— Сегодня?

— С вами невозможно говорить серьезно, потому что вы непременно хотите видеть везде одну смешную сторону... Это несправедливо. А нынче даже воюющие стороны уважают взаимные права.

— Обыкновенная жизнь — самая жестокая война, Евгений Константиныч, потому что она не знает даже коротких перемирий, а побежденный не может рассчитывать на снисхождение великодушного победителя. Трудно требовать от такой войны уважения взаимных прав и, особенно, искренности,

— Что вы хотите сказать этим?

Луша быстрым взглядом окинула своего кавалера и проговорила с порывистым жестом:

— Вы давеча упрекнули меня в неискренности... Вы хотите знать, почему я все время никуда не показывалась,— извольте! Увеличивать своей особой сотни пресмыкающихся пред одним человеком, по моему мнению, совершенно лишнее. К чему вся эта комедия, когда можно остаться в стороне? До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменяла свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке.

— Следовательно, вы должны быть благодарны мне за этот урок?

— Нисколько!

Эта болтовня незаметно продолжалась в том же тоне, причем Луша оставалась одинаково сдержанной и остроумной, так что набоб еще раз должен был признать себя побежденным этой странной, капризной девчонкой.

— Надеюсь, что мы будем друзьями? — говорил Лаптев, когда девушка начала прощаться.

Луша с улыбающимся взглядом покачала своей красивой головкой.

— По крайней мере, вы не будете прятаться? — продолжал набоб, делая нетерпеливое движение. — Я раньше думал, что вы так поступали по чужой инструкции...

— Именно?

— А Раиса Павловна?

— Я уважаю Раису Павловну, но это не мешает мне иметь свои собственные взгляды.

— В этом я убедился... Итак, мы еще увидимся?

— Не знаю...

Эта нечаянная встреча подлила масла в огонь, который вспыхнул в уставшей душе набоба. Девушка начинала не в шутку его интересовать, потому что совсем не походила на других женщин. Именно вот это новое и неизвестное и манило его к себе с неотразимой силой. Из Луши могла выработаться настоящая женщина — это верно: стоило только отшлифовать этот дорогой камень и вставить в надлежащую оправу.

Непосредственным следствием этой встречи было то, что в комнате Луши каждый день появлялся новый роскошный букет живых цветов, а затем та же невидимая рука

приносила богатые бонбоньерки с конфетами. Только раз, когда Луша открыла одну из таких бонбоньерок и среди конфет нашла обсахаренную сапфировую брошь, она немедленно послала за Чарльзом и возвратила ему и бонбоньерку и запретный плод с приличной нотацией. Оставшись одна, она даже расплакалась и вышвырнула за окно последний букет. Эта армейская любезность возмутила ее до глубины души, хотя она никому ни слова о ней не сказала. Разве она какая-нибудь «галка», чтобы делать ей такие глупые подарки? Если она позволяла дарить себе цветы и конфеты, то потому только, что они ничего не стоили.

Не успело еще улечься впечатление этого неудачного эпизода, как в одно прекрасное утро во флигелек Прозорова набоб сделал визит, конечно в сопровождении Прейна. Виталий Кузьмич был дома и принял гостей с распростертыми объятиями, но Луша отнеслась к ним довольно сухо. Разговор вертелся на ожидаемых удовольствиях. Предполагалась поездка в горы и несколько охотничьих экскурсий.

— Вы любите ездить верхом? — спрашивал набоб хозяйку.

— Да, очень люблю.

Прейн дурачился, как школьник, копируя генерала и Майзеля; Прозоров иронизировал относительно кукарских дам, заставляя Лаптева громко смеяться.

— Что же вы нас не пригласите напиться чаю? — спрашивался Прейн с своей веселой бессовестностью.

Девушка на мгновение смутилась, вспомнив свою разрозненную посуду, но потом успокоилась. Был подан самовар, и Евгений Константиныч нашел, что никогда не пил такого вкусного чаю. Он вообще старался держать себя с непринужденностью настоящего денди, но пересаливал и смущался. Луша держала себя просто и сдержанно, как всегда, оставаясь загадкой для этих бонвиванов, которые привыкли обращаться с женщинами, как с лошадьми.

— А где наш общий друг? — спрашивал Прейн, выставляя свои гнилые зубы.

— Какой друг? — удивилась Луша.

— А доктор? Это милый молодой человек, которого я полюбил от души...

— И я тоже, — прибавил Лаптев, делая серьезное лицо. — Мне остается только пожалеть, что в медицине я совсем профан.

Прозоров не упустил, конечно, случая и прошелся довольно ядовито насчет хорошего парня Яшки. Эта сцена не понравилась Луше, и она замолчала. Поболтав с полчаса, гости ушли; в прозоровском флигельке наступила тяжелая и фальшивая пауза. Прозоров чувствовал, что кругом него творится что-то не так, как следует, но у него не хватило силы воли покончить разом эту глупую комедию, потому что ему нравилась занятая им роль *bel-esprit*¹ и те победы, которые он одержал над Ниной Леонтьевной. Конечно, Лаптев ухаживает за Лушей и ухаживает слишком ясно, но ведь это избалованный дурак, а Луша умна; притом вся эта орда скоро уедет с заводов. На этих соображениях Прозоров совершенно успокаивался, предоставив Лушу самой себе.

В тот же день к прозоровскому флигелю была приведена великолепная английская верховая лошадь под дамским седлом, но она подверглась той же участи, как и сапфировая брошь.

Знала ли Раиса Павловна, что проделывал набоб и отчасти Прейн? Луша бывала у ней по-прежнему и была уверена, что Раиса Павловна все знает, и поэтому не считала нужным распространяться на эту тему. По удвоенной нежности Раисы Павловны она чувствовала на себе то, что переживала эта странная женщина, и начала ее ненавидеть скрытой и злой ненавистью.

— А ты, право, напрасно *это*... — нерешительно проговорила Раиса Павловна после эпизода с лошадыю.

— Что «это»?

Раиса Павловна только посмотрела на свою любимицу улыбающимся, торжествующим взглядом, и та поняла ее без слов.

— Впрочем, тебе лучше знать, — продолжала Раиса Павловна, как о вещи известной.

«Да, я знаю, что ты меня хочешь повыгоднее продать, — думала, в свою очередь, Луша, — только еще пока не знаешь, кому: Евгению Константинычу или Прейну...»

Раиса Павловна поняла мысли Луши по ее сдвинутым бровям и горько улыбнулась: Луша была несправедлива к ней. В последнее время между этими женщинами установилось то взаимное понимание между строк, которое может существовать только между женщинами: они

¹ остроумного человека (*фр.*).

могли читать друг у друга в душе по взгляду, по выражению лица, по малейшему жесту. Иногда это было тяжело, но в большинстве случаев избавляло от напрасных объяснений. В открытых нотах Раисы Павловны проходила темой одна фраза: «я тебя люблю, люблю, люблю...», а в партии Луши холодно отзывалось: «а я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу...» Когда стороны начинали увлекаться, ноты разыгрываемой мелодии сливались, и их смысл терялся; такие недоразумения распутывались в более спокойные минуты.

— Знаешь, Луша, что сказал Преин третьего дня? — задумчиво говорила Раиса Павловна после длинной паузы. — Он намекнул, что Евгений Константиныч дал бы тебе солидную стипендию, если бы ты вздумала получить высшее образование где-нибудь в столице... Конечно, отец поехал бы с тобой, и даже доктору Преин обещал свои рекомендации.

Луша только улыбнулась, и в ее глазах засветилась мысль: «Раиса Павловна, как вам не совестно повторять такие глупости, которым вы и сами не верите? Ведь это та же засахаренная брошь...» Раиса Павловна в ответ на это звонко поцеловала Лушу, что в переводе значило «Умница ты моя!»

XXII

На заводе шли деятельные приготовления к предстоящей поездке набоба по всему округу, о чем было уже известно всем, а в особенности тем, кому о сем ведать надлежало. Управители оставили Кукарский завод и разъехались по своим гнездам: Сарматов — в Мельковский завод, Буйко — в Куржак, Дымцевич — в Заозерный и т. д. Главная остановка по маршруту предполагалась в Баламутском заводе, где царствовал Вершинин, а затем в Заозерном и Куржаке, где предполагалась охота.

В этот короткий промежуток времени Родион Антоныч успел уже два раза объехать все заводы; он лез из кожи, чтобы все и везде было форменно, в лучшем виде, главным образом, конечно, с внешней стороны. Главной целью этих поездок было кое-что подготовить генералу Блинову, который будет собирать сведения от заводских контор по разным статьям. Необходимо было предупредить генерала и напустить ему такого тумана, что сам черт ногу

переломит. По пути Родион Антоныч собрал сведения относительно замыслов Вершинина и Майзеля: первый готовил ряд обедов и завтраков, а второй — охоту. Мимоходом Родион Антоныч завернул на прииски, где и делались приготовления к оленьей охоте, и даже забрался на Рассыпной Камень, самую высокую гору в округе Кукарских заводов, на вершине которой устраивалась главная стоянка. Рубили две избы и чистили дорогу на самую вершину горы.

— А... предтеча! — смеялся Вершинин, когда встретил Родиона Антоныча на своем заводе.— Как здоровье Раисы Павловны?

— Ничего, слава богу...

— А я слышал, что у ней сильный насморк.

Эти шуточки не особенно беспокоили Родиона Антоныча, потому что у Вершинина уж так была устроена голова; их смысл он понял только вечером, когда к нему прискакал особый нарочный с письмом от Раисы Павловны, которая извещала своего Ришелье об аудиенции заговорщиков у набоба. «Меня несколько не удивляет их поведение,— писала она под первым впечатлением,— но представьте себе, что во главе депутации явился... кто бы вы думали? — Яшка Кормилицын! Скажите мне, ради бога, что этому младенцу нужно? Пишу вам все, что узнала от Прейна, который присутствовал на аудиенции; не верьте тем слухам, которые распускают наши враги. Меня все оставили... Если вы находите наше дело проигранным, я не удерживаю вас; может быть, и вы хотите примкнуть к партии Тетюева, из принципа, что всякому своя рубашка к телу ближе. Но я повторяю вам одно, что именно теперь, когда всё и все против меня, я глубоко убеждена, что вся эта кутерьма окончится в нашу пользу». Дальше следовало подробное описание аудиенции заговорщиков и ряд деловых соображений, советов и наставлений, пересыпанных крупной солью.

Родион Антоныч слишком далеко зашел, чтобы теперь думать о своей рубашке и, махнув рукой, решил лечь костями за Раису Павловну: он еще веровал в нее, потому что за нее был всемогущий Прейн.

Положение управителей на отведенных им заводах больше всего походило на положение удельных князьков древней Руси: здесь кипела вечная война из-за выгодных столов, составлялись остроумные комбинации и делались

целые походы, вроде того, который теперь устроен был против Раисы Павловны. В мирное время управители-князьки были заняты мелкими междоусобиями, личными счетами и копеечными интригами; подкопаться под врага, подставить ножку при удобном случае своему приятелю, запустить шпильку, отплатить за старую обиду, — из этих мелочей составлялся почти безвыходный круг, в котором особенно деятельное участие принимали женщины. Главным воротилой в этом исключительном миреке был Вершинин; он задавал тон и твердой рукой вел свою линию; другие управители плясали уже по его дудке, а в случае проявления самостоятельности подвергались соответствующей каре. На парадных завтраках Раисы Павловны, в обществе, в специально заводских делах — нигде не было спасения, и недругу Вершинина ничего не оставалось, как только искать спасения в бегстве. Заслужить нерасположение Вершинина равнялось чуть не смертному приговору. Бывали, впрочем, моменты, когда против него составлялась партия из мелких управителей. Было даже раза два так, что Вершинин сам висел на волоске, но всю эту путаницу он всегда умел распутать с дьявольской хитростью и всегда выходил сух из воды. Настоящий состав управителей мирился с этим генеральством Вершинина, за исключением Майзеля; Сарматов, Дымцевич, Буйко и другие были слишком мелки, чтобы открыто тягаться с Вершининым, и предпочитали скрывать свои настоящие чувства. Приезд Лаптева и борьба с Раисой Павловной слили воедино всех и на время заставили забыть личные дразги, счеты и неприятности. Расчет был простой: если на место Горемыкина назначат Вершинина или Майзеля, тогда произойдет соответствующее повышение всех остальных; если будет Тетюев, тогда увеличат жалование или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, никто не желал проигрывать, а рассчитывал на верный выигрыш. Несомненный успех первой аудиенции служил ручательством за успех всего дела; теперь оставалось только устроить счастливую поездку набоба по заводам — и дело в шляпе. В последнем случае задача несколько двоилась: нужно было показать плоды и успехи своих трудов и в то же время недостатки и упущения горемыкинской администрации. Это был очень скользкий путь, тем более что мелкие служащие были за Горемыкина. Словом, работы всем было по горло: все чистилось, прибиралось и принимало

праздничный вид. Управители бесились, ругались, топали ногами и были глубоко убеждены, что в этом именно и состоит настоящее заводское дело.

Маршрут, составленный Прейном, имел в длину около трехсот верст, захватывая все заводы. Из Кукарского завода сначала должны были проехать в Исток и Мельковский — в последнем рюмка водки и легкий завтрак; затем следовал Баламутский завод — обед и, может быть, ужин, смотря по обстоятельствам. Из Баламутского завода — в Заозерный, а из последнего, по озеру, на Рассыпной Камень — ночевка и кормежка. Последними в маршруте стояли заводы Логовой и Куржак. Раиса Павловна просмотрела этот маршрут вместе с Прейном и вполне одобрила его, за исключением ужина в Баламутском заводе.

— Возите его прямо на охоту, — советовала Раиса Павловна.

— Да ведь другой дороги нет к Рассыпному Камню? Наконец нельзя же миновать наш главный завод... Если бы не генерал, тогда, конечно, мы прокатили бы Евгения Константиныча проселком — и делу конец. Но генерал, вот где загвоздка. Да ничего не выйдет из этого, если и заночуем у Вершинина.

Для поездки по заводам был снаряжен громадный поезд из тридцати троек. Охота и кухня были отправлены вперед другим обозом. Было известно, что поедет Нина Леонтьевна, значит — Раиса Павловна останется дома. Майзель с Перекрестовым уехали вперед, чтобы приготовить приличную встречу набобу в горах; впрочем, представитель русской прессы изменил Майзелю на третьей же станции: смущенный кулинарными приготовлениями Вершинина, он остался в Баламутском заводе. Участие в поездке Нины Леонтьевны решило капитальный вопрос о том, что в предполагаемой охоте могут принять участие и дамы; конечно, такой оборот взволновал прекрасную половину и прежде всего поднял вопрос о костюмах. Последнее особенно беспокоило дам. Охота не бал, приходилось самим «сочинять костюмы», следовательно, единственным основанием являлся только свой вкус; соперничество и желание блеснуть окончательно усложнили все дело. Модные журналы как-то упустили из виду возможность такого случая; самые смелые дамы, как m-me Сарматова, некоторое время колесались даже пред мужским

костюмом, но когда узнали, что в таком костюме едет на охоту Прозорова, то восстали против нее с презрением.

Луша действительно готовилась ехать в горы и теперь, под руководством Прейна, училась стрелять в цель из монтекристо. Эти уроки шли, кажется, успешно. Веселый учитель, с французской складкой в характере, нравился Луше, потому что никогда не надоедал и вовремя умел приходить и уходить. Между ними установились те дружеские отношения, которые незаметно сближают людей; Прейн вообще понимал хорошо женщин и без слов умел читать у них в душе, а Луше эта тонкость понимания особенно и нравилась в нем. Прибавьте к этому рыцарскую вежливость и умение всегда принести жертву женскому тщеславию. Шуточки и остроты Прейна сместили Лушу до слез, и она шутя называла его дедушкой. В ответ на это звание Прейн целовал у Луши руки и беззаботно говорил:

— Учитесь у дедушки великой философии жизни, которая заключается всего в одном слове: никогда не скучать.

— Хорошо вам так рассуждать,— смеялась Луша,— а зашить бы вас в нашу девичью кожу, тогда вы запели бы другую песню с своей великой философией... Мужчикам все возможно, все позволительно и все доступно, а женщина может только смотреть, как другие живут.

— Совершенно справедливо, хотя и не без исключений. Умная и красивая женщина всегда сумеет поставить себя выше общественных условий... Но для этого она должна расстаться с некоторыми предрассудками...

— Вы смотрите на женщин хуже, чем на своих лошадей...

— О нет, вы ошибаетесь... Умная женщина может сделать из нас все — это страшная сила.

Лаптев по-прежнему ухаживал за Лушей, посылал букеты и говорил свои армейские комплименты; но этот избалованный набоб не умел попасть в тон, и Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная, апатичная натура, с чисто животными инстинктами, отталкивала ее, особенно по сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился. Постепенно, шаг за шагом, этот великий мудрец незаметно успел овладеть Лушей, так что она во всем слушалась одного его слова, тем более что Прейн умел сделать эту маленькую диктатуру совершенно незаметной и всегда знал ту границу, дальше которой по

следовало переходить. Чувство меры в нем было особенно развито, и он умел подладиться к невозможным обстоятельствам, от которых даже у самого терпеливого осла давно лопнуло бы терпение. Так Прейн добился того, что Луша перестала дичиться и даже начала брать под его руководством уроки стрельбы и верховой езды. Ездил Прейн, как жокей, и быстро посвятил Лушу во все тайны этого великого искусства. Это сближение, однако ж, беспокоило Раису Павловну, которая, собственно, и сама не могла дать отчета в своих чувствах: с одной стороны, она готовила Лушу не для Прейна, а с другой — в ней отзывалось старое чувство ревности, в чем она сама не хотела сознаться себе. Луша, с эгоизмом всех довольных людей, делала вид, что ничего не замечает.

— Тебе необходимо ехать в горы,— советовала Раиса Павловна, когда Луша раздумывала принять эту поездку.— Во-первых, повеселишься, во-вторых... ты поедешь вместе с отцом, следовательно, вполне будешь защищена от всяких глупых разговоров; а на наших заводских баб не обращай никакого внимания. Нам с ними не детей крестить.

— Мне все равно, Раиса Павловна, что будут говорить про меня.

— Есть одно обстоятельство... собственно пустяки, но я дала бы тебе, Луша, маленький совет.

— Именно?

— Будь осторожнее с Прейном...

Последние слова Раиса Павловна произнесла с опущенными глазами и легкой краской на лице: она боялась выдать себя, стыдилась, что в этом ребенке видит свою соперницу. Она любила Лушу, и ей тяжело было бы перенести слишком тесное сближение ее с Прейном, с которым, собственно, все счеты были давно кончены... но, увы! — любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно старая любовь.

Давно ожидаемая поездка наконец совершилась в светлый июньский день, когда четырехместная коляска Лаптева стрелой полетела по дороге в Истокский завод; в коляске с набобом сидел один Прейн, а в ногах у них лежала ласково взвизгивавшая Brunehaut. Генерал ехал в следующем экипаже, вместе с Ниной Леонтьевной; за ним летела тройка, имевшая счастье везти самого м-г Чарльза, который теперь ехал в сопровождении собствен-

ного лакея. За м-г Чарльзом ехали собственные секретари Евгения Константиныча, потом Братковский с Летучим, а прочие экипажи были заняты остальной свитой. Тройки летели с бешеной быстротой восемнадцати верст в час; на половине станции были выставлены заводные лошади; но это не помогало, и непривычные к такой гоньбе тройки задыхались от жара. На первом же полустанке оказалось четыре загнанных тройки; покрытые пеной, лошади тяжело вздрагивали, точно дышали всем телом, опускали головы и падали в конвульсиях.

Набоб лениво смотрел по сторонам, где мелькал тощий лес, вырубленный на заводские надобности; попадались болота, небольшие горки, прятанная в тальнике и лопушнике речка. Подорожная трава была теперь покрыта густым слоем пыли, которую оставляли за собой транспорты железа и чугуна. Дождя не было целую неделю, и зелень сильно «притомилась», как говорят мужики. Трава просила дождика. Даже березы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Из хвойного леса несло тяжелым смолистым запахом, кружившим голову. Небо было чисто, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облаков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорского меха.

— Дело кончится тем, что я схвачу чахотку,— капризно говорил набоб, чихая от пыли.

— Что же, за отечество и умереть приятно, сказал какой-то мудрец...

Покуривая сигару, Прейн все время думал о той тройке, которая специально была заказана для Прозорова; он уступил свою дорожную коляску, в которой должны были приехать Прозоров с дочерью и доктор.

Дорога вилась пыльной лентой по холмистой местности, огибая гряду лесистых горок, которые тянулись к востоку, где неправильной глыбой синел Рассыпной Камень. Через два часа езды выглянул своими крайними домиками Истокский завод; он залег на дне глубокой горной долины, где была запружена бойкая горная речонка. Несколько широких улиц вытянулись по берегам заводского пруда; на площади, заваленной дровами, белела церковь. Фабрика слабо дымилась у самой плотины. На небольших заводах летом работы приостанавливаются, потому что все население страдает, заготовляя сено; только такие громадные заводы, как Кукарский и Баламутский, работали

насквозь целый год, потому что располагали десятками тысяч рабочих рук.

В Истоке только переменили лошадей, и набоб даже не вышел из экипажа, хотя был встречен колокольным звоном и хлебом-солью. Густая толпа народа не успела мигнуть, как барин уже был на дороге в Мельковский завод, где готовилась ему торжественная встреча. Характер местности быстро изменялся, и дорога начала забирать в гору; широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками,— все кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного пейзажа. Мельковский завод был похож на Исток, как две капли воды, только чуть-чуть побольше, да церковь была выкрашена желтой охрой. Тот же колокольный звон, те же толпы народа и та же хлеб-соль. В квартире Сарматова был сервирован легкий завтрак, на который ехавшая за набобом челядь накинулась с той жадностью, с какой бросается публика на железных дорогах к буфету.

— Ну, как вы себя чувствуете, Сарматов? — говорил Лаптев, торопливо прожевывая кусок холодной телятины.

— А пичего... Живем, пока мыши головы не отъели.

— Как?

— Пока мыши головы не отъели.

— Ага! Вы, конечно, с нами поедете на охоту? Жаль, что на Урале нет кабанов.

Когда генерал предложил осмотреть фабрику, набоб отрицательно покачал головой и заметил, что фабрику можно будет осмотреть на обратном пути.

В Баламутский завод приехали к самому обеду. До него от Кукарского завода считалось девяносто верст; дорога делала большой выгиб, направляясь к северу, где синел Рассыпной Камень. Встреча барина в Баламутском заводе очень походила на такую же встречу в Кукарском, только в меньших размерах. Пятитысячная толпа запрудила все улицы и провожала коляску барина несмолкаемым «ура». Рассыпав свои бревенчатые избы по каменистым уступам глубокой горной котловины, Баламутский завод был очень красив, особенно издали. Громадный узкий пруд был сдавлен в живописных крутых берегах; под плотиной курилось до десятка больших труб и две домашних печи; на берегу пруда тянулась заповедная кедровая роща, примыкавшая к большому господскому дому,

походившему на дворец. Этот дом выстроил еще старик Тетюев, любивший Баламутский завод больше всех других. Две богатые церкви дополняли картину завода.

XXIII

В жизни Евгения Константиновича растительные процессы занимали первое место, поэтому понятно то нетерпение, с которым вся свита ожидала обеда в Баламутском заводе. Чем-то угостит Вершинин набоба? Конечно, у Вершинина был отличный повар, которого он нарочно посылал учиться в петербургский английский клуб, но все-таки... Первые два блюда прошли почти незаметно, но когда подали уху из живых харюзов¹, набоб просветлел; после двух тарелок этой ухи всем было ясно, что Вершинин одержал победу, и Перекрестов поспешил сказать спич в честь знаменитой рыбы северных рек. Этими двумя тарелками все разъяснилось: набоб был доволен, следовательно, и Вершинин мог быть спокоен за свое будущее. В случае какого-нибудь затруднения стоило только сказать: «Евгений Константинович, это тот самый Вершинин, у которого вы ели уху из харюзов...» Набоб вообще не отличался особенно твердой памятью и скоро забывал даже самые остроумные анекдоты, но относительно еды обладал счастливой способностью никогда не забывать раз понравившегося кушанья. Это была, если позволено так выразиться, гастрономическая память, потому что сосредоточивалась главным образом не в голове, а в желудке.

— А как харюз называется по-вашему, по-ученому? — спрашивал Евгений Константинович, вечером генерала.

— *Salmo thymalis*...

— Ага! Вершинин очень умный человек! как вы находите, генерал?

— Да... кажется.

Эта *salmo thymalis* испортила целую ночь старику Майзелю, который от души проклинал все горные речки, где водилась эта проклятая рыбешка. И нужно же было Вершинину подсунуть эту несчастную уху, когда ему, Май-

¹ Кто-то и почему-то окрестил эту рыбу ученым именем — *харюс*; на Урале ее называют просто — *харюз*, и последнее название, по нашему мнению, больше отвечает складу русской речи. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

зелю, завтра придется угощать набоба охотничьим завтраком. Русский немец имел несчастье считать себя великим гастрономом и вынашивал целых две недели великолепный гастрономический план, от которого могла зависеть участь всей поездки набоба на Урал, и вдруг сунуло этого Вершинина с его ухой... Извольте-ка теперь удивить набоба? Майзель тревожно проворочался целую ночь и чем свет уехал из Баламутского завода к Рассыпному Камню, чтобы там встретить набоба во главе привезенной из Петербурга охоты и целой роты собственных лесообъездчиков.

— Вы сделали отличный ход, Демид Львович, — поздравлял Перекрестов утром Вершинина. — Ведь две тарелки сряду... Да!.. Вот я два раза вокруг света объехал, ел, можно сказать, решительно все на свете, даже телячьи глаза в Пекине, а что осталось от всего? Решительно ничего... А вы своей ухой всех зарезали!

Прейн уехал из Баламутского завода вперед; он торопился в Заозерный завод, куда его вызывал через парочного паш старый знакомец, Родион Антоныч. Заозерный завод в маршруте служил последней сухопутной станцией, дальше путь к Рассыпному Камню лежал по озеру — на заводском пароходе. Таким образом, Заозерный являлся сборным пунктом, где около набоба должно было сгруппироваться все общество. Посланная Сахаровым эстафета лаконически гласила: «Все здесь; ждем вас». На этого верного слугу было возложено довольно щекотливое поручение: конвоировать до Заозерного завода «галок» Раисы Павловны, потому что они среди остального дамского общества, без своей патронессы, являлись пятым колесом, несмотря на всеильное покровительство Прейна; другим не менее важным поручением было встретить и устроить Прозоровых, потому что м-ме Дымцевич, царившая в Заозерном на правах управительши, питала к Луше вместе с другими дамами органическое отвращение. Чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения между дамами, Прейн полетел сам на выручку.

Заозерный завод, раскидавший свои домики по берегу озера, был самым красивым в Кукарском округе. Ряды крепких изб облепили низкий берег в несколько рядов; крайние стояли совсем в лесу. Выдавшийся в середине озера крутой и лесистый мыс образовал широкий залив; в глубине озера зелеными пятнами выделялись три остро-

ва. Обступившие кругом лесистые горы образовали рельефную зеленую раму. Рассыпной Камень лежал массивной синевато-зеленой глыбой на противоположном берегу, как отдыхавший великан.

— Хорошо ли вам здесь? — спрашивал Прейн, пожимая руку Луше. — Как доехали? Благополучно? Ага... А вы, доктор?

Известие об ухе из харюзов опередило Прейна, и Родион Антоныч глядел с печальной задумчивостью, как наблудивший кот. Недаром Раиса Павловна так беспокоилась за Баламутский завод: оно все так и вышло, как описаному. Теперь через этих харюзов и Тетюев вылезет... Умудренный в изворотах, мелях и подводных камнях внутренней политики, Родион Антоныч, как никто другой, понимал всю важность совершившихся событий и немедленно послал эстафету Раисе Павловне с нарочным: «Вершинин угостил ухой из харюзов: Евгений Константиныч скушали две тарелки. Известите с сим же нарочным, что делать».

Луша была недовольна поездкой и капризничала; Прейну стоило большого труда успокоить ее.

— Очень мне интересно смотреть на этих падурых дам, — говорила она. — И к чему вы навезли сюда этих галок?

— Все будет хорошо, — тараторил Прейн, — чем больше дам, тем лучше. Кашу маслом не испортишь... Меня Раиса Павловна просила о «галках», не мог же я отказать ей!

В душе Прейн был очень доволен, что Луша начинала ревновать его к m-ше Эмме; старый грешник слишком хорошо знал все ходы и выходы женского сердца, чтобы ошибиться. Он не любил добычи, которая доставалась даром.

«Галки» тоже скушали и от нечего делать одолевали почтенного Родиона Антоныча самыми невозможными просьбами и птичьими капризами; этот мученик за идею напрасно делал кислые гримасы и вздыхал, как загнанная лошадь, — ничто не помогало. Храбрые девицы позволяли себе такие шуточки и остроты даже относительно самой наружности своего телохранителя, что Родион Антоныч припужден был отплеиваться с выражением благочестивого ужаса на лице.

— Ваша прямая обязанность, Родион Антоныч, сейчас же съездить за Братковским, — серьезно говорила

м-ле Эмма, — а то посмотрите, на что похожа сделалась Аннинька? Если ваша жена узнает...

— О господи, за что ты меня наказываешь? — стонал мученик-доброволец.

— Нет, в самом деле, я очень люблю всех домашних секретарей, — смеялась беззаботная Аннинька, — и дорогой чуть не поцеловала вас, Родион Антоныч, потому что вы ведь тоже секретарь...

— Федот, да не тот, — прибавила м-ле Эмма, хлопая Родиона Антоныча по плечу своей мягкой рукой.

С появлением Прейна шуткам над Родионом Антонычем не было конца, пока этот искуc не закончился появлением в Заозерном загонщиков, возвестивших о благополучном отбытии набоба из Баламутского завода.

Небольшой плоскодонный пароход, таскавший на буксире в обыкновенное время барки с дровами, был вычищен и перекрашен заново, а на носу и в корме были устроены даже каюты из полотняных драпировок. Обитые красным сукном скамьи и ковры дополняли картину. В носовой части были помещены музыканты, а в кормовой остальная публика. До Рассыпного Камня по озеру считалось всего верст девятнадцать, но пароход нагружался с раннего утра всевозможной «яствой и питвой», точно он готовился в кругосветную экспедицию.

Набоб из экипажа прямо перешел на пароход, а за ним хлынула толпа дам; все старались занять место получше, то есть поближе к набобу. Собравшиеся прежде всего, конечно, сделали самый строгий осмотр друг другу, как слетевшиеся пчелы. Присутствие «галок» и Луши заставило их целомудренно сбиться в отдельную кучку, а маменьки даже прикрывали своих дочерей носовыми платками, точно в самом воздухе носилась какая-то зараза. Нина Леонтьевна презрительно рассматривала «галок» в лорнет, не переставая улыбаться двусмысленной улыбкой; остальные дамы поддерживали ее взглядами и принужденным молчанием. От взглядов и улыбок Нина Леонтьевна, по всей вероятности, перешла бы к более активным проявлениям своего возмущенного чувства, но ее останавливало присутствие Прозорова, который все время наблюдал за ней улыбающимися глазами. Костюмы дам носили меланхолический характер серых тонов; только одна м-ме Сарматова явилась в платье «цвета свежепросоленного огурца», как говорил Прозоров, что, по ее мнению, имело какое-то

соотношение с предполагаемой охотой. Набоб лениво окинул эту толпу дам и едва заметно улыбнулся, заметив около Прозорова съжившуюся Лушу, которая сегодня казалась совсем маленькой девочкой, точно вся она сжалась и ушла в себя. Она была одета в простенькое камлотовое платье с пелериной; дамы подозрительно осматривали этот скромный костюм, стараясь под ним отыскать мужское платье, о котором они слышали.

Пароход отвалил. Тихими аккордами полился какой-то торжественный старинный марш. На берегу живой стеной стоял провожавший барина народ: кто-то крикнул вдогонку «ура», но оно замерло в шуме падавшей с пароводных колес воды. Неуклюжее судно точно задыхалось и с каким-то хрипением разгребало воду. Вода в озере чуть-чуть рябила; небо было чисто. В воздухе чувствовался наливавшийся летний зной... Луша еще в первый раз едет на пароходе и поддается убаюкивающему чувству легкой качки; ей кажется, что она никогда больше не вернется назад, в свой гнилой угол, и вечно будет плыть вперед под колыхающиеся звуки музыки. Вперед, вперед! Новое, такое хорошее и доброе чувство подхватывает ее, и она забывает о той ненависти, которая сосредоточивается на ней. Ведь здесь все ей враги, за исключением, может быть, Прейна... Она желала бы теперь остаться совсем одна. Пусть шумит вода, пусть плывут мимо лесистые, затянутые сивеатой пленкой берега, пусть с неба льются волны теплого света. Почему-то Луша думает о смерти. В самом деле, почему? Хорошо умереть молодой и красивой, в цвете сил, умереть, как засыпает ребенок на руках матери. Что бы тогда сказали о ней все эти дамы и мужчины? Луша ненавидит их всех одинаково, ненавидит той ненавистью, которая, как полированная поверхность блестящего металла, отражает падающий на нее луч. Вон Евгений Константиныч разговаривает о чем-то с Ниной Леонтьевной, вон Братковский улыбается через плечо счастливой Анниньке, вон два зорких глаза наблюдают ее — это глаза старого Прейна, который любит ее и которого она тоже начинает любить... нет, не любить, а ей весело с ним, он такой славный!

— Раз со мной какой случай был, — рассказывал Сарматов, обращаясь к кружку мужчин. — Mesdames! ¹ вы уж извините меня, если я немного...

¹ Сударыни! (фр.)

— Ах, Сарматов, вы вечно приметесь рассказывать что-нибудь такое... — жеманно протестуют дамы, отсаживаясь подальше от рассказчика.

— Раз наш полк стоял в Саратовской губернии, — рассказывал Сарматов, складывая ногу на ногу, — дело было летнее, скучища смертная, хоть петлю на шею... Хорошо у меня ружьишко: дай, думаю, хоть за утками схожу. Выбрал денек поведреннее и ранним утром махнул к первому озеру. Походил-походил около воды, убил пару уток, а достать из воды не умею... Как быть? Отыскал шалашик, где рыбаки жили, и нанял лодочку с двумя гребцами. Поехали. Ну-с, убил я этак штук пятнадцать — не помню хорошенько, захотелось отдохнуть. Привалили к берегу, развели огонек, пару уток в золу — все по порядку... Устал я, а тут как выпил и закусил, сон меня так и клопит. Мои гребцы видят, что я спать располагаюсь, и просят меня: «Ваше высокородие, позволь нам пачет уток, пока почивать будешь». Думаю, отчего не позволить — ступайте на все четыре стороны. «Мы, говорят, ваше высокородие, тут неподалече в камышах постреляем...» Хорошо. Ружье с ними, обыкновенно, мужицкое: ложка расщеплена, замок привязан веревкой, все в этом роде. Остался я около огонька и смотрю, что будет. Вот один и говорит: «Ты, Бряков, ступай на ту сторону в камыши и загоняй уток, а я буду ждать на этом берегу в камышах. Как я тебе крикну: «мырай!» — ты в воду, а стрелять буду я...» Мудрено что-то, думаю. Заинтересовало меня, как это Бряков мырять будет. Хорошо-с. Вот охотник с ружьем засел в кусты и ждет, а Бряков с другой стороны палочкой гонит целый выводок — уток там видимо-невидимо. Прямо на охотника так и гонит, тот сидит в камышах и молчит. Бряков вышел из камышей и по колению в воде бредет. Осталось всего этак шагов тридцать, слышу: «Мырай!» Мой Бряков в воду, вниз головой... Только не рассчитал, бедняга, что место мелкое, да и ружье у приятеля с запалом: пшш... Выстрел... Бряков: ай, ай... Выскочил из воды, как ошпаренный, и по берегу запластывает ко мне, а сам ревет благим матом и обеими руками держится... как бы это повежливее выразиться?..

— Это то самое место, — объяснил Прозоров, — в которое, по словам Гейне, маршал Даву ударил ногой одного немца, чем и сделал его знаменитостью на всю остальную жизнь...

Мужская компания громко хохочет. За этим анекдотом посыпался ряд других. Тема оказалась бесконечной. А впереди уже выше и выше встает Рассыпной Камень, можно рассмотреть угесистую вершину-шихан и отдельные россыпи из камней, которые тянутся по бокам правильными полосами. На берегу устроена временная пристань, и ждут верховые лошади. Несколько экипажей для дам стоят в тени мелкого березняка, где курится огонек. Майзель издала машет серой охотничьей шляпой. От пристани в гору тянется свежая просека, которая нарочно устроена для этого случая.

Мужская компания берет верховых лошадей, а дамы садятся в экипажи. Исключение представляет m-me Сарматова в своем зелено-желтом платье и Луша; для них приготовлены лошади под дамским седлом. Прейн помогает им сесть в седло; Лаптев издала, разговаривая с Майзелем, следит за Лушей, которая, туго натягивая поводья, заставляет свою лошадь танцевать. От волнения все лицо у ней залито ярким румянцем, а глаза блестят лихорадочным влажным взглядом. Вот шагом потянулись в гору экипажи с дамами, тяжело переваливаясь с кочки на кочку и оставляя на траве измятый светло-зеленый след; под ногами лошадей хлюпает и шипит вода. Место низкое, и кое-где лошади проваливаются.

— Посмотрите, как везут кислую капусту! — вполголоса шепчет Прейн Луше, указывая головой на экипажи с дамами.

— Я не знал, что вы такая наездница, — раздается за спиной Луши голос Лаптева.

Девушка краснеет от этой похвалы и мешает поводья. Длинная кавалькада вытягивается в гору. Озеро остается далеко внизу и точно отступает от берега. С каждым шагом вперед горизонт раздается шире и шире; из-за узорчатой прорези елового леса выступают гряды синих гор, которые тянутся к северу тяжелыми валами, точно складки обросшей зеленой щетиной кожи какого-то чудовища. Небо уходит вверх бездонным куполом; где-то далеко-далеко сверкает затерявшаяся в глубоком логу горная речонка. А там кучкой поломанных детских игрушек, рассыпанных без всякого плана и порядка, выделяется какая-то лесная деревенька.

Вершина Рассыпного Камня представляла собой слегка округленную плоскость тремя скалистыми гребнями.

Самый высокий из них выходил к озеру; под ним гора крутым выгибом спускалась вниз, к воде. Около этого шихана и была выбрана охотничья стоянка, представлявшая самый живописный уголок по своей дикой красоте. Под скалами рос частый ельник. На маленькой площадке были поставлены две широкие избы. С площадки, кроме лесу и скал, ничего нельзя было рассмотреть; но стоило подняться на шихан, всего каких-нибудь десять сажен, и пред глазами открывалась широкая горная панорама, верст с сотню в поперечнике. Под ногами расстилалось длинное озеро с зелеными островами и Заозерным заводом в дальнем конце; направо, верстах в двадцати, как шапка с свалившимся набок зеленым верхом, поднималась знаменитая гора Куржак, почти сплошь состоявшая из железной руды. У ее подножья пестрели заводские домики и едва дымилась фабрика. Баламутский завод был прикрыт широкой горой; на горизонте расплывшимся пятном чуть виднелся Кукарский завод. К северу расстилалась настоящая зеленая пустыня; на ней едва можно было разобрать несколько приисков, прятанных по глубоким логом. Лес покрывал все кругом сплошным зеленым ковром, который в некоторых местах точно был починен новыми квадратными заплатами более светлых тонов. Это были куреня, где жгли уголь и заготавливали дрова. Картина леса вблизи совсем являлась не тем, чем казалась сверху: настоящего леса, годного для заводов, оставалось очень немного, потому что столетние лесные дебри сводились самым хищническим образом. Майзель умел хозяйничать так, что оставались нетронутыми только болота и поросли. Если бы вести правильно лесное хозяйство, то трехсот тысяч десятин, находившихся под лесом, достало бы заводам на веки вечные; но расчеты крупных подрядчиков не совпадали с требованиями лесного хозяйства: вырывались самые лучшие куски без всякого плана и порядка.

Общество, собравшееся на шихане, куда был подан завтрак и чай, менее всего интересовалось вопросами лесной техники и патянито восхищалось далекой воздушной перспективой, игрой света и теней, зеленью леса, сливавшегося на горизонте с синевой голубого северного неба. Здесь дышалось так привольно и легко, в этой небогатой красками и линиями природе, полной своеобразной северной поэзии. Набоб мельком взглянул кругом и невольно сравнил этот родной вид с смелыми картинами загранич-

дой природы. Его не расшевелили скромные красоты родины, которая теперь, летом, стояла пред ним, как бедная невеста, украсившая себя полинявшими цветочками и выцветшими лежалыми лентами. Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла с этих придувленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба.

XXIV

Рано утром, на другой день, назначена была охота на оленя. Зверь был высмотрен лесобъездчиками верстах в десяти от Рассыпного Камня, куда охотники должны были явиться верхами. Стоявшие жары загоняли оленей в лесную чащу, где они спасались от одолевавшего их овода. Обыкновенно охотник выслеживает зверя по сакме¹ и ночлегам, а потом выжидает, когда он с наступлением жаркого часа вернется в облюбованное им прохладное местечко.

Мужчины переоделись в охотничьи костюмы: серые куртки с зелеными отворотами и длинные сапоги. Оставались с дамами только Прозоров, Платон Васильич и домашние секретари. За охотниками двинулась орава лесобъездчиков и егеря. Собаки оставались на месте почлега. Майзель с молодецкой посадкой ехал рядом с набобом, объясняя правила охоты, привычки зверя и разные охотничьи секреты. Евгений Константинович лениво позевывал, раскачиваясь в седле; он был немпожко не в духе, потому что недоспал. Летнее утро было хорошо, как оно бывает хорошо только на Урале; волнистая даль была еще застлана туманом; на деревьях и на траве дрожали капли росы; прохваченный почной свежестью, холодный воздух заставлял вздрагивать; кругом царило благодатное полудремотное состояние, которое овладевает перед пробуждением от сна. Только поднимавшееся солнце да голоса распевавших птиц нарушали картину общего торжественного покоя. Лесная узкая тропинка повела охотников под гору, минуя каменистые россыпи. Кое-где попадались кедры; сплошными массами лесные породы залегали только по низким местам, а на горе рос смешанный лес. Если смот-

¹ С а к м а — свежий след зверя на траве. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

реть на Рассыпной Камень снизу, так и кажется, что по откосам горы ели, пихты и сосны поднимаются отдельными ротами и батальонами, стараясь обогнать друг друга. От них сторонится лепечущая нарядная толпа берез, лип и осин, точно бесконечный девичий хоровод. Нехорошо только одно, что вся картина точно застыла, охваченная заколдованным сном в самый горячий момент. Каждым поколением делается только один шаг, которым растение навсегда привязывается к почве.

Набоб ехал молча, припоминая про себя подробности вчерашнего дня. Днем он не имел возможности поговорить с Лушей, за исключением двух-трех случайно брошенных фраз; девушка точно с намерением избегала его общества и под разными предлогами ловко увертывалась от него. Только вечером, когда под шиханом горели громадные костры и вся публика образовала около них живописные группы, он заметил на верху скалы неподвижную тонкую фигуру. Издали ее совсем трудно было отличить от беспорядочно нагроможденных камней, но инстинкт подсказал набобу, что этот неясный силуэт принадлежал не камню, а живому существу, которое тянуло его к себе с неудержимой силой. Удалившись незаметно от остальной компании, набоб осторожно начал взбираться на шихан с его неосвещенной стороны, рискуя на каждом шагу сломать себе шею. Но эта опасность придавала ему силы, и он видел только этот профиль женской фигуры, теперь ясно вырезывавшийся для него на освещенном фоне костров. Конечно, это была она, Луша. Набоб чувствовал, как кровь прилиwała к его голове и стучала в висках тонкими молоточками, а в глазах все застилало кружившим голову туманом. Чтобы не испугать любительницу уединения, набобу нужно было подвигаться вперед крайне осторожно, чтобы не стукнул под ногой ни один камень, иначе это воздушное счастье улетит, как тень, как те летучие мыши, которые с быстротой молнии пропадают в ночной мгле. Переползая с камня на камень, набоб оборвал и псцарапал руки и больно ушиб левое колено, так что даже стиснул зубы от боли, но цель была близка, а время дорого. Он чувствовал, что не перенесет, если она сейчас встанет и начнет спускаться со скалы. Вот уже несколько шагов... Набоба охватывала мягкая ночная сырость; из расщелин скалы тянуло гнилым острым запахом лишайника и разноцветного горного мха; с противоположной стороны ши-

хана обдавало едкой струей дыма, щекотавшей в носу и щипавшей глаза.

— Это вы, Прейн? — тихо спросила Луша, заметив выплывавшую из ночной мглы человеческую фигуру.

Этот вопрос успокоил набоба. Он боялся, что девушка ждала своего несчастного доктора.

— Нет, это я... — тихо ответил он сдержанным шепотом, чувствуя, как у него все пересохло во рту, а глаза налились кровью.

— Кто? — еще тише спросила Луша, инстинктивным движением собирая около ног свои юбки и напрасно вглядываясь в подползавшую фигуру.

— Я... Человек, которого вы не ждете, но который из-за удовольствия видеть вас десять раз мог сломать себе шею.

Луша не вскрикнула, не испугалась, но сделала движение подняться с места.

— Ради бога, не поднимайтесь! — умолял набоб. — Одно слово — и я уйду.

Набоб подполз так, что его нельзя было заметить со стороны огней, и, скорчившись, сел у ног Луши, как самый покорный раб. Это смирение тронуло сердце Луши, и она молча ожидала первого вопроса.

— Вы ждали Прейна?

— Нет.

— Почему вы подумали, что это он, а не кто-нибудь другой?

— Потому что... потому что считала его одного способным на такую дику выходку. Ведь он ловок, как кошка.

— Зачем вы ушли сюда?

— Мне было скучно внизу, а здесь так хорошо. Я иногда люблю подурачиться, особенно ночью... Посмотрите, как хорошо кругом.

На горах лежала непроницаемая мгла, из которой смутно выплывали неясные силуэты самых высоких гор, да кое-где белел туман, точно все низменности были налиты белой, тихо шевелившейся массой, вроде мыльной пены. Набоб не находил в этой картине ничего красивого, если бы не это звездное глубокое небо, наклонившееся над землей с страстным шепотом. В лихорадочном блеске мириадами искрившихся звезд чувствовалось что-то неудовлетворенное, какая-то недосказанная тайна, которая

одинаково тяготит несмываемым гнетом как над последним лишаем, жадно втягивающим в себя где-нибудь в расщелине голого камня ночную сырость, так и над венцом творения, который вынашивает в своей груди неизмеримо больший мир, чем вся эта переливающаяся в фосфорическом мерцании бездна.

— Луша... Вы позволите мне так называть вас?

Молчание.

— Луша! Зачем вы так упорно продолжаете избегать меня? Что я вам сделал? Что мне нужно сделать, чтобы заслужить ваше... ваше доверие?

— Очень немного: уйти отсюда с такою же ловкостью, с какой вы явились. Что вам нужно от меня? Что общего может быть между нами?

Благодаря исключительным условиям этой сцены разговор происходил отрывистыми фразами; сторонам представлялось самим перекидывать между ними те умственные мостики, которые делали бы связь между отдельными мыслями вполне ясной.

— Вы — странная девушка.

— Это очень скучная тема, и чтобы не повторять одно и то же десять раз, скажу вам, что я такая же обыкновенная девушка, как и тысячи других, которым вы повторяли сейчас сказанную вами фразу.

— Но это не мешает мне чувствовать то, что я говорю, чувствовать с того момента, когда я в первый раз увидел вас. Я боюсь назвать то чувство, которое...

— Я понимаю это чувство: имя ему — жажда разнообразия...

Луша тихо засмеялась, скрестив пальцы.

— А если я имею такие доказательства, которые должны убедить вас?

Пауза. Где-то шарахнулась ночная птица и пропала с мягким трепетом крыльев в ночной мгле. Набоб невольно вздрогнул; он только теперь почувствовал, что из его испарянных рук сочится кровь.

— Вот вам доказательство, — проговорил он, протягивая руку вперед. — Пощупайте, она в крови, которую я проливаю из-за вас...

— Очень трогательно... Позвольте я оботру ее вам. Это все, что я могу сделать.

Девушка торопливо вытерла своим платком протянутую мясистую ладонь, которая могла ее поднять на

воздух, как перышко. Она слышала, как тяжело дышал ее собеседник, и опять собрала около пог распутившиеся складки платья, точно защищаясь этим жестом от протянутой к ней сильной руки. В это мгновение она как-то сама собой очутилась в железных объятиях набоба, который задыхавшимся шепотом повторял ей:

— Ты будешь моя!.. ты будешь моя!

— Никогда!.. Пустите... Иначе мы вместе полетим вниз.

На верху скалы завязалась безмолвная борьба. Луша чувствовала, как к ней ближе и ближе тянулось потное, разгоряченное лицо; она напрягла последние силы, чтобы оторваться от места и всей тяжестью тела тянулась вниз, но в этот момент железные руки распались сами собой. Набоб, схватившись за голову, с прежним смирением занял свою старую позицию и глухо забормотал прерывавшимся шепотом:

— Я вас убью... Простите меня... но я не могу... я...

Он сорвал с шеи галстук и замолчал, вздрагивая всем телом.

— Уходите, уходите! — гневно шептала девушка, закрывая лицо своими тонкими руками. — Я лучше умру сто раз, чем один раз отдамся вам. Уходите... Я сделаю то, о чем вас предупреждала.

Она угрожающе поднялась с места, но ее остановил отчаянный жест набоба, моливший о пощаде.

— Хочешь быть моей женой, Луша? — шептал потерявший голову набоб. — Я все тебе отдам... Вот все, что отсюда можно видеть днем. Это все будет твое... за одно твое ласковое слово.

Луша отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Я не требую теперь вашего ответа... сейчас... Обдумайте, я умею ждать...

— Напрасный труд, Евгений Константиныч! Ради бога, уходите... Вас ищут там. Слышите голос Прейна?

— Не уйду, пока вы не дадите мне руки... Это будет доказательство, что вы меня простили... и подумайте о моем предложении.

Девушка торопливо протянула свою руку и почувствовала, с странным трепетом в душе, как к ее тонким розовым пальцам прильнуло горячее лицо набоба и его белокурые волосы обвили ее шелковой волной. Ее на мгно-

венье охватило торжествующее чувство удовлетворенной гордости: набоб пресмыкался у ее ног точно так же, как пресмыкались пред ним сотни других, таких же жалких людей.

Когда Евгений Константинович вернулся к пылавшим огням, он, к своему удивлению, увидел Лушу, которая, сидя на бухарском ковре, весело болтала о чем-то в обществе доктора, Прейна и Прозорова. Чтобы не выдать своего похождения, набоб натянул замшевые перчатки. Луша заметила этот маскарад и улыбнулась.

— Где это вы пропадали? — спрашивал Прейн, пылливо глядя на своего повелителя.

— Представьте себе, я чуть не заблудился... — весело ответил набоб, припоминая, как Луша вытирала его руки платком. — Еще четверть часа — и я, кажется, погиб бы в этой трущобе.

Посыпались вопросы и знаки участия; особенно взволновались дамы, которые в своей птичьей беззаботности и не подозревали, что погибель была так близка. Лаптев в тон общему настроению рассказал самую фантастическую историю своего путешествия в каких-то камнях, а потом в густом лесу. В заключение он взглянул на Лушу. Их глаза встретились. Набобу показалось, что он теперь понял эту странную девушку, точно между ним и ей исчезла какая-то завеса, разделявшая их до сих пор. Она смотрела на него с тем гордым чувством собственности, как смотрят любящие женщины. Он показал ей глазами на свои перчатки; она отвернулась, чтобы скрыть осветившую лицо улыбку.

Теперь, спускаясь с горы, набоб с удовольствием перебирал в своем уме подробности вчерашних походов. Он переживал ту полноту и приятную напряженность чувства, каких не дают продажные женщины. Прейн ехал за ним и сосредоточенно насвистывал какую-то браваурную опереточную арию, что в переводе означало, что он о чем-то думает самым серьезным образом. От его зоркого взгляда не ускользнуло, что между Лушей и набобом произошло что-то очень важное: оба держали себя как-то неестественно, и Луша несколько раз задумчиво улыбнулась без всякой видимой причины. Старый грешник чувствовал себя непогрешимым в известного сорта делах. Рано утром, когда набоб еще спал, Прейн заметил следы крови на снятых перчатках; это обстоятельство навело его еще на большие сомнения.

План охоты на оленя заключался в том, чтобы егерям и лесообъездчикам сначала окружить зверя живой цепью, а потом выгнать его прямо на набоба. Круг из загонщиков растягивался верст на пять. Посланные вперед разведчики донесли Майзелю, что зверь встал от оводов в густую словую заросль, которая тянулась сплошной гривой по одному из увалов Рассыпного Камня. За последнюю неделю был выслежен с математической точностью каждый шаг обреченного на погибель зверя. Это был великолепный десятирогий «бык», то есть самец, отдохавший после весенних удовольствий любви. Можно было пожалеть только о том, что он за последнюю неделю, преследуемый оводом, заметно спал с тела.

Пока загонщики делали свое дело, устроен был легкий привал у безымянного горного ключика, сочившегося ледяной струей из крутого отвала горы. Чтобы прежде времени не встревожить зверя, было строго запрещено курить и разговаривать. Набоб, вытянувшись на траве во весь рост, безмолвно смотрел в голубое небо, где серебряными кружевами плыли туманные штрихи. В одном месте круглилось и надувалось белое грозное облачко. Смешанный лес из сосен и берез то начинал шуметь ласковым шепотом, то сдержанно стихал. Солнце подобрало росу, и теперь в сочной зеленой траве накаплился дневной зной, копошились букашки и беззаботно кружились пестрые мотыльки; желтые, розовые и синеватые цветы пестрили живой ковер травы, точно рассыпанные самоцветные камни. Кусты жимолости и вереска выбирали самые солнечные места, где почва накаливалась от зноя. В числе охотников был и Родион Антоныч, тоже облекшийся в охотничью куртку и высокие сапоги; выбрав местечко на глазах набоба, он почтительно сидел на траве, не спуская глаз с своего владыки, как вымуштрованный охотничий пес.

— Готово... — шепотом проговорил Майзель, когда на опушке ближайшего леса показался приземистый бородастый лесообъездчик, первый плут и лучший охотник.

Все поднялись и осторожно пошли через лес пешком. Лошади были оставлены. Евгений Константиныч нес в руках короткий английский штуцер, заряженный самим Майзелем. Когда охотники были расставлены по местам, мертвая тишина охватила все кругом. Набоб стоял под прикрытием развесистого куста рябины; пред ним легла глубокая поляна, по которой должен был пробежать вспуг-

путь зверь. Время тянулось с ужасной медленностью. Где-то сухо треснул под ногой сучок. Комары лезли набу в нос, в рот, даже в уши; он сначала отмахивался от них рукой, а потом покорился своей участи и только в крайнем случае судорожно мотал головой, как привязанная к столбу лошадь. Майзель стоял от него шагах в пятидесяти и чутким, привычным ухом ловил малейший шорох. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом он убедился, что зверь поднят: олень почуял опасность и осторожным шагом, нюхая воздух и насторожив уши, шел вдоль лесистой гривки. В одном месте «счакали» рога о дерево. Майзель, притаив дыхание, впился глазами в лесную чащу; зверь шел прямо на набоба и должен был пересечь лесную прогалину, которая была открыта для выстрела.

Красавец олень действительно шел по направлению к этой прогалине, делая легкие прыжки через поваленные стволы деревьев. Он чутко поводил ушами, откидывая рога на спину. Подозрительный шорох заставлял его вздрагивать; горячие большие глаза смотрели тревожно. Зверь почуял своего страшного врага — человека — и теперь старался выбраться из засады. Опасность грозила из каждого угла, олень чувствовал окруживших его людей с такой же отчетливостью, как мы можем только видеть. Вместе с тем он понимал, что единственное его спасение — это идти вдоль гривы. Но блеснувшая между деревьями прогалина заставила его остановиться на опушке, он почуял, что враг совсем близко, и хотел вернуться, но в это мгновение раздался сухой треск выстрела, и благородное животное, сделав отчаянный прыжок вперед, пало головой прямо в траву. Из-за рябины, где стоял набоб, взмыло кверху белое облачко дыма.

— Молодецкий выстрел! — кричал Майзель, первым подбегая к трепетавшему в агонии оленю. — Поздравляю, Евгений Константиныч... Могу сказать, что это выстрел! двести шагов... Да, молодецкий выстрел!

Около убитой жертвы сошлись все охотники, торопливо делая оценку выстрелу.

— Теперь на коня! — скомандовал Майзель. — Господа, мы будем поздравлять Евгения Константиныча на привале...

Лесообъездчики явились с лошадьми; оленя взялся доставить Родион Антоныч, не знавший, чем выразить ему свое удивление пред искусством набоба.

— Что же ты меня не поздравляешь, Альфред? — обратился набоб к Прейну, который рассеянно смотрел на пеструю толпу сбежавшихся егерей и лесообъездчиков.

— Ага... ничего! — ответил Прейн. — Счастливым выстрел...

Майзель торжествовал и гордо закручивал свой седой ус; самое горячее желание исполнилось: набоб был доволен. Обрато охотники поехали другой дорогой и у подножья Рассыпного Камня, на одном повороте лесной тропы, неожиданно увидали перед собой громадный шатер, огни и все общество. Этот сюрприз был задуман тоже Майзелем, чтобы устроить чисто охотничий привал. Дамы непрерыв спешили поздравлять счастливого охотника и даже поднесли ему букет из полевых цветов. В общем взрыве радостного восторга не принимала участия только Луша.

— А вы, кажется, не разделяете общих чувств? — спрашивал ее набоб, улучив свободную минуту.

— Прикажете тоже поздравлять? Это очень забавно! убить оленя, которого лесообъездчики чуть не привязали за рога к дереву... Удивительный подвиг!..

— Я не видал вас со вчерашнего дня... — понизив голос, проговорил набоб.

— Не много от этого потеряли. Идите, пожалуйста, к дамам, а то они меня разорвут...

Привезенный олень явился апогеем торжества. Его освеживали, а мясо отдали поварам. Пир затевался на славу, а пока устроена была легкая закуска. Майзель с замиранием сердца ждал этого торжественного момента и тоном церемониймейстера провозгласил:

— Господа, прошу отведать хлеба-соли!

Набоб первым вошел в палатку, где на столе из свежерасколотых елей красовалась «маленькая» охотничья закуска, то есть целая батарея всевозможных бутылок и затем ряды тарелок, тарелочек и закрытых блюд с каким-то очень таинственным содержимым.

— Вот, могу вам рекомендовать, Евгений Константиныч, — с скромным достоинством проговорил Майзель, собственноручно подавая набобу лежавший на серебряном блюде предмет странной формы, что-то вроде передней половины разношенной калоши: — самое охотничье кушанье...

— Что это такое? — удивился набоб, осторожно пробуя вилкой темную губчатую массу.

— А вы попробуйте...

Отрезанный ломтик оказался необыкновенно тонкого вкуса. Удивленный этим сюрпризом, набоб съел второй ломтик и потом с отчаянием в голосе проговорил:

— Хоть убейте, не могу определить, что это за штука... А чертовски вкусная закуска! Прейн, попробуй!

— Это, Евгений Константиныч, позволю себе так выразиться, классическая охотничья закуска, — объяснил Майзель, даже покрасневший от щедрой похвалы, — маринованная верхняя губа сохатого...

— Благодарю и благодарю! — растроганно заявил набоб и торжественно облобызал старого охотника. — Раз — благодарю за отличную охоту, а второе — за эту закуску...

Нужно ли говорить, что торжество Майзеля отразилось острой болью на душе у всех остальных, особенно у Вершинина, который смел несчастье думать в течение целых двух суток, что никто не может придумать ничего лучше его уха из живых харюзов. Вот тебе и харюзы! Даже Сарматов — и тот, обнюхивая микроскопический кусочек доставшейся на его долю классической охотничьей закуски и глубокомысленно вытаращив глаза, громко заявил, что действительно, когда он был командирован в Архангельскую губернию, то в течение трех лет питался одной маринованной губой сохатого. Родион Антоныч торжествовал: союзники теперь побивали друг друга... Отлично! Майзель никогда не простит Вершинину уха из харюзов, а Вершинин никогда не простит Майзелю маринованной губы.

«Отлично! — думал Родион Антоныч, потирая руки. — Вот так удружили... Ха-ха!.. Ах! пужно сейчас же послать Раисе Павловне эстафету».

В душе Ришелье затеплилась сладкая надежда, что все зданье, с такой дьявольской хитростью воздвигнутое руками Тетюева, разлетится прахом от такой простой вещи, как встреча уха с губой...

После трех рюмок водки у Майзеля совсем сделалось легко на душе, и он презрительно оглядывал всю остальную публику. Сарматов, прожевывая ломтик колбасы, рассказывал набобу самые удивительные случаи о своих охотничьих похождениях, а в том числе и о собаках.

— Представьте себе, Евгений Константиныч,— ораторствовал он, у меня была одна собака... Кстати, я знаю отличное средство, если кто боится собак: ни одна не укусит. Если вы идете, например, по улице, вдруг — навстречу псина, четвертей шести, и прямо на вас, а с вами даже палки нет,— положение самое некрасивое даже для мужчины; а между тем стоит только схватить себя за голову и сделать такой вид, что вы хотите ею, то есть своей головой, бросить в собаку,— ни одна собака не выдержит. Честное слово... Я даже производил опыты с одним тигром в зверинце.

Сарматов показал пример, как нужно трясти головой, но мнения общества относительно заявленного средства разделились.

— Вздор! — решительно заявил Майзель.

— Честное и благородное слово, Николай Карлыч! Хотите пари?

— Извольте, но с условием: я положу свое пальто, на пальто положу свою собаку,— если вы возьмете из-под собаки пальто, вы выиграли.

— Идет!

Майзель торжественно разостлал на траве макинтош и положил на нем свою громадную датскую собаку. Публика окружила место действия, а Сарматов для храбрости выпил рюмку водки. Дамы со страху попрятались за спины мужчин, но это было совершенно напрасно: особенно страшного ничего не случилось. Как Сарматов ни тряс своей головой, собака не думала бежать, а только скалила свои верхковые зубы, когда он делал вид, что хочет взять макинтош. Публика хохотала, и начались бесконечные шутки над трусившим Сарматовым.

— Это дрессированная собака,— оправдывался Сарматов, нимало не конфузясь.— Она только и умест, что лежать на вашем пальто...

— Дорого бы я дал тому, кто подал бы мне мой макинтош! — хвастался Майзель, упоенный своими победами.— Господа, попробуйте!

В этот момент из толпы выделился Родион Антоныч, подошел к лежавшей собаке и прыснул на нее набранной в рот водой. Захваленный пес вскочил, поджал хвост и скрылся.

— Вот ваш макинтош, Николай Карлыч! — почтительно проговорил Родион Антоныч, подавая пальто Майзелю.

Старый охотник совсем опешил и не знал, что ему ответить. Публика тоже была очень смущена, но когда набоб засмеялся, взрыв дружного хохота был наградой находчивости Родиона Антопыча, который с застенчивой улыбкой вытирал себе лицо платком.

— Это нечестно! — отрубил паконец взбешенный общим хохотом Майзель.

— Успокойтесь, Майзель! — уговаривал расхопившегося старика набоб. — Этот господин поступил очень находчиво — и только... А Сарматов жестоко проврался! Я думал, что он совсем оторвет себе голову... А как фамилия этого господина, который прогнал вашу собаку?

— Сахаров, — сердито ответил Майзель.

— Ага! Да, очень находчиво.

Поданный обед сгладил неприятные последствия этого маленького эпизода. На столе в разных видах фигурировал только что убитый олень. Все участвующие, конечно, наперерыв старались уверить друг друга, что в жизнь свою никогда и ничего вкуснее не едали, что оленина в жареном виде — самое ароматное и тонкое блюдо, которое в состоянии оценить только люди «с гастрономической жилкой», что вообще испытываемое ими в настоящую минуту наслаждение пи с чем не может быть сравниваемо и т. д. Выпитое за охотничьей закуской вино заметно оживило все общество, и даже генерал, выдавший лес и охотников только на картинах, громко уверял Перекрестова, что и лес и охота — отличные вещи сами по себе. Секретари, занимавшие пост около «галок», совершенно были согласны с генералом; пьяный Летучий, особенно близко познакомившийся в эту поездку с Прозоровым, подтвердил слова генерала неожиданно вырвавшейся икотой. Вообще все имели особенное расположение к веселящим напиткам. Прейн пил вместе со всеми, но не пьянел, а только заметно делался глупее, что ему и доказала самым очевидным образом Нина Леонтьевна, запустив ему шпильку. Впрочем, Прейн не очень огорчился выходкой Нины Леонтьевны — это была та необходимая доза житейской горечи, которая делает наше счастье настоящим счастьем. Он видел два чудные глаза, которые смотрели на него таким понимающим, почти говорящим взглядом и смотрели только на него одного, потому что все остальные люди для этой пары глаз были только необходимым балластом.

— Я уезжаю! — объявила Нина Леонтьевна генералу самым решительным тоном сейчас же после охотничьего завтрака.

Такой оборот дела поставил генерала в совершенный тупик: ему тоже следовало ехать за Ниной Леонтьевной, но Лаптев еще оставался в горах. Бросить набоба в такую минуту, когда предстоял осмотр заводов, значило свести все дело на нет. Но никакие просьбы, никакие увещания не привели ни к чему, кроме самых едких замечаний и оскорблений.

— Неужели, Нина, стоит обращать внимание на глупую болтовню такого человека, как Прозоров? — говорил генерал. — Обижаться его выходкам — значит, слишком мало уважать себя...

— Оставимте этот разговор, — коротко высказала свою волю Нина Леонтьевна, — я теперь убедилась окончательно, насколько вы меня цените...

— Нина, ради бога, в какое ты ставишь меня положение?

— Вы сами себя ставите, а не я... — зашипела «болванка». — Прозоров — ваш университетский товарищ, и вы так поставили себя с ним, что он совершенно безнаказанно может делать что хочет.

С логикой кровно обиженной женщины Нина Леонтьевна обрушилась всей силой своего негодования не на Прозорова, а на генерала, поставив ему в вину решительно все, что только может придумать самая пылкая фантазия, так что в конце концов генерал почувствовал себя глубоко виновным и даже не решался просить прощения. Притом все дамы были за Нину Леонтьевну и тоже изъявили желание вернуться к покинутым домашним очагам, причем даже не трудились подыскать мало-мальски подходящих предлогов для такого коллективного протеста. М-те Дымцевич была величественна и неумолима, как фатум; м-те Сарматова держала своих юниц за руки с таким видом, точно их невинности грозил самый воздух.

— Мы вас, во всяком случае, оставляем в таком приятном обществе, — говорила Нина Леонтьевна генералу уже от лица всех дам, — что вы, вероятно, не особенно огорчитесь нашим отъездом... Здесь останутся три особы, которые имеют все данные, чтобы утешить вас всех...

— Нина, что ты говоришь? — взмолился генерал. — Опомнись... Бросать грязью в этих девушек просто несправедливо!

— Mesdames, вы слышали? — обратилась Нина Леонтьевна к своим сторонницам. — Я это знала вперед!

Момент получился критический, и интересы русского горного дела висели на волоске. Генерал колебался, оставаться ему здесь или последовать за Ниной Леонтьевной. То и другое решение могло иметь неисчислимые последствия. Но Нина Леонтьевна пересолила, и генерал, как это делают все бесхарактерные люди, махнул на все рукой. Будь что будет, а он останется в горах, чтобы провезти Лаптева на обратном пути по всем заводам. От такого варварского решения с Ниной Леонтьевной сделалось дурно, хотя в душе она желала, чтобы генерал остался в горах, и вместе с тем желала сорвать на нем расходившуюся желчь.

— Что тут такое: революция? — вмешался Прейн, появляясь точно из-под земли.

— Да, мы хотим огорчить вас и... уезжаем, — с деланным смехом ответила Нина Леонтьевна. — Не правда ли, это убьет вас паповал? Ха-ха... Бедняжки!.. Оставлю генерала на ваше попечение, Прейн, а то, пожалуй, с горя он наделает бог знает что. Впрочем, виновата! генерал высказывал здесь такие рыцарские чувства, которые не должны остаться без награды...

Прейн отлично понял, что хотела сказать Нина Леонтьевна, но, прищурив свои бесцветные глаза, только развел руками.

— Вы нам испортите всю поездку, Нина Леонтьевна, — серьезно проговорил он, бросая окурок сигары в траву. — Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного... кроме того, что мы не желаем быть здесь лишними. Притом вам предстоит с генералом еще столько серьезных занятий... ха-ха! Нет, довольно, Прейн! я не желаю вас мистифицировать: мы едем просто потому, что в горах слишком холодно.

— Я передам Евгению Константинычу, а с своей стороны могу сказать только, что пароход сейчас ушел...

— Как ушел?

— Я уже сказал, что у вас происходит какая-то революция: половина общества уже уехала, а теперь вы покидаете нас...

Нина Леонтьевна побелела даже через слой румян и

белил: Прейн предупредил и отправил девиц вперед. Он сейчас после завтрака передал m-lle Эмме, что им пора убраться восвояси, m-lle Эмма сама думала об этом и потащила за собой Анниньку. Перекрестов и Братковский вызвались их сопровождать. К этому веселому обществу присоединились Прозоровы и доктор.

Положение дам получилось довольно некрасивое, но им больше ничего не оставалось, как только выдержать характер до конца. Пароход вернулся через три часа, и все дамы, простившись с Евгением Константинычем, отправились к пристани.

— Вы войдите в мое положение,— говорил дамам на прощанье Евгений Константиныч, желавший остаться любезным до конца.— Ведь с вашим отъездом я превращаюсь в какую-то жертву в руках генерала, который хочет протащить меня по всем заводам...

В виде почетной стражи к удалившимся дамам были приставлены «почти молодые люди» и Летучий, который все время своего пребывания в горах проспал самым бессовестным образом. Генерал проводил дам до пристани, где еще получил в виде задатка несколько колкостей как главный виновник всего случившегося.

— Славу богу, одним грехом меньше,— шепнул Прейн набобу, когда генерал вернулся на главную стоянку на Рассыпном Камне.

— Что такое случилось,— я решительно недоумеваю! — не понимал Лаптев.

— Самая обыкновенная история; по русской пословице: семь топоров лежат вместе, а два веретена врозь.

— Ага... Очень хорошая пословица. Семь топоров лежат врозь...

— Нет: вместе.

— Да, да... Семь топоров вместе... Очень остроумно сказано!..

Оставшись одни, все почувствовали себя свободными, особенно мужья. Присутствие женщин связывало общество, потому что самые лучшие анекдоты приходилось рассказывать вполголоса и, главное, постоянно быть настороже, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а теперь все сняли с себя верхнее платье и остались в одних рубашках. Это было очень оригинально и приближало к простоте окружающей природы; притом и пить приходилось очень много, потому что какое значение может иметь при-

рода для цивилизованного человека, если она не вспрыснута дорогим вином. Даже генерал — и тот пил вместе с другими, чтобы разогнать тяжелое чувство ожидаемого возмездия. Вместе с тем, поглядывая на Евгения Константиныча, генерал соображал, как он потащит на буксире этого барчука высшей школы по всем заводам, а главное — в Куржак, на знаменитый железный рудник. Майзель, Вершинин, Дымцевич и Сарматов заметно оживились и наперерыв старались блистать самым непринужденным остроумием. Под шиханом лесообъездчиками была устроена на высоких козлах трапеция, и на ней «господа» показывали свою ловкость: Прейн вертелся как клоун и поражал всех живостью и силой своего сколоченного жилистого тела. Остальные припомнили тоже кое-что из старины, и всякий в свою долю старался влезть, по крайней мере, на шест, чтобы не отстать от других. Набоб лежал на траве в одной рубашке и поощрял кувыржавшихся и потевших добровольцев, потому что любил упражнения этого рода. И сам он в былые времена тоже умел проделывать кое-что по части эквилибристики, но теперь зажирел и вообще сделался тяжел на подъем.

— А вы, Родион Антоныч, что не попробуете? — предлагал Прейн, когда все успели проделать свои номера.

— Я-с? Нет уж, Альберт Осипыч, увольте... — взмолился Родион Антоныч, отмахиваясь обеими руками. — Помилуйте, я уж старик, притом совсем почти слепой. С печи на полаты едва перелезаю...

— Врет, все врёт! — послышались голоса. — Какой он слепой! птицу в лет бьет! Нет, Родион Антоныч, пожалуйте!..

В общем хоре особенно энергично настаивал Майзель, который не мог простить Родиону Антонычу его выходки с собакой. Набоб смеялся над смутившимся Ришелье и тоже упрашивал его попытать счастья на трапеции.

— Не могу-с, Евгений Константиныч, вот как перед богом, не могу! — упирался Родион Антоныч, умиленно прижимая обе руки к сердцу.

— Да вы попробуйте. Ведь прогнали же собаку Майзеля, — поощрял Лаптев, продолжая милостиво улыбаться. — На людях и смерть красна... Притом мы здесь совершенно одни, дам нет.

Стоявшие почтительно в сторонке лесообъездчики начали пересмеиваться, дескать, влопался наш Родька, как

он полезет на петлю. Общее внимание и градом сыпавшиеся со всех сторон просьбы повергли Ришелье в окончательное смущение, так что он готов был замолчать самым глупым образом и из-за какой-нибудь дурацкой гимнастики равом потерять все внимание, какое успел заслужить в глазах набоба. Оставалось только лезть на трапецию, чтобы сверзиться оттуда мешком для общей потехи; но в это мгновение Родиона Антоныча осенила счастливая мысль, и он проговорил:

— Ей-богу, Евгений Константиныч, не могу насчет трапеции! А ежели вот на палке тянуться или по-татарски бороться...

— Как это по-татарски?

— А так-с, лежа, нога за ногу, а потом кто кого на голову поставит...

Эта идея очень понравилась набобу, и Преин первый решился вступить с Ришелье в оригинальное ратоборство. Они легли рядом на траву ногами к голове и потом зацепили друг друга ногой в ногу; секрет борьбы заключался в том, чтобы давить скрюченной ногой ногу противника до тех пор, пока тот не встанет на голову. Получалась очень комичная сцена, и набоб хохотал от души, когда Преин и Родион Антоныч надувались и краснели, стараясь осилить друг друга. Наконец, к общему удовольствию, Преин кубарем полетел через голову, и ловкость Родиона Антоныча покрылась общими аплодисментами. Лесообъездчики рты разинули от удивления, как ловко Родька обтяпал барина. Ай да Родивон Антоныч, придумал штуку, почище господской петли.

— Это очень интересно!— восклицал Евгений Константиныч, крайне довольный новой забавой.— Ну-ка, Родион Антоныч, со мной...

Это предложение заставило Родиона Антоныча в первое мгновение оторопеть. Он даже потер себе глаза: но нет, это была не галлюцинация, и Лаптев уже растянулся на траве и поднял ногу.

— Евгений Константиныч... ей-богу, не могу-с! не смею...— залепетал Родион Антоныч.

— Ничего, вздор! — решил Преин, прихрамывая и щупая затылок.— Прямо меня на голову поставил...

Родиона Антоныча насильно уложили рядом с Лаптевым и заставили зацепить ногой барскую ногу. Бедный Ришелье только сотворил про себя молитву и даже за-

крыл глаза со страху. Лаптев был сильнее в ногах Прейна, но как ни старался и ни надувался, — в конце концов оказался побежденным, хотя Родион Антоныч и не поставил его на голову.

— Молодец!.. — хвалил Евгений Константиныч, поднимаясь с земли. — Право, я не подозревал, что так можно бороться. Как жаль, что здесь нет Летучего, а то его следовало бы поставить на голову раз пять... Ха-ха! Вы, Родион Антоныч, может быть, еще что-нибудь умеете?

— Нет-с, Евгений Константиныч, больше ничего не умею... Разве вот на палке тянуться, а то ведь я все по письменной части.

Новый успех Родиона Антоныча покорибил Майзеля, и он процедил сквозь зубы:

— Дурацкая штука... глупость!..

Генерал тоже был недоволен детским легкомыслием набоба и только пожимал плечами. Что это такое в самом деле? Владелец заводов — и подобные сцены... Нужно быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком катанье по траве. Между тем время летит, дорогое время, каждый час которого является прорехой в интересах русского горного дела. Завтра нужно ехать на заводы, а эти господа утешаются бог знает чем!

— Генерал, вы что так насупились? — спрашивал Лаптев, заметив недовольную мину. — Не сердитесь, голубчик... Завтра ранним утром отправляемся в Куржак, и там можете делать со мной что хотите. Не правда ли, Прейн?

Погода была великолепная, точно сама природа благоприятствовала успехам прогрессирующего русского горного дела. Вот уже третью ночь все общество проводило в горах, и какую ночь — хоть картину пиши! Вечером солнце село по всем правилам искусства: оно точно утонуло золотым шаром в пылавшем море крови, разливая по небу столбы колебавшихся розовых теней. Опять звездная бездна над головой, опять душистая прохлада северной ночи; кругом опять призраки и узорчатые тени по горам, а в самой выси, где небо раздавалось и круглилось куполом, легли широкие воздушные полосы набежавших откуда-то облачков, точно кто мазнул по небу исполинской кистью. Эти облачка сильно беспокоили Майзеля. Еще предстояло взять дупелиное болото, потом проведать медведя — и вдруг дождь, самый обыкновенный,

глупейший дождь, который может зарядить дня на два! Что может быть обиднее? Родион Антоныч думал то же, расположившись на ночь около огонька. Он пережил столько в последние сутки, что долго не мог успокоиться и все щупал свою ногу, которая удостоилась прикоснуться к ноге Евгения Константиныча... Ведь вот, поди ж ты, кто бы, кажется, мог придумать такую штуку!.. Да, боролся с самим Евгением Константинычем и был замечен, назло всем окружавшим Родиона Антопыча врагам. Если разобрать, что он такое в этой компании: червь, моль, былинка, колеблемая ветром! Он не умел рассказывать пикантных анекдотов, не умел придумывать новых кушаний — и вдруг: собака Майзеля и татарская борьба сразу подняли его на небывалую высоту! Зато теперь все грызут па него зубы — и Вершинин, и Дымцевич, и Майзель, и Сарматов. Особенно Майзель, который с чисто немецкой аккуратностью не умел прощать обид. Но что они все значили, даже взятые вместе, перед вниманием Евгения Константиныча, который изволил собственной ногой зацепить его рабью лапу? Вот-то обрадуется Раиса Павловна, когда узнает! А Прейн, шельма этакая, только улыбается, а того не подумает, каково было ему, Родиону Антопычу, единоборствовать с Евгением Константинычем. И во сне Ришелье несколько раз осторожно и с благоговением приподнимал ошастливленную ногу, точно эта нога составляла уже не часть его тела, а сам он составлял всем своим существом только ничтожный придаток к этой ноге.

К утру вспырынул легкий дождь, напугав всех, но этот страх был совершенно напрасен. Дождь только освежил траву и лес, и солнце взошло с небывалой пышностью. Предрассветная туманная полоса, пеленавшая восток, точно дала широкую трещину, от которой все небо расколосилось на мириады сквозивших розовым золотом щелей. Неудержимый поток света залил все небо, заставив спавшую землю встрепенуться малейшей фиброй, точно кругом закрутились мириады невидимых колес, валов и шестерней, заставлявших подниматься кверху ночной туман, сушивших росу на траве и передававших рядом таинственных процессов свое движение всему, что кругом зеленело, пищало и стрекотало в траве и разливалось в лесу тысячами музыкальных мелодий. Нужно было такому чуду свершаться исправно каждый день, чтобы люди смотрели на

него, ковыряя пальцем в носу, как смотрел набоб и его прислешники, которым утро напоминало только о новой еде и новом питье.

Для охотничьего утра набоб проснулся очень поздно, потому что вчера целый день слишком много пил и ел; Прейну стоило большого труда растолкать его, причем оба ругались на трех языках. М-г Чарльз ожидал пробуждения своего повелителя с целым арсеналом принадлежностей туалета и холодным, презрительным взглядом смотрел на суетившуюся толпу управителей. Оседланные лошади нетерпеливо грызли удила, фыркали и взрывали землю копытами. Генерал с сигарой в зубах шагал по росистой траве, заложив руки за спину; он тоже поднялся не в духе, потому что в его профессорском теле сказалась чисто профессорская болезнь. В сторонке от главной стоянки распоряжался Майзель, отдавая приказания лесообъездчикам; он был великолепен всей своей петушиной, надутой фигурой, заученными солдатскими жестами и вообще всей той выправкой, какая бросается в глаза на плохих гравюрах из военной жизни. Из лесообъездчиков Майзель хотел выбить какой-то эскадрон, точно готовился сейчас лететь в атаку.

— Генерал сердится...—объяснил Прейн, когда набоб снова бессильно опустил поднятую голову на подушку.— Наконец будет жарко, и охота пропадет. Теперь самый раз отправляться...

— Я сейчас...— бормотал набоб, натягивая на себя одеяло.— А на генерала мне наплевать... Вот еще мило: каторжный какой дался вам!

Прошел еще час, пока Евгений Константиныч при помощи Чарльза пришел в надлежащий порядок и показался из своей избушки в охотничьей куртке, в серой шляпе с ястребиным пером и в лакированных ботфортах. Генерал поздоровался с ним очень сухо и только показал глазами на стоявшее высоко солнце; Майзель тоже морщился и передергивал плечами, как человек, привыкший больше говорить и даже думать одними жестами.

— Извините, господа,— говорил Евгений Константиныч, усаживаясь за завтрак из холодной дичи.— Мы еще успеем. А где у меня Brunehaut?

Собаку-фаворитку привезли только накануне, и она с радостным визгом принялась прыгать около хозяина,

вертела хвостом и умильно заглядывала набобу прямо в рот. Другие собаки взвизгивали на сворах у егерей, подтянутых и вычищенных, как картинки. Сегодня была приготовлена настоящая парадная охота, и серебряный охотничий рог уже трубил два раза сбор.

— Замечательная собака! — говорил Лаптев, лаская своего пойнтера. — Какую стойку делает! Раз выдержала дупеля час с четвертью. Таких собак только две по всей России: у меня и у барона N.

— А сколько она стоит? — любопытствовал кто-то.

— Вздор... Тысячи две, кажется.

-- Ровно две тысячи, — подтвердил Прейн.

Наконец и завтрак был кончен. Серебряный рог протрубил сбор в третий раз, и Майзель скомацдовал на коня. До Куржака было верст двадцать, но приходилось ехать верхами. Генерал тоже взмохнулся в седло и неловко держал поводья обеими руками, точно посаженная на лошадь мопахиня; Родион Антоныч оказался верхом на мохноногом горбоносом киргизе. Около него вертелся и прыгал его сеттер Зарез, который до настоящей минуты находился на строгом попечении лесообъездчиков. Вся охотничья кавалькада длинным хвостом потянулась по западному склону горы, спускаясь по извилистой горной тропинке.

Когда съехали с Рассыпного Камня, тропинка расширилась, так что можно было ехать двоим в ряд. Генерал воспользовался этим случаем и, выровняв своего скакуна с английской охотничьей лошадию набоба, принялся отчитывать ему по части тех проклятых экономических вопросов, которые никогда не выходили из генеральской головы. Набоб слушал молча и наблюдал за движением ушей своей лошади, которая чутко прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала и напряженно взмахивала своим куцым англазированным хвостом. Увлечшись своей речью, генерал не хотел замечать, что Евгений Константиныч думает совсем о другом и только делает вид, что внимательно слушает его.

-- Теперь важно на самом деле проверить наши теоретические построения, — ораторствовал генерал, неловко повторяя своим телом тяжелый прыжок лошади через ямы. — Увидев заводы, фабрики и фабричных рабочих, я многое уяснил себе, что раньше являлось только отвлеченным понятием, логической выкладкой... На за-

воды пужно смотреть, как на одну громадную машину, где главной двигающей силой, к сожалению, остаются рабочие руки. Это варварство, с одной стороны, а с другой — слабое место всякой промышленности. Именно эта живая сила составляет основание всех недоразумений, а потому задача всех крупных предпринимателей — как возможно шире применять механические двигатели: воду, пар, электричество наконец. Я не хочу этим сказать, что нужно сокращать количество рабочих: нет, до этого мы не доживем, слава богу, потому что наша фабричная промышленность, собственно, еще в зародыше. Но важно предупредить печальное недоразумение, то есть перевес предложения рабочих рук над спросом. Россия в этом случае стоит, по сравнению с Западной Европой, в самых выгодных условиях, и для нее рабочий вопрос, в обширном смысле этого слова, только вопрос отдаленного будущего. Печальный пример более цивилизованных государств должен нам служить указанием не повторять чужих заблуждений, хотя Наполеон Первый и сказал, что чужие ошибки не делают нас умнее.

— Да, да... — соглашался машинально набоб, думая совсем о другом.

Он почему-то теперь вспомнил о Луше и рассердился на Прейна, который не умел удержать дам в горах. Что они ссорятся и интригуют между собой, так это слишком старая история, чтобы обращать на нее внимание или не уметь помирить враждующие стороны. Собственно, набоб даже не знал, в чем дело, и не интересовался знать, но сердился на Прейна, который обязан был предвидеть и предупредить отъезд Луши. Пикантная это девочка и что-то в ней есть такое, чего нет в других. Трудно сказать — что, но именно вот этого теперь и недостает Евгению Константинычу. Притом, что этот генерал пристаёт к нему с рассуждениями, точно впереди мало времени... Воображение набоба рисовало смелый и типичный образ девушки, которая не выходила у него из головы и точно дразнила его своей улыбкой.

— Евгений Константиныч, сейчас будет болото, — отрапортовал Майзель, подъезжая на рыжем иноходце.

— Ага!

— Нужно спешиться, Евгений Константиныч, а то мы распугаем птицу.

Егеря и лесообъездчики уже спешили и, выстроившись в две шеренги, с вытянутыми лицами ожидали дальнейших приказаний. Лошади фыркали и отмахивались хвостами от овода, собаки обнюхивали траву и сильно натягивали своры. Устроился импровизированный охотничий привал, хотя огня и не раскладывали из опасения испугать дичь.

Передав лошадей егерям, охотники, под предводительством Майзеля, побрели по болоту, которое светилось через жидкий перелесок. Под ногами сосала и чмокала вода; болотные кочки торчали травянистыми вихрами. Редкий болотистый ельник скоро расступился и открыл довольно широкое болото, очевидно образовавшееся из лесного озера; почва зыбко качалась под тяжестью проходивших людей, а самая середина была затянута высокой желтоватой травой, над которой пискливо звенели комары. У опушки леса все остановились и осмотрели ружья. Евгений Константиныч был с легкой бельгийской двустволкой, которая блестела на солнце своими полированными стволами с насечкой. Brunehaut, вздрагивая всем телом и виляя хвостом, ожидала приказа.

— *Cherche!*¹ — тихо послал собаку набоб и сам пошел за ней в болото.

Уткнув нос в землю и вытянув хвост палкой, красавица Brunehaut шла впереди с той грацией, с какой ходят только кровные пойнтеры; она едва касалась земли своими тонкими и сильными ногами, вынюхивая каждую кочку. Только истинные охотники поймут торжественность наступившего момента, и даже набоб испытывал приятное волнение, наблюдая каждое движение искавшей собаки. Вот она припала носом к одному месту и слабо вильнула хвостом — значит, папала на след дупеля; вот сделала несколько шагов вперед, приподняла переднюю ногу, вытянулась и точно застыла в живописной позе. Раздалось: пиль! — дупель мягко вспорхнул из-под самого носа собаки и, жалко кувыркнувшись в воздухе, так же мягко упал в траву. Дым и гром выстрела вспугнули еще двух дупелей, которые перелетели в другой конец болота. Охота началась счастливым выстрелом, и пабоб положил в свой ягдташ теплую птицу, пестренькие кра-

¹ Ищи! (*фр.*)

сивые перышки которой были запачканы розовыми пятнами свежей крови.

Скоро лес огласился громким хлопанием выстрелов: дупеля оторопели, перепархивали с места на место, собаки делали стойки, и скоро у всех участников охоты ягдташи наполнились дичью. Родион Антоныч тоже стрелял, и его Зарез работал на славу; в результате оказалось, что он убил больше всех, потому что стрелял влет без промаха.

— Ого, да вы настоящий охотник! — похвалил его Прейн, усаживаясь на кочку.

— Какой уж я охотник! — скромничал Ришелье, польщенный этой похвалой. — Вот Евгений Константиныч уж точно:дохнуть не дадут.

После часовой охоты все присели отдохнуть. Началась проверка добычи и оценка достоинств стрелков. Сарматов убил меньше всех, но божился, что в молодости убивал влет ласточек пулей. Майзель расхвалил Brunehaut, которая так и просилась снова в болото; генерал рассматривал с сожалением убитых красивых птичек и удивлялся про себя, что люди могут находить приятного в этом избиении беззащитной и жалкой в своем бессилии пернатой твари.

— У меня была собака, — рассказывал Сарматов, размахивая руками, — пойнтер розовой масти... Уверю вас: настоящей розовой. Это крайне редкий случай. И что же! Это собака раз выдержала трехчасовую стойку... Нынче уж таких собак нет.

— Моя Brunehaut выдержит час, — заметил Лаптев, лаская собаку.

— Нет, не выдержит! — посомневался кто-то. — Она теперь устала и разгорячилась.

— Выдержит.

Набоб поднялся и послал собаку снова в болото; через несколько минут Brunehaut сделала стойку. Майзель достал часы и заметил время. Воцарилась напряженная тишина, которая нарушалась только сдержанным шепотом. Оставив собаку, Евгений Константиныч развалился на траве с самоуверенной улыбкой. Но не прошло двадцати минут, как Brunehaut не выдержала и спугнула дупеля. Раздался смех, и взбешенный набоб пустил вдогонку сконфуженной Brunehaut заряд бекасинника, который заставил ее дико взвизгивать и кубарем покатиться по

траве. Ошеломленная болью собака визжала самым неистовым образом и отчаянно трясла своими шелковыми ушами, в которые впился бекасинник.

— Послушайте, Евгений Константиныч, это наконец варварство! — вспылил генерал, побледнев как полотно. — Можно делать что угодно, но этому... этому я не приберу даже подходящего названия!

Взбешенный набоб тоже побледнел и, взглянув на генерала удивленными, широко раскрытыми глазами, что-то коротко сказал Прейну по-английски; но генерал не слышал его слов, потому что прямо через болото отправился на дымок привала. Brunehaut продолжала оглашать воздух отчаянными воплями.

— Это невозможно! — по-английски же ответил Прейн набобу, укоризненно качая головой.

— А если я не желаю ехать дальше? Могу же я позволить себе хоть одно желание?

— Да, в другое время, а не теперь, — настаивал Прейн. — Вы расстроите своим капризом весь план нашей поездки.

— Ни шагу дальше, и сейчас же домой! — капризно повторял набоб. — Вы с генералом делаете из меня какого-то несчастного дупеля...

— Да ведь это ребячество! Продержать генерала в горах трое суток, обещать ехать по всем заводам и вернуться ни с чем... Вы не правы уже потому, что откладываете поездку из-за пустяков. Погорячились, изуродовали собаку, а потом капризничаете, что генерал сказал вам правду в глаза.

— Я уже слишком много слышал правды от генерала. Но что вы хотите наконец от меня? Собственно, он меня оскорбил, а не я его... Я, впрочем, могу извиниться перед генералом, но дальше не поеду, хоть зарежьте.

Как ни уговаривал Прейн, как ни убеждал, как ни настаивал, как ни ругался — все было напрасно, и набоб с упрямством балованного ребенка стоял на своем. Это был один из тех припадков, какие перешли к Евгению Константиновичу по наследству от его ближайших предков, отличавшихся большой эксцентричностью. Рассерженный и покрасневший Прейн несколько мгновений пристально смотрел на обрюзгшее, апатичное лицо набоба, уже погрузившегося в обычное полусонное состояние, и только сердито плюнул в сторону.

Поездка в горы перепутала окончательно все ходы, так что друзья и противники перестали понимать друг друга. Сначала, без сомнения, все было на стороне партии Тетюева: во-первых, Раиса Павловна оставалась дома, потом ряд блестящих гастрономических побед, удачная охота на оленя... Но в момент, когда «мой Майзель» был на вершине торжества, все здание, возведенное с таким трудом, пошатнулось в самом основании: сначала подвел Родион Антоныч с собакой, потом Прозоров угостил Нину Леонтьевну, далее татарская борьба того же Родиона Антоныча и наконец заряд бекасинника по Brunehaut, произведший резкую размолвку между генералом и набобом. Обиднее всего было то, что безголовый Прейн рассказал набобу эпизод с Прозоровым, и набоб хохотал над Ниной Леонтьевной. Таким образом надежды и упования партии Тетюева значительно побледнели и потеряли прежнее обаяние, а известно, как много значит в каждом деле вера в собственные силы. Если генерал не удержится на прежней высоте, тогда трудно будет предвидеть будущее.

Генерал вернулся из-под Рассыпного Камня один, а за ним следом приехал и Евгений Константинович в сопровождении всей свиты. Заводы остались неосмотренными, да об этом теперь никто и не заботился, даже сам генерал, который, кажется, махнул на все рукой. Добитая лесобъездчиками Brunehaut явилась камнем преткновения, через которое русское горное дело никак не могло переползти. Однако Прейн не дремал. Этот человек не переносил скандалов и резких выходов и поэтому скоро довел набоба до того, что тот высказал желание не только примириться с генералом, но и извиниться. С другой стороны, генерал, обсудив хладнокровно свою выходку, совершенно безупречную в нравственном смысле, нашел, что резкий тон этой выходки был подготовлен в нем неприятным отъездом Нины Леонтьевны, следовательно, он был несправедлив к набобу, который поступил так же, как делают другие охотники. Губить русское горное дело из-за таких пустяков, во всяком случае, не стоило, тем более что столько уже было сделано и оставалось только подвести итоги.

— Извините, генерал... — добродушно проговорил на-

боб, являясь в генеральский флигель в сопровождении Прейна.— Мне самому жаль бедной Вруnehaut. Погорячился...

Эта искренность растрогала генерала, и он с чувством пожал протянутую руку набоба.

— Оставимте это, Евгений Константиныч,— отвечал он.— Говоря откровенно, и я не совсем был прав, хотя и не виноват... Одним словом, пустяки и вздор, о котором не хочется вспоминать; а чтоб загладить неприятное впечатление этих пустяков, займемтея делом серьезно. Времени уже много потеряно...

— О, да, да! Непременно займемтея! — с живостью подтвердил Евгений Константиныч.— Я буду рад... Главное, все разом покончить, не откладывая в долгий ящик.

— Постараемтея покончить,— соглашался генерал.

Примирение набоба с генералом разрешило все сомнения и опять придало храбрости унывавшим «тетюевцам», как их называл Прозоров. Но это была только одна сторона медали. За визитом к генералу последовал визит набоба к Раисе Павловне. Конечно, все отлично понимали, зачем Евгений Константиныч сделал этот второй визит — уж, конечно, не для самой Раисы Павловны, а для Луши. Эта игра была слишком очевидна даже для непосвященных; поэтому ей и не придали особенно важного значения. Действительно, набоб встретил у Раисы Павловны Лушу и заметно обрадовался этой встрече.

— Как ваше здоровье, Раиса Павловна?— осведомился Евгений Константиныч с небывалой вежливостью.— Право, оно меня начинает сильно беспокоить...

— Ах, отстаньте, пожалуйста! Охота вам обращать внимание на нас, старух,— довольно фамильярно ответила Раиса Павловна, насквозь видевшая набоба.— Старые бабы, как худые горшки, вечно дребезжат. Вы лучше расскажите о своей поездке. Я так жалею, так жалею, что не могла принять в ней участие. Все говорят, как вы отлично стреляли...

Луша сидела на стуле рядом с Раисой Павловной и при последних словах едва заметно улыбнулась. Она точно выросла и возмужала за последнее время и держалась с самой непринужденной простотой, какая дается другим только путем мучительной дрессировки. Набоб заметил улыбку Луши и тоже улыбнулся: они понимали друг друга без слов.

— Эта поездка для меня лично явилась рядом неудач,— ответил набоб, бросая в глаз, неизвестно для чего, монокль.— Единственным объяснением этих неудач является, Раиса Павловна, только ваше отсутствие.

— Ах! как это трогательно, Евгений Константиныч!

— Уверяю вас. Дело кончилось тем, что мы чуть не разодрались с генералом, вернее, чуть он меня не поколотил...

— И следовало бы поколотить: зачем стреляли в собаку,— заметила Луша с серьезным видом.— Вот чего никогда, никогда не пойму... Убить беззащитное животное — что может быть хуже этого?..

Подняв плечи, Луша вызывающе посмотрела на набоба злыми глазами. Эта смелость испугала Раису Павловну, но набоб только улыбнулся и с ленивой улыбкой, играя своим стеклышком, проговорил:

— Скажите, вы не будете на меня в претензии, если я вас буду называть так же, как Раиса Павловна? А то ваше имя такое длинное и мудреное, что язык вывихнешь... Вы позволяете, Раиса Павловна? Я хотел сказать, что вы, mademoiselle Луша, были причиной смерти бедной Brunehaut. Если бы вы так внезапно не уехали, собака была бы жива... Представьте себе, Раиса Павловна, наше положение: вдруг все дамы бросают нас в лесу на произвол судьбы. С горя мы пили целую ночь, потом дурачились, а конец вам известен. Говоря по справедливости, нас и обвинять нельзя, а меня в особенности. Я слишком был огорчен, чтобы давать себе отчет в собственных поступках.

Набоб был любезен, как никогда, шутил, смеялся, говорил комплименты и вообще держал себя совсем своим человеком, так что от такого счастья у Раисы Павловны закружилась голова. Даже эта опытная и испытанная женщина немного чувствовала себя не в своей тарелке с глазу на глаз с набобом и могла только удивляться самообладанию Луши, которая положительно превосходила ее самые смелые ожидания: эта девчонка положительно забрала в руки набоба.

Они сидели в небольшой голубой гостиной, из которой стеклянная дверь вела на садовую веранду. Обитая голубым атласом с желтыми шнурами мягкая мебель, маленький диван с стеганой спинкой, вроде раковины, шелковые тяжелые драпировки, несколько экзотических

растений по углам, мраморные группы у одной стены — все это так приятно гармонировало с летним задумчивым вечером, который вносил в открытую дверь пахучую струю садовых цветов. Сильно пахло левкоями, которые Раиса Павловна особенно любила. Лучи закатывавшегося солнца лениво бродили по паркетному полу рассеянной золотой пылью, которая ярко вспыхивала на бронзовых бра, на ручках дверей и тонких золотых багетах. Набоб сидел на стуле, заложив ногу за ногу, и легонько раскачивался, когда начинал смеяться; летняя пара из шелковой материи, цвета смуглой южной кожи, обрисовывала его сильное, но уже начавшее брззгнуть тело. Изпод раструба панталон выставлялись шелковые пестрые чулки, потому что набоб дома всегда носил мягкие башмаки. Луша была в своем единственном нарядном платье из чечунчи; сначала она сидела рядом с Раисой Павловной, а потом перешла на диван.

Раиса Павловна с материнской нежностью следила за всеми перипетиями развертывавшейся на ее глазах истории и совершенно незаметно оставила молодых людей одних, предоставляя руководить ими лучшего из учителей — природу. Когда платье Раисы Павловны, цвета античной бронзы, скрылось в дверях, набоб, откинув нетерпеливо свои белокурые волнистые волосы назад, придвинул свой стул ближе к дивану и проговорил:

— Mademoiselle Луша, а вы мне еще не дали ответа на тот вопрос, который я предложил вам там... в горах?

— Ах, да... Но ведь это был такой серьезный вопрос, что я до сих пор еще не решалась даже приступить к его обсуждению, — отшучивалась Луша, улыбаясь своими потемневшими от удовольствия глазами. — Притом, я думала, что вы уже успели забыть...

— Это несправедливо!..

— Пожалуй... Но вы забываете, что я уже дала слово доктору?

— Что же мне делать? Вызвать доктора на дуэль?

— Я думаю, что это будет самое лучшее... Вы отлично стреляете бекасинником.

— Злая!

В полузакрытых глазах набоба вспыхнул чувственный огонек, и он посмотрел долгим и пристальным взглядом на свою собеседницу, точно стараясь припомнить что-то. Эта девчонка положительно раздражала его своим самоуве-

ренным тоном, который делал ее такой пикантной, как те редкие растения, которые являются каким-то исключением в среде прочей зеленой братии.

— Скажите откровенно, зачем вы так неожиданно уехали с горы?— спрашивал Евгений Константиныч, припоминая неприятное чувство, когда он ехал на дупелиную охоту по дороге в Куржак.

— Вы не поймете,— ответила Луша спокойно.

— Позвольте! В таком случае, значит, вы меня считаете просто за осла. Я могу обидеться наконец!

— Можете, но и я могу желать не отвечать вам... Впрочем, вам лучше спросить объяснения у Прейна.

Луша так и сказала, совсем фамильярно: «у Прейна», и даже не думала поправиться, что опять задело набоба за живое. Он подумал сначала, что m-lle Луша не умеет себя держать и сама не понимает, что сказала, но, взглянув на ее лицо, убедился, что если кто не понимает ничего, так это он.

Раиса Павловна осталась очень довольна поездкой набоба в горы, раз — потому, что Прозоров ловко смазал «болванку», а затем — потому, что отношения между Лушей и набобом пережили самый двусмысленный и нерешительный период. С Лушей у Раисы Павловны по этому поводу не было никаких интимных объяснений, но по сосредоточенному, немножко усталому взгляду карих глаз своей любимицы опытная женщина заключила вполне основательно, что случилось именно то, чего она желала: набоб объяснился с Лушей. Поведение набоба доказывало это неопровержимейшим образом, потому что он держал себя с Лушей с утонченной вежливостью и, кажется, не знал, чем угодить этой взбалмошной девчонке, которая ничего не хотела замечать. В голове Раисы Павловны бродили тысячи дум, планов и соображений, так что она даже забывала о самой себе. Очевидно, набоб высказывает самые серьезные намерения относительно Луши, и теперь дело за согласием Луши... Конечно, это будет неравный брак, но разве мало таких *mésalliance*¹ устраивают русские набобы. Пока Раиса Павловна ничего не говорила Луше о своей мечте, предоставляя все дело его естественному течению. Ее теперь больше всего беспокоило то, как взглянет на *mésalliance* Прейн: этот

¹ неравных браков (фр.).

старый грешник больше всего, кажется, заботится о себе и делает вид, что ничего не видит и не замечает. От зоркого глаза Раисы Павловны не ускользнуло то влияние, каким пользовался Прейн над Лушей, но, как многие умные женщины, она была убеждена, что ей только стоит объяснить Луше, что за птица Прейн — и умная девочка поймет все. Слишком занятая интимными отношениями, Раиса Павловна с замиранием сердца следила, как раскрывалась страница любви в жизни ее фаворитки, забывая о своих собственных делах.

А между тем дело принимало такой серьезный оборот, что это понял наконец и сам Платон Васильич. Этот странный человек сопровождал набоба в горы, принимал участие в обедах и завтраках, говорил, когда его спрашивали, но без Раисы Павловны всегда оставался совершенно незаметным, так что о нем, при всем желании, трудно было сказать что-нибудь. Бывают такие люди, и господь их знает, как они живут, если не попадут в руки какой-нибудь умной и энергичной женщины. Платон Васильич вечно был занят своей фабрикой и машинами и только о них и мог постоянно думать, — все остальное для него проходило точно в тумане, а особенно таким туманом был покрыт проезд набоба. Как это ни странно сказать, но главный управляющий Кукарскими заводами знал меньше всех, что делалось кругом. Самый маленький заводский служащий, который бегал с пером за ухом, и тот знал малейшие подробности приезда набоба, отношения враждовавших партий и все эпизоды поездки в горы. Платон Васильич ел и вершининскую уху и маринованную губу, а о столкновении Нины Леонтьевны с Прозоровым узнал уже по возвращении в Кукарский завод, где служащие рассказали ему и о ссоре генерала с набобом.

— Но я ведь сам был на дупелиной охоте, — задумчиво говорил Платон Васильич. — Видел, как убили собаку, а потом все поехали обратно. Кажется, больше ничего особенного не случилось...

Раиса Павловна просто потешалась над этой наивностью мужа и нарочно морочила его разными небылицами, а когда он надоедал ей своими глупыми вопросами, — выгоняла из своей комнаты. Уйти на фабрику для Платона Васильича было единственным спасением; другим спасением являлись разговоры с генералом о нуждах русского горного дела.

Раз, довольно рано утром, когда Платон Васильич вышел пройтись по саду, на одном повороте аллеи он встретился с Прейном и Лушей, которые шли рядом. Заметив его, Прейн отодвинулся от своей спутницы и выругался по-английски, назвав Горемыкина филином.

— Ах, это ты, Луша! — удивился Платон Васильич, здороваясь с Прейном.

— Да, а это — вы... — грубо ответила девушка. — Вы ничего не потеряли здесь?

— Нет, кажется, ничего. А что?

— Да у вас такой вид, точно вы что-нибудь ищете.

— Да, да... Ты шутишь? — догадался наконец Горемыкин и потом с самым глупым видом прибавил, обращаясь к Прейну: — Не правда ли, какая сегодня отличная погода?

— Да, ничего... скверная, — отвечал Прейн, стараясь попасть в тон Луши. — Скажите, пожалуйста, мне показалось давеча, что я встретил вас в обществе mademoiselle Эммы, вон в той аллее, направо, и мне показалось, что вы гуляли с ней под руку и разговаривали о чем-то очень тихо. Конечно, это не мое дело, но мне показалось немного подозрительно: и время такое раннее для уединенных прогулок, и говорили вы тихо, и mademoiselle Эмма всё оглядывалась по сторонам...

— Что вы хотите сказать этим? — недоумевал Платон Васильич. — Я иногда гуляю в саду, но только один... Не понимаю, как вы могли меня видеть с mademoiselle Эммой.

— В таком случае нужно будет спросить у Раисы Павловны, что значит такие ранние tête-à-tête¹, — смеялся Прейн. — Вам направо?

— Нет, налево.

— Ну, так нам с вами не по пути... До свидания.

Платон Васильич в раздумье несколько минут постоял на месте, посмотрел вслед быстро удалявшейся парочке и пошел своей дорогой: «Не понимаю! ничего не понимаю!..»

А утро было славное, хотя и холодное после вчерашнего дождя. Песок кое-где был смыт с утопанных дорожек, в ямах стояли лужи мутной воды, следы ног ясно отпечатывались на мокром грунте; дувший с пруда ветерок колебал верхушки берез и тополей, блестящих те-

¹ свидания (фр.).

перь самой яркой зеленью. Около купальни и набережной с шумом разбивались пенившиеся волны. По небу ползли разорванными клочьями остатки рассеявшихся туч, точно грязные лоскутья серых лохмотьев, сквозь которые ярко сквозило чистое голубое небо и вырывались снопы солнечных лучей. Садовник с ножницами ходил около помятых вчерашним ветром кустов сирени и отрезывал сломанные ветви; около куртин, ползая по мокрой траве, копались два мальчика в ситцевых рубашках, подвязывавшие подмятые цветы к новым палочкам. На песке виднелся отпечаток двухколесной тележки, прокатившейся здесь ранним утром с разным муссром; тут же тянулись следы босых ног с резким отпечатком пальцев.

— Зачем ты смеялась над этим филином? — говорил Прейн, предлагая Луше руку.

— А ты зачем делал то же?

— Я смеялся, глядя на тебя...

— А я смеялась потому, что эта глупая рожа мне надоела. Скажите на милость, что этому Платону Васильичу понадобилось в саду в такое время? Еще разболтает чего-нибудь сглупа. Мне все равно, а все-таки меньше разговоров — лучше... Скоро ли вы прогоните этого дурака, Прейн?

— Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь...

— Обманываешь?

— На днях комиссия начнет свои работы, и тогда конец Горемыкину.

— Ах, как я желала бы, чтобы эта накрахмаленная и намазанная Раиса Павловна полетела к черту, вместе с своим глухонемым мужем. Нельзя ли начать какой-нибудь процесс против Раисы Павловны, чтобы разорить ее совсем, до последней нитки... Пусть пойдет по миру и испытает, каково жить в бедности.

— Нет, это невозможно.

— Ах, как я ненавижу эту Раису Павловну, если бы ты знал! Ведь она теперь мечтает... ха-ха!.. ни больше, ни меньше, как о том, чтобы выдать меня за Лаптеза, а я разыгрываю пред ним наивную провинциалочку. Глупо, досадно и опять глупо...

— погоди, мы все устроим, — ласковым шепотом проговорил Прейн, осторожно привлекая к себе девушку за талию. — У нас все будет, мы проживем в свою долю...

— Да, все это так... я не сомневаюсь. Но чем ты

мне заплатишь вот за эту гнилую жизнь, какой я жила в этой яме до сих пор? Меня всегда будут мучить эти позорнейшие воспоминания о пережитых унижениях и нашей бедности. Ах, если бы ты только мог приблизительно представить себе, что я чувствую! Ничего нет и не может быть хуже бедности, которая сама есть величайший порок и источник всех других пороков. И этой бедностью я обязана была Раисе Павловне! Пусть же она хоть раз в жизни испытает прелести нищеты!

Прейн был почти у цели. Есть люди, которые родятся в сорочке, и к таким людям, конечно, принадлежал этот философ-бонвиван. Сердце Луши принадлежало ему безраздельно, и он распоряжался в нем, как неограниченный монарх, хотя этому владычеству и были приданы неуловимые формы. Прейн действовал с той ласковой настойчивостью и мягкой самоуверенностью, какие неотразимо действуют на женщин. Луша поверяла ему свои душевные мысли и чувства, как лучшему другу, и сама удивлялась, что могла снизойти до таких нежностей. В ее глазах старый грешник являлся совершенством человеческой природы, каким-то чародеем, который читал у ней в душе и который пересоздал ее в несколько дней, открыв пред ее глазами новый волшебный мир. Что так старательно развивалось и подготавливалось Раисой Павловной в течение нескольких лет, Прейном было кончено разом: одним ударом Луша потеряла чувство действительности и жила в каком-то сказочном мире, к которому обыденные понятия и мерки были совершенно неприложимы, а прошлое являлось каким-то жалким, нищенским отребьем, которое Луша сменяла на новое, роскошное платье. Все будет новое; по одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозможные чудеса, которые он положит к ее ногам. У Луши кружилась голова, и она ходила, как в тумане. Все то, что слышала она от отца и доктора о какой-то честной жизни, о новых людях, о заветных идеалах — все это не пустой ли бред, который на каждом шагу разбивается действительностью? Взять хоть того же отца, Раису Павловну, других — все говорят одно, а делают другое, обманывают сами себя и в конце концов портят себе жизнь. Прейн, по крайней мере, не притворяется, называет вещи их настоящими именами и обещает только то, что действительно в состоянии исполнить. Под влиянием Прейна Луша переродилась с

такой же быстротой, с какой северные цветы в две-три недели из зеленой почки развертываются всеми своими красками в пышное растение.

— Как все это случилось — я сама не могу дать себе отчета,— говорила иногда в минуты раздумья Луша, ласкаясь к Прейну.— Ведь ты — старый, выдохшийся жуир, я тебя ненавидела и боялась сначала и теперь иногда ненавижу... Но меня что-то тянет к тебе, мне хорошо и легко в твоём присутствии, а когда ты уходишь, меня гложет тоска. Зачем? Почему? Ничего не знаю и ничего знать не хочу... Мне просто хорошо; хорошо теперь, вот сейчас, когда я смотрю на тебя и когда не думаю о будущем. Я недавно читала историю Мазепы. Этого старика тоже любила одна молоденькая хохлушечка, Матрена Кочубей. По-русски «Матрена» нехорошо звучит, а по-хохлацки русская Матрена превращается в Мбтреньку... Мазепа был старше тебя, но гораздо лучше. Какие письма писал он своей Мбтреньке! Ах, Прейн, я иногда сама не знаю, что говорю и что делаю. То мне хочется петь и танцевать, иногда плакать, иногда убежать, иногда умереть...

Луша хваталась за голову и начинала истерически хохотать. Сам все испытывший Прейн пугался такого разлива страсти, но его неудержимо тянули к Луше даже дикие вспышки гнева и нелепые капризы, разрешавшиеся припадками ревности или самым нежным настроением. Вдвоем они вволю смеялись над набобом, над генералом с его «болванкой», над всеми остальными; но когда речь заходила о Раисе Павловне, Луша бледнела и точно вся уходила в себя: она ревновала Прейна со всем неистовством первой любви.

— Ты ее любил... да? — спрашивала Луша тысячу раз. — Не отпирайся, я знаю...

— О нет же, тысячу раз нет! — с спокойной улыбкой отвечал каждый раз Прейн.— Я знаю, что все так думают и говорят, но все жестоко ошибаются. Дело в том, что люди не могут себе представить близких отношений между мужчиной и женщиной иначе, как только в одной форме, а между тем я действительно и теперь люблю Раису Павловну как замечательно умную женщину, с совершенно особенным темпераментом. Мы с ней были даже на «ты», но между нами ничего не могло быть такого, в чем бы я мог упрекнуть себя...

— Ах, верю... и все-таки не могу поверить: это выше моих сил. В сущности, я не особенно забочусь о будущем, потому что знаю только одно, что я хочу быть всегда свободной... всегда!.. Даже тогда, когда ты обманешь меня. Ведь ты целую жизнь обманывал женщин, и одной больше — одной меньше для тебя ничего не значит. К чему все это говорю я тебе?.. Да... Какая я была глупая раньше, еще так недавно!.. Мечтала, что буду богатой-богатой, у меня будет своя коляска, бриллианты, поклонники, ложа в театре. А теперь... Мне все это надоело, прежде чем я испытала удовольствие обладания настоящим богатством. Ведь тебе ничего не стоит выбросить пятьдесят тысяч, чтобы устроить мне настоящее гнездышко... да? Конечно, я никогда не унижу себя... Ах, я так хорошо представляю себе свое будущее! Пройдет полгода, потом тебе надоест, и ты с своей обычной ловкостью постарайся сбыть меня какому-нибудь другому жуиру, чтобы сейчас же перейти к новому счастью.

— Луша! ты забываешь золотое правило: всякий человек имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом...

-- Нет, уж позвольте, Альфред Иосифович... Я всегда жила больше в области фантазии, а теперь в особенности. Благодаря Раисе Павловне я знаю слишком много для моего возраста и поэтому не обманываю себя относительно будущего, а хочу только все видеть, все испытать, все пережить, но в большом размере, а не на гроши и копейки. Разве стоит жить так, как живут все другие?

Оставаться в своем флигельке для Луши теперь составляло адскую муку, которая увеличилась еще тем, что Виталий Кузьмич жестоко разрешил после поездки в горы и теперь почти не выходил из своей комнаты, где постоянно разговаривал вслух, кричал, хохотал и плакал. Луше делалось просто страшно, когда она оставалась одна с отцом; его постоянный крик и смех болезненно раздражали ее напряженные нервы, и она по целым часам, против воли, прислушивалась к бессвязной болтовне отца, которая вертелась главным образом около текущих событий. Это была самая беспощадная философия отчаяния в лицах, пересыпанная меткими сравнениями, остроумными замечаниями и просто красными словечками. Конечным выводом этой философии получалось заключение,

что все люди поголовно мерзавцы, только в разной степени, а так называемые порядочные и честные люди — или идиоты, или жертвы известных общественных законов. Везде зло, мелкие животные инстинкты и всеобщее непонимание; истинные союзники враждуют, враги идут под ручку, противоположности сходятся. Получается болезненно-яркая путаница всяких понятий об «истине, добре и красоте». Свои взгляды и убеждения Прозоров иллюстрировал, причем доставалось всем — и набобу, и Прейну, и генералу, и Тетюеву.

К довершению всех бед, под предлогом помощи Прозорову, в гнилой флигелек повадился ходить Яша Кормилицын, который испытывал мучительную жажду видеть Лушу хотя издали, что вполне объяснялось психологическими, антропологическими и социальными причинами.

Все в природе строго закономерно, и не пропадает напрасно самое малейшее движение, следовательно, и посещения Яшей Кормилицыным прозоровского флигелька в общей экономии природы и в ряду социальных явлений должны были иметь высшее научное объяснение.

— Яшка! — кричал Прозоров, размахивая руками. — Зачем ты меня обманываешь? Но ты напрасно являешься волком в овечьей шкуре... Все, брат, потеряно для тебя, то есть потеряно в данном случае. Ха-ха! Но ты, братику, не унывай, поелику вся сия канитель есть только иллюзия! Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу.

Доктор садился в уголок, на груды пыльных книг, и, схватив обеими руками свою нечесаную, лохматую голову, просиживал в таком положении целые часы, пока Прозоров выкрикивал над ним свои сумасшедшие тирады, хохотал и бегал по комнате совсем сумасшедшим шагом.

XXVII

Нина Леонтьевна поклялась, что столкновение ее с Прозоровым дорого обойдется Раисе Павловне. Официально она оставалась по-прежнему больна, но это не мешало ей заправлять и руководить всем заговором.

Первой заботой ее было доставить обещанную аудиенцию у набоба Тетюеву, и такая аудиенция наконец со-

стоялась. Часа в два пополудни, когда набоб отдыхал в своем кабинете после кофе, Прейн ввел туда Тетюева. Земский боец был во фраке, в белом галстуке и в белых перчатках, как концертный певец; под мышкой он держал портфель, как маленький министр.

— Очень рад... Много слышал о вас,— встретил Тетюева набоб, пережевывая эти стереотипные фразы.— Не угодно ли вам садиться... Вероятно, Прейн передал вам о предполагаемой консультации?

— Да, да... Мне это тем более приятно, что я буду иметь возможность ясно и категорически высказать те интересы Ельниковского земства, которые доверены мне его представителями,— отcedил Тетюев, закладывая свободную руку за борт сюртука.— Лично против заводов, а тем более против вас, Евгений Константиныч, я ничего не имел и не имею, но я умру у своего знамени, как рядовой солдат.

— Садитесь, пожалуйста! — предложил еще раз Лаптев, рассматривая коренастую фигуру человека, приготовившегося умирать у знамени.— Ваши слова могут сделать большую честь каждому общественному деятелю...

Поклонившись в ответ на комплимент набоба, Тетюев с напускной развязностью занял стул около письменного стола; Прейн, закурив сигару, следил за этой сценой своими бесцветными глазами и думал о том, как ему утишить ненависть Луши к Раисе Павловне.

— Я полагаю, Евгений Константиныч, что кукарское заводууправление в своих отношениях к Ельниковскому земству действовало на свой страх,— продолжал Тетюев, выцеживая свое *profession de foi*¹ с прежним апломбом.— Я хочу этим сказать, что слишком высоко ценю лично ваши просвещенные и высокогуманные взгляды на идею земства и льщу себя надеждой, что именно ваше содействие устранит все недоумения. Например, гора Куржак приносит земству всего два рубля семнадцать копеек дохода!

— Скажите... целая гора?

— Да, гора Куржак, которая заключает в себе тридцать миллиардов лучшей в свете железной руды.

Для набоба оба известия были настоящим открытием, и он даже посмотрел с недоумением на Прейна, который равнодушно пускал в пространство синые круги

¹ убеждение (*фр.*).

дыма. Польщенный вниманием и изумлением набоба, Тетюев обрушился на его голову целым потоком статистических данных и даже вытащил из портфеля объемистую тетрадь, испещренную целыми столбцами бесконечных цифр. Но эта тетрадь была совсем лишнею: Евгений Константиныч уже истощил весь запас своего удивления и посмотрел на Прейна беспокойным взглядом, точно искал у него защиты. Однако Тетюев, увлекшись, ничего не хотел замечать и осыпал набоба такой массой новых открытий, что тот окончательно потерялся и даже зевнул в руку. Кстати, в этот критический момент Евгений Константиныч вспомнил о генерале, который должен все это знать и все устроить.

— Хорошо, хорошо... Мы постараемся все это устроить общими силами,— заговорил Лаптев, поднимаясь с места и протягивая руку Тетюеву.

— Я...

— Вы подробно изложите свои взгляды на консультации...

— Я, Евгений Константиныч...

— А занятия консультации должны быть кончены в самом непродолжительном времени.

— Я, Евгений Константиныч, буду всегда высоко держать знамя земского обновления,— торжественно провозгласил Тетюев, откланиваясь.

В консультацию, кроме генерала, Прейна и Тетюева, вошли Вершинин и «мой Майзель». Платон Васильич тоже должен был занять место в этом совете бессмертных, но захворал, и на его место был назначен представителем Родион Антоныч. Конечно, такое назначение клеветы Раисы Павловны было встречено партией Тетюева с скрежетом зубовым, но, очевидно, Родиону Антонычу покровительствовал сам Прейн, а с этим приходилось мириться поневоле. Ришелье заявился в собрание «князей и владык мира сего» с самым смиренным видом; он всем кланялся, улыбался заискивающей улыбкой: но все отлично знали пущенную в курятник лису и держали ухо востро. Тетюев морщился и делал вид, что не замечает своего заклятого врага; Майзель не отвечал на поклоны Родиона Антоныча и даже несколько раз толкнул его локтем в бок, конечно, не намеренно. Ввиду такого враждебного настроения Родион Антоныч

сначала испытывал большое «угнетение чувств», но, как человек, попавший из темноты прямо на большой свет и ослепленный им, мало-помалу огляделся и самым благочестивым образом занял свое место.

— Смотрите, Родион Антоныч, я вам все доверила, — говорила Раиса Павловна, когда отправляла своего Ришелье на консультацию, — я уверена, что мы выиграем и что вы постоите за себя, но только не трусьте. Ведь они умные только за обедами да за завтраками, а тут нужно будет дело делать. Тетюев болтун, и на него не обращайтесь внимания. Генерал... Ах, Родион Антоныч, Родион Антоныч! Это — самый жалкий и бессильный человек, каких я только видела; из него можно все сделать, поэтому вы не бойтесь его ни на волос... Есть одна пьеса — «Свадьба Фигаро», так там горничная говорит: «Ах, как умные люди иногда бывают глупы!..» Вот именно такой человек генерал.

— А Нина Леонтьевна? — спрашивал смущенный Ришелье.

— Нина Леонтьевна... да от нее и сыр-бор загорелся; в ней, конечно, вся сила, но ведь она не будет принимать участие в консультации, следовательно, о ней и говорить нечего.

Но как ни уговаривала Раиса Павловна своего Ришелье, как ни старалась поднять в нем упавший дух мужества, он все-таки трусил генерала и крепко трусил. Даже сердце у него екнуло, когда он опять увидел этого генерала с деловой нахмуренной физиономией. Ведь настоящий генерал, ученая голова, профессор, что там Раиса Павловна ни говори...

Заседания консультации происходили в длинной комнате, где помещалась богатая старинная библиотека, собранная Лаптевыми в их путешествиях по Европе. Большинство книг было на иностранных языках. Библиотекой, кроме Прозорова, никто не пользовался, и все эти дорогие издания в роскошных переплетах стояли в шкафах без всякой пользы. Теперь посредине комнаты был поставлен длинный стол, покрытый зеленым сукном; кругом стола были расставлены мягкие кресла, и только одному Родиону Антонычу был предложен простой деревянный стул. Против каждого сиденья была положена пачка чистой бумаги и карандаш; центр стола занимали две стопки разных юридических книг, нужных для справок: горный ус-

тав, сборник узаконений о крестьянах, земское положение и т. д. Вообще вся эта торжественная обстановка придавала консультации такой вид, точно в библиотеке готовились заседания какого-нибудь европейского конгресса. Генерал занял председательское кресло, около него поместились Тетюев и Майзель; Вершинин и Родион Антоныч сидели дальше, через стол. На открытие первого заседания явился и сам Евгений Константиныч в сопровождении Прейна и Перекрестова; генерал хотел уступить свое место набобу, но тот великодушно отказался от этой чести. Перекрестов с нахальной улыбкой окинул глазами шкафы книг, зеленый стол, сидевших консультантов и, вытащив свою записную книжечку, поместился с ней в дальнем конце стола, где в столичных ученых обществах сидят «представители прессы».

— Господа! — заговорил генерал официальным сухим тоном, поднимаясь с места. — Мы собрались здесь для очень важного дела, и я считаю своей обязанностью выяснить главные цели нашей консультации. Русская промышленность прогрессирует с каждым годом, и с каждым годом ее интересы захватывают все большую и большую область, соприкасаясь с областями других отраслей производительной деятельности нашей страны. Понятно, что при таком близком соприкосновении разных заинтересованных учреждений, отраслей и лиц происходят неизбежные недоразумения, препирательства и крупные столкновения. Нам приходится иметь дело в настоящем случае с интересами и задачами собственно уральской горной промышленности, в частности — с специально заводскими интересами Кукарского заводского округа, поскольку они связаны с интересами заводского населения, земства и внутренней администрации. Я обращаю особенное ваше внимание, господа, на приведенные сейчас рубрики; мы начнем именно с них, чтобы разрешением этих вопросов расчистить почву для более широких начинаний уже в области русской промышленности вообще, где пред нами встанут другие вопросы и другие задачи. В настоящем случае важно то, что мы будем обсуждать поставленные вопросы с разных точек зрения, для чего в состав консультации вошли лица различных профессий и различных сфер деятельности. По-моему, именно от такого разнообразного состава зависит вполне беспристрастное решение

нашей задачи, и я надеюсь, что всякий из нас внесет свою лепту в общий труд, чтобы сказать вместе с баснописцем:

И моего тут капля меду есть...

Генерал перевел дух, посмотрел через очки на слушателей и, облокотившись рукой на кучку лежавших перед ним деловых бумаг, обратился к набобу:

— Евгений Константиныч! скажу еще несколько слов собственно вам. Помните, Евгений Константиныч, евангельскую притчу о рабе, который получил десять талантов, приумножил их новымидесятью талантами и возвратил своему господину уже не десять талантов, а вдвое больше. Вы именно так поступаете, как этот евангельский раб, собрав нас сюда для работы, которая может иметь значение государственной важности. Время безучастного отношения заводовладельцев к своему специальному делу давно миновало: кому дано много, с того и взыщется много. Вы хорошо поняли это и теперь принимаете участие в нашем общем труде, как наш собрат. Эта готовность послужить общему благу является лучшим залогом успеха. Говорю это как человек науки, который может только пожелать, чтобы и другие заводовладельцы отнеслись к своему делу с такой же энергией и, что особенно важно, с такой же теплотой и искренним участием.

Набоб поклонился и сказал на это приветствие несколько казенных фраз, какие говорятя в таких торжественных случаях. Родион Антоныч сидел все время как на углях и чувствовал себя таким маленьким, точно генерал ему хотел сказать: «А ты зачем сюда, братец, затесался?» Майзель, Вершинин и Тетюев держали себя с достоинством, как люди бывалые, хотя немного и коснулись на записную книжку Перекрестова.

— Чтобы не терять напрасно времени, мы прямо приступим к тому вопросу, который отчасти и вызвал поездку Евгения Константиныча на заводы, — вновь начал генерал, перебирая бумаги около себя. — Я хочу сказать о недоразумениях, которые возникли между кукарским заводоуправлением — с одной стороны, и крестьянским обществом — с другой. Кстати, мне пришлось хорошо познакомиться с этим вопросом из первых рук: я имел случай несколько раз говорить с представителями крестьянского общества, а кроме того, я получил

довольно обстоятельный доклад, собственно, от кукарского заводоуправления специально по этому делу.

«Вот оно когда началось-то...» — подумал Родион Антоныч, чувствуя, как его вперед прошибло холодным потом.

А генерал уже достал из портфеля объемистую тетрадку и положил ее перед собой; в этой тетрадке Родион Антоныч узнал свою докладную записку, отмеченную на полях красным карандашом генерала, — и вздохнул свободнее. Рядом с этой рукописью легла мужицкая бумага, тоже размеченная и подчеркнутая. Началось длинное чтение, которое в первые же десять минут нагнало тоску на Евгения Константиныча, так что ему стоило большого труда, чтобы удержаться и не заснуть. Прейн поймал эту мальчишескую выходку и едва заметно покачал головой. Чтение докладной записки и мужицкой бумаги продолжалось битый час, а за чтением генерал сказал свое короткое резюме и открыл прения. Майзель и Тетюев нападали на несправедливость действия кукарского заводоуправления по отношению к крестьянскому обществу в том смысле, что заводоуправление то допускало напрасные послабления, то устраивало бесполезные прижимки; Вершинин отмалчивался, ожидая, что скажет сам генерал.

— Я решительно и во всем обвиняю заводоуправление, — резал Майзель, обрадовавшись случаю сорвать злость. — Отсутствие выдержки, неумение поставить себя авторитетно, наконец профанация власти — все это, взятое вместе, и создало упомянутые недоразумения.

— Не угодно ли будет вам, господин Сахаров, высказаться по этому вопросу? — предложил генерал, когда стороны были выслушаны.

Родион Антоныч не смутился и пункт за пунктом принялся разбивать обвинения своих противников, причем воодушевился настолько, что удивил всех своей смелостью и отчетливым знанием дела.

— Да это — тот самый, который, помнишь, прогнал собаку Майзеля, а потом боролся со мной по-татарски? — спрашивал набоб Прейна.

— Да, секретарь Горемыкина. Делец... — коротко аттестовал Прейн, с удовольствием слушая ораторствовавшего Родиона Антоныча.

Завязались прения, причем Родиону Антонычу приходилось отъедаться разом от троих. Особенно доставав-

лось бедному Ришелье от Вершинина, который умел диспутировать с апломбом и находчивостью. Эта неравная борьба продолжалась битых часа полтора, пока стороны не пришли в окончательный азарт и открыли уже настоящую перепалку.

— Господа, я полагаю, лучше будет выслушать самих крестьян, а потом уже продолжать дебаты,— предложил Прейн, желая спасти Родиона Антоныча от разгромления.

Все шумно поднялись с своих мест и продолжали спорить уже стоя, наступая все ближе и ближе на Родиона Антоныча, который, весь красный и потный, только отмахивался обеими руками. «А Прейн еще предлагает привести сюда мужиков...»— думал с тоской бедный Ришелье, чувствуя, как почва начинает колебаться у него под ногами.

— До завтра, господа! — кричал генерал, стараясь заглушить споривших.— А завтра мы выслушаем крестьянских ходяков... Это будет лучше.

Прямо с консультации Тетюев, Майзель и Вершинин отправились в генеральский флигелек, к Нине Леоновой, а Родион Антоныч побрел к Раисе Павловне, где и встретил Прейна, хохотавшего, как сумасшедший. Раиса Павловна тоже смеялась и встретила своего Ришелье с необыкновенной любезностью.

— Устали вы, Родион Антоныч? — спрашивала она, усаживая его в кресло.— Кофе подать вам или закусить? Слышала, все слышала... Настоящую вам баню задали — ну, что делать, нужно потерпеть!

— Уж потерпим, пока терпится,— согласился уныло Родион Антоныч, вытирая платком лицо и шею.

— Все отлично идет! — хвалил Прейн, потирая руки.— Как на заказ!

— А с мужиками вы зачем назвались, Альфред Осипыч? — корил Родион Антоныч.— Нечего сказать, отлично... Да они всю душу вымотают, а толку все равно не будет никакого.

— С мужиками еще лучше будет,— весело отвечал Прейн.— А вы держите свою линию — и только. Им ничего не взять... Вот увидите.

— Генерал-то молчит что-то.

— И пусть молчит... А Евгению Константинычу очень понравился ваш доклад. Он узнал вас.

Конечно, все это было приятно и утешительно, но перспектива новых битв пугала Родиона Антоныча, потому что один в поле не воин. Ох, грехи, грехи!

На следующий день действительно были приглашены на консультацию волостные старички с Кожиным, Семенным и Вачегиным во главе. Повторилась приблизительно та же сцена: ходоки заговаривались, не понимали и часто падали в ноги присутствовавшему в заседании барину. Эта сцена произвела неприятное впечатление на Евгения Константиныча, и он скоро ушел к себе в кабинет, чтобы отдохнуть.

— Чего они хотят от меня? — спрашивал он Прейна. — Удивляюсь... И к чему это унижение, эти поклоны! Ведь теперь не крепостное право, все одинаково свободные люди.

— Это верно, но и к свободе нужно привыкнуть, — объяснял Прейн. — Эти земные поклоны еще остатки крепостного права, когда заводских мастеровых держали в ежовых рукавицах.

— Зачем же эти униженные просьбы, — я все-таки не пойму. Если дело мастеровых правое, тогда они стали бы требовать, а не просить... Разве мой Чарльз будет кланяться кому-нибудь в ноги?

Родион Антоныч не ошибся в своих расчетах: присутствие мужиков окончательно перепутало весь ход работ консультации. Эти живые документы разных заводских неправд, фабрикованных ловкими руками Родиона Антоныча, производили известное впечатление на генерала, не привыкшего обращаться с живыми людьми. «Какие разговоры с мужичьем, — думал Родион Антоныч про себя, — в шею их, подлецов. Нет, в три шеи, да еще отпороть па прибавку, чтобы пустяками не занимались. Ох, времена!» Но главным неудобством в положении Родиона Антоныча была его совершенно фальшивая роль в этом деле: он насквозь видел всех, видел все ходы и выходы и должен был отмалчиваться. Тот же Тетюев и Майзель толкуют за мужиков, а сами из-за мужицкой спины добивают Раису Павловну. Дай-ка им в руки этих мужиков, да они бы из них лучины нащепали. А генерал всякому ихнему слову верит, потому что они по-образованному умеют говорить, ученые слова разговаривают. Тоже если взять и заводское дело: плетут из пятого в десятое, а настоящей сути все-таки нет. Разве такие порядки должны быть?

Вон Прейн, даром что немец, а всех видит... Ох, тонкий, оборотистый человек, только не провел бы он нас с Раисой Павловной. Даже крестьянские ходоки — и те перестали ломать шапку перед Родионом Антонычем, а краснойбай Семеныч, встретив его на улице, с необыкновенной развязностью спросил:

— А што, Родивон Антоныч, бают, у тебя супротив енарала-то неустойка выходит? Ты вот нам прижимку сделал, а енарал по душе все хочет разобрать...

Это уж было слишком. Все кругом рушилось, и дни Раисы Павловны были сочтены. Тетюев одолевал генерала с земством, а в сущности Раису Павловну подсиживал. И умен только, пес, уродился, такие углы загнбает генералу, что успевай слушать! Дальше Вершпини пачал сильно гадить — тоже мужик не в угол рожей, пожалуй, еще почище будет Авдея Никитича. Одним словом, чем дольше шли работы консультации, тем положение Ршешелье делалось невыносимее, и он уже потерял всякую веру даже в Прейна, у которого вечно семь пятниц на неделе. К Раисе Павловне Сахаров редко заглядывал, ссылаясь на работу. Ввиду всех этих грозных признаков, омрачавших горизонт, бедный кукарский Ршешелье находил единственное утешение в своем курятнике, где и отдыхал душой в свободные часы. Известно, что все великие исторические люди питали маленькие слабости к разным животным, может быть выплачивая этим необходимую дань природе, потратившей на них слишком много ума.

А партия Тетюева торжествовала совсем открыто, собираясь у Нины Леонтьевны, где об изгнании Раисы Павловны все говорили, как о деле решенном. Параллельно с этим торжеством начинались новые происки и интриги, причем недавние союзники начинали играть уже «всяк в свои козыри», потому что каждому хотелось занять место Горемыкина. Конечно, это место всего легче было добыть через посредство Нины Леонтьевны, курсы которой поднялись необыкновенно высоко. И в самом деле, она не только привезла набоба на Урал, но и руководит каждым шагом генерала. Кроме общих совещаний, каждый из тетюевцев старался выслужиться перед Ниной Леонтьевной частными визитами, причем происходили забавные встречи, неожиданности и недоразумения. Тетюев подозревал Вершинина, Майзель — Тетюева, Вершинин — Те-

твоева и Майзеля; одним словом, заварилась постоянная дипломатическая каша, в которой больше всех выигрывает Нина Леонтьевна.

Перекрестов, бывший всегда там, где везло счастье, находился в числе непрременных гостей Нины Леонтьевны и расточал перед ней самые лестные речи.

— Без вас, Нина Леонтьевна, никому и ничего не сделать бы,— говорил представитель русской прессы, приятно оклабываясь.— Хотите, я напишу о вас целый фельетон?

Вперемежку с этой неисчерпаемой ложью Перекрестов искал блох у Коко или сплетничал про все и про вся. Нина Леонтьевна очень ценила этого литературного человека и в ответ на его любезности предложила ему небольшую работу.

— Знаете что,— сообщила она,— я говорила о вас с Мироном, и мы решили передать вам один заказ... Именно, вы будете писать историю фамилии заводоладельцев Лаптевых.

— Я с удовольствием...— соглашался Перекрестов, целуя у Нины Леонтьевны ручку.

— Условия работы такие: пока будете работать — три тысячи в год, за работу пять тысяч, а если ваша работа понравится Евгению Константинычу, тогда он, без сомнения, наградит вас по-царски.

— Благодарю, благодарю вас, Нина Леонтьевна. Чем я могу заплатить вам за внимание к моим слабым силам?

— Угадайте, чем можете заплатить? Ха-ха... Как это наивно, чтобы не сказать больше! Вы можете сослужить большую службу русскому горному делу своим пером... Догадались?

— Помилуйте, Нина Леонтьевна, да зачем же я сюда и ехал?.. О, я всей душой и всегда был предан интересам горной русской промышленности, о которой думал в степях Северной Америки, в Индийском океане, на Ниле: это моя *idée fixe*¹. Ведь мы живем с вами в железный век; железо — это душа нашего времени, мы чуть не дышим железом...

— Я понимаю вас, Перекрестов,— сентиментально проговорила Нина Леонтьевна, тронутая этим патетическим монологом.

¹ навязчивая мысль (*фр.*).

— И я отлично вас понимаю, Нина Леонтьевна! — воскликнул Перекрестов. — Мне было достаточно увидеть вас... И уж никогда я не сравню вас с другими женщинами! Знаете, Нина Леонтьевна, Раиса Павловна считает себя самой умной женщиной и не подозревает, как вы ей салазки смажете... Ха-ха! Вы сослужите русскому горному делу золотую службу, Нина Леонтьевна!

Заручившись симпатиями Нины Леонтьевны, а также выгодной работой по части жизнеописания Лаптевых, Перекрестов тоже возмечтал. Ведь в самом деле, мыкался, мыкался он по всем континентам, продавал все и всех, заискивал, льстил, унижался и все-таки гол как сокол! Надо же когда-нибудь и остепениться! В бесшабашной голове Перекрестова мелькнула счастливая мысль: а что, если бы ему, Перекрестову, занять место Горемыкина... а?.. На эту интересную тему Перекрестов продумал целую ночь, набросал даже в своей книжечке на всякий случай план реформ, какие он произведет в Кукарских заводах, и весь следующий день ходил с самым таинственным видом, точно какой-нибудь заговорщик.

— Что это с тобой сделалось? — с участием спрашивал его Летучий. — Уж не болит ли у тебя живот?

XXVIII

Пока шла ожесточенная борьба партий, беззаботная половина человеческого рода веселилась напропалую, изобретая каждый день новое удовольствие. Под предлогом развлечения Евгения Константиныча устраивались гулянья в саду, семейные вечера, катанья по пруду на лодках, пикники и т. д. Молодежь находила тысячи средств веселиться, пока люди зрелого возраста рыли друг другу волчьи ямы, злословили и преисполнялись самыми ожесточенными мыслями и чувствами. Аннинька и m-ше Эмма проводили время в обществе Братковского, Перекрестова и Летучего самым веселым образом и находили, что лучшего ничего и желать невозможно. Особенно так думала Аннинька, формально объяснившаяся Братковскому в любви.

— Я тоже вас люблю... — лениво ответил поляк. — Только обещать вам ничего не могу, потому что...

— Ах, боже мой! Да разве я что-нибудь требую от

вас? — задыхающимся шепотом говорила Аннинька, блестя своими темными глазками. — Ведь вы скоро уедете... времени отстаетя так мало.

В ответ на это Братковский целовал Анниньку и шепотом говорил тот любовный вздор, который непереводем ни на какой язык, хотя отлично понимается всеми, как музыка без слов. Как все влюбленные девушки, Аннинька таскала за собой Братковского по разным тенистым уголкам в саду, одолевала его массой записочек и ревновала даже к Нине Леонтьевне. Конечно, каждый вечер m-Ле Эмма должна была выслушать бесконечную болтовню Анниньки, которая изнывала от душившей ее потребности рассказать кому-нибудь о своем счастье. M-Ле Эмма любила, раздевшись и улегшись в постель, долго жевать что-нибудь сладкое: сосала леденцы, грызла орехи, доедала припасенное заранее мороженое и конфеты, причем погружалась в сладкое созерцательное настроение, как жующая жвачку овечка. Аннинька пользовалась этим моментом душевного расслабления своей подруги, забиралась к ней с ногами на кровать и принималась без конца рассказывать о своей любви, как те глупые птички, которые щебечут в саду на заре от избытка преисполняющей их жизни. Таким образом m-Ле Эмма имела удовольствие узнать все достоинства пана Братковского, который был совершенством человеческой природы и, наверное, происходил из какой-нибудь старинной королевской фамилии.

— Отлично, все отлично, — лениво соглашалась m-Ле Эмма, рассматривая свои упругие круглые руки. — А этот переодетый принц не рассказывал тебе, сколько он таких дур, как ты, надул на своем веку? Спроси как-нибудь.

— Да мне-то какое дело? Конечно, надувал и еще сто дур надует, а все-таки я его люблю. Если бы ты, Эминька, знала, как я этого красивого мерзавца люблю! Право, я съела бы его или задушила бы, если бы могла... Глаза у него какие, Эминька!

— Дурища ты безголовая, Анька, вот что я тебе скажу! — полушутя, полунаставительно говорила m-Ле Эмма.

— Что же, Эминька, разве я не знаю, что я глупенькая... «Галка», как Прозоров говорит. Все равно пропадать, так хоть месяц поживу в свое удовольствие!

В припадке нежности и отчаяния Аннинька и пла-

кала, и хохотала, и сто раз принималась целовать m-lle Эмму — в лицо, шею, даже ее голые точеные руки.

— Ты смотри, как Лушка устроилась,— говорила m-lle Эмма, напрасно стараясь отбиться от поцелуев Анниньки.— Не бойсь, не по-нашему с тобой... Мне, ей-богу, она начинает нравиться: умная! Вон как Прейна забрала, а уж, кажется, он весь свет оплетет. И сама себя бережет, лишнего ничего не позволит. Так и следует поступать умной девушке, а то поцеловались два раза — и кончено! точно разварная рыба, хоть ты ее с хреном ешь, хоть с горчицей. Лушка и Раису Павловну проведет... Та ее за Лаптева прочит... Ха-ха! Ей-богу, я начинаю любить эту Лушку!

В минуту отдыха, раздевшись и прикрыв свое круглое белое тело одеялом, m-lle Эмма любила пофилософствовать на разные житейские темы, причем все у ней выходило как-то необыкновенно спокойно и чуть-чуть было приправлено тонкой и умной насмешкой. В этом сколоченном на заказ организме, работавшем, как машина, для философии отчаяния не оставалось ни одного свободного уголка, потому что m-lle Эмма служила живым воплощением самого завидного душевного равновесия. Даже такие критические обстоятельства, которые теперь заставляли весь кукарский господский дом, со всеми флигелями и пристройками, переживать самые тревожные минуты, не беспокоили особенно m-lle Эмму, хотя она, после падения Раисы Павловны, буквально должна была идти на улицу, не имея куда приклонить голову. Сама Раиса Павловна в минуты отчаяния посылала за m-lle Эммой, и одно присутствие этой жирной, как семга, немки успокаивало ее расходившиеся нервы. К передрягам и интригам «большого» и «малого» двора m-lle Эмма относилась совсем индифферентно, как к делу для нее постороннему, а пока с удовольствием танцевала, ела за четверых и не без удовольствия слушала болтовню Перекрестова, который имел на нее свои виды, потому что вообще питал большую слабость к женщинам здоровой комплекции, с круглыми руками и ногами.

Слушая болтовню Анниньки, m-lle Эмма припомнила свой последний разговор с Перекрестовым, который сделал ей довольно откровенное предложение, имея в виду открывавшуюся вакансию главного управляющего Кукарскими заводами.

— Мы люди умные и отлично пойдем друг друга, — говорил гнусавым голосом Перекрестов, дергая себя за бороденку. — Я надеюсь, что разные охи и вздохи для нас совсем лишние церемонии, и мы могли бы приступить к делу прямо, без предисловий. Нынче и книги без предисловий печатаются: открывай первую страницу и читай.

— Что вы хотите сказать этим? — сердито спрашивала м-лле Эмма, чувствовавшая, что тут дело идет совсем не об ее уме.

— Вы меня отлично понимаете, mademoiselle Эмма; к чему притворяться? Мы устроились бы в Петербурге отлично. У меня есть работа, известное обеспечение; наконец, очень солидные виды на будущее, которым вы остались бы довольны...

Бессовестно лстя уму и прочим добродетелям м-лле Эммы, Перекрестов высказал самое откровенное желание поближе познакомиться с ее круглой талией, но получил в ответ такой здоровый удар кулаком в бок, что даже смутился. Смутился Перекрестов, проделывавший то же самое во всех широтах и долготах, — это что-нибудь значило! Но м-лле Эмма не думала разыгрывать из себя угнетенную невинность и оскорбляться, а проговорила совершенно спокойно:

— Нет, батенька, это дело нужно оставить: у вас ничего нет, и у меня ничего нет — толку выйдет мало. Я давно знаю эти умные разговоры, а также и то, к чему они ведут... Одним словом, поищите дуры попроще, а я еще хочу пожить в свою долю. Надеюсь, что мы отлично поняли друг друга.

В последнее время Братковский имел меньше времени для свиданий с Аннинькой, потому что в качестве секретаря генерала должен был присутствовать на консультациях, где вел журнал заседаний и докладывал протоколы генерала, а потом получил роль в новой пьесе, которую Сарматов ставил на домашней сцене. С секретарскими работами Аннинька мирилась, но чтобы ее «предмет» в качестве *jeune premier*¹ при всех на сцене целовал Наташу Шестеркину, — это было выше ее сил.

— Я этой Наташке все глаза выцарапаю, — уверяла Аннинька в порыве справедливого негодования. — Вот

¹ первого любовника (фр.).

увидишь, Эминька, как кошка, так и вцеплюсь. Пусть тогда Братковский целуется с ней.

— Нашла кого ревновать,— презрительно замечала m-lle Эмма.— Да я на такого прощелыгу и смотреть-то не стала бы... Терпеть не могу мужчин, которые заняты собой и воображают бог знает что. «Красавец!», «Восторг!», «Очаровал!» Тьфу! А Братковский таращит глаза и важничает. Ему и шевелиться-то лень, лупоглазому... Теленок теленком... Вот уж на твоём месте никогда и не взглянула бы!

Аннинька зажимала рот m-lle Эмме рукой и продолжала свое, как ее ни уговаривала рассудительная подруга, не любившая в жизни никакой суеты, даже в любви. Но уговорить Анниньку было не так-то легко: она скрежетала зубами, рвала на себе волосы и вообще страшно неистовствовала. Иногда она старалась не думать о готовившемся спектакле, но ее точно подталкивал какой-то бес и шептал на ухо: «Вот теперь Братковский идет на репетицию... вот он в уборной у Наташи и помогает ей гримироваться... вот он улыбается и смотрит так ласково своими голубыми глазами». Бедная «галка» ходила, как помешанная, и, не имея сил преодолеть чувства ревности, решила накрыть Братковского на самом месте преступления, то есть подкараулить на одной из репетиций.

Сарматов, так милостиво отмеченный набобом, хотел удивить мир злодейством, как сам характеризовал свою театральную затею. Он не щадил ни себя, ни других, чтобы удивить набоба блестящей постановкой пьесы. Нужно было выбрать такую пьесу, где можно было бы показать всех кукарских красавиц разом. После долгих колебаний Сарматов остановился на одной из комедий Потехина. В число исполнителей были завербованы все наличные силы и, между прочим, Луша Прозорова. Последним Сарматов подкупил всесильного Прейна, который молча и многозначительно пожал руку театральному директору.

— Старый артиллерист все видит и умеет молчать, как рыба, Альфред Осипыч,— ответил на это пожатие Сарматов.

— Благодарю, благодарю... А какой костюм нужно будет сделать для Прозоровой?

— Костюм? Можно белый, как эмблему невинности, но, по-моему, лучше розовый. Да, розовый — цвет любви,

цвет молодости, цвет радостей жизни!..— говорил старый интриган, следя за выражением лица Прейна.— А впрочем, лучше всего будет спросить у самой Гликерии Виталиевны... У этой девушки бездна вкуса!

Прейн улыбнулся и фамильярно потрепал старого солдата по плечу.

Луша с удовольствием согласилась принять участие в спектакле, потому что сидеть в своем флигельке и слушать пьяный бред отца ей было хуже смерти. Она еще никогда не играла на сцене и с любопытством новичка увлекалась даже неприглядной изнанкой театра. Ей нравилась эта длинная мрачная казарма, служившая временным помещением для театра. Сколоченные на живую руку подмостки едва освещались двумя-тремя дрянными лампами, и эта убогая любительская сцена, загроможденная кулисами и декорациями, терялась в окружавшем мраке громадного здания мутным пятном. Подойдя к рампе, Луша подолгу всматривалась в черную глубину цартера, с едва обрисовавшимися рядами кресел и стульев, населяя это пространство сотнями живых лиц, которые будут, как один человек, смотреть на нее, ловить каждое ее слово, малейшее движение. Перспектива сценической деятельности как-то вдруг досказала Луше то, чего ей не доставало: вот где ее место... Девушке нравилось здесь все — и затхлый, застоявшийся воздух, пропитанный запахом свежей краски от декораций, керосином и еще какой-то гнилой дрянью, и беспорядочность закулисной обстановки, и общая бестолковая суматоха, точно она попала в трюм какого-то громадного корабля, который уносил ее в счастливую даль. Что-то фантастическое чувствовалось кругом, точно какая детская сказка без начала и конца... А главное, вся эта театральная обстановка как нельзя больше отвечала душевному настроению Луши. Ведь вся эта нескладная театральная суматоха и всеобщая путаница являлась только живым сколком и продолжением того, что считалось за действительность в господском доме; те же декорации и кулисы, тот же оптический обман на каждом шагу и только меньше фальши и лжи, хотя актеры и актрисы должны были изображать совсем других людей.

Даже неистовство Сарматова нравилось Луше, потому что он неистовствовал от чистого сердца, не скрывая своего желанья выслужаться. В пылу усердия он кри-

чал на всех каким-то неестественным тонким голосом, как поют молодые петухи, ходил по сцене театрально-непринужденным шагом, говорил всем дерзости и тысячью других приемов старался вдохнуть в своих сотрудников по сцене одолевший его артистический жар. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной и Канунниковой, которые не раз плакали от выходов Сарматова и все-таки продолжали приносить непосильные жертвы на алтарь искусства.

— Наталья Ефимовна! актриса должна себя держать совсем непринужденно на сцене!.. — кричал Сарматов на конфузившуюся Шестеркину. — А вы не знаете, куда деваться с руками... Наталья Ефимовна! ради всего святого уберите ваши коленки! Ах, боже мой! Извините! коленки вы убрали, а зачем, с позволения сказать, начинаете выпячивать живот и переваливаетесь, как гусыня. А вы, mademoiselle Канунникова, вы держите голову с таким трудом, точно она набита у вас свинцовой дробью. Держитесь свободно, не стесняйтесь! Вон посмотрите на Братковского: этот гусь точно родился на сцене, а между тем я чувствую, что он-то и провалит меня, без ножа зарежет... Признайтесь, Гуго Альбертович, ведь вы до сих пор своей роли ни в зуб толкнуть и будете удить рыбу из суфлерской будки?..

Братковский только улыбался и даже не давал себе труда отшучиваться.

На репетициях, кроме официально назначенных актеров, толпились в качестве добровольцев Перекрестов с Летучим. Эти «почти молодые люди» постоянно заглядывали в дамскую уборную и старались заслужить внимание любительниц разными мелкими услугами: переставляли стулья, носили переписанные роли и даже пришивали пуговицы, когда это требовалось. Перекрестов толкался на сцене из любви к искусству и отчасти движимый желанием поволочиться за хорошенькими женщинами при той сближающей обстановке, какую создают любительские спектакли. Что касается Летучего, то этот прогоревший сановник, выдохшийся даже по части анекдотов из «детской жизни», спился окончательно и приходил в театр с бутылкой водки в кармане, выпивал ее через горлышко где-нибудь в темном уголке, а потом забирался в самый дальний конец партера, ложился между стульями и мирно почивал.

— Театр — это цивилизующая сила, — ораторствовал Перекрестов, забравшись в дамскую уборную. — Она вносит в темную массу несравненно больше, чем все наши университеты и школы. Притом сцена именно есть та сфера, где женщина может показать все силы своей души: это ее стихия как представительницы чувства по преимуществу.

Театральная суматоха была нарушена трагико-комическим эпизодом, который направлен был рукой какого-то шутника против Сарматова. Именно, во время одной репетиции, когда все актеры были в сборе, на сцене неожиданно появилась Прасковья Семеновна, украшенная розовыми бантиками.

— Мне нужно видеть директора театра, — спрашивала она совершенно серьезным тоном, отыскивая глазами Сарматова.

— К вашим услугам, сударыня, — с комической вежливостью расшаркивался Сарматов, напрасно придумывая какую-нибудь остроумную шуточку над полусумасшедшей девушкой. — Чем могу служить вам?

— Я получила приглашение от вас играть роль первой любовницы, — с прежним спокойствием проговорила Прасковья Семеновна, не замечая насмешливых улыбок. — Вот я и пришла...

— Это недоразумение, Прасковья Семеновна... — смутился Сарматов от такой неожиданности. — У нас уже есть первая любовница.

Этот ответ исказил добродушно-сосредоточенное лицо Прасковьи Семеновны; глаза у ней сверкнули чисто сумасшедшим гневом, и она обрушилась на директора театра целым градом упреков и ругательств, а потом бросилась на него прямо с кулаками. Ее схватили и пытались успокоить, но все было напрасно: Прасковья Семеновна отбивалась и долго оглашала театр своим криком, пока пароксизм бешенства не разрешился слезами.

— Меня все обманывают, — шептала несчастная девушка, глотая слезы. — И теперь мое место занято, как всегда. Директор лжет, он сам приглашал меня... Я буду жаловаться!.. О, я все знаю, решительно все! Но меня не провести! Да, еще немножко подождите... Ведь уж он приехал и все знает.

Нашлись такие любители скандалов, которые хотели потешиться над заговаривавшейся девушкой, но какая-то

добрая рука увела ее со сцены под одним из тех предлогов, при помощи которых заставляют уходить из комнаты детей. На Лушу этот маленький эпизод подействовал крайне тяжело, и она просидела все время в уборной, пока Прасковья Семеновна кричала и плакала на сцене. Но после репетиции, когда Луша проходила по узкому коридорчику между кулисами, кто-то в темноте схватил ее за руку точно железными клещами, так что она даже вскрикнула от испуга и боли.

— А, попалась... Ха-ха!..— кричал хриплый голос, по которому Луша едва узнала Прасковью Семеновну.— Ты отбила мое место, но я тебе устрою штуку. Ты будешь меня помнить... Ха-ха!..

Луша чувствовала на себе пристальный взгляд сумасшедшей и не смела шевельнуться; к ее лицу наклонялось страшное и искаженное злобой лицо; она чувствовала порывистое тяжелое дыхание своего врага, чувствовала, как ей передается нервная дрожь чужого бешенства. Подоспевший на выручку Братковский помог освободиться Луше от этого объяснения, и она едва добрела до уборной, где и упала в обморок. Поднялась новая суматоха, послали за доктором, но Луша пришла в себя сейчас же, как ее вспырынули холодной водой. Она долго сидела на грязном диванчике в уборной, плохо понимая, что делается кругом, точно все это был какой-то сон, тяжелый и мучительный. Только когда в дверях уборной показалась длинная фигура доктора Кормилицына, Луша точно проснулась.

— Не нужно, ничего не нужно...— проговорила она, жестом прося доктора не входить.— Мне лучше... Это пустяки. Не говорите ничего отцу.

— Что такое случилось? что с вами, мой ангел? — кричал Прейн, врываясь в уборную: его тоже успел кто-то предупредить.— Ах, как я испугался...

— Напрасно... Может быть, лучше было бы умереть,— проговорила Луша, начиная сердиться.— Уходите, пожалуйста... «мой ангел»!

В последнее время все стали замечать, что Прасковья Семеновна сильно изменилась: начала рядиться в какие-то бантики, пряталась от всех, писала какие-то таинственные записочки и вообще держала себя самым странным образом. Раиса Павловна давно заметила эту перемену в сумасшедшей и боялась, как бы она не выкинула какой-

нибудь дикой штуки в присутствии набоба; но выселить ее из господского дома не решалась.

Аннинька, желая накрыть Братковского на самом месте преступления, несколько раз совершенно незаметно пробиралась на сцену и, спрятавшись где-нибудь в темном уголке или за кулисами, по целым часам караулила свой «предмет». Эта засада, однако, не приводила ни к каким положительным результатам, потому что Братковский держал себя, как и все другие мужчины. Впрочем, с прозорливостью влюбленной Анниньки поймала несколько таких взглядов Наташи Шестеркиной на «предмет», что сомнения не оставалось. Наташа любила его. Сделанное открытие стоило Анниньке больших слез и еще большей злобы против счастливой соперницы; оставалось только выследить их вдвоем и накрыть.

Всем влюбленным случай, как известно, является покорнейшим слугою; он же помог и Анниньке довершить предпринятый подвиг. Репетиция была назначена вечером; Аннинька с утра притворилась больной, а когда m-ше Эмма ушла к Раисе Павловне, она, как ящерица, улизнула в театр и пробралась на свой наблюдательный пост. На этот раз Братковский нетерпеливо шагал по сцене, заложив руки за спину. Не оставалось никакого сомнения, что он ждал ее. Было еще рано, и актеры только что начинали собираться и шушукались отдельными кучками. Братковский несколько раз посмотрел на часы и все поправлял свои русые волосы нетерпеливым жестом. Но вот мимо Анниньки скользнула знакомая женская фигура, закутанная в большой платок: это была Наташа Шестеркина. Она прошла к тому углу сцены, где были свалены старые декорации, и сделала знак Братковскому, чтобы он шел за ней. Аннинька должна была придерживать грудь рукой, чтобы сдержать колотившееся сердце, а потом она, как кошка, начала подкрадываться к уединившейся парочке. Ей пришлось сделать порядочный крюк, чтобы подойти к вороху кулис совершенно незамеченной. Вот уж близко, всего несколько шагов... Можно рассмотреть, как Братковский крепко обнял Наташу одной рукой и, наклонив голову, что-то внимательно слушал. Потом до ушей Анниньки донесся сдержанный счастливый смех ее разлучницы. Вся кровь прилила к голове Анниньки, сердце замерло, в глазах пошли красные круги; еще несколько шагов — и она у цели. Счастливая парочка так близко от нее,

что можно доскочить одним прыжком; и Аннинька почти чувствует под своими ногтями белую кожу Наташи Шестеркиной. Но нужно немного перевести дух...

— Что же она? — спрашивал Братковский.

— Она?.. Ха-ха... Аннинька такая глупая, что ее обмануть ничего не стоит. Ведь она караулила тебя здесь все время, а ты и не подозревал?

— Этого еще недоставало!.. Ничего нет скучнее этих кисейных барышень, которые ничего не понимают... Ведь сама видит, что надоела, а уйти толку недостает.

— А тебе неужели не жаль Анниньки?

— Я могу женщину любить только до тех пор, пока она не потеряла ума, а как только начались охи, да вздохи, да еще слезы...

Братковский сделал выразительный жест рукой, а Шестеркина засмеялась. Аннинька слишком хорошо изучила ее манеру говорить и смеяться и вся дрожала, как в лихорадке. Послышался долгий поцелуй.

— А все-таки необходимо поскорее отделаться от этой дуры, — заговорила опять Шестеркина, прижимаясь к своему кавалеру, — а то она еще, пожалуй, устроит такой скандал, что и не расхлебашь.

— Вздор!..

— Нет, я ее отлично знаю...

Аннинька не могла больше выносить и, как тигренок, бросилась на свою жертву, стараясь вцепиться ей прямо в лицо. Неожиданность нападения совсем обескуражила Братковского, он стоял неподвижно и глупо смотрел на двух отчаянно борющихся женщин, которые скоро упали на пол и здесь уже продолжали свою борьбу.

— Анька... дура! Да ты, кажется, совсем с ума сошла? — слышался голос защищавшейся.

У Анниньки упали руки при звуках этого знакомого голоса — это была не Наташа Шестеркина, а m-lle Эмма, которая смешно барахталась своими круглыми руками и ногами, напрасно стараясь оттолкнуть нападавшую Анниньку.

— Право, настоящая дура! — уже сердито проговорила m-lle Эмма, поднимаясь с пола. — Ну, к чему было лицо ногтями царапать?..

Бедная, уничтоженная Аннинька сидела на полу в самом отчаянном виде и решительно не могла понять, во сне она или наяву.

Занятия консультации были в полном разгаре, хотя сам Евгений Константиныч теперь редко посещал ее заседания. Дело Родиона Антоныча было совсем дрянь, и он, махнув на все рукой, плыл туда, куда его уносил стремительный поток событий. Да и что он мог сделать один против четверых? Выходила полная неустойка, как говорил Семеныч. Тетюевцы разнесли по щепам всю внутреннюю политику Раисы Павловны, и беспристрастный генерал, находившийся под сильным давлением Нины Леонтьевны, заметно начал склоняться на сторону тетюевцев. В чаше испытаний, какую приходилось испытать Родиону Антонычу, мужицкие ходки являлись последней каплей, потому что генерал хотя и был поклонником капитализма и смотрел на рабочих, как на олицетворение пудо-футов, но склонялся незаметно на сторону мужиков, потому что его подкупал тон убежденной мужицкой речи.

— Твое желание исполнилось,— говорил Прейн, отыскав Лушу в театре,— Платона Васильевича мы покончили совсем...

— А ты не обманываешь меня?..

— Если не веришь мне, так завтра сама можешь узнать от Раисы Павловны,— ответил Прейн обиженным тоном порядочного человека.

Луша торжествовала: ее заветное желание исполнилось. Сегодня идти к Раисе Павловне было поздно, но зато завтра она воочию убедится в случившемся. Ей страстно хотелось видеть, как Раиса Павловна примет известие о своем поражении и как она отнесется к Прейну, на которого надеялась, как на каменную стену. Вот будет комедия!..

Луша долго не могла заснуть в эту ночь. Вслед за картиной поражения Раисы Павловны перед ней встала другая, более широкая — это торжество партии Тетюева, с Ниной Леонтьевной во главе. Вот самодовольная, надутая фигура «моего Майзеля», вот хитро улыбающееся бордатовое лицо Вершинина, вот делец Тетюев с своим «я», вот сама «чугунная болванка», расплывшаяся и безобразная... Луша одинаково ненавидела эту торжествующую шайку дельцов, ненавидела той отраженной ненавистью, какая созрела в ней в последнюю поездку в горы, когда все начинали смотреть на нее, как на кандидатку в курти-

занки. Особенно ненавидела Луша заводских аристократов, которые так жалко пресмыкались перед Ниной Леонтьевной... Чем Раиса Павловна хуже безобразной «болванки»? Дальше Луша думала о том, кто займет место Горемыкина, и старалась представить себе картину разрушения старого режима, сложившегося около Раисы Павловны. Кто потеряет и кто выиграет в этой новой суматохе? Прейн несколько раз говорил, что всего больше шансов на стороне Тетюева... Итак, вместо Раисы Павловны будет царить Авдей Никитич Тетюев. Глупо. Когда ненавистная Раиса Павловна была побеждена, и в душе Луши проснулось к этой женщине какое-то неясное, но теплое чувство. Ведь если разобрать справедливо, так Раиса Павловна ничем не хуже других, а только умнее во сто раз. И Лушу она любила по-своему, особенно в последнее время. Да, любила; любила немного по-кошачьи, но все-таки любила.

Перед Лушей протянулся длинный ряд воспоминаний, как Раиса Павловна готовила ее к балу, как с замиравшим сердцем следила за ее первыми успехами, как старалась выдвинуть ее на первый план, с тактикой настоящей великосветской женщины, и как наконец создала то, чем теперь Луша пользуется. Одной красоты и молодости мало для женщины, а нужна еще выдержка, такт, известная оригинальная складка, что и было разработано в Луше той же Раисой Павловной.

«Но ведь Раиса Павловна погубила отца...— думала Луша, движимая старым наболевшим чувством.— Она и меня преследовала, когда я была маленькой замарашкой».

Раньше Луша относилась к отцу почти индифферентно или с сдержанным чувством холодного презрения, а теперь начинала бояться его. Что он скажет, когда узнает все? Никакая тайна не останется тайной. Этот погибший человек отвернется от нее, как от содержанки Прейна. Он бросит в нее первый камень. Жалкий отец только один и вставал между нею и Прейном. Луша видела его презрительную улыбку и чувствовала всем телом его злой, насмешливый взгляд. Но из-за страха перед отцом в душе Луши выступило более сильное чувство: она жалела этого жалкого, потерянного человека и только теперь поняла, как его всегда любила. Ведь это была недюжинная голова, человек с искрой в душе, который при других обстоятельствах мог быть университетской знаменитостью или выдающимся пред-

ставителем в области литературы. Мысли об отце были единственной тайной Луши от Прейна, и она берегла эту последнюю святыню, как берегут иногда детские игрушки, которые напоминают о счастливом и невинном детстве. И все-таки отца погубила окончательно Раиса Павловна... Это решение созрело еще в голове Луши в самом раннем детстве и в таком виде сберегалось до последнего времени, как не требующая доказательств аксиома. Но первое проснувшееся чувство расширило душевный горизонт Луши, и она теперь старалась проверить детскую аксиому, принимая меркой свой личный опыт. Кто из них прав и кто виноват: Раиса Павловна или отец?.. В сущности, она судила только по догадкам и только отчасти по двум-трем письмам, доставшимся ей после матери. История была самая темная. Да и как ей судить их? Просветленная собственным чувством, Луша долго думала о самой себе и своих отношениях к Прейну. Эта неожиданная встреча тоже носила в себе что-то роковое, как и встреча отца с Раисой Павловной. Луша действительно любила Прейна, любила человека умного и сильного, — всего вернее последнее. Именно сила Прейна производила на нее обаятельное действие: это был всемогущий человек, создавший свое положение одним своим умом. Конечно, он стар и некрасив, но все-таки во сто раз лучше тех молодых и красивых, которых встречала Луша до настоящего времени, не говоря уже об Яшке Кормилицыне. Девушка поклонялась силе, потому что в самой себе чувствовала эту силу, а жить, как живут все другие люди — день за днем, не стоило труда.

Долго не спала Луша в эту ночь, ворочаясь на своей постели. Ночь была темная и дождливая; деревья в саду шумели, точно говор далекой толпы, волновавшейся, как море. Крупные капли дождя хлестали в стекла с сухим треском, как горох, а рамы вздрагивали и тихо дребезжали под напором метавшегося ветра. Где-то выла собака, сильно сконфуженная происходившими в природе беспорядками. А потом глухо гукнул отдаленный раскат грома, точно вестовая пушка. Шум начал стихать, и дождь хлынул ровной полосой, как из открытой души, но потом все стихло, и редкие капли дождя падали на мокрую листву деревьев, на размякший песок дорожек и на осклизнувшую крышу с таким звуком, точно кто бросал дробь в воду горстями. Но это было временное затишье, как бывает

перед надвигающейся грозой. Вот режущим блеском всполыхнула первая молния, и резким грохотом рассыпался первый удар, точно с неба обрушилась на землю целая гора, раскатившаяся по камешку. Опять затишье, и новая молния, и вслед за ней уже без всякого перерыва покатились страшные громовые раскаты, точно какая-то сильная рука в клочья рвала все небо с оглушающим треском. Луша не боялась грозы и с замирающим сердцем любовалась вспыхивающей ночной темью, пока громовые раскаты стали делаться слабее и реже, постепенно превращаясь в отдаленный глухой рокот, точно по какой-то необыкновенной мостовой катился необыкновенно громадный экипаж.

Поздно утром, когда Луша проснулась, около ее кровати сидела Раиса Павловна. По блескам дождевых капель в волосах и по темным пятнам от таких же капель на платье и на большой темной шали, в которую она куталась до самого подбородка, было видно, что Раиса Павловна только что пришла. Она сидела с опущенной головой, в задумчивой позе, и не замечала, что Луша давно уже смотрела на нее. Бледное, обрюзгшее лицо было бы совсем безобразно, если бы не освещалось какой-то глубокой думой, которая заставляла Раису Павловну забывать и промокшие насквозь прюнелевые башмаки, и недоконченный туалет, и место, где она сидела.

— Ах, ты уж проснулась? — проговорила Раиса Павловна, выведенная из своего забытья движением Лушиной головы.

— Да... Что случилось, Раиса Павловна? — сухо спросила девушка, напрасно стараясь замаскировать овладевшее ею чувство радости при виде разбитого врага.

— Ничего особенного...

Раиса Павловна нервно улыбнулась и опустила глаза; ее душило, и слезы стояли в горле.

— Я пришла проститься с тобой, Луша, — заговорила Раиса Павловна душевным, простым тоном, с нечеловеческими усилиями подавляя бушевавшие в ней горькие мысли.

— Что такое? Как проститься? — ответила Луша, но давая себе труда даже притвориться хорошенько. — Я, кажется, еще куда не уезжаю, Раиса Павловна.

— Зачем ты обманываешь меня, голубчик? Я не за этим пришла... Мне хочется на прощанье много тебе вы-

сказать, потому что... вероятно, больше нам уже не придется встретиться, хотя и я — как ты, конечно, знаешь — тоже уезжаю.

«Скатертью дорога», — про себя подумала Луша, пока Раиса Павловна с трудом переводила дух.

— Я знаю твой выбор, — тихо заговорила Раиса Павловна, глядя прямо в лицо Луши. — И знала его гораздо раньше, чем ты думаешь. Но дело не в этом. Я пришла поговорить с тобой... ну, как это тебе сказать? — поговорить, как мать с дочерью.

— Раиса Павловна, пожалуйста, оставьте это святое слово в покое... Как-то вам нейдет говорить: мать!

При виде смирения Раисы Павловны в Луше поднялась вся старая накипевшая злость, и она совсем позабыла о том, что думала еще вечером о той же Раисе Павловне. Духа примирения не осталось и следа, а его сменило желание наплевать в размалеванное лицо этой старухе, которая пришла сюда с новой ложью в голове и на языке. Луша не верила ни одному слову Раисы Павловны, потому что мозг этой старой интриганки был насквозь пропитан той ложью, которая начинает верить сама себе. Что ей нужно? зачем она пришла сюда?

— Ты права, Луша... — ответила Раиса Павловна бледнее, — я беру свое слово назад. Но ты все-таки позволишь мне высказать тебе все, что у меня лежит на душе?

— Говорите... если вам это доставляет удовольствие, — с прежним бессердечием заметила Луша, пожимая плечами. — Только я думаю, что между нами всякие разговоры — совершенно лишняя роскошь. Надеюсь, что мы и без слов понимаем друг друга.

Луша сухо засмеялась, хрустнув пальцами. В запыленные, давно не протертые окна пробивался в комнату тот особенно яркий свет, какой льется с неба по утрам только после грозы, — все кругом точно умылось и блестит детской, улыбающейся свежестью. Мохнатые лапки отцветших акаций едва заметно вздрагивали под легкой волной набегавшего ветерка и точно сознательно стряхивали с себя последние капли ночного дождя; несколько таких веточек с любопытством заглядывали в самые окна.

— Можно открыть окно? — спросила Раиса Павловна, задыхаясь от бросившейся в голову крови.

— Будьте так любезны... А вы мне позволите одеться сначала?

— Позволяю...

Через четверть часа Луша была готова, и Раиса Павловна распахнула окно, в которое широкой волной хлынула еще не успевшая улетучиться ночная свежесть. Пахнуло цветочным ароматом, и вместе с струей свежего воздуха ворвался в комнату неясный гул работавшей фабрики. Что-то бодрое и сильное ликовало там сейчас, за пределами прозоровского флигелька, где зелеными кружевами поднимались шпалеры акаций и сиреней, круглились зелеными шапками липы и сквозили на солнце прорезными вершинами мохнатые стройные ели. Сколько покоя, сколько мира чувствовалось под этим открытым голубым небом, того мира, которого недостает бессильному, слабому человеку, придавленному к земле своей бесконечной злобой. В ожидании разговора Луша села на свой прованный диванчик, а Раиса Павловна тяжело ходила по комнате, заложив руки за спину.

— В последнее время, Луша, я не спала несколько ночей, думая о тебе,— заговорила Раиса Павловна, с трудом переводя дух.— Ты сделала рискованный шаг, слишком смелый для твоего возраста и неопытности. С этой дороги возврата нет. Но я пришла не для того, чтобы читать тебе наставления, а просто хочется поговорить по душе. Ты только начинаешь свою жизнь, а я ее копчаю; поэтому не лишнее будет заметить тебе кое-что из моего житейского опыта. Сначала я испугалась ожидающей тебя участи, но потом передумала: порядочной, честной женщине, как это принято понимать, не стоит жить, потому что все против нас... Если мужчина, на стороне которого все права и преимущества, может эксплуатировать женщин в свою пользу, не заслуживая ничего порицания, то почему же женщина не может распорядиться точно так же единственным своим преимуществом? Посмотри на меня: что я такое? Жалкая старуха — и больше ничего. В настоящую минуту у меня ничего нет — ни общественного положения, ни молодости, ни друзей, даже нет того, что остается после всех крушений и неудач — сознания, что я действительно сделала все, что могла. Нет, мне не осталось даже и этого утешения, хотя я была когда-то красива, не глупа и целую жизнь работала — конечно, работала по-своему... Вот в этой-то работе ты и можешь видеть то проклятие, которое тяготеет над женщиной. Мы всегда остаемся в жизни каким-то придатком мужчины, и возможная для нас

деятельность совершается только из-за его спины. Самой умной женщине пробить себе дорогу только одной своей головой — дело почти невозможное; она всегда остается на полудетском положении, и ее труд ценится наравне с детским. Получается самое проклятое положение, тем более что требуют от женщины неизмеримо больше, чем от мужчины. Малейшая ошибка, малейший неверный шаг — все против нее, и больше всех сами же женщины. Про свою жизнь не буду тебе рассказывать — слишком много глупостей, или, вернее, одна сплошная глупость, хотя я всегда слыла за особу, которая умеет обделывать свои дела и ни перед чем не остановится.

Луша слушала эту плохо вязавшуюся тираду с скучающим видом человека, который знает вперед все от слова до слова. Несколько раз она нетерпеливо откидывала свою красивую голову на спинку дивана и поправляла волосы, собранные на затылке широким узлом; дешевенькое ситцевое платье красивыми складками ложилось около ног, открывая широким вырезом белую шею с круглой ямочкой в том месте, где срастались ключицы.

— Мне целую жизнь приходилось барахтаться в самой некрасивой обстановке, — продолжала Раиса Павловна, — интриговать, обманывать, лгать на каждом шагу и вечно действовать через третьи руки. Единственным утешением оставалось сознание, что окружавшие меня люди, с которыми мне приходилось иметь дело, ничем не лучше, за исключением разве того, что они в большинстве случаев были непроходимо глупы. И что же? Конец ты сама знаешь... Но уже когда жизнь прошла, я пришла к тому убеждению, что нужно было жить совсем иначе. Видишь, в чем дело. Я подразделяю людей на две категории: на человеческое мясо, которое мясом рождается, мясом живет и мясом умирает, и на собственно людей — настоящую человеческую аристократию, выдвинувшуюся из остальной безличной массы или умом, или характером, или красотой, или талантом. Я говорю об этой второй категории и, собственно, об ее женском отделе. Таким женщинам нужна широкая деятельность, не обставленная выдохшимися привычками, обычаями и правилами, и такая деятельность доступна только вполне свободной женщине. Последнее время открыло несколько таких профессий и полуобщественных положений, где женщина может найти приложение

своим силам и взять от жизни все, что та может дать. Конечно, общественные предрассудки высказываются против такой деятельности, пробивающей брешь в старых порядках; но что же делать, если нам не остается прямого выхода, нет дороги...

— Я это уже слыхала, Раиса Павловна, и не могу понять, при чем я-то тут? — спрашивала Луша.

— Вот о тебе и речь, Луша... Ты молода, красива, по-своему умна и обладаешь счастливым характером. Словом, в твоих руках все данные, чтобы устроить свою жизнь настоящим образом. Я буду счастлива уже тем, если когда-нибудь услышу, что ты хорошо устроилась, в чем я не сомневаюсь. Ты начинаешь с того, с чего когда-то следовало начать и мне, но я пропустила лет тридцать, а родиться во второй раз для повторения опыта не придется. Прейн из мужчин его круга не дурной человек и сумеет обставить тебя совершенно независимо; только нужно помнить одно, что в твоём новом положении будет граница, через которую никогда не следует переступать, — именно: не пужно... как бы это сказать... не нужно вставать на одну доску с продажными женщинами.

— Вы ошибаетесь, Раиса Павловна, принимая меня за одну из таких тварей...

— Нет, совсем не то; я хочу только сказать тебе, что пужно беречь себя и серьезно работать. У тебя будет в руках масса дел и людей, и ты можешь ими пользоваться по своему усмотрению. А главное...

Раиса Павловна на мгновение остановилась и закрыла даже глаза, точно собираясь с силами произнести роковое слово.

— Что «главное»? — спросила Луша, довольная этим патетическим движением, которому не верила.

— Главное, Луша... — глухо ответила Раиса Павловна, опуская глаза, — главное, никогда не повторяй той ошибки, которая погубила меня и твоего отца... Нас трудно судить, да и невозможно. Имей в виду этот пример, Луша... всегда имей, потому что женщину губит один такой шаг, губит для самой себя. Беги, как огня, тех людей, то есть мужчин, которые тебе нравятся только как мужчины.

— Благодарю за хороший совет; но опять прошу вас, Раиса Павловна, не повторять имени отца; иначе я попрошу вас удалиться отсюда.

— Ты меня гонишь? Ах, да, ведь не ты одна — все меня гонят... Но ты забываешь только одно, что я тебе желаю добра и даже забываю, что ты ненавидишь меня.

— Это уж мое дело, Раиса Павловна... Надеюсь, вы кончили?

— Да, почти. Все равно, я сейчас уйду.

Раиса Павловна накинула на голову шаль, но медлила уходить, точно ожидая, что Луша ее остановит. Она, кажется, никогда еще не любила так эту девочку, как в эту минуту, когда она отвертывалась от нее совсем открыто, не давая себе труда хотя сколько-нибудь замаскировать свою ненависть.

— Прощай, Луша! — проговорила с трудом Раиса Павловна, не решаясь подойти к не трогавшейся с места девушке. — Мне хотелось тебя поцеловать в последний раз, но ведь ты не любишь нежностей...

Луша молчала; ей тоже хотелось протянуть руку Раисе Павловне, но от этого движения ее удерживала какая-то непреодолимая сила, точно ей приходилось коснуться холодной гадины. А Раиса Павловна все стояла посередине комнаты и ждала ответа. Потом вдруг, точно ужаленная, выбежала в переднюю, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы. Луша быстро поднялась с дивана и сделала несколько шагов, чтобы вернуть Раису Павловну и хоть пожать ей руку на прощанье, но ее опять удержала прежняя сила.

— К чему? — проговорила она вслух, прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Зачем она приходила? Ах, да... Все это одна силошная ложь, последняя ложь!

Луша даже засмеялась, хотя на душе у ней было тяжело, точно там лежал какой камень. Итак, Раиса Павловна уничтожена. Она сама сейчас говорила это вот здесь. Куда она теперь денется с своим Платоном Васильичем, который глуп, как семьдесят баранов? Тетюев торжествует, и пусть торжествует: его счастье. То-то теперь все переполошились и начнут наперерыв заискивать перед новым временщиком, чтобы удержать за собой насиженные местечки, а может быть, и получить новые получше. И Нина Леонтьевна тоже торжествует и будет уверена, что это она столкнула Раису Павловну. Вот и еще размалеванная дура!

«А между тем мне стоит сказать одно слово,— и все торжество этих мерзавцев разлетится прахом»,— думала Луша с удовольствием, взвешивая свое влияние на Прейна.

Ее подмывало детское желание разрушить всю гордыбу Нины Леонтьевны и Тетюева, но она удержалась. Пускай события идут своим естественным путем, как им следует идти. Ее личные счеты с Раисой Павловной кончены навсегда, а мертвых с кладбища не носят.

В тот же день вечером, когда все улеглось в господском доме на покой, Евгений Константиныч раньше обыкновенного простился с Прейном, ссылаясь на усталость. Когда шаги Прейна затихли, набоб торопливо накинул на себя плед, надел шотландскую шапочку и осторожно вышел из комнаты; он миновал парадную приемную, потом столовую и очутился на садовой террасе. Ночь была мягкая, хотя и сырая после вечернего дождя; только что родившийся молодой месяц причудливо освещал колебавшиеся широкими полосами купы деревьев, зеленые стены акаций и разбитые веером цветочные клумбы. Берег был окутан клубами тихо шевелившегося тумана; выметывавшее из доменных печей пламя отражалось легкими вспышками, а от фабрики тянулся неясный сдержанный гул, точно какое громадное животное ворчало во сне. Спустившись с террасы, набоб пошел налево, в дальний угол сада; его охватила почная сырость, которая заставляла неприятно вздрагивать. Вот и туманная полоса берега, вот те две ели и маленькая зеленая скамейка под ними.

«Здесь...» — подумал набоб, еще раз прочитывая в уме полученную вечером записку.

Эта записка была от женщины, и набоб испытывал то приятное волнение, какое овладевает человеком в неизвестном ожидании. Кто писал эту записку? — набоб терялся в догадках, хотя желал думать, что она была написана Лушей. Сколько сотен таких записок получал Евгений Константиныч на своем веку, как все они были похожи одна на другую и вместе с тем каждая имела свою особенность. Были записки серьезные, умоляющие, сердитые, нежные, угрожающие, были записки с упреками и оскорблениями, с чувством собственного достоинства или уязвленного самолюбия, остроумные, милые и грациозные, как улыбка просыпающегося ребенка, и просто взбалмошные, капризные, шаловливые, с неуловимой игрой

слов и смыслом между строк, — это было целое море любви, в котором набоб не утонул только потому, что всегда плыл по течению, куда его несла волна. Маленькие атласные конверты служили гнездышком раздушенным розовым листочкам, точно это были лепестки какой-то необыкновенной розы. Но полученная набобом записка сегодня была таинственна, как сфинкс, и он долго ломал над ней голову:

«Приходи на берег пруда, где стоят две ели, — гласила записка, — там узнаешь одну страшную тайну, которую ношу в своем сердце много-много дней... Люди бессильны помешать нашему счастью. — Твой добрый гений».

Закутавшись в плед, набоб терпеливо шагал по мокрому песку, ожидая появления таинственной незнакомки. Минуты шли за минутами, но добрый гений не показывался. «Уж не подшутил ли кто надо мной?» — подумал набоб и сделал два шага назад, но в это время издали заметил закутанную женскую фигуру и пошел к ней навстречу. По фигуре это была Луша, и сердце набоба дрогнуло.

— Ты не узнал меня? — спросил его добрый гений, когда они пошли по песчаной дорожке рядом.

— Нет... не догадываюсь.

Незнакомка сильно куталась в большой платок, так что ее лица нельзя было рассмотреть; но голос был изменен; очевидно, добрый гений хотел поинтриговать предварительно.

— Я знаю, что ты меня любишь, — продолжал гений прежним измененным голосом, — но злые люди нас постоянно разделяли. Везде интриги и коварство. Но я тебя тоже люблю и вот пришла сюда сама сказать это...

— Открой лицо, — просил набоб, начиная сомневаться в подлинности гения.

— Поклянись, что ты меня всегда будешь любить?

— Я уже клялся тебе раз... там, в горах.

— О нет... Это был обман.

Чтобы покончить эту комедию, набоб, под предлогом раскурить сигару, зажег восковую спичку и сам открыл платок гения. И попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса: перед ним стояла Прасковья Семеновна и смотрела на него своим сумасшедшим взглядом.

— Узнал?.. — шептала она, протягивая к нему руки с улыбкой.

Но набоб уже не слышал этого шепота, потому что обратился в самое постыдное бегство, точно за ним по пятам гнался целый ад; Прасковья Семеновна стояла на прежнем месте и грозила кулаком ему вслед, а потом дико захохотала на весь сад.

Пробежав несколько аллей, набоб едва не задохся и должен был остановиться, чтобы перевести дух. Он был взбешен, хотя не на ком было сорвать своей злости. Хорошо еще, что Прейн не видал ничего, а то проходу бы не дал своими остротами. Набоб еще раз ошибся: Прейн и не думал спать, а сейчас же за набобом тоже отправился в сад, где его ждала Луша. Эта счастливая парочка сделалась невольной свидетельницей позорного бегства набоба, притаившись в одной из ниш.

— Это целая оперетка! — заливался Прейн, когда Прасковья Семеновна прошагала мимо них. — Луша! что же ты молчишь? Ха-ха!..

Но Луша была задумчива, почти грустна и не отвечала на шумную радость Прейна той же монетой. Она только что рассказала перед этим об утреннем визите Раисы Павловны и напрасно старалась разгадать впечатление, произведенное ее рассказом.

— Что же, тебе несколько не жаль Раисы Павловны? — спросила она наконец.

— Что же я могу сделать для нее? — ответил Прейн тоже вопросом.

— Как что? Ты можешь все... если захочешь.

— Ну, теперь уж поздно: все кончено.

Равнодушный тон Прейна обидел Лушу, и ей сделалось вдруг жаль Раисы Павловны, насчет которой теперь ликовала вся партия Тетюева.

— Послушай, а если я хочу, чтобы Раиса Павловна осталась? — капризно проговорила девушка, ежась от холода.

— Слишком поздно... Что хочешь проси, только не это:

На волнах морских построю замо́к
И зубами с неба притащу луну...

по спасти Раису Павловну я не в силах. Еще раз повторяю: все кончено...

— В таком случае я требую, чтобы Раиса Павловна

осталась! Понимаешь: требую! А иначе, не кажись мне на глаза!

Произошла очень горячая сцена, и стороны разошлись самым неприятным образом, обвиняя друг друга.

XXX

Прейн опять торжествовал. Благодаря своей политике он сумел заставить Лушу просить его о том, чего хотел сам и что подготовлял в течение месяца в интересах Раисы Павловны. Это была двойная победа. Он был уверен именно в таком обороте дела и соглашался с требованиями Луши, чтобы этим путем добиться своей цели. Это была единственная система, при помощи которой он мог вполне управлять капризной и взбалмошной девчонкой, хотевшей испытать на нем силу своего влияния.

— Отлично, и еще раз отлично! — повторял он несколько раз, потирая руки от удовольствия.

Разрушить всю городьбу, которую в течение месяца с таким усердием городили Тетюев с Ниной Леонтьевной, Прейну ничего не стоило, как он уверял с самого начала Раису Павловну. Дело было настолько подготовлено, что оставалось только нанести последний удар. Удаление Горемыкина в принципе было решено, и набоб вполне был согласен с таким решением. Работы консультации вывели на свежую воду многое, что не должно было видеть света. Недостатки горемыкинского режима сделались ясны, как день, даже для непосвященных, а генерал положительно был возмущен, что и высказывал Прейну несколько раз с своей обычной откровенностью.

— Теперь нужно доставить Тетюеву вторую аудиенцию, — предлагал Прейн генералу, — до настоящего времени вся ваша работа носила только отрицательный характер; пусть Тетюев представит Евгению Константинычу положительную программу, в духе которой он мог бы действовать, если бы, например, Евгений Константиныч предложил ему занять место Горемыкина... Конечно, я говорю только к примеру, генерал.

— Понимаю, — соглашался генерал. — А отчего же и в самом деле не предложить бы Тетюеву этого места? Это такой развитой, интеллигентный человек — настоя-

шая находка для заводов! Тем более что отец Авдея Никитича столько лет занимал пост главного управляющего.

— Я не могу обещать вам решительно, генерал, но употреблю с своей стороны все, что будет зависеть от меня, а за остальное не ручаюсь... Хотя, кажется, можно утвердительно сказать, что все шансы теперь на стороне Тетюева.

— И Нина Леонтьевна говорит то же самое относительно Тетюева; так что мы все трое думаем одинаково.

— Да, да... Очень приятно, очень приятно! А вы предупредите Тетюева, чтобы он основательно подготовился к приему и изложил перед Евгением Константинычем свое *profession de foi*. А прежде всего, я думаю, вам нужно представить Евгению Константинычу подробный доклад занятий нашей консультации, чем вы, так сказать, расчистите почву Тетюеву. Положительные данные будут виднее на отрицательном фоне... Горемыкина нам щадить нечего, потому что он нам и без того стоит стольких хлопот.

— Да, если бы не эта консультация, мы могли много бы сделать для заводов в эту поездку! — согласился генерал.

После своего неудачного свидания с «добрым гением» набоб чувствовал себя очень скверно. Он никому не говорил ни слова, но каждую минуту боялся, что вот-вот эта сумасшедшая разболтает всем о своем подвиге, и тогда все пропало. Показаться смешным для набоба было величайшим наказанием. Вот в это тяжелое время генерал и принялся расчищать почву для Тетюева, явившись к набобу с своим объемистым докладом.

— А не лучше ли было бы рассмотреть этот доклад после, в Петербурге? — протестовал Евгений Константиныч при виде целой дести исписанной бумаги. — Мы на досуге отлично разобрали бы все дело...

Но генерал был неумолим и на этот раз поставил на своем, заставив набоба проглотить доклад целиком. Чтение продолжалось с небольшими перерывами битых часов пять. Конечно, Евгений Константиныч не дослушал и первой части этого феноменального труда с надлежащим вниманием, а все остальное время сумрачно шагал по кабинету, заложив руки за спину, как приговоренный к смерти. Генерал слишком увлекся своей ролью, чтобы замечать истинный ход мыслей и чувств своей жертвы.

— Благодарю вас, генерал, от души благодарю! — с облегченным сердцем говорил набоб, когда чтение кон-

чилось. — Я во всем согласен с вами и очень рад, что нашел наконец человека, которому могу вполне довериться. Вот и Прейн то же говорит...

Но этим испытание не кончилось. Вслед за генералом с его бесконечным докладом в кабинет явился Прейн и объявил, что необходимо дать Тетюеву вторую аудиенцию.

— Нет, это уже слишком! — горячо возразил Евгений Константиныч, делая сердитое лицо. — Вы все, кажется, сговорились довести меня этими проклятыми делами до чахотки.

— Нельзя, Евгений Константиныч! — мягко настаивал Прейн. — Если бы была какая-нибудь возможность обойтись без вас, тогда другое дело... Тетюев для нас чистый клад!

— Убирайтесь к черту с вашим кладом!

— Я вам говорю, что нельзя. Вы — заводовладелец, и в таком важном деле необходимо ваше личное вмешательство. Наша роль с генералом кончилась.

Набоб задумался и, поддаваясь настояниям Прейна, изъявил наконец согласие выслушать Тетюева.

— Только в последний раз! — капризно говорил набоб.

— В самый последний... Неужели у вас не найдется свободных пяти часов для такого важного дела?

— Пять часов! Да ты, Прейн, с ума, кажется, сошел...

— Нисколько... Если вы хотите показаться смешным в глазах всех служащих, тогда не слушайте меня и делайте по-своему. Что же мне-то за интерес надоедать вам?..

Набоб замолчал.

— Ваше последнее слово, Евгений Константиныч? — продолжал настаивать Прейн.

— Хорошо, я согласен.

— Отлично. Я передам это генералу.

Прежде чем явиться к набобу, Тетюев получил подробные инструкции от самой Нины Леоптьевны, которая вперед поздравляла его с полным успехом. Со стороны можно было подумать, что Тетюева аккредитовали послом к самому Бисмарку или по меньшей мере поручали министерский портфель. Вероятно, настоящие министерские кризисы происходят при менее торжественной обстановке. Майзель, Вершинин и другие тетюевцы тоже

переживали самые тревожные минуты в ожидании решительного момента, причем повторялась избитая психологическая истина, что общее волнение возрастало вместе с уверенностью в успехе.

Наконец Тетюев был совсем готов и в назначенный день и час явился во фраке и белом галстуке со своим портфелем в приемную господского дома. Было как раз одиннадцать часов утра. Из внутренних комнат выглянул м-г Чарльз и величественно скрылся, не удостоив своим вниманием вопросительный жест ожидавшего в приемной Тетюева. Поймав какого-то лакея, Тетюев просил его доложить о себе.

— Барин еще почивают,— отвечал лакей.

— Не может быть! он назначил мне прием именно в одиннадцать часов.

— Не могу знать-с.

— Ну, так доложи Альфреду Осипычу. Он, наверно, уже встал.

Лакей сонно взглянул заспанными глазами на Тетюева и нехотя понес его карточку на половину Прейна.

Вместо ожидаемого лакея выбежал сам Прейн. Он был в туфлях и в шелковой фуфайке, в чем и поспешил извиниться с истинно французской вежливостью.

— Извините, Авдей Никитич. Вам придется подождать несколько минут,— говорил Прейн, подхватывая министра под руку.— Пойдемте пока в мою комнату.

Комната Прейна, служившая ему и кабинетом и спальней, отличалась отчаянным беспорядком неисправимого холостяка. Усадив гостя на кресло к письменному столу, на котором ничто не напоминало о письменных занятиях, Прейн скрылся за маленькую ширмочку доканчивать свой утренний туалет.

— Отодвиньте ящик в правой тумбочке, там есть красный альбом,— предлагал Прейн, выделявая за ширмой какие-то странные антраша на одной ноге, точно он сидел на лошадь.— Тут есть кое-что интересное из детской жизни, как говорит Летучий... А другой, синий альбом, собственно, память сердца. Впрочем, и его можете посмотреть, свои люди.

Красный альбом не представлял ничего особенного, потому что состоял из самых обыкновенных фотографий во вкусе старых холостяков: женское тело фигурировало здесь в самой откровенной форме. В синем альбоме были

помещены карточки всевозможных женщин, собранных сюда со всего света.

— Вы слышали о галерее польского короля Станислава-Августа, которая хранится теперь в Дрездене? — спрашивал Прейн, выставляя голову из-за ширмы.

— Право, не помню что-то, Альфред Осипыч...

— Гм... Ну, одним словом, этот синий альбом заменяет мне королевскую галерею.

Прейн объяснил более откровенным образом значение синего альбома, и Тетюев погрузился в рассмотрение длинного ряда красивых женских лиц, принадлежавших всем национальностям. Кого-кого только тут не было, начиная с гризеток Латинского квартала, цариц Мабиля и кафе-шантанов, представительниц *demi-monde*'а самых модных курортов и первых звезд европейских цирков и балетов и кончая теми метеорами, которых выдвинула из общей массы шальная мода, ослепительная красота или просто дикая прихоть пресыщенной кучки набобов всего света. На страницах альбома, который перелистывал Тетюев, нашли себе, может быть, последний приют самые блестящие полуимена, какие создавали за последние двадцать пять лет такие центры европейской цивилизации, как Париж, Вена, Берлин, Лондон и Петербург. Это была интимная история в лицах той жизни, которая доступна только избранникам и баловням слепой фортуны. Если бы перевести на «язык простых копеек», чего стоили эти красавицы Европы, то в результате получилась бы сумма, далеко превышающая стоимость громадной войны каких-нибудь очень цивилизованных держав. Эти красивые лица были живой иллюстрацией капитальных политических переворотов, страшных экономических кризисов, банковых крахов, миллионных хищений и просто воровства, воровства без числа и меры. Обыкновенные разорения, самоубийства, убийства и разные другие *causes célèbres*¹ не должны идти в счет, как слишком нормальные явления. Тетюев слышал об этом исключительном интернациональном мирке из пятого в десятое, поэтому перелистывал альбом без особенного внимания, как человек непосвященный, и только заметил последнюю страницу, где было оставлено свободное место для новой карточки: это место было назначено Луше Прозоровой.

¹ громкие судебные дела (фр.).

— Однако Евгений Константиныч заставляет нас ждать! — проговорил Прейн, появляясь наконец из-за ширмы. — Двенадцать часов скоро...

Он позвонил и велел явившемуся на звонок лакею узнать, может ли принять Евгений Константиныч. Лакей через пять минут явился с длинным конвертом на серебряном подносе. Прейн разорвал конверт и несколько раз торопливо перечитал маленький листок английской почтовой бумаги цвета морской воды.

— Не понимаю... — проговорил он наконец, вопросительно глядя на Тетюева и проводя рукой по лбу. — Вероятно, какая-нибудь ошибка. Извините, Авдей Никитич, я вас оставлю всего на одну минуту... Не понимаю, решительно не понимаю! — повторил он несколько раз, выбегая из комнаты.

Лакей остался в дверях и сонно смотрел на Тетюева с тупым нахальством настоящего лакея, что опять покоробило будущего министра. «Черт знает, что такое получается? Уж не хочет ли Прейн расстроить аудиенцию разными махинациями?» — мелькнуло в голове Тетюева, но в этот момент появился Прейн. Ударив себя по лбу кулаком, он проговорил:

— Решительно ничего не понимаю, Авдей Никитич. Вот не угодно ли вам прочесть самим это письмо.

Прейн передал полученное письмо Тетюеву, и тот прочитал:

«Дорогой Прейн! Одно очень серьезное дело заставило меня уехать, не простившись ни с кем... Передай генералу, что я во всем полагаюсь на него и на тебя и вперед изъявляю свое полное согласие на все, что вы сделаете для заводов.

Твой Евгений Лаптев».

— Не понимаю, не понимаю, не понимаю! — кричал Прейн, схватившись за голову. — Какое дело? куда уехал?..

— Я тоже, кажется, ничего не понимаю... — в раздумье проговорил ошешивший Тетюев. — По моему мнению... я... В самом деле, Альфред Осипыч, как же я-то: был назначен прием, я готовился, и вдруг...

Неожиданный отъезд набоба походил скорее на бегство. Он укатил в своей коляске только с одним m-г Чарль-

зом, величественно сидевшим рядом с кучером. Вся свита, в лице Прейна, генерала, Нины Леонтьевны, Перекрестова с Летучим и прочими остались в Кукарском заводе, вместе с лаптевской конюшней, охотой, гардеробом и целым обозом. Известие о сбежавшем набобе еще раз переполошило весь Кукарский завод, причем все накинулись на Прейна, как сумасшедшие. Произошел целый ряд неприятных сцен и недоразумений; все рушилось кругом, точно случилось по меньшей мере смещение языков. В общей суматохе первым опомнился шустрый представитель русской прессы Перекрестов: он в то же утро, в сопровождении Летучего, бросился нагонять набоба каким-то проселком, чтобы перехватить его, по крайней мере, на пароходе. В пустой голове Перекрестова все еще болталась мысль о месте главного управляющего, хотя он и потерпел полное фиаско у круглых ног m-lle Эммы.

Общему изумлению не было границ и меры: все было устроено, приготовлено, даже сделано наполовину — и вдруг...

— Как же это так?.. — вдруг спрашивали все друг у друга.

Бедный Сарматов ворвался в кабинет Прейна бледный как полотно и едва мог выговорить:

— Альфред Осипыч! а как же спектакль? Ведь уж все было приготовлено, я из кожи лез, и вдруг... Наташе Шестеркиной нарочно такой костюм заказали, чтобы плечи были как на ладони. Ей-богу!.. Да что же это такое в самом деле?..

Вслед за Сарматовым явился «мой Майзель» и с своей обычной важностью отцедил:

— Куда же я с медведем, которого приготовил под Куржаком для Евгения Константиныча?

— Я уж, право, не знаю, господа, как быть с вами, — вертелся Прейн, как береста на огне. — Пожалуй, медведя мы можем убить и без Евгения Константиныча... Да?.. А вы, Сарматов, не унывайте: спектакль все-таки не пропадет. Все, вероятно, с удовольствием посмотрят на ваши успехи...

— Ну, уж слуга покорный! — огрызнулся Сарматов. — И медведя и спектакль — жирно будет.

— Вы начинаете говорить дерзости, Сарматов!

— Виноват... простите! Но, ради всего святого, войдите в мое положение, Альфред Осипыч!

— И в мое тоже,— прибавил Майзель, точно бросил пудовую гирию.

— А кто же в мое положение войдет, господа? — спрашивал Прейн, делая трагический жест.

— Действительно, замысловатая вышла штука,— проговорил Сарматов, приходя немного в себя.— Это выходит совсем новая пьеса, в которой все остались с носом... ха-ха!.. А жаль, признаться сказать, я рассчитывал на кое-что, потому что, согласитесь сами, ведь плечи у этой бестии Шестеркиной — мрамор, нет — слоновая кость... Право, всем нам теперь остается только тараканов морозить!

В кабинете Прейна собрались почти все действующие лица расстроенной пьесы, даже приплелся, неизвестно зачем, Яша Кормилицын. Генерал был возмущен и сконфужен и тоже изъявил непереносимое желание сейчас же уехать из Кукарского завода.

— Нет, это невозможно, генерал,— доказывал Прейн,— теперь вся ответственность ложится на нас с вами, и мы не имеем права бежать с нашего поста. Чужие глупости еще не дают нам права делать своих. Притом нам остается только увенчать уже возведенное здание.

— Вы правы, Прейн,— согласился прямодушный генерал.— Я погорячился. А все-таки жаль, что Тетюев лишился возможности высказать Евгению Константинычу свою программу. Это замечательная административная и финансовая голова.

На половину Раисы Павловны, где уже начинала царить библейская мерзость запустения, пикантную новость принес воспрянувший духом Родион Антоныч. Даже изощренная во всевозможных внутренних переворотах Раиса Павловна не хотела верить всему случившемуся. Такую штуку, конечно, мог устроить только один Прейн, этот гениальнейший из рожденных женами.

— Ну, то есть так они ловко укололи эту самую штуку, так ловко! — умиленно шептал Родион Антоныч, качая своей жирной головой.— Ведь уж все дело было на мази, а тут вдруг... Уж истинно сказать, что из огня хватил нас Альфред-то Осипыч.

Вечером, отделавшись от своих взволнованных гостей, Прейн сидел в будуаре Раисы Павловны, которая опять угощала его кофе из собственных рук. Собеседники болтали самым беззаботным образом, и Раиса Пав-

ловна опять блестела пикантным остроумием, а Прейн, как школьник, болтал ногами и хохотал, как сумасшедший. Между прочим, он рассказал об эпизоде с добрым гением, причем хохотала уже Раиса Павловна.

— Что же мы теперь будем делать? — спрашивала Раиса Павловна, успокоившись после первых восторгов. — Какой-то умный человек сказал, что не так трудно выиграть сражение, как разумно воспользоваться его плодами.

— Да, да... Но теперь уже все от вас зависит: я свое дело сделал.

— Пойдите, зачем же вы из меня душу-то тянули столько времени, бессовестный человек?

— Я?.. Нет, я с самого начала объявил вам, что буду делать?

— А потом?.. Что стоило вам предупредить меня... а я тут бог знает что передумала и даже несколько раз проклинала вас, как изменника. Вы мне много крови испортили...

— Напротив, я хотел подарить вам маленький сюрприз, а что касается до ваших сомнений, то в них, во-первых, больше всего виноваты вы же сами, а во-вторых, чем была бы наша жизнь без маленьких волнений!

— Да, да, хорошо вам разводить философию, а каково было мне...

Растроганная и умиленная неожиданным успехом, Раиса Павловна на мгновение даже сделалась красивой женщиной, всего на одно мгновение лицо покрылось румянцем, глаза блестели, в движениях сказалось кокетство женщины, привыкшей быть красивой. Но эта красота была похожа на тот солнечный луч, который в серый осенний день на мгновение прокрадывается из-за бесконечных туч, чтобы в последний раз поцеловать холодную землю.

— Мы еще поживем! — проговорил Прейн, весело целуя руку Раисы Павловны. — Не правда ли?

— Да, вы еще поживете, — печально согласилась Раиса Павловна, чувствуя, как румянец сбегает у ней с лица и глаза холодеют. — Извините, Прейн, я не желала вас обидеть, но так как-то само сказалось...

На другой день утром, когда Раиса Павловна едва еще успела проснуться, Родион Антоныч уже ожидал ее. Такой ранний визит, конечно, был неспроста, и Раиса Павловна поторопилась выйти к своему Ришелье.

— Что новенького, Родион Антоныч? — спрашивала она, еще позевывая после сна.

— Да новенького-то ничего нет, а я пришел так... — начал Родион Антоныч по своему обыкновению издалека. — Вот у вас был вчера Альфред Осипыч, так, может, у вас что-нибудь есть новенькое.

— Ах, да... Ну, нового ничего особенно нет, а старые вы сами знаете.

— Так-с... Очень хорошо.

По лицу Ришелье Раиса Павловна видела, что он что-то хочет сказать и не решается.

— Да не тяните вы из меня жилы! говорите прямо, зачем пришли? — договорила Раиса Павловна, усаживаясь в кресло. — Ну?.. Ах, какой человек!

— Ей-богу, ничего, Раиса Павловна... Я так зашел. Был в управлении, а потом и думаю: дай, думаю, зайду проведать Раису Павловну. Только и всего.

— Ну, теперь видели, что Раиса Павловна в добром здоровье, и убирайтесь, а мне нужно еще одеваться да притираться. Чего стоите?..

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил нерешительно Родион Антоныч, делая самую благочестивую рожу. — Как вы насчет Авдея Никитича?

— То есть, как это «насчет»? Просто, всех их к черту — и конец делу! А Тетюева в особенности...

Родион Антоныч тяжело вздохнул, сморщился и не уходил, переминаясь с ноги на ногу.

— А я вам, Раиса Павловна, прямо скажу, — заговорил он после длинной паузы, — напрасно вы, даже весьма напрасно, то есть относительно Авдея Никитича...

— Что же мне делать с вашим Авдеем Никитичем? Расцеловать его, что ли? Предоставляю это Нине Леонтьевне и другим дамам...

— Все-таки напрасно, Раиса Павловна... Конечно, теперь вы можете сделать большую неприятность Тетюеву, но ведь он отдохнет да опять за старое. Вот какую оперу устроил!.. Ведь меня-то заклевали на консультации и совсем бы съели, ежели бы не Альфред Осипыч. Ну, нынче хорошо, а час на час не приходит... Тетюев непременно опять будет нас подсаживать и уж свое возьмет. Большие неприятности может сделать... А между тем все просто, проще пареной репы. Рассудите так: неужели теперь у Евгения Константиныча для Тетюева места не

найдется в Петербурге, когда он такую ораву совсем несообразных людей кормит и поит? Да ежели бы Авдею-то Никитичу пять тысяч дать в Петербурге, местечко этакое особенное устроить ему, да ведь он... Ах, господи!.. Как это вы, Раиса Павловна, Авдея Никитича почитать не хотите; ведь живой он человек, жить хочет! А кабы его в Петербурге к Евгению Константиновичу пристроить, да еще он почувствовал бы, что не через Нину Леонтьевну свое счастье получил, а через вас, да тогда вы тут катайтесь, как сыр в масле! Ей-богу, ведь голова-то какая: все может на свете оборудовать. А у нас бы в Питере-то рука была не чета Прохору Сазонычу Загнеткину. Право, Раиса Павловна, даже очень вы напрасно так Авдея Никитича трактуете. Теперь самый случай его на точку поставить, а он уж за добро наше заплатит. Ведь человек-то вон какой!

Это предложение сначала озадачило Раису Павловну; потом она усумнилась в искренности Родиона Антоныча, который мог ее продать тому же Тетюеву, и наконец проговорила:

— Хорошо, я подумаю, хотя определенного ничего и не могу обещать.

— Подумайте, Раиса Павловна... Ведь человек-то... А-ах, боже мой!

XXXI

Кукарский завод походил теперь на улей, из которого улетела матка и все пчелы бродят как потерянные. Более подходящим сравнением, пожалуй, будет картина игроков, которые чинно уселись за зеленый стол, роздали карты, произвели ряд выкладок карточной математики, сделали первые ходы, обозначившие масть и намерение партнеров,— и вдруг какая-то шальная рука перемешала все карты... Прибавьте к этому, что на карту были поставлены самые жгучие интересы, связывавшие главарей с десятками других, второстепенных игроков, которые должны были ограничиваться только наблюдением за ходом всей игры. Отъезд пабоба довел расхорившиеся страсти до последней степени напряжения, и две женщины, стоявшие во главе партий, питали друг к другу то же ожесточение, как две матки в одном улье. Собственно, за игорным столом

сидели теперь Раиса Павловна, Нина Леонтьевна, Тетюев и Прейн. Чтобы общее недоразумение не перешло в рукопашную, нужно было придумать какой-нибудь такой компромисс, который примирил бы интересы всех. Таким компромиссом и являлась придуманная Родионом Антонычем комбинация, заставившая Раису Павловну сильно задуматься, прежде чем она решилась передать свой разговор Прейну.

— Что же! отличная это штука, Раиса Павловна! — обрадовался никогда не унывавший Прейн. — Мы так и сделаем... Тетюев действительно неглупый человек и может быть нам очень полезен.

По сдержанному выражению лица Раисы Павловны Прейн понял с своей обычной проницательностью, что ее смущает: ей хотелось окончательно уничтожить Нину Леонтьевну, а назначение Тетюева в Петербург будет принято «болванкой» за дело ее рук.

— Послушайте, Раиса Павловна, я устрою так, что Тетюев сам придет к вам с повишкой! — объявил Прейн, радуясь новой выдумке. — Честное слово. Только мне нужно предварительно войти в соглашение с генералом: пожалуй, еще заартачится. Пусть Нина Леонтьевна полюбуется на своего протеже. Право, отличная мысль пришла в голову этому Родиону Антонычу!.. Поистине, и волки будут сыты, и овцы целы...

Как Раиса Павловна ни презирала Тетюева, но все-таки сомневалась, что он пойдет на такую сделку, что и высказала Прейну, который только захохотал в ответ.

Прейн на этот раз не отложил дела в долгий ящик, а сейчас же пригласил генерала к себе для необходимых совещаний. Прежде всего ему нужно было уломать генерала, а Тетюев пусть себе едет в Петербург, — там видно будет, что с ним делать: дать ему ход или затереть на каком-нибудь другом месте.

— Генерал, нам необходимо кончить это дело как можно скорее, — говорил Прейн, встречая генерала в дверях.

— Я ничего не имею против этого...

— Отлично... Садитесь, пожалуйста, и поговоримте откровенно. Тетюева я давно знал как умного человека, но познакомиться с ним ближе мне как-то не удавалось до сих пор. Для нас такой человек находка. Да?.. Хорошо. Но согласитесь, что Россия вообще страдает недостатком

в умных и талантливых людях, и похоронить такого человека на заводах было бы просто грешно. Ведь заводское дело в своей сущности крайне просто, то есть я говорю об административной его части, которая находится в ведении главного управляющего. Даже те недостатки управления Горемыкина, которые так блистательно раскрыты работами нашей консультации, обязаны своим происхождением переходному времени. Не будь уставной грамоты, все дело шло бы отлично. Заметьте, что Платон Васильич замечательно честный человек, и не мне объяснять вам, какое это неоцененное достоинство в наше время крахов, растрат и хищений. Но все это к слову; главное, я против того, чтобы Тетюева оставлять на заводах: такую голову мы возьмем поближе к себе.

— Что вы хотите сказать этим? — спрашивал недоумевавший генерал.

Прейн начал издали. Сначала он подробно изложил намерения генерала и его *idée fixe* о создании в России капиталистического производства под крылышком покровительственной системы, благодаря чему русские промышленники постепенно дорастут до конкуренции с иностранными производителями и даже, может быть, в недалеком будущем займут на всемирном рынке главенствующую роль.

— Это наша общая цель, генерал, и мы будем работать в этом направлении, — ораторствовал Прейн, шагая по кабинету с заложенными за спину руками. — Нам нужно дорожить каждым хорошим человеком в таком громадном деле, и я беру на себя смелость обратить ваше особенное внимание, что нам прежде всего важно привлечь к этой работе освежающие элементы.

— Да, да...

— Все столичные дельцы на одну колодку, генерал, они слишком шаблонны, слишком обезличены окружающей обстановкой, а провинция всегда вливает новые силы.

— Да, да... это подтверждается всей историей: Греция, Рим, современный Париж...

— Мы отлично понимаем друг друга, и я предложил бы перевести Тетюева в Петербург на службу к Евгению Константинычу. Места, конечно, все заняты, но можно создать для него что-нибудь новое... Ну, пусть будет юрисконсульт, тем более что Тетюев получил солидное юридическое образование.

— Что ж! это будет отлично! — соглашался генерал. — Теперь именно нужно действовать исключительно на юридических основаниях, как, например, создала свое промышленное благосостояние Англия...

— Именно, именно, я только что хотел сказать то же самое. Ведь нам приходится воспитывать конкурентов английским промышленникам, и мы будем разбивать их на их же почве и их же оружием.

Генерал был в восторге от этого разговора и, только вспомнив про Горемыкина, сморщился и проговорил:

— Да, все это хорошо, а как мы с Горемыкиным сделаемся?

— С Горемыкиным?.. Ничего нет легче, генерал. Пусть он пока останется на том же месте, а мы тем временем успеем приискать подходящего преемника.

— Да, но ведь это выйдет неловко, Альфред Осипыч,— заметил генерал, отлично представляя себе неистовую ярость Нины Леонтьевны.— Все было против него, и вдруг он останется! Это просто дискредитирует в глазах общества всякое влияние нашей консультации, которая, как синица, нахвастала, а моря не зажгла...

— Да ведь я сказал, генерал, что мы оставим Горемыкина только пока... Заметьте: *пока*. А там без сомнения устраним его...

Это «пока» совсем успокоило генерала, который не подозревал, что это маленькое словечко в русской жизни имеет всеобъемлющее значение и что Прейн постоянно им пользовался в критических случаях. Наука, с которой имел дело генерал, все явления подводит под известные законы и не хочет знать никаких «пока». Между тем это «пока» имеет самое широкое применение, особенно в мелочах повседневной жизни. Известно, что битая посуда два века живет, и постройки, воздвигаемые на время, в ожидании капитальных сооружений, пользуются особенной долговечностью. Все архитекторы и подрядчики отлично знают, что стоит только поставить на время какую-нибудь деревянную решетку вместо железной или дощатую переборку вместо капитальной стены — и деревянная решетка и дощатая переборка переживут и хозяина и даже самый дом. Прейн давно практиковал в этом направлении и теперь пустил в ход заветное словечко, которое сразу обезоружило генерала.

Покончив с генералом, Прейн пригласил к себе Тетюева и с шутливой откровенностью высказал ему свои намерения.

— Надеюсь, что мы сойдемся с вами, Авдей Никитич,— закончил свои переговоры Прейн,— хотя, конечно, за будущее трудно ручаться... Вы будете нашим юрисконсультom и поработаете на пользу русской промышленности, поскольку она соприкасается с юридическими вопросами. Ну, взять хоть эту же уставную грамоту, отношения к земству, тарифные вопросы и так далее.

— Я, Альфред Осипыч, буду всегда...— смущенно бормотал Тетюев, растроганный свалившимся с неба на его голову счастьем.— Одним словом, вы не раскаетесь в сделанном выборе, если мне не изменят мои слабые силы...

— Отлично, очень хорошо... Но это все еще в будущем, а теперь поговоримте о настоящем: у меня на первый раз есть для вас маленькая дипломатическая миссия. Так, пустяки... Кстати, я говорил уже о вас генералу, и он согласен. Да... Так вот какое дело, Авдей Никитич... Собственно, это пустяки, но из пустяков складывается целая жизнь. Я буду с вами откровенен... Надеюсь, что вы не откажете мне?

— Помилуйте, я для вас готов в огонь и в воду, только скажите!

— Я уже сказал, что пустяки: нужно помирить Раису Павловну с Ниной Леонтьевной. Ведь, собственно говоря, батенька, вы и кашу-то всю заварили, так вам ее и расхлебывать.

Как ни велика была готовность Тетюева идти за Альфреда Осипыча в огонь и в воду, но эта «маленькая дипломатическая миссия» повергла его сразу в уныние, потому что он отлично понимал невозможность примирения двух враждовавших женщин. В ответ на предложение Прейна Тетюев только пробормотал что-то совсем бессвязное.

— Да вы не смущайтесь, Авдей Никитич,— успокаивал Прейн.— В таких делах помните раз и навсегда, что женщины всегда и везде женщины: для них своя собственная логика и свои законы... Другими словами: из них можно все сделать, только умеючи.

— Но ведь здесь с одной стороны Раиса Павловна, а с другой — Нина Леонтьевна...— с унынием повторял Тетюев.— Нет, это невозможно! Что хотите, по только не это, Альфред Осипыч!

— Э, пустяки! Я вас научу, батенька... Вы будировали против Раисы Павловны много лет. Да? И всю эту поездку устроили тоже сюрпризом для нее... так? Потом с Ниной Леонтьевной работали все лето против Раисы Павловны... так? А теперь вам нужно сделать следующее: отправляйтесь сегодня же с визитом к Раисе Павловне и держите себя так, как будто ничего особенного не случилось... Ведь этакие вещи приходится проделывать постоянно.

— А если меня Раиса Павловна не примет?

— Нет, за это я вам поручусь... Позвольте еще одну маленькую откровенность: пожалуйста, когда будете у Раисы Павловны и у Нины Леонтьевны, держите себя так, как бы вы попали к самым молоденьким и красивым женщинам... Да, это первое условие, а то всю свою миссию погубите. Ведь женщина всегда остается женщиной!

— А как же Нина Леонтьевна? Ведь она все узнает, и тогда... нелепая история может произойти.

— Ах, да... Мне следовало предупредить вас с самого начала. Позволю еще маленькую откровенность. Ведь вы, Авдей Никитич, в душе уверены, что обязаны своим юрисконсульством Нине Леонтьевне? Да?

— Да, я считаю себя много обязанным Нине Леонтьевне...

— Хорошо. Так и запишем... Вы считаете себя много обязанным Нине Леонтьевне, а между тем вы обязаны всем исключительно одной Раисе Павловне, которая просила меня за вас чуть не на коленях. Да... Даю вам честное слово порядочного человека, что это так. Если бы не Раиса Павловна, вам не видать бы юрисконсульства, как своих ушей. Это, собственно, ее идея...

Это известие окончательно ошеломило Тетюева, точно он слушал какую-нибудь сказку: Раиса Павловна хлопотала за него, когда все было для него с отъездом Лаптева проиграно! Нет, это что-то совсем непонятное и хоть кого сведет с ума.

— А когда вы сделаете визит Раисе Павловне, — продолжал Прейн, — мы сейчас же устроим обед и на обеде сведем Раису Павловну с Ниной Леонтьевной... Да! Тут уж им не примириться невозможно!

Выполняя маленькую дипломатическую миссию, Тетюев немедленно отправился с визитом к Раисе Павловне, которая встретила его с той непроницаемой великосвет-

ской любезностью, которая так ловко заравнивает все житейские шероховатости, колдобины и целые пропасти.

— Очень рада поближе познакомиться с вами, Авдей Никитич,— говорила Раиса Павловна.— Мы, кажется, встречались с вами иногда... на улице?

— Да.

В гостиной Раисы Павловны к своему изумлению Тетюев встретил Амалию Карловну и m-ше Дымцевич. Эти милые дамы болтали самым непринужденным образом, хотя в душе страшно ненавидели друг друга: Амалия Карловна была уверена, что она первая сделает визит Раисе Павловне и предупредит других, и m-ше Дымцевич думала то же самое, но эти проницательные дамы встретились носом к носу на подъезде квартиры главного управляющего и должны были войти в гостиную Раисы Павловны чуть не под ручку. Появление Тетюева усилило эффект до последней степени: Амалия Карловна презирала ренегатство и подлое заискивание m-ше Дымцевич и Тетюева, m-ше Дымцевич то же самое презирала в Амалии Карловне и Тетюеве, а Тетюев презирал обеих дам по тому же адресу. Моралист в этой глупой комбинации нашел бы новое доказательство человеческой испорченности, но погодите бросать камнем в это почтенное трио, ибо невозможно обвинять перелетную птицу за то только, что она летит туда, где теплее. И для человеческой глупости есть свои законы, хотя они еще не раскрыты наукой с той отчетливостью и непреложностью, как какое-нибудь учение об отрицательных величинах или теории вероятностей. Отрицательные величины в мире умственных и нравственных явлений имеют такое же законное право на существование, как и в области математики.

Раиса Павловна держала себя, как все женщины высшей школы, торжествуя свою победу между строк и заставляя улыбаться побежденных. Нужно ли добавлять, что в гостиной Раисы Павловны скоро появились Майзель, Вершинин, Сарматов — одним словом, все заговорщики, кроме Яши Кормилицына, который в качестве блажененького не мог осилить того, что на его месте сделал бы всякий другой порядочный человек.

— Я так рада вас видеть у себя, господа,— повторяла несколько раз Раиса Павловна, занимая милых гостей.

Повторились сцены, разговоры и пикировки парадных завтраков, за исключением того, что все «галки» отсутство-

вали, ибо — увь! — они были за произведенную в театре драчишку навсегда изгнаны из рая, уготованного избранным. Чтобы довершить эффект, Раиса Павловна послала доктору записку: «Яша, я должна была бы выцарапать тебе глаза за твое коварство, но я тебе прощаю... Приезжай сейчас же, если желаешь застать меня в живых... Горемыкина». Когда в гостиной появился доктор и с детским недоумением посмотрел на всех, как оглушенный теленок, все сдержанно замолчали и даже сделали вид, что не замечают его.

— Ага, вот и сам Мазепа явился! — заметил вполголоса Сарматов, глядя на доктора прищуренными глазами. — Ну, Яшенька, сознавайся: кто заварил кашу? — спросил он уже громко. — Раиса Павловна, рекомендую вашему вниманию этого молодого человека. Не правда ли, хорош?

Но Раиса Павловна встретила и Яшу Кормилицына с той же любезностью и даже поцеловала его в порыве чувства, проговорив вполголоса:

— Ну, Яшенька, как видишь, я совсем здорова: чем ушибся — тем и лечись... Чего тебе: чаю или кофе? Эй, Афанасья, кофе доктору, да покрепче, чтобы привести его в чувство... Ха-ха!..

Мы избавим читателя от описания того, как заблудшие, но возвращенные овцы ели, пили, лытели Раисе Павловне и наперебой рассказывали самые смешные анекдоты про набоба и генерала с его «болванкой» и про его свиту. Прodelывалось то же самое, что прodelывается всеми и, к сожалению, слишком часто.

— Я, Раиса Павловна, могу про себя сказать только одно, — откровенничал Сарматов, целуя руку у Раисы Павловны, — именно, что один раскаявшийся грешник приятнее десяти никогда не согрешивших праведников...

— Совершенно верно, — соглашалась Раиса Павловна. — А что ваш спектакль?..

— Гм!.. спектакль. А вы про который изволите спрашивать?..

— Конечно, про настоящий...

— Ну, я теперь сию, как Сципион Африканский на развалинах Трои!..

— Да ведь Сципион Африканский никогда не сидел на развалинах Трои!

— Это все равно, Раиса Павловна.

В этом общем торжестве не принимал участия только

один Платон Васильич, который еще не выходил из своего кабинета. Он лежал на широкой кушетке и бредил без конца новыми машинами, которые стучали и вертелись у него в голове всеми своими колесами, валами и шестернями. Доктор часто навещал его, но до сих пор никак не мог определить болезни: и хворал Платон Васильич так же бесцветно и пеклоритно, как жил. Вообще странный был человек, ставивший в тупик даже Яшу Кормилицына, который выбивался из сил, измеряя температуру, считая пульс и напрасно перебирая в уме все болезни, какие знал, и все системы лечения, какие известны в науке. Платон Васильич оставался какой-то патологической загадкой, которая неожиданно разрешилась сама собой, то есть Платон Васильич открыл глаза и почувствовал себя на положении выздоравливающего человека.

Генерал, покончив все дела в Кукарском заводе, давал прощальный обед, на котором, по плану Прейна, должно было состояться примирение враждовавших сторон в окончательной форме. Но как заманить на этот обед и Нину Леонтьевну и Раису Павловну, притом заманить так, чтобы это было незаметно обоим и чтобы они встретились поневоле? Выполнением этого плана занялись все. Прейн с своей стороны обещал за Раису Павловну, но никто не брал на себя ответственности за Нину Леонтьевну, которая теперь в качестве потерпевшей могла наделать неприятностей всем. О визите Тетюева и других единомышленников она, конечно, знала и пылала справедливым негодованием к этой общей измене. В самом деле, сколько она хлопотала, старалась, интриговала — и вот награда! Бедный генерал переживал самую критическую минуту.

— Благодаря вашему ротозейству вы и Евгения Кошпаптинича прозевали, — корила его Нина Леонтьевна. — Я уж не говорю о себе... А теперь вы затеваете парадный обед, чтобы устроить мне публичный скандал.

— Нина, пойми же, ради бога, что я делаю обед не для собственного удовольствия, — пробовал уговаривать генерал. — Ведь это официальный прощальный обед, который я обязан дать заводскому обществу...

— Ну, и прекрасно: давайте ваш обед, а я уеду одна.

После долгих и напрасных просьб и увещаний Нина Леонтьевна предложила генералу компромисс: она будет на обеде, но за это генерал должен так замарать формулярный список Прозорова, чтобы ему никуда носу

пельзя было показать. Условие было слишком жестокое, но Нина Леонтьевна была неумолима, как судьба, и обещала совсем бросить генерала, если он не исполнит ее требования. Все это было высказано настолько категорически, что добрый генерал в конце концов не устоял и, желая спасти самого себя, погубил своего университетского товарища... В формулярном списке Прозорова собственной рукой генерала было прописано несколько таких замечаний, которыми дальнейшая карьера Виталия Кузьмича в каком бы то ни было ведомстве сделалась невозможной.

— Это будет всегда на моей совести...— проговорил генерал, бросая перо.— Нина, что ты наделала?

— Ничего, самая простая вещь: око за око — не больше того. А что касается твоей совести, так можешь быть совершенно спокоен: на твоём месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же...

Все это было устроено совершенно келейно, так что на этот раз Нина Леонтьевна перехитрила решительно всех.

Обед имел быть устроен в парадной половине господского дома, в которой останавливался Евгений Константиныч. Кухня набоба оставалась еще в Кукарском заводе, и поэтому обед предполагался на славу. Тетюев несколько раз съездил к Нине Леонтьевне с повинной, но она сделала вид, что не только не огорчена его поведением, но вполне его одобряет, потому что интересы русской горной промышленности должны стоять выше всяких личных счетов.

Идея примирения двух враждовавших женщин сделалась настоящей злобой кукарского дня, причем предположениям, надеждам и сомнениям не было конца. Женщины, кровно заинтересованные в этом чисто женском деле, ходили как в тумане, внося в общую сумятицу новые усложняющие соображения. Когда все собралось в обеденную залу, в которой принимал гостей генерал, общее напряжение достигло последних границ. В числе гостей были приглашены и дамы. В комнатах господского дома гудела и переливалась пестрая и говорливая волна кружев, улыбок, цветов, восторженных взглядов, блонд и самых бессодержательных фраз; более положительная и тяжеловесная половина человеческого рода глупо хлопала глазами и напрасно старалась

попасть в тон салонного женского разговора. Да мужчинам было, собственно говоря, и не до дам, потому что все ожидали с нетерпением близившейся развязки. Ведь этот последний обед, на котором собрался весь «малый двор» и обломки большого, имел решающее значение, потому что им должно было увенчаться все здание. Все недоразумения, пререкания, сомнения — все должно было исчезнуть, и даже навсегда готовилась быть засыпанной та пропасть, которая до сих пор разделяла «малый» и «большой» дворы.

Публике было известно, что Нина Леонтьевна явится в сопровождении Тетюева и Братковского, а Раиса Павловна в сопровождении Прейна и Родиона Антоныча. Две женщины превращались в миртовые ветки, делаясь символом общего мира. Прошло полчаса общего томительного ожидания, а главные действующие лица все не появлялись на горизонте. Генерал несколько раз тревожно посмотрел на часы и поморщил лоб. Но вот растворились двери, и в них вошли Прейн и Тетюев одни, а за ними плелись Братковский с Родионом Антонычем. По толпе гостей пробежал трепет, как порыв ветра, который перед грозой шелестит в траве.

— Нина Леонтьевна больна... — объявил Тетюев, принимая министерскую позу.

— Раиса Павловна тоже больна... — отозвался Прейн.

Наступило гробовое молчание, точно в ожидании вердикта присяжных. Приходилось садиться обедать одним, причем генерал испытывал крайне угнетенное состояние духа. Прейн тоже ругался на пяти языках, хотя по его беззаботному виду и невозможно было разгадать эту лингвистическую внутреннюю бурю.

Таким образом, торжественный обед начался при самых неблагоприятных предзнаменованиях, хотя все записные специалисты по части официальных обедов лезли из кожи, чтобы оживить это мертворожденное дитя. В надлежащем месте обеда сказано было несколько спичей, сначала Вершининым и Тетюевым, причем они, подогретые певольным соперничеством, превзошли самих себя. Когда было подано шампанское, генерал поднял бокал и заговорил:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Мне приходится начать свое дело с одной старой басни, которую две тысячи лет тому назад рассказывал своим

согражданам старик Менений Агриппа. Всякий из нас еще в детстве, конечно, слышал эту басню, но есть много таких старых истин, которые вечно останутся новыми. Итак, Менений Агриппа рассказывал, что однажды все члены человеческого тела восстали против желудка...

— Отлично, генерал!.. — раздалось среди общей тишины.

В дверях стоял пьяный Прозоров и, пошатываясь, слезившимися глазами нахально смотрел на обедавших...

— Отлично... ха-ха!.. Менений Агриппа... прекрррасно!.. — продолжал он, поправляя волосы неверным жестом. — А Менений Агриппа не рассказал вам, Мирон Геннадьич, о будущей Ирландии, которую вы насаждаете на Урале с самым похвальным усердием? Менений Агриппа!.. О великие ловцы пред господом, вы действительно являетесь великим российским желудком... Ха-ха!.. А я вам прочитаю лучше вот что, господа:

Умерла Ненила; на чужой земле
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все пету... барин все не едет!

— Ради бога, уведите его! — шептал генерал, причем нижняя губа тряслась у него от бешенства.

— Менений Агриппа и Тетюев... ха-ха! — хохотал Прозоров, когда его выводили в переднюю два лакея, а Родион Антопыч осторожно подталкивал сзади. — Иуда, и ты здесь? Ну, нам с тобой и бог велел быть подлецами! Видел Тетюева, будущего юрисконсульта? Ха-ха! Продав Тетюев за чечевичную похлебку свое земское первородство и посему далеко пойдет: нынче крупным подлецам везде скатертью дорога... Родька! наплюй за меня в рожу Тетюеву, он сам меня просил об этом! Менений Агриппа — и Мирон Геннадьич Блинов! поистине, от великого до смешного один шаг. Насаждаем российский капитализм и вступаем в конкуренцию с Западными Европами чисто желудочными средствами... Ха-ха! Тетюев и генерал, генерал и Тетюев! — черт с младенцем и дважды два стеариновая свечка!

— Виталий Кузьмич, ради истинного Христа, удержите вы свой язык! — умолял Родион Антоныч, помогая Прозорову найти дверь в передней.

— А... это ты, Иуда! — бормотал Прозоров, выдвигая вензеля ногами. — Знаешь, что я тебе скажу: я тебя люблю... да, люблю за чистоту типа, как самородок подлости. Ха-ха!

Парадный обед, задуманный на таких широких основаниях, закончился благодаря Прозорову полнейшим фиаско.

Вечером этого многозначительного дня Прозоров сидел в будуаре Раисы Павловны, которая сама пригласила его к себе. Дело шло о погибшем формуляре, о чем Раиса Павловна только что успела узнать от своего Рихелье.

— Куда вы теперь, Виталий Кузьмич? — спрашивала Раиса Павловна своего друга.

— А сам не знаю, царица Раиса... Нужно будет прискивать род занятий; может, волостным писарем пристроюсь где-нибудь.

Подумав немного, Прозоров улыбнулся пьяной улыбкой и прибавил:

— Давеча, царица Раиса, генерал Мирон рассказывал басню Менения Агриппы... Я часто думаю о ней и все не нахожу себе места в числе членов человеческого тела, а теперь нашел... Ха-ха!..

— Именно?

— То есть, собственно, это не часть тела, а только одна из его необходимых принадлежностей: я — больной зуб, царица Раиса! Собственно, и не зуб, а гнилой корень, который ноет, а вытащить нечего.

— Если дело пошло на сравнения, так вы можете сравнить себя вернее с чирьем... Ну, да дело не в сравнениях, а я пригласила вас по серьезному делу. Именно: поговорить о судьбе Луши, которая дальше не может оставаться при вас, как это, вероятно, вы и сами понимаете...

— О, понимаю, царица Раиса, слишком хорошо понимаю!.. Только позвольте мне еще одно сказать: на генерала Мирона я не сержусь, видит бог — не сержусь!

— И прекрасно... Ваше положение теперь совсем неопределенное, и необходимо серьезно подумать о Луше... Если вы не будете ничего иметь против, я возьму Лушу на свое попечение, то есть помогу ей уехать в Петербург, где она, надеюсь, скорее устроится, чем здесь. Не пропадать же ей за каким-нибудь Яшкой Кормилицыным...

— Да, да... Лукреция уже, кажется, и без того на хорошей дороге! Впрочем, я это говорю так... Нынче выгоднее жить ногами, чем головой, Раиса Павловна.

Раису Павловну удивило безучастное отношение Прозорова к дочери, хотя он, по-видимому, и подозревал печальную истину.

— Послушайте, царица Раиса, я пьяница, а кое-что еще в состоянии понимать,— бормотал Прозоров, моргая глазами.— Везде жертвы... да! Это то же самое, что побочные продукты в промышленности. Лукреция совершеннолетняя, и сама понимает, что делает, а я молчу... Не мне и не вам ее учить... Оставимте ее в покое!.. Боже, боже мой!

Прозоров вдруг заплакал, закрыв лицо руками.

— Перестаньте, что вы, Виталий Кузьмич! — проговорила Раиса Павловна, трогая своего друга за плечи.

— Вы думаете, царица Раиса, я плачу о том, что Лукреция будет фигурировать в роли еще одной жертвы русского горного дела — о нет! Это в воздухе; понимаете, мы дышим этим... Проституцией заражена наука, проституция — в искусстве, в нарядах, в мысли, а что же можно сказать против одного факта, который является ничтожной составной частью общего «прогресса». Не об этом плачу, царица Раиса, а о том, что Виталий Прозоров, пьяница и потерянный человек во всех отношениях, является единственным честным человеком, последним римлянином... ха-ха!.. Вот она где настоящая-то античная трагедия, царица Раиса! Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость! Тетюев с Родькой теперь совсем подтянут мужиков, а генерал будет конопатить их подлости своей проституированной ученостью... Я вчера шел по мосту: там сидит здоровенный мужик с выжженными глазами... Ему на заводской работе в горе порохом выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на глазах у всех, и кукарское заводоуправление пальца не разогнет для него. Да это что! ничтожная пылица, одна капля в море... Это только иллюстрация тому, что мы должны были сделать и не сделали. В Кукарских заводах нет даже богадельни для престарелых, нет пенсий изработавшимся и увечным, нет приюта для сирот... Конечно, все это филантропия, но и филантропия лучше той мутной воды, какую разводит генерал Мирон! Посмотрите, какой разврат царит на заводах,

какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью, а мы... Наука, святая наука, и та пошла в кабалу к золотому тельцу! И вашему царству, царица Раиса, не будет конца... Будьте спокойны за свое будущее — оно ваше. Ваш день и ваша песня...

Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что постыдным сегодня считается,
Удостоится завтра венца...

— Царица Раиса, дайте вашу ручку! — лепетал Прозоров, падая на колени.— И слабая женщина нашла наконец свое место на пиру жизни... Да. Теперь честной женщине нечего делать. Я понимаю вас! А вот мы, пьяненькие да несчастненькие, будем стоять у кабацкой стоечки и любоваться вами... ха-ха!..

На другой день после парадного обеда генерал Блинов уехал из Кукарского завода, а за ним потянулась длинным хвостом нахлынувшая с Лаптевым на Урал челядь. Так после веселого ужина или бала прислуга выметает разный сор из компаты! Этот человеческий хлам выметал сам себя из зала недавнего пиршества.

Прейн уехал последним. Луша отправилась в Петербург вместе с Раисой Павловной, которая чувствовала потребность немного освежиться.

Результаты приезда барина на заводы обнаружили скоро: вопрос об уставной грамоте решен в том смысле, что заводским мастеровым земельный надел совсем не нужен, даже вреден; благодаря трудам генерала Блинова была воссоздана целая система сокращений и сбережений на урезках заработной рабочей платы, на жалованье мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые признаны наукой вредными паллиативами; управители, поверенные и доверенные получили соответствующие увеличения своих окладов.

Тетюев занял свой новый пост юрисконсульта, а Родион Антоныч единогласно был избран председателем Ельниковской земской управы, причем в первый же год своей земской деятельности поставил дело так, что знаменитая гора Куржак, обложенная двумя рублями семнадцатю копейками земских налогов, была освобождена от этой непосильной тяготы, как освобождены на Урале от земского обложения все золотые прииски.



РАССКАЗЫ



БОЙЦЫ

*Очерки весеннего сплава
по реке Чусовой*

Ой, дубинушка, ухнем!..

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, — самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега, — одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зе-

лень северного леса, весёлый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу горы. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором

раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани сплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, кбзла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину. Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил и глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенная волна внешней полой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря. Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иваныч?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Попадаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иванович энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Ивановича с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая бородка и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иванович, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иванович сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба.— Аспиды!..

— Да чем они вас так обидели, Осип Иванович?

— Как чем?.. Сегодня какой день... а? — грозно приступил он ко мне, размахивая руками.— Какой день?

— Кажется, двадцать третье апреля..

— Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля — Егория вешнего — поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий — все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иванович совсем другим тоном проговорил:

— Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

— Зачем?

— Народ гнать на работу. Только отвернись — сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканалы! А всех хуже наши каменные... Заберут задатки и в кабак,

а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубахе; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за трудно больного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

— Это ты, Савоська? — окликнул мужика Осип Иваныч.

— А то как же... я... я!..

— Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

— Да ты где, каналья, шары-то¹ налил?.. а?!. С какой радости... а?!. Люди работают, надрываются, а он...

— Осип Иваныч... дай опохмелиться!

— Чего?

— Опохмел...

— Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! — крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

— Гли, робя: Савоську опохмелили! — слышался из толпы чей-то веселый голос. — Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

— Видели? — спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

— Да...

— А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока, с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами.

¹ Шары — глаза. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычанье, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертom и, пошатываясь, закричал:

— А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Верно!..

— Ты у меня еще поразговаривай! — закричал Осип Иваныч.

— А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

— Прямо в кабак, шельмец, задул! — ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

II

Осип Иваныч служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда паваливалась работа. Во время сплава он, собственно, был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иваныч без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

— Я их всех насквозь вижу, разбойников, — уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. — Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черррту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшиеся на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-расколь-

пичьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатými окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азиях и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь, молодцы, только что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я?! У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф!..

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испытными лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отоцали в дороге. Вперед выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

— Осип Иваныч! Мы уж к твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятские мы, родимой мой, вятские...

— Ты не в первый раз на сплав пришел?

— Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

— Ну, так чего тебе от меня нужно?

— Да вот запоздали мы, Осип Иваныч... Грех такой вышел; непогоде нас захватило, а дорога дальняя.

— Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?.. — заорал Осип Иваныч, выкатывая глаза. — Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?! а?!

— Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... — как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. — Подушное, Осип...

— А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток — за трое суток и штраф по контракту...

— Осип Ивапыч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

— Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочесть произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

— Аспиды! Разбойники! Мошеники!! — ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

— Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь,— заговорил он, когда Осип Ивапыч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей.— Севодни наш день, а завтра — твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

— Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилбок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Ивапыч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были

завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служакки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иванович, выскакивая из кабака уже без шапки. — Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и наррродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и маломальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое крошечное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, — все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки — праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов

только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек, — ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артелями панимаем. Один из артели не явился — вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав — все расплзутся, как тараканы.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

— Осип Иваныч, ослобони! — взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

— Нет, друг мой, не могу: у меня слово — закон! — отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где пачиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезаемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей

сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

— С этим пародом иначе невозможно, — объяснял он, когда мы наконец продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много парода. — Ох, смерть моя! — стонал он, не зная, кому отвечать. — У кабака с каменскими да с мастеровыми горло деря, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной пуждой. Здесь не было и помину той отчаянности, какую выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочесть одну мысль — мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонко в лаптях и в широком халате, какие посят только вятские. Он терпеливо и покорно выжидал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иванович быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешепством накидываясь на несчастного мужика. — Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

— Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, што кáбы артель не выворотилась в деревню...

— Ах, ббожже ммой!! А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

— Оно тошно што, оно по контракту, Осип Иванович... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иванович, как бы со сплавом не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иванович, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иванович, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакой, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иванович наконец не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

— Зачем вы его выгнали? — спросил я. — Ведь он совершенно верно говорил все...

— А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах, боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в пижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промоглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которою отгораживалось отделение для проходящих, — все было захвачено сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кучами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и, мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

— Эти все штраф заплатят? — спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

— Да, запоздали... — весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. — Рубль штрафу, за каждый просроченный день...

— А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! — лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. — Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь, так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба-трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через

плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безумному молодому лицу бродило много мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при станове, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

— Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! — ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна гляделось весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобыдохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена-стенной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну чево, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По контракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

— Выворотимся! — решил плечистый мужик в рваном зипуне.

— Надо обождать, — заметил Силантий. — Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, — заметил он, вынимая из котомки берестяной бурак.

— И пусть спускают,— горячился белобрысый парень.— Я сам-сём в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?..

— А так... Осип Иванаыч сказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужю закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

— Что, плохи сухари-то? — спросил я Силантия.

— А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка заваялась, заплесневела, огрызок ребятишки оставили — все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы¹ испортятся, картошка почернеет — все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса — и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Вы издалека? — спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

— Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... — отвечал Силантий, надевая шапку. — Ну,

¹ К и с л ы — проквашенная мелкая капуста. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Митрей, на сѣдни потрапезовали, а к завтраю тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

— Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

— Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спрашивал я Силантия.

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пропюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали — сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас кондракт... За десять-то рублей ты и должен месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по кондракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должен выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотіны¹ в дороге проносишь, сколько обуя², а пить-

¹ Л о п о т і н а — верхняя одежда, вообще платье. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² О б у я — обувь. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опушу,— ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сём: вот тебе и гармонь!

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойской, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца...

— Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-беда-довенная!

— А тебе случалось так уходить со сплавом?

— Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьюшку измором сморишь!

— Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки: от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и свистом.

— Ишь как камешки да мастеровые разгулялись,— задумчиво проговорил Силантий.— Им што: сполагоря —

весь тут. Получил задаток и гуляй.. Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, кроме кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменных бурлаков камешками зовем, барин...

— Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

— Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испытые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вораха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность делала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, олени круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

— И уродит же господь-батюшко эку страсть! — богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся перенги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и указывали пальцами.

— Гли, робя, шапка-то как на ём! — резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. — Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

— А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на што скобку приковал?

— Это бороться, надо полагать.

— Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди — инородцы, которых на каждый сплав собирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треуголов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронзительными и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной гольтьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего; они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кунчал... — задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал», трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

— Нянь? — спросил я.

— Нянь, нянь... — ответил пермяк и даже не удивился, услышав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза — одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется, все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непопулярных феноменов.

— Шшш... — встретил меня многозначительным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

— Кто-нибудь болен, Семен Семечыч? — поспешил я осведомиться.

— О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня *сам* отдыхает.

— Кто *сам*?

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между

Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связанные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полупшепотом.

— Слышите, что делается? — говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. — Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

— Конечно, вам легко рассуждать, — вступился один из управителей, — ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

— Господа, нужно промочить горлышко, — суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. — Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

— Много больных на пристани? — спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

— Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка,— так и валятся десятками!

— Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит — мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядел настоящим американским плантатором; другой, какой-то безымянный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки!..— постоянно повторял немец, когда у него убивали карту.— Сукина сына, туда твой дорог... Швинья — карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

— Егор Фомич изволят шевелиться...— змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

— Шш... — зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: — У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит — ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

— Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания, — словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

— Господа! Пожалуйте в залу! — пригласил всех хозяин. — Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге наконец показался и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

— Не помешали ли вам отдохнуть, Егор Фомич? — суетился поверенный, забегая петушком перед «самим».

— Ах нет, прекрасно выпался, — небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольниковского склада. Это был управляющий ...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

— Надеюсь, вы всё видели, все наши порядки? — лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

— Да, видел-с... Народ распустили — безобразие! — коротко отвечал старик. — Порядку настоящего нет...

— Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! — взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. — Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, выдавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патроннов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

— Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! — ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая. — Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю? Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? — обратился он к ставовому.

— А... что?.. Так точно-с... — отозвался Павел Петрович, бурбоц чистойшей воды.

— Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

— Помилуйте-с, с большим удовольствием!

— И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептупа»?

— Да... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

— Я, право, еще не знаю, — отозвался доктор. — Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

— Чего же тут думать? — вежливо удивлялся Егор Фомич. — Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки — пять — семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать — двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил еще мягче и душевнее:

— Я понимаю, что вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

— Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, — возражал Алексей Самойлыч неуверенным тоном. — Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

— Я то же думаю, — вставил свое слово Парфен Маркыч.

— Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати — двадцати процентов?

— Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, — заметил доктор с своей стороны. — Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

— Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, — мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. — Но ведь в промышленных предприятиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравнивали друг друга. Возьмите, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

— Пастаки! — провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. — Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станового в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, па обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

— Никак нет-с,— почтительно отвечал Семен Семеныч.

— Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек: без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

— Урал — золотое дно для России,— ораторствовал Егор Фомич,— но ахиллесова пятка его — пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая железная дорога ¹ не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — невыносимая вещь.

— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.

— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

— Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

¹ Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, — говорил он, играя массивной золотой цепочкой. — Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

— Да, бурлаки — совершенная язва, — почтительно вторил Семен Семеныч.

— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.

— Очень просто: мы заменим сплав на потесах сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждый раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, — заметил доктор, — а вода спадает через неделю...

— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавливать караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на проща-

ние. — С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все «бойцы», уничтожим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтение, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз прищипывал себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

VI

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Иванычу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп»¹, тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплывы. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накапливается что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны...

¹ Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

— Что, доктор? — спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

— Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили?.. а? Вы не акционер «Нептуна»?

— Нет...

— Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

— Шартрез?

— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

— Это вы насчет Егора Фомича?

— Да...

— Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, — вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

— Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции.

— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня, собственно, интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопаёт Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра

обед — дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймают.

— Вы шутите?

— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделаает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Ивановича.

— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.

— Да.

— В эту-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это наконец бессовестно... Лучше пройдемте по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

— Пожалуй.

— Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

— Где же ваши пациенты? — спросил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

— А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

— Осторожнее, здесь нет ступеньки...— предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

— Осторожнее, здесь люди...— шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходило кругом.

— Это ты, Силантий? — проговорил доктор.

— Я, ваше благородие... я...— отозвался старик, с тяжелым кряхтением поднимаясь с пола.

В этой сторбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

— Ну, что больные? — спрашивал доктор.

— Да кто их знает, ваше благородие: лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

— Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

— Может, и не слышал...— равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину.— Уж как бог...

— А ты лекарство подавал?

— Подавать-то подавал...

Больные — Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, — лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыхание. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза — все это было красноречивее слов.

— Кончается? — спрашивал Силантий так же равнодушно.

— К утру будет готов...

— А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

— Сапоги...

— Какие сапоги он спрашивает? — шепотом осведомился доктор у Силантия.

— Он так это, ваше благородие... не от ума гордит, — объяснял старик. — Ишь, втемяшилось ему беспрерменно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность — трудно сказать.

— Так Кирило-то, говоришь, помрет? — спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

— Да... — коротко ответил доктор, задувая огарок.

— Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

— Похоронят как-нибудь...

— Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьяща осталась — страсть! Сам-восьмой был, и все мал

мала меньше... А средства никакого не будет Кириле от вашего благородия?

— Нет, не будет...

— Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завывала.

— Чует упокойничка...— проговорил Силантий.

— Вот вам жертва голодного тифа...— угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

— И много таких?

— Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

— Доктор, слышите? — спрашивал я.

— Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут, совсем близко.

— Целая стая...— заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

— А ведь вы и меня на грех навели,— проговорил он.— Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал *веселую скотинку*,— вот они и поют! Огонек-то видите на берегу?— там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

— Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

— Неужели никогда не слыхали?.. Очень просто: у одного здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятности, ее укусила бешеная собака, ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще нужно ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в землю. А время самое горячее, до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надумили: отдать бешеную корову

башкирам. А им это целый праздник; они взбесившийся скот зовут веселой скотинкой и едят его за настоящий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как они будут справляться с бедной коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огонек на берегу и закутили. Именно закутили, потому что совсем отощали и пьянеют от еды. Я сам ходил смотреть на них: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, ну, одним словом, все признаки отравления алкоголем.

— Может быть, это происходит от отравления зараженным мясом?

— Сначала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьянение происходит и от хлеба. Ест-ест, пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

— Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

— Да, да... Голод согнал сюда народ со всех сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

— Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? — спрашивал я.

— Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим александрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

— Все это вздор, — отрезал доктор, безнадежно махнув рукой. — Жаль только, что все эти медовые речи отзываются всё на той же бурлацкой спине.

— Именно?

— Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека — и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются сколо каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, записали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублэй, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

— Да.

— Ну, так досыта паглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

— А их куда девают?

— Как куда? Не тащить же с собой — оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежался — твое счастье, умер — добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

— Может быть, им выдаются пособия?

— Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплывете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть умиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «весслой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расплзались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную

голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тинущие душу ноты. Наконец я забылся тревожным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

— Какой там черт ломится? — сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

— От караванного, — слышался голос под окном.

— Черти полуношные!.. — ругался Осип Иваныч, отпавляясь отворять дверь. — Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? — спрашивал он в передней посланца.

— Вот писульку прислали, — почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плевать.

— Что случилось, Осип Иваныч? — спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

— А вот извольте, полюбуйтесь!.. — сердито сунул мне под нос принесенную писульку Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: *от этого все зависит...*

— Подлецы! Аспиды! — неистовствовал Осип Иваныч, облакаясь в архалук. — Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами... Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помешались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть

готовы к обеду. У Осина Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответствующие приказания. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

VII

Каменка — название исторического происхождения. Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок; а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года, «со многолюдством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами», нечаянно напал на него, многих российских подданных и ясашных (плативших царскую дань мехами — ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и побитых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствий от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице присоединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы, в свою очередь, учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогуличей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только

при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение, поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украины. Даже неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже тогда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им, Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предупредило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение нескольких столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с неизвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться странным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации, разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, если мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создавался неистощимый запас голутвенных, обнищавших и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украинам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская Украина представлялась еще со времен новгородских ушкуйников самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украины были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые

подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные и обнищавшие людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень,— эти кровавые страницы русской истории касаются нашей темы только с той стороны, поскольку они служили к образованию того оригинального населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа, когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей, из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина¹. Странника приняли и обогрели как своего человека, потому что незнаемый пришлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечером вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, жена Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гуляющие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает, и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, гоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы-де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправил-

¹ Дело о Солнышкине нами заимствовано у Еспнова из его раскольничьих дел XVIII века. (Примеч. Д. Н. Мажина-Сибиряка.)

ся, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой наслышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагил-реку и там действительно отыскал медную руду и в то же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольничьих старицы: Платонида, Досифея и Варсонофия, и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвал себя раскольником и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвестный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образá пищут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжил-ся с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоломей читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее, и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Tobольске, где он объявляет «государевы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Tobольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Tobольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ, под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии, города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но дорбгой воевода

Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться своим доносом Веселков, то мы, рассматривая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими — и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и стариц, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетьюми. Старице Варсонофий было около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз поднимали на дыбу, били плетьюми и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное вознаграждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищальные до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать по-прежнему и по-прежнему неизвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую на Каменке сплавную сутолоку, я невольно припомнил исторических голутвенных людишек: они опять

были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Возникли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право — да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представители крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая — одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Северной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, ко-

ренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал иногда достигает страшной высоты в семь аршин.

Для слава, конечно, самое важное, когда лед вскрыется на реке. Но и здесь примениться к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых снегах река сама не в состоянии взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощи которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней пристаней в течение нескольких недель составляет самую горячую злобу дня, от него зависит все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной реки, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет живую двигающую силу, капитал, то такой выпуск из Ревдинского пруда обставлен множеством недоразумений и препятствий, самое главное из которых заключается в том, что судоотправители не могут никак прийти к соглашению, чтобы действовать заодно. Одним нужно раньше выпустить воду, другим позже, идут бесконечные препирательства, пока ревдинское заводоуправление в видах отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням приходится уже только ловить золотые минуты, потому что пропустил какой-нибудь час — и все дело можно испортить. Поэтому ожидание, когда Ревдинский пруд спустит воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всех в голове.

Понятно то оживление, какое охватило всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

— Вода пришла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрели женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи. Ребятишкам был настоящий праздник, и они металась по берегу, как стаи воробьев. Выползли старые-старые старики и самые древние старушки, чтобы хоть одним глазом взглянуть, как пынче выиграла матушка Чусовая. Некоторые старики плохо видели, были даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой и как галдит народ на

берегу. Вероятно, многие из этих ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавших на своем веку на Чусовой, и пришли на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последний раз любят свою поилицей-кормилицей. Сюда же на берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдало поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползет от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагонявший на все лица веселые улыбки.

— Вам, может быть, идет пенсия? — спросил я одного такого калеку.

— Какая пенсия? — переспросил он с удивлением.

— Из караванной конторы пенсия... пособие.

— Нет, у нас никаких пособий не полагается, барин.

— Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, па караванной работе?

— Снастью отрезало... Я у огня стоял, а снасть-то и оборвись.

— Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

— Уж это што говорить: калека — калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

— Конечно, обязана...

Мужик задумался: перспектива получить пособие смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

— Нет, барин, это никак невозможно...

— Почему?

— А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособий... Да это и денег не достанет! Которым сплавщикам увечным — это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку... Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь, как глазами ворочает, вроде как осетёр...

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фоми-ча, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

— Немного диковато... — нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя зато-ры, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевелилась на всем протяжении, как громадная змея, с шипеньем и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, с пеной катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

— Сплавщики пришли проздравлять! — доложило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иваныч, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался. Впереди других стояли межонные ¹ сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего начетчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за него выстав-ляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весель-чак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, при-

¹ Из сплавщиков на пристаях особенно ценятся межонные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом, — по межени, когда река стоит крайне мелко и пужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

чмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем равном азыме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к сожалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смысленными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

— Пришли проздравить Егора Фомича... — заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

— Сейчас, сейчас выйдут! — торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точно в их фигурах или платье могло затаиться что-нибудь обидное для величия Егора Фомича.

— Ох, старый — не молоденький... А у меня, Осип Иваныч, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! — смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами. — У меня это завсегда... В том роде как часы!..

— Ну, ну, будет тебе молоть-то!

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

— Шш!.. — шипит караванный, опять вбегая в переднюю. — Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чего-нибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

— С вешней водой... со сплавом! — говорил Лупан, отвечивая степенный поклон.

— Спасибо, спасибо, братцы! — ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан водки. — Уж постарайтесь, братцы. Теперь время горячее, в три дня надо поспеть...

— Как завсегда... Егор Фомич, — говорит Лупан, вытирая после водки рот полой кафтана. — Переможемся... Вот как вода...

— А что вода?

— Надо полагать, что кабы над меженью-то больно высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит...

— Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

— Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как пи на есть. Разве парод што...

— Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота... А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?..

— Водка первый сорт, Егор Фомич,— не запинаясь, отвечает Окиня,— да стаканчик-то у тебя изъянный: глопул раз и шабаш — точно мимо на тройке проехали...

— С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно рабстать вплотную,— милостиво шутил Егор Фомич.— Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой стаканчик.

— Не омманешь?

— Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа — чего же больше?

— Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка,— говорил Окиня, проталкиваясь к выходу.— Видно, добавить придется из своих денежек. Старый — не молоденький.

— А когда караван отвалит? — спрашивал я Лупана.

— Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидать. Вишь, поне какá весна-то ударила, того гляди не подняло бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтов-косных. При каждой казенке, то есть барке, на которой плывет караванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заведенному порядку, как

необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики — одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот — пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей, струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой — другие. При малой воде выступают «огрудки»¹ и «таши»², а при высокой с баркой под «бойцами» невозможно никак справиться. Но одного знания, одной науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела. Хладнокровие, выдержка, смелость — самые необходимые качества для сплавщика: бывают такие случаи, что сплавщики, обладающие всеми необходимыми качествами, добровольно отказываются от своего ремесла, потому что в критические моменты у них «не хватает духу», то есть они теряются в случае опасности. Кроме всего этого, сплавщик с одного взгляда должен понять свою барку и внушить бурлакам полное доверие и уважение к себе.

¹ О г р у д к и — мели в середине реки, где сгруживается речной хрящ. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² Т а ш и — подводные камни. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Но все сказанное вполне можно понять только тогда, когда видишь сплавщика в деле на утлом, шитом на живую нитку суденышке, которое не только должно бороться с разбушевавшейся стихийной силой, но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чудовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну. Обыкновенно выучка начинается с детства, так что будущий сплавщик органически срастается со всеми подробностями тех опасностей, с какими ему придется впоследствии бороться. Таким образом, бурная река, барка и сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

— Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня.

— Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

— Я уж проздравился... Три дни пировал беспросыпу, а теперь трёкнулся.

— Как ты сказал?

— Говорю: трёкнулся... Ну ее, эту водку, к чомору! «Трёкнулся» — значит отрекса.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и

медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном — металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь — наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди — работа самая тяжелая и у непривычного человека после двух-трех часов такой работы отнимается поясница, и спина теряет способность разгибаться.

— Много осталось грузиться? — спросил я Савоську.

— Четь ¹ барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чувовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят — «барка бежит», «барка убилась», «бжал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженей длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных козлах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В носовых плечах барка строится шире кормовых верхка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

— Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, — объяснял Савоська, — барка не станет разводиться струю и будет вертеться на ходу.

¹ Ч е т ь — четверть. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя. Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну — это пыжи; сверху на борты накладываются три поперечных скрепления, озды, затем барка покрывается горбатой, на два ската, палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив — два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Слишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой сплишки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные кольца) барка при веселой «Дубинушке» наконец всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна

все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками.

— А как вы грузите барку? — спрашивал я Савоську.

— Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пых грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

— А сколько барка поднимает всего?

— Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Припоровливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменные и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги¹, что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

— Одва поднял,— утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоровенный бурлак.

— Ах ты, пиканное брюхо! — передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

— Муторно на них глядеть-то,— заметил равнодушно сплавщик.— Нехристь, она нехристь и есть: в ём и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменной — в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими

¹ В а ч е г и — рукавицы, подшитые кожей. (Примеч. Д. Н. Малина-Сибиряка.)

глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

— Да будет тебе, Порша, собачиться-то! — заметил наконец Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. — Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

— Это ладно?! — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. — По-твоему, это ладно... а?

— Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

— Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

— Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

— А вы на караване думаете сплыть? — спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей «обязанности».

— Да.

— В Пермь?

— Да...

— На казенке поплывете?

— Не знаю еще...

— А то плывите со мной. Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.

— Да ведь Порша отказался от своей должности? — проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплеываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

— Порша-то? — проговорил сплавщик, не глядя на

берег.— Нет, мы с Поршей завсегда вместе на барке ходим... А это у него уж карахтер такой несообразный: все быргает. Вот ужб уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливыцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик — кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч. Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

— Савоська обнаковенно пирует,— говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах,— а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает. И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал — шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит — в ём уж духу и не стало. Как петух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

— Што говорить! — соглашалась кучка слушателей.— Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

Х

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после первого вала. Эти три дня прошли. Барки почти все пагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

— Святить караван, отец Николай?

— Да... Покойники есть, человека два, надо будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву!

Я вспомнил про больных мужиков, которых навещал доктор: живы ли они или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

— Ночью придет вода, а завтра — отвал...— заговорил Осип Иваныч.— А это кто с вами?

— Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

— Так-с... Что же, доброе дело,— согласился Осип Иваныч.

— Он думает записаться бурлаком, Осип Иваныч...

— И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и даже поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа

Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с одного кончика стула на другой.

— Я ведь отлично знаю ваши порядки, — не унимался Осип Иваныч. — У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

— А вы все воюете? — политично переменял батюшка неприятный разговор.

— Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

— Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

— Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели пронизательно, говорил он не торопясь, с весом, улыбался редко — вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший — и по фигуре и по голосу, только вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету всё и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака — не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых гребней. Картина для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло. Между прочим он ус-

пел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае, и больной и мертвый остаются на пристани на волю божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

— Пора! — слышался сдержанный шепот. — А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

— Пять четвертей над меженью! — шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

— И еще прибудет?

— Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич наконец изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже поцеловал у него руку.

— Все готово? — обратился он к караванному.

— Все... Освятить караван и в путь.

— Гм... Время, кажется, терпит, — заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр. — Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

— Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! — подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван, и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а между отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о значении капитала и предприимчивости и так далее. Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели как на иголках; батюшка тоже тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак наконец кончился.

— Можно начинать? — осведомился батюшка.

— Пожалуйста, отец Николай! — с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич. — Как это в Священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, — бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

— Вот и ваша каюта, — обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки. — Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

— Дай бог, дай бог! — отвечал за нас Егор Фомич. — В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

— Ох, воду пропустили! — стонал наш водолив Порша. — Непременно набежит сверху караван...

— Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют, — успокаивал сплавщик. — К поносным, ребятушки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по палубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком благоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шапку на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, осталось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку. Осип Иваныч остался на берегу и, как шар, катался по горбтому мосту, под которым должны были проходить барки.

— Разве он останется? — спросил я Савоську.

— Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

— А почему не первой?

— На всякий случай: какая барка убьется или оме-

леет — мы сымать будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода — три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул белым платком, на берегу грянул пушечный выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, — и пятьдесят человек бурлаков работали из последних сил, побрасывая тяжелые потесы, как игрушку. Одна барка черпула носом, другая чуть не омельела у противоположного берега, но вовремя успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

— Отдай снасть!..

Двое косых подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатуму мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в открытый шлюз льется сдавленной струей, точно в воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

— Нос направо, молодцы!! Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту, что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бескопечный лес, встают и надвигаются го-

ры, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка песется вперед все быстрее и быстрее.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синева-серую даль.

XI

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертываясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собственным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплоте, южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы понять те поэтические грезы, предания, саги и песни, целые религиозные системы, какие вырастают около таких рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь — лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке, как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно

превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сливаясь в бесформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два песящиеся вала и снова поднимаются из воды. Только мало-помалу из этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы наконец разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой — конец поносного с кочетом — стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест, свежими веревочками новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки, как блин, глядит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошпо павались, робя!» — говорит он, всей грудью напирая на свою губу; видно, как под рубахой папруживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синее от напряжения, но он счастлив и ворочает свое бревно, как шестигодовый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

— По закону, кажется, нельзя ставить на барки желщин? — спрашиваю я у сплавщика.

— По закону-то оно точно что не дозволено... — ухмыляясь, отвечает Савоська. — Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспременно эти самые бабенки по-

падут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь — все мужики стоят, а как отвалила — бабы и объявятся, вроде как тараканы из щелей.

— А плата им какая?

— Ну, обпакновенно, бабе бабья и цела: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

— Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, ошелела барка — пу, мужики с чегенями в воду, а бабу, куда ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

— А много наберется на караване баб?

— Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного, третья с краю робит бабенка — это его жена. Как же... Как напьется — сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает, — ну, жена-то и идет на придachu.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб запишет бурлаками, а с миру и набезжит ребятишкам на молочишко. Великое это дело — мир... По рублику, по двугривенному, по пятаку с рыла, а глядишь — в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с караваном, — бездомовный, самый жалкий сброд, который река спосит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужские жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном аязе и какой-то поповской шляпе Бубнов выглядел самым от-

чаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбающуюся рожу, чтобы сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его слабостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку — только всплеснул руками.

— Что, обрадовался небось? — балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой. — Больно я о тебе соскучился.

— Да в котомке-то у тебя что... а? — кричал Порша.

— Муниция.

— То-то, муниципия... Знаем мы тебя.

— Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал, вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносного работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! — покрикивал на них Бубнов. — Што брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном красном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

— Ты, умница, с кем поплывешь? — спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

— Одна... С кем мне плыть-то!

— Обнаковенцо, живой человек — не полено! — объясняет Бубнов, к удовольствию остальной публики. — По весне-то и щепы парами плавают.

Бабенка сердито отплеивается и кокетливо опускает

глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться взаимными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сторбленный субъект, в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубщика. Кравченко фамильярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, закидывая голову назад.

— Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? — спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем. — Мотри, как дьякон-то на тебя зенки выворачивает... Кабы грех какой не стряся.

— Да ведь он женатый, — отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

— Что что женатый... Женатому-то еще лучше, потому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бедняга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неунимавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

— Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

— Сам с плехой плывешь! — огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон на корме у правого поносного «робят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым лицом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. Тоже вот молодец в красной рубахе, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой — и те дружно робят. На передней палубе подгубчики хороши, потом человек пять каменных бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, лещится, но он на съем-

ках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

— Веселенько похаживай, голуби! — покрикивает Савоська, глядя вдаль. — Нос налево ударь... нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

— У нас Савостьян Максимыч — орелко, одно слово! — переговаривались между собой бурлаки. — Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать — верно!.. У него глаз вострбый.

Осип Иваныч скоро обогнал нас на косной с шестью лихими гребцами — косными. Лодка легела стрелой.

— Куда это он плывет? — спрашивал я Поршу.

— Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно наблюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

— Что поглядываешь часто на переднюю барку? — спрашивал я Савоську. — Разве Пашка плохо плавает?

— Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он щукой проходил под самыми камнями; Лупан работал осторожно и не жалел бурлаков: в нем недоставало того творческого духа, каким отличался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, — это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, — это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, — это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает середину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить, если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп или пены. Возьмем самый простой пример, именно, движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую

барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Потеси помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из тихой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями — зависит от множества условий: от свойств течения реки — куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец от количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая задачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, который должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев

днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

— Где ты всему выучился? — спрашивал я его.

— Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугуны, сало, хромистый железняк, а потом железо, медь, хлеб.

— Сколько же вы получаете за сплав?

— Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять — сорок рублей платят, а которые с медью — пятьдесят — шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь — награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто ничтожное, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профессиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть, летом, то есть работает в год рублей полтора.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторонам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плёс, где вода стоит, как зеркало; эти плёсы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плёсы и переборы. Самые опасные переборы, вроде Кашинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чувовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно поднимаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Представьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветрилась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображение дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Александр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молодецкие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным языком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих камешных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом. Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду, — по реке ка-

тится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под этими скалами и проходит мимо них в почтительном молчании.

Самые высокие и массивные скалы — еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направлением водяной струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого поворота и точно ждет добычи, которую ему бросит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движение и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки, прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и баркой и, когда остается всего несколько сажен, отдает команду как-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубе, и поносные, эти громадные бревна, даже изогнутся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и другие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро мицует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

— С коня долой! — командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность — все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музыкальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы человека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чувовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувыдаемой красотой: так в состоянии творить только одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями,— настоящее лесное мужичье.

По мысам, заливному лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина — эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распутившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди — горькая осипа с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь ра-

стительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел,— объяснял Савоська.— Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет полоса огороженных покосов, и опять лес и лес, без конца краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Камешке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

— Скоро шабаш, видно, Утке-то,— говорил Савоська, поглядывая на пристань.

— А что?

— А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

— По железной дороге дорожке будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

— Дорожке-то оно дорожке, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить — вот оно что! И теперь поднимают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой побились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

— Полтора ста тысяч бревен!

— Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку — самый кондовый, первый сорт! Ну, те-

перь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистоцимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьяпских заводов. Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливают вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается, крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой, и барки летят мимо при-

стани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

— На что в межель — и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, — объяснял Савоська. — Того гляди выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Диминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, — от него и произошло настоящее селение Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

— Что так? — спрашивал я Савоську.

— Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову.

— Разве здесь грабят бурлаков?

— Нет, не слышно... А так, пронес господь — и слава богу. Одним словом, не баское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует¹. Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел — дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, — прибавил Савоська, — мало ли зря люди болтают про допрежние времена...

¹ З а л о б у е т — убьет. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Немного пониже деревни Пермяковой мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были спесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Попоспые были сорваны. Спастью она была прикреплена к берегу,— очевидно, это па скору руку устроили косые, бурлаков не было видно на берегу.

— Где же рабочие? — спрашивал я.

— Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должен быть, во всяком случае, у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудица-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

— Чьих вы будете? — крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

— С людьми несчастиев, значит, не было на убившей барке,— проговорил Савоська в раздумье.

— Отчего ты так думаешь?

— Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пшеницей была, она как ударилась в боец— не ко дну сейчас, а поманеньку и отползла от бойца-то. Это не то, что вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась, а эта хошь на одном боку да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастера нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

— Мотросит...— проговорил он, выставляя руку под накрапывавший мелкий дождь.

— А что?

— Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваются в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

— А где будем хвататься? — спрашивал я.

— Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковым успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет,— с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддержать корму». — Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писаный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати сажнях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу стоит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец, Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажень высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронесли над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый шаг за шагом

может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько предупредительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхождению каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась — недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет, — первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в готовом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географиях Уст.-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и наконец застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой — нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробилась себе дорогу Чусовая, де-

лая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любит этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые осадочные образования, как результат работы могучей горной реки и атмосферических деятелей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Уралу, как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью реки Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перешел в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка, — и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить, что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами Сибирской у крайны были голутвенные и обнищавшие русские людишки, а Ермак шел уже по проторенной новгородскими ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украинам, этим предо-

хранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составлявшем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю толстые столбы, за которые удобно было крепить снасть. Широкое плёсо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы схватиться, — объяснял Савоська. — Да видишь, под самым Кыном перебор сумнительный... Он бы и ничего, переборот, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном выворотило. Силища несосветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка — одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть — то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый момент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический момент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка вовремя облил его водой из ведерка.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська. — С коня долой...

Все спяли шапки и помолились на восток.

— Спасибо, братцы! — коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

— Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится, как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кравченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

— А я, у тебя, Порша, беспременно сдую штыку, — шутил Исачка во время осмотра. — Верно тебе говорю...

— Без тебя знаю, что сдуешь, — стонал Порша. Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шуткам и забойным островам не было конца. «У нас Порша вроде как куриц теперь щупает», — острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

— Ну, ты и так еле ноги волочишь, — проговорил Порша, махнув рукой. — Ступай себе с богом...

Появился Осип Иваныч. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

— Где это вы все время были? — спрашивал я его.

— Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень¹ ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

¹ П о р у б е н ь — борт. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Все благополучно, Осип Иваныч... Только вот кабы дождичек не подгадил дела.

— Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни покрышки!..

— Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас паводок в камнях, не успеем выбежать...

— Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом или коньяком? — обратился ко мне Осип Иваныч.

— Все равно, только поскорее чего-нибудь горяченького...

— Ха-ха... Видно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю и всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двоих было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводить не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголки и вместе шито на живую нитку. Савоська при помощи досок устроил между скамейками импровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колбаса, балык, сыр и так далее.

— Савоська! Выпьешь для первого привала? — спрашивал Осип Иваныч, наливая серебряный стаканчик.

— Нет, ослобоните, Осип Иваныч... Не могу теперь.

— В Перми наводить будешь? Ха-ха!

— Уж как доведется, — скромно отвечал Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдец. Осип Иваныч усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

— Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами ипил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай «с господами». Осип Иваныч был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

— Самая собачья наша должность, — хрипел он, дымя папироской. — Хуже каторги... А привычка — что по-

делаете! Ждешь не дождешься этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

— Точно так, Осип Иваныч...

— То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик. Ну, кто у тебя на барке плавает? — уже шутливо спрашивал он.

— Да так, всякого народу довольно...

— И Даренка плавает? Знаю, знаю... Сорока на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плавает одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

— Вы уж меня извините, голубчик,— обратился ко мне Осип Иваныч: — живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

— Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иваныч,— почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх доньшком.

— А нам на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в могиле, только время от времени вырывались из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варилась каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

— Опарашим по стаканчику? — говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост, Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу била жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над самым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцамь. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

— Садитесь к огоньку, — предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

— Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем, — глухо заговорил мастеровой. — Он на Чусовой разбойничал...

— А давно это было?

— Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить — только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там его не удержишь: как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рассказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и отведет...

— Как глаза отведет?

— Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда — а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнооб-

разными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Мужичья фантазия, как и фантазия привилегированных человек, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

— Нездоровится? — спрашивал будущий дьякон.

— Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

— А семья у тебя есть?

— Как же... Ребяенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет — и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной, где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а вместо работников выходит два едока. В допрежние времена всем калекам и не способным к тяжелой работе было место: кого куда рас-суют, а ноне другие порядки: извелся на работе — и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

— Это вроде как у нас тоже, — вставил свое слово будущий дьякон. — У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

— Лучше было, что говорить! — повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь. — Знамо, что лучше... Как уж и жить будем! Тоже не от сладкого, поди, житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

— А я к дождю-то больно разнемогся вечер, — прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат

около шеи. — Вишь, как частит!.. Другие в мокре стоят — ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем остроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он немного смутился, а потом проговорил:

— Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как сквозь решето.

— Рано завтра отвалит караван?

— А кто его знает? Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

— На два вершка воды прибыло в Чусовой, — заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. — Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просыпался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани. В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, неприютный север, где все точно придавлено. Караван кыновский успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почерневших от дождя.

— На пол-аршина вода прибыла за ночь, — как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

— Опасно?

— Середка на половине... А та беда, что дождик-то не унимается. Речонки больно подпирают Чусовую с бо-

ков: так разыгрались, что на поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движением головы показав на барку Пашки, которая теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вытянулись, пропитанные водой лохмотья глядели еще жалче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, которая облепила его тело мокрой тряпицей; Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченкой и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так, значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубчики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень-колоду.

— Три аршина три четверти! — крикнул Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно готовясь вступить в рукопашную с невидимым врагом.

Прибывшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

— Нос налево! Постарайтесь, родимые! — кричал Савоська, стараясь взглянуть в мутную даль. — Голубчики, поддержи корму! Сильно-гораздо поддержи!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню; несколько досок были сорваны, как соломинки.

— Барка убившая... — услышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды.

Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками причаливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек — это были утопающие, которых стремительным течением неудержимо несло вниз.

— Наша каменная барка... Гордей плыл,— проговорил Савоська, всматриваясь в тонувшую барку.— Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загоразживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!! — не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рассмотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

— Как же они остались там? — спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

Ничего, косные сплмут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на правой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на

«целó» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий-Камень. Если сплавщик побойтса Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором — Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий-Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в четырнадцати, — в счет нейдут.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправляется казенное железо, вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа. Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и труппам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных *Ampelexus multiplex*, *Fenestella Veneris*, *Chonetes sarcinulata*¹ и так далее, а от вогул останется только смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на мно-

¹ Названия вымерших пород моллюсков (лат.).

жество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтора верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв. Даже Савоська верил в чудеса Ермака.

— Пять!.. — кричал Порша, прикидывая своей наметкой. — Ох, подымает вода!..

— Придется сделать хватку, — говорил Савоська. — Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься...

— Опасно дальше плыть?

— Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка, — прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

— А что?

— Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшные бойцы стоят!..

— Молоков?

— Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату, сплавщику, настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило — тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

— Братцы, утопленник плывет... утопленник! — крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

— Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел,— заметил Савоська, оглядываясь назад, где колыхалась в волнах темная масса.— Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мулыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

— Нет, придется схватиться,— решил Савоська, поглядывая на серое небо.— Порша! Приготовь снасть!.. Вон Лупан тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

— Двоих выдернули,— объявил Бубнов, когда лодка причаливала к барке.— Одного я схватил прямо за волосья, а он еще карячится, отбивается... Осатанел, как заглотнул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произшла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

— Руби снасть! — скомандовал Савоська Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертво и петлей был

закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливание водой, загорелось огнем.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

— Отчего ты не выпустил каната совсем? — спрашивал я Поршу. — Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

— А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое — мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе — она от воды скользкая делается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно ушедшую воду и даром потраченное время на стоянку.

— Пять аршин с вершком выше межени, — проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

— Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, — разрешил все недоуменья Бубнов. — Простойм долго...

— Типун тебе на язык, Исачка!

— Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

— Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

— Должен быть беспременно... На Чусовой да водки не найти — дудки!.. Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка...

— Всего двенадцать верст, — заметил Савоська, — и

на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы¹.

— Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом — того, как подопьют — из одной закатывают, как и мы грешные. Куды нас деть-то: грешны, да божьи.

— У меня не разбродиться по берегу,— говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку,— а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

— А как насчет харчу?

— Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

— Ну, уж это тоже на воде вилами писано,— ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая картина, что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

— У святых угодников еще меньше нашего одежды было, да не хуже нашего жили,— утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не хватало инструмента, а к Порше и приступить было нельзя. Кое-как бабы упростили его пустить их обсушиться под палубы.

— Пусти их в самом-то деле, Порша,— просил вме-

¹ На Урале раскольников иногда называют двоеданами. Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать. Раскольников также называют и кержаками, как выходцев с реки Керженеца. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

сте с другими Савоська.— Не околевать же им.. Тоже живая душа, хоть баба.

— А у меня курятник, что ли, барка-то? — ругался Порша.

— Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся,— острил кто-то.

— Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только Осип Иванович придет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!

— Перестань божиться-то, Порша! Неровен час — подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было что-нибудь разобрать.

— Лодку у них унесло водой,— догадался Савоська.— Эй, братцы, кто побойчее — в лодку да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-как уговорили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.

— Постарайтесь, братцы! — кричал Савоська вслед.— Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убились барка-то...

— Успеем! — отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

— Молодцевато плывут! — полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой.— Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.

Пришел Лупан.

— Больно не ладно, Савостьян Максимыч,— проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

— На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и якшался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

— Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай,— рассуждал старик.— А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу спились, бабы балуются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

— А как же, дедушко, по деревням люди божи маются еще хуже нашего? — спрашивал Порша, любивший пополоскать свою трéбушину кипяченой водой.— Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

— Там своя причина! Земляной горох¹ стали есть — ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен!

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное мирозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее взглянуться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

— А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? — спрашивал Савоська.— Вода не страшна, да народ-то взбеленится... Наши пристанские да мастерки-то останутся,— только дай им поденную плату,— а вот крестьянишки — те беспрерменно разбегутся.

— Уйдут,— соглашался Лупан.— Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальник на носу... Уйдут!

— Как же мы останемся без бурлаков? — спрашивал я.

— Да уж, видно, так, как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пикан-

¹ Раскольники называют картофель земляным горохом. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

— А... бунт!! — зарычал Осип Иваныч, меряя глазами собравшуюся толпу.— Ах мошенники, протобестии!

— Бялеты, Осип Иваныч... Нам ждть не доводится! — слышались нерешительные голоса в толпе.

— Что-о??. Как?!.— взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов.— Почему... а?!. Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, и Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думшка. Гроза еще только собиралась.

— Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут!— ругался в каюте Осип Иваныч.— Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали — все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут. Знают варнаки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

— Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? — спрашивал я.

— Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

— Да ведь долго будет ждть. Вода успеет уйти за это время...

— И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а па людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об пашу убитую барку другая убилась... Понимаете, как на Пасхе яйцами ребятишки бьются: чик — и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» го-

ловы, он в каждом деле прежде всего видел свое «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вечеру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.

— Где вы, черти, пропадали? — накинулся на них Порша.

— На хватке были...

— А шары-то где палили?

— Говорят, на хватке...

— Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?..

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

— Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

— Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

— А ты благодари бога, что снасть тебе в целостности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

— Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

— Порша, мотри!

— Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

— Шкурку променял на водку, а тут и закуска, — отшучивался Исачка. — Только бы Осип Иваныч не узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, контракт, пачпорты в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой — до Еремея оставалось всего

«два дни». «Выворотиться» — было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности — о харчах. В самом деле, не еловую же кору глотать, сидя на пустом берегу.

— Вам поденные будут платить,— говорил я старикку Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

— По контракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

— Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

— И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!.. Одна битва нашему брату, а тут еще господь погоды вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

— Слышал.

— Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь, парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься¹ к отвалу. . Плачет, когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

— А ваша артель не выворотится, Силантий?

— Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

— Этого никто не знает.

— Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.

— Ведь убежали! — встретил он меня.

¹ О к л е м а т ь с я — поправиться. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— Кто убежал?

— Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, борода клинышком: он всю артель за собой увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

— Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?

— Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

— Силантием, Осип Иванович. У носового поносного робил с артелью.

— Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела наконец и «выворотилась».

— Шесть аршин над меженью! — крикнул Порша, меряя воду.

— Не может быть? Ты не умеешь мерять... — усомнился Осип Иванович, выхватывая наметку из рук Порши.

— Как вам будет угодно, Осип Иванович... — обиделся водолив. — Уж если я не умею воду мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иванович!..

— Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

— Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иванович. — докладывал Савоська. — Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

XV

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это был двигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым верхком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по высокой — пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия

сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все по-прежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя: спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти — не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, можно было попасть, но тяжело было возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов — и тот отказывался от поездки в деревню, хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иванович больше не показывался к нам на барку.

— Где он пропадает? — спрашивал я у Савоськи.

— У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плёшничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

— Уж куда эта нехристь торопится — ума не приложу! — ругался Порша. — Крестьянин — тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой.

Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка — и та жевала какую-то позёмну, вероятно свалившуюся к ней прямо с неба.

— И откуда у них что берется? — удивлялся Порша. — Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

— Ты на штыки-то смотри, Порша, — советовал Савоська. — Бабы — они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

— Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовало тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составиля некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

— Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, — уверял Порша. — Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидел, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

— Ты что тут делаешь? — закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из

воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

— Ах ты, паскуда! Ах, шельма! — вопил Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. — Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрепчин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

— Задувай ее, курву, Порша! — крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

— Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! — поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения. — А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плёха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши комом летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.

— Что вы тут делаете? — спрашивал он.

— Порша Маришку учит, — обязательно объяснял кто-то.

— Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! — кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

— Она штыку украла! — хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

— Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

— Я... я... она украла штыку... — повторял Порша. — Запирается...

— А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:

— Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!.. Я — шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

— Кто тебя научил, говори? — допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.

— Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

— Гришка с Бубновым идут! — послышался шепот.

— Ну, ступай, черт с тобой! — заканчивает свой суд Савоська. — Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем...

— Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! — просит чей-то голос. — Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатила по земле, как выброшенный из окна щенок.

— Наливай ее! — поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. — Ишь, притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть толь-

но один раз, когда на улице стоя собач грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

— За что он ее бьет? — спрашивал я. — Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

— Да ведь она жена ему, Гришке-то? — удивился мужик.

— Ну так что из этого, что «жена»?

— Жена — значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки — наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стажена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

— Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? — допрашивал Осип Иваныч Исачку.

— Да что тут рассказывать-то, Осип Иваныч, — хвастливо отвечал Бубнов. — Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченкой, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спускала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

— Значит, Маришка только вам помогала?

— Выходит, видно, так, — соглашался Бубнов.

— Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избивали?

— Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

— Уж я спустил бы им три шкуры, — ругался Осип

Иваныч,— да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

— Я до твоей милости, Осип Иваныч.

— Ну, чего тебе?

— Да вот мы с Гришкой да с Кравченкой пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

— Ну?

— Уж лучше прикажи лычагами наказать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на высидку, тебе от этого не легче будет.

— А как Порша?

— Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили порку тут же на палубе. Всем троим было дано по десяти лычаг.

— Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!..— кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма.— А то всех к черту!..

— А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч,— говорил Бубнов, поправляя рубаху.— Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

— С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканалы...

Этот невинный эпизод неудавшегося воровства точно послужил сигналом для погоды, которая наконец заметно начала разгуливаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

— Только подождем, как вода спадет на пять аршин, сейчас побежим,— говорил Савоська.— Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

— Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

— Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владай.

Всеми овладело вполне понятное нетерпение, когда вода наконец пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали разворачиваться почки на березе. Только серые тучи по-прежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недоставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

— Под Высоким-Камнем, сказывают, шесть барок убивших, — рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке. — Да под Печкой две... Страсть господня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся.

— Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! — слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

— Двух смертей не будет, одной не миновать...

— В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

— Уж известно: все от господя. Обнаковенно...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое столетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить, от каких причин произошли крушения и обмеле-

ния в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь — от тесноты, пятнадцать — вследствие столкновения судов между собой, пять — при причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с барками. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаем,— говорил Савоська утром шестого дня.

— А сколько над меженью воды стоит?

— Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

— На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вечор заказали, чтобы все было готово к отвалу.

— А сколько народу у нас на барке?

— Человек с сорок пять наберется — не наберется.

— Мало...

— Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была сидеть у моря и

ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли — и мы уплывем, а как уплывем — это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастеровыми, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но велик русский «авось» на воде, может быть даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стали нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут и мы.

— Ну, братцы, теперь будет работы досыта,— говорил Савоська бурлакам.— Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создавало массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами поставили голубой шатер, затканый всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебристыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один багровый пузырь, начинивший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекавшей брови.

— Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки,— пожалел Савоська несчастную Маришку.— Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мерт-

вым движением перекачивалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачиваний.

— Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойничка» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнеслись к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойничков».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже «отурился», а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало несколько «упокойничков» и так далее.

— Вот и Кумыш! — слышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избышки и только покачал головой.

— Ни единой живой души во всей деревне нет, — проговорил он.

— На сплав ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

— С коня долой! — скомандовал Савоська, когда издали слышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались усердные кресты. На-

род молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое — и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

— Постарайтесь, братцы... Нос налево! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковым и Разбойником, как под Печкой и Высоким-Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов, и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковым представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, реко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковым заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковым в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения вовремя перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роко-

вая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение — и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоростью.

— Три убившихся барки... — прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу боец. — И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой, Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дружной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны, и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильнее. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська застыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в клочущую гряду майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь,

как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погребено, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страшной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии каких-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу поднимаются по реке клочья пены. Впереди две искверканые массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдельные кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

— Ох, Пашка не ладно отработывает от камня!.. — как-то застонал Савоська, оглядываясь назад. — Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бегает по палубе водолив со своей наметкой. Попосные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

— Шабаш, под Разбойником зарежет барку! — говорит Савоська, махнув рукой. — Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют других сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две версты промелькнули в пять минут, а впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который поднимает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

— Похаживай, молодцы! — покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вернулись из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: бар-

ка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

— О чужую убившую барку Лупан убился,— объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боек и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спастись вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливают водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убитых здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро промелькнула мимо нас, оставя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачивали на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати. Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

— Вон Пашка летит на боек...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась

какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползала под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасти погибающих.

— Эка страсть, милостивой господь,— шепчет кто-то в ужасе.— Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

XVII

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического *chaîr à boîetz*¹...

— Одначе здорово нонче Чусовая играет! — говорит Бубнов, работавший под Молоковым и Разбойником за десятерых. — Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли камепские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

— Сила не берет.

¹ бойцового мяса (*фр.*).

— Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковым страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

— Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы,— передает Даренка своей подруге Оксе.

— Одип?

— Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горно-заводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса — с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попало несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чегенями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти — шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке — крайне тяжелая и опасная.

— Нам здесь хуже, чем в камнях,— объяснял Бубнов.— Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залеала на огрудок — проваландаетесь дня три в воде. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчет водки здесь свободно...

— Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит... Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одном месте, где Чусовая особенно широко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

— Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! — улыбнулся Савоська, поглядывая на берег.— Ишь, как разбирает!

Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камнем.

— Зачем бурлаки смеются над мальчиком? — спросил я.

— Это над парнишком-то?.. А то и смеются, что больно хорошо песню задувает... Ишь какой доплыл!.. Много из по весне здесь распеваает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

— Ну, а парнишка тут при чем?

— Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка оцелеет... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо — не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены... Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей.

— Вот те Христос, своим глазом видел! — божился Губнов. — Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси... «Пиканники», те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все «пиканники» пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

— Который бог вымочил, тот и высушил, — говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

— Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? — спрашивал я у Савоськи.

— У нас один приказчик э-ту тоже поплыл было с картой, — отвечал Савоська, — да в остожье¹ и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

— Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его называли «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

— А тебе черт ли не велел держать правее? — оправдывался рыжий сплавщик. — За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

— Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана!.. — завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

— Чего тут думать: думай не думай, а надо запускать неволю, — решил Бубнов. — Вот мы с Кравченкой и пойдем разогревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска, длиной сажень в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволей при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

— Надо бы подождать косных, — говорил Савоська, — да кабы долго ждать не пришлось...

— Где их ждать! — кричал Бубнов. — Они провалятся с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

¹ Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обычно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и таким образом загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

— Всдь черт его знал, что он тут сидит! — рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. — Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковым, а тут за лягушку запнулись.

— Все чистенько бежали, а тут грех вои где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе — необходимо иметь известную споровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Крав-

ченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходявшего на струю, было нелегкой задачей; неволя под ногами Кравченко колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.

— Готово! — крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и угсваривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

— Мотри, не пожалей после, — говорил Савоська. — Твое дело не обычное, как раз замерзнешь... Вода вешняя, терпкая.

— Ничего, как-нибудь! — говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У попосных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке — величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...», и громкое эхо далеко-далеко покатилося по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченкой поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

— Ишшо разик, навались, робя!! — неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. — Идет барка...

— Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся

лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из заочечневших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крестились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

— Околевать нам, что ли, в воде?.. — отозвался первым пожилой мужик с длинным изрытым оспой лицом. — И то умаялись за день-то...

— Братцы! Еще разик ударьте! — упрашивал Савоська. — По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омететь.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

— Валяй по другому, Порша! — скомандовал Савоська, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатила по реке, по барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.

— Ну, шабаш, ребятки! — проговорил Савоська. — Утро вечера мудренее. Что буди — будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

— О-го-го-го!.. — гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

— Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и порток с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.

— Отчего нет огня на берегу? — спрашивал я у Савоськи.

— Погоди, бабы разведут... Вдруг-го нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас... Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства, как ром и коньяк.

— Зачем вы не остались у поносного? — спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

— Совестно было... Засмеют бурлаки.

— А теперь как себя чувствуете?

— Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки — трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

— Вода на вершок спала... — со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на орудке.

— Что будем делать? — спрашивал я Савоську.

— Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

— А отчего не хочешь сделать разгрузку?

— Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько

толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом — настоящий праздник.

— Ворот надо налаживать! — кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. — Околели совсем...

— Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накиннулся на силащика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

— Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!! — неистовствовал он в качестве предержавшей власти. — Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?.. Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

— Мы ворот наладили, Осип Иваныч, — заметил Савоська.

— Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.

— Поедемте в Верею! — предлагал он мне. — Отлично кутнем... Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы наконец снялись с державшего нас орудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются

поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как в камнях. В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же зауридным явлением, как в камнях «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть в камнях, чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других,— одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Иадали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него, с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу реки Мулянки,— впадает в Каму ниже Перми,— где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская епархии (1379—1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою папшню для устроенного мона-

стыря, он стал сжигать пни и корни деревьев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажень.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне покотился угодник божий. Но господь, сохраняющий *пришельцы* (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение; однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынные, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь — самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около Перми весь берег сплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получает в Перми окончательный расчет и спешит пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше — бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурлачина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по себе Черный рынок, как вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полу-сгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинками во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшвеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревевшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки — все это красноречивее всяких описаний говорило за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» — с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение восьмимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа — мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наестся вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом — это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

— Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками, — предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной стороне рынка, ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с наложенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал замечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное *с*. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель — все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет от хозяев и теперь благодумствовали в свою вольную-волюшку. Красные лица и покрытые маслянистой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и *чаихи*.

— Расчет, видно, получили? — спросил я Савоську, усаживаясь к столику.

— Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат... Ей-богу!.. Вот хоть у Степаньки спроси...

— Удержатся, не удержатся до послезавтра, — ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

— Нет, я как зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остаточные деньги все домой понесу...

— Больно много, пожалуй, не донесешь...

— Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хоть сейчас иксну со стены сниму... А вы, барин, видели Осипато Иваныча нашего?

— Нет.

— Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и такую компанию завели — разлитое море. Всякого водкой накачивает, только пей. Я, грешный человек, впервой решил у него: ошарашил-таки стаканчика три. Водка не

водка, а такое вино забористое... Любит попить наш Осип Иваныч!

— Да ведь нужны деньги, чтобы попить?

— На-вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разве Осип-то Иваныч без рук или без глаз! Он каждый раз уйму денег заворачивает со сплавом...

— Кажется, жалованье у него небольшое?

— Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разве караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

— Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней, — продолжал Савоська: — все та же материя... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа — им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, а поди усчитай-ка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно! Ведь теперь омелевшую барку надо сымать, надо людей — вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают — ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды — опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут, — с кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли из-за воды, рабочим должны поденное платить — опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги — как внешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недодал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал — опять тебе прибыль... Так? А разве бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покупками, а сам все пил стакан за стаканом невообразимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

— Ты бы уж лучше водку пил! — посоветовал я ему.

— Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй,

душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашей с лестницы спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других домá как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

— Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

— Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными наливками, лица сделались еще краснее и покрылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

— А ты любишь песни, барин?..— неожиданно спросил Савоська, точно просыпаясь.

— Люблю. А что?

— Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак ¹ я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савоська поет...

Приложив руку к щеке, Савоська затаил богатейшим грудным тенором:

Ох, с по горам-горам,
Да с по высокоем —
Там молодец гулял...

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно вылилась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказывалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколотной змеей сосет сердце. Вся эта окружающая нас

¹ М а с т а к — мастер. (Примеч. Д. Ш. Мамина-Сибиряка.)

грязь, эти потные пьяные лица — все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света...

— Да откуда ты, леший тебя задери? — спрашивал мужик с встрепанной головой, начиная трясти Савоську за плечо. — Этакой черт... А?..

— Нет, не могу больше... — глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню. — А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандаловой наливки.

— А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин... — заговорил он, точно стараясь что-то припомнить. — Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододвинувшись ко мне, проговорил сдержанным полупшепотом:

— А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей делался?

— Нет.

— Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! — тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

— Как порешил?

— Да так: взял обух, да живого человека и давай крошить... Верно!.. Только давно это было, годов с двадцать тому время быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомяну хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил плавать на барке. У нас весь род сплавщики. Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя, Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только характером этот Селифон был очень уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед Пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку к дяде. Делишко маленькое было. У нас в допрежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно, что отру-

бил. Поехал я на Утку, прездежаю, сделал, что наказывал отец,— надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на Пасху...» Ну, я было туда-сюда,— нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось — дядю-то Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла Пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да старушки у нас все справляют, что следует. Хорошо. Вот на первый день Пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следует по порядку, а тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожёг первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткыны-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как матерый волчище, а сам опять свое: «Надо позвать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах,— продолжал Савоська.— Я о нем раньше-то слыхивал много, а видеть не видывал. Федька-то был с ... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за барином жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девушка, а приказчик взял ее себе в плёхи силком. Тогда ведь этакие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и прожи-

вал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристаносодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначально жил, как следовало, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отвориай ворота!» Отворили. «Не хочу, разбирай забор!» Помнутся, помнутся, поругаются, а делать нечего — и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож вострый: Федьку-то он примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника — это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

— Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах — чистяк-парень, одно слово. Высокой, в крыльцах широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему подносит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет Федьку по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька — куды тебе! — как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могущий из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как

увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу растервенился, да как брошусь в кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню, как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо, — в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, барин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом — так Федька и покатился по земле...

— Воротился я после этого самого случая домой, — продолжал Савоська. — Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазило Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и забыл об ём, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла — еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любитесь... Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы прожили, уж мальчонка-сыннишка у меня стал подрастать... Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть — как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку — и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя наложить: больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие делают, — ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» — «Нигде у меня не болит», — ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожжет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилица я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на

ум... Ну, покался я Аннушке в своем грехе, усмехнулась она и говорит: «Это за него меня господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в кабак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предо мной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подавание посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жёну у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду. Старики-то которые да старухи и осудят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе-горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

— Ходил я к одному старцу, советовался с ним... — глухо заговорил Савоська. — Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости... Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, покуда ты наказание не примешь... Ступай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды поне милостивы стали — пожалуй, без наказания меня совсем оставят... Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в ...ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидировала свои дела, заплатив своим акционерам по пять копеек за рубль.

ЗОЛОТАЯ НОЧЬ

Из рассказов о золоте

I

— Ну, а я за вами...— говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату.— Одевайтесь и едем.

— Куда?

— Говорю: одевайтесь... У меня и лошадь у ворот стоит.

Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному: в высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая широкоплечая фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а широкое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрелой кожей свидетельствовало о вечных странствованиях по лесам и болотам, несмотря ни на какую погоду. Окладистая, подстриженная русая борода, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той хитрости и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные сибяряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал, и постоянно размахивал своими короткими, жирными руками.

— Ну, что же вы еще стоите? Говорю русским языком: лошадь за воротами стоит...

— Куда же ехать-то?

— А какое у нас сегодня число? Двадцать седьмое апреля... Так? А через три дня что у нас будет? Не догадываетесь?

— Первое мая будет... но из этого еще ничего не следует.

— Ах, боже мой, да где же это вы живете? На луне, вероятно... Весь город ждет этого первого мая, как Христова дня, а вы вот тут сидите да мух ловите. Говорю: одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу...

— На заявку?

— Наконец-то догадались... Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая и не дожидаться.

— А далеко ехать?

— Ну, верст сто с хвостиком будет... на Причинку покатым, да!.. Небось слышали уж о такой речке? Да, золото руками бери... Турфов всего пол-аршина вскрывать. Говорю: богатство!..

В подтверждение своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай являлся тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной Пятачковой даче, про которую давно ходили слухи, как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в своего рода Эльдorado.

— Кстати, захватите с собой ружье — отличная тяга, — предупреждал меня Флегонт Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку. — Сплошной лес на шестьдесят верст. Лосей видимо-невидимо... Одним словом, прокатимся в свое удовольствие, а лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке.

Мои сборы были непродолжительны, благо лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегонт Флегонтович озаботился заранее. Оставалось захватить кожан, на случай дождя, да ружье.

— А как погода, Флегонт Флегонтович? — спросил я, набивая походную сумку папиросами.

— В лучшем виде: тихо и ясно по барометру... Может, утренничек прихватит, ну, да это пустяки. А какие теперь ночи в лесу — роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на Причинке-то... Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привычное. Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе. Уж этот мне ваш город...

У ворот нас дожидалась пара гнедых «киргизов», заложенных в коробок. Кучер Вахромей сидел на козлах в широком татарском азяме и в триповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид Вахромейю можно было дать лет пятьдесят: сторбленный, худой, с черной, как у жука, головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса — воронова крыла; словом, он являлся вырождением в славянской семье. Про таких черных вырождений говорят, что их «цыгане потеряли». По характеру Вахромей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век бог знает что думают себе под нос.

— Эх, лихо прокатимся,— проговорил Флегонт Флегонтович, грустно влезая в коробок.— Вон погоды-то какое стоит...

Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шартатскому озеру. Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на купеческую руку.

— Вон как у нас золото-то подымает людей,— проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в голосе.— Из грязи да прямо в князи так и лезем... Поторапливай, Вахромей, нам еще засветло нужно поспеть в Сосунки.

Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.

II

Екатеринбург — бойкий промышленный город уже сибирского склада. Здесь нет чиновничества, как в других городах, дворянство не играет никакой роли, зато всем во-

рочают промышленники. Последнее особенно заметно по характеру построек: на каждом шагу так и лезут в глаза хоромы екатеринбургского «обстоятельного» купечества и целые дворцы разных воротил по части спирта, хлебной торговли, сала и разной другой благодати. Там и сям поднимаются новые постройки и всё в том же неизменно-купеческом духе. Барина совсем не видно, за исключением двух-трех адвокатов да банковских дельцов, но и те начинают жить на купеческую руку, плотно и с расчетом. Сибирь не знала крепостного права, и настоящие «господа» попадают туда только в качестве администраторов, на особых основаниях или по независящим обстоятельствам. Во всяком случае, вся Сибирь — промышленная, купеческая сторона, и Екатеринбург является ее первым аванпостом.

Наш коробок катился мимо богатых церквей, потом обогнул старый гостиный двор и по широкой плотине, с которой открывается почти швейцарский вид на загородные дачи, перебрался на другой берег довольно широкой реки Исети. С горки, от здания окружного суда, вид на город почти необыкновенный, в смысле «настоящей» Европы: широкий пруд окаймлен гранитной набережной; в глубине его тонут в густой зелени дачи, прямо — красивый собор, направо — массивное здание классической гимназии, налево — целый ряд зданий с колоннадами — это помещение горного правления. Сейчас же под плотинной пустою корпусу упраздненного монетного двора и гранитной фабрики. Здание окружного суда в вычурном мавританско-готическом стиле. Впереди довольно порядочный бульвар, здание городского театра, магазины и т. д. Словом, бойкий и веселый город, в котором жизнь бьет ключом. Было часа два пополудни, и нам навстречу попадались то и дело городские экипажи, извозчичьи дрожки, простые телеги и роспуски; по тротуарам сновал бойкий городской люд, спешивший по своим делам. Флегонт Флегонтович несколько раз раскланивался направо и налево и непременно комментировал каждую встречу.

— Видели на серой в яблоках? — шепотом спрашивал он. — Тоже на Причинку метит, да шалишь, не надуешь... Ха-ха! Это Агашков, Глеб Клементыч, проехал. А давно ли был яко благ, яко наг, яко нет ничего... Много их тут зубы точат на Причинку, только уж извините, господа, вам Флегонта Собакина не провести. Да!.. Будет и на нашей улице праздник... Так ведь?

— Конечно...

— Знаете, я верю в звезду,— заговорил Флегонт Флегонтович, глубже натягивая на голову круглую ратиновую шапочку.— Все игроки суеверны, а наша золотопромышленность самая азартная игра.

— Позвольте с вами не согласиться в этом случае...

— Но ведь я говорю о *настоящих* золотопромышленниках, понимаете, о настоящих... Да. Мало ли нашего брата плутов и мошенников, которые только прикрываются присками. Я, дескать, золотопромышленник, а сам черт знает какими делами занимается. Э, да что тут толковать!.. Надеюсь, мы хорошо понимаем друг друга.

Мы выехали за город. Кругом было голо и желто. Трава еще не думала пробиваться, а березы стояли голыми метелками. Наш коробок мягко катился по укатанной глинистой дороге, забирая в гору. В стороне зеленел сосновый мелкий лесок.

— Стой! — крикнул Флегонт Флегонтович и, как мячик, выскочил из коробка на дорогу.

Спустившись в канаву, он набрал несколько камешков и вернулся с ними в экипаж.

— Вот не угодно ли вам полюбоваться,— торопливо говорил он, рассматривая несколько кусков ноздреватого кварца.— Это что такое, по-вашему? Кварц... Какой кварц? Настоящий золотой кварц... Уверяю вас, что правда. Уж эту музыку мы отлично знаем... Можете быть уверены, что мы сейчас едем по чистому золоту. Ей-богу! Бывает белый кварц, плотный, пу, тот нам не рука, хотя в нем попадаются самородки, а вот такой кварц с ноздринками да со ржавыми натеками — наверняка золото. Да ведь здесь кругом золото, куда ни повернись. Вон в Невьянске или в Верхнейвинске прямо в огородах золото копают...

Флегонт Флегонтович был замечательный человек в том отношении, что являлся представителем чистого искусства; он был тем настоящим золотопромышленником, который, кроме своего золота, ничего не хочет знать. Такими «настоящими» бывают только картежники да пьяницы. Это качество Флегонт Флегонтович ценил в себе и в других выше всего на свете и с этой точки зрения смотрел на целый мир. Записные охотники так же разбирают породистых кровных собак, выражаясь технически: «есть кровь» или «нет крови» в данной единице. Из купеческой

семьи по происхождению, Флегонт Флегонтович выступил на широкое поле золотопромышленности с довольно кругленьким капиталцем, который и закапывал несколько раз и несколько раз возвращал. Образования он никакого не получил, но сильно поошлифовался в пестрой среде золотопромышленников, где немалый процент составляют настоящие образованные люди или просто люди, выдавшие всякие виды.

Преращения, которым подвергался Собакин, были самые удивительные, и он то не имел гроша за душой, то катался на паре наотлет, что у нас служит самым верным признаком «дикой» копейки. Как умел он вывертываться в крайних случаях — один бог знает, но Флегонт Флегонтович продолжал верить в свою счастливую звезду и, в случае возникавших сомнений, постоянно указывал на примеры разбогатевших золотопромышленников, которых на Урале не занимать стать. Эта вера в свои силы являлась самой надежной опорой в тревожной жизни Собакина, который на свое настоящее всегда смотрел как-то сверху, как только на переходное состояние, за которым уже должно последовать настоящее житье. Мало ли людей на всевозможных поприщах утешаются подобными иллюзиями и совершенно несбыточными мечтами, но они уже счастливы преисполняющей их энергией. Как за всеми отпетыми игроками, за Собакиным водились особенности: чем дела его были хуже, тем по наружному виду он казался спокойнее и веселее и просто сыпал самыми смелыми проектами и грандиозными надеждами. В настоящем случае, слушая рассказы Флегонта Флегонтовича о неистощимых сокровищах реки Причинки, я был уверен, что у него не было ни гроша за душой и он ставил ребром последнюю копейку. Это предположение совершенно оправдалось, когда мы разговорились о прошлом годе.

— Прошло лето я на севере работал, — рассказывал Собакин таким тоном, точно он заговорил о постороннем лице. — Далек, за Богословскими заводами... Вот сторонка, скажу я вам! Особенно одолевали комары — житья от них нет, от проклятых. Если бы кто посмотрел на нас на работе — смех, точно маскарад какой... Ей-богу! У рабочих котелки с куревом за поясом, на рожках просмоленные сетки, а мы щеголяли в такой штуке, что и сказать смешно: сделаешь из картону круглую коробку, проковыряешь в ней две дырочки, на голову наденешь, да так

чучелом гороховым и бродишь по прииску. Ха-ха... Чисто как в театре! Только уж и тварь же этот комар, ей-богу, в тысячу раз хуже волка или медведя... Ну, работа у нас хорошо пошла, только шахту пришлось глубокую пробивать, а пробили — вода одолела. Откачивать руками воду — сила не берет, а за паровой машиной надо к чертям на кулички ехать, да еще тащить ее по болотам да по топям чуть не на своей спине. Побился-побился и бросил. Признаться сказать, дорогонько мне обошлось это удовольствие — комаров-то кормить, ну, да вот, слава богу, эта самая Причинка подвернулась — все наверстаем. Главное, вот что забавно: хлопчем, бьемся, ищем золото черт знает где, за четыреста, за пятьсот верст, а оно под носом... Вот и поди ты с нашим братом, толкуй!.. В четвертом годе я опять в киргизской степи работал, верст за восемьсот унесло отсюда; ну, золото нашлось, и хорошие знаки, а как лето-то подошло — воды ни капли... Тут уж сжатым воздухом, говорят, нужно работать, а где я его возьму, этот самый сжатый воздух? Так и пришлось бросить... То вода долит, то без воды сидишь.

Относительно Причинки Флегонт Флегонтович питал самые розовые надежды и строил очень широкие планы, причем ссылался на имена очень веских лиц в купеческом мире, обещавших ему свое содействие, помощь, кредит и т. д. Из его слов получался такой вывод, что все предшествовавшие работы были только сплошным рядом всевозможных ошибок, но зато теперь он, Флегонт Собакин, достаточно умудренный тяжелым опытом, будет бить наверняка и уж маху не даст ни в каком случае.

— Одно меня удивляет, — философствовал он, пуская струйки табачного дыма, — как только деньги завелись у тебя, пошли дела на лад, откуда народ берется: тот приятель, другой друг, третий еще лучше того... Некоторые пеняют, зачем к ним за деньгами не обратился, когда нужно было. Один лучше другого... А как пошатнулись делишки, все и отвалит, как от покойника. Ей-богу! Меня лишь то удивляет, как это всё успеют люди пронюхать да разузнать: сидишь в лесу, в труппе, а явишься в город — тут уж все известно, точно они по духу знают. Я не осуждаю, потому все мы люди — человеки, а только очень мне это удивительно кажется. И с другими то же самое...

По широкой заводской дороге мы проехали всего верст пять и затем свернули влево, на какую-то лесную глухую тропу с едва заметным колесным следом.

— Мы напрямки прокатим в деревню Сосунки, — объяснял Флегонт Флегонтович, — а там меня уж дожидается доверенный с партией, а другой доверенный тоже с партией ждет в Причинке. Настоящей дорогою ехать — крюк будет верст в десять, а лесом — рукой подать.

Наша «прямоезжая» дорога бойко вилась по лесистой равнине, постепенно понижавшейся к северу. По сторонам дороги вставал редкий болотный сосняк, изредка попадались островки березняков и смешанный лес; следы хищнической работы человека попадались на каждом шагу, и на месте когда-то вековых вогульских лесов теперь едва сохранились жалкие остатки, точно арьергард разбитой армии. Кое-где и этот жалкий лес совсем редел, образуя широкие лысины — это были свежие поруби, где среди куч не успевшего еще покраснеть хвороста торчали без всякого плана сложенные поленицы веснодельных дров. Близость города с тридцатитысячным населением сказывалась в этой печальной картине разрушения, а там новые порубки и десятки свежих пней и бессильно лежавшие на земле вершины сосен, точно отрубленные головы.

Лес еще стоял на зимнем положении, несмотря на объявленную календарями весну. Ни сосна, ни ель еще не дали свежих побегов, а земля была покрыта прошлогодней высохшей бурой травой, из-под которой только кое-где сочилась вода да изредка пробивались красивые бледно-желтые цветы с зелеными мохнатыми ножками и усиками. В этом мертвом лесе, пожалуй, была своя поэзия, но непривычному человеку как-то становится в нем грустно и тяжело, как в пустом доме, из которого только что вынесли покойника. Даже говорливый и всегда веселый Флегонт Флегонтович заметно притих и, кажется, вздремнул под мерное покачивание нашего гибкого экипажа. Впрочем, он скоро оживился, когда лошади начали спускаться в какой-то лог, по дну которого бурлила мутная речонка. В глинистом берегу было вырыто несколько ям правильной формы, вроде могил; две были совсем свежие, и вырытый песок еще не успел просохнуть, а другие были завалены хворостом.

— Ишь, старатели как землю роют,— любовно заметил Флегонт Флегонтович, опытным глазом рассматривая работу.— Точно свиньи ходили... Все золото ищут. Только и отпетый, скажу я вам, народ и дело свое ух как знают: продадут и выкупят. По всему Уралу таких вот шурфов сколько они в год сделают — миллионы. И найдут золото, уж поверьте мне! Где, кажется, и подумать нельзя, чтобы золоту быть, а старатель выкопал ямочку — глядишь, оно и полезло. Здесь по всем деревням уж такой народ живет, сызмальства около золота ходит. Взять хоть Сосунки, Причину, все деревнюшки по Ключевой и Сулатам да вообще восточный склон Урала до самых степей. И плуты при этом страшные, надо им честь отдать, ну, да мудроно нашего брата и судить — и мы им не пирогами откладываем.

На солнозакате мы выбрались на берег реки Ключевой, которая здесь была очень не широка — сажень пять в некоторых местах; летом ее вброд переезжают. Теперь на ней еще стоял лед, хотя на нем чернели широкие полыньи и от берегов во многих местах шли полосы живой текучей воды. Место было порядочно дикое и глухое, хотя начали попадаться рощисты и покосы; тропа наконец вывела на деревенскую дорогу, по которой мы и въехали в Сосунки, когда все кругом начало тонуть в мутных весенних сумерках.

— Заворачивай прямо к Гавриле Иванычу,— приказывал Флегонт Флегонтович. — Мы у него заночуем.

Сосунки, деревушка дворов в двадцать, не поражала своей внешностью. Покосившиеся избы, дырявые крыши и развалившиеся огороды плохо рекомендовали ее обитателей, известных в городе и окрестностях под сокращенным названием «сосунят». Все отпетый был народ, промышлявший изо дня в день и никогда не знавший, чем будет сыт завтра. Кривая старинная улица, вдоль которой избы рассажались, как гнилые зубы, вывела нас в центр деревни, где коробок и остановился у высокой избы с новыми воротами. На лай собак показались в окне две головы; ворота отворились, и мы въехали во двор, грязный и маленький, с какими-то трухлявыми развалинами вместо служб. Отворивший нам ворота мужик и был сам Гаврила Иванович, плешивый сгорбленный старик в заношенной ситцевой рубахе, в пестрядинных портах и босиком.

— Ну, голова с мозгом, как дела? — спрашивал Флегонт Флегонтович, вылезая из коробка. — Где наши?

— Куда им деваться-то... — как-то нехотя отвечал Гаврила Иванович, моргая подслеповатыми крошечными глазками.

— Небось пьянствуют? Ох, чует мое сердечко, что все они лыка не вяжут, а завтра в поход надо... Утром рано надо, чтобы к обеду успеть в Причину.

— Ничего, продыбаются дорогой, — коротко ответил Гаврила Иванович, поправляя ослабнувший на животе пояс. — Балованный народ ноне пошел, вот и пируют... Чай пить будешь, Флегонт Флегонтыч?

— Конечно, будем чаевать. Пока лошади выстаиваются да пока есть будут, мы еще и выспаться успеем... А где Метелкин?

— Да уж не знаю, как тебе и сказать... пожалуй, сердчать будешь. Солдатка тут есть у нас, ну, у ней и хороводится с нашими сосунками...

— Так и есть, так и есть!.. Ведь я же говорил русским языком, что буду сегодня непременно и чтобы ждали меня... Ах ты, господи, согрешил я с ними!

— Как не ждать, до самых вечерень ждали... Ничего, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь, продыбаются. Дорога тоже не малая, продует...

Лицо у Гаврилы Ивановича было сморщенное и почти коричневое от работы на солнопекке; жиденькая бородка с пробивавшейся сединой украшала нижнюю часть лица какими-то клочьями, точно была усажена болотными кочками. Тонкий нос и свежие ровные зубы являлись на этом старческом лице резкой особенностью и совсем не гармонировали с опустившейся, точно расштанной фигурой. Когда Гаврила Иванович начинал говорить, густые черные брови у него поднимались и лоб покрывался тонкими морщинками. На первый раз старик не внушал к себе особенного доверия, видно было сразу, что этот мужик себе на уме.

— Золотая голова, — коротко отрекомендовал Собакин старика, когда тот отправился собирать гулявшую по деревне партию. — Конечно, пальца в рот не клади, но зато и дело знает так, что комар носу не подточит... Лет пятьдесят золото роет и раза три уж в остроге отсидел за него.

По своему положению Сосунки были глухою лесною деревней, и можно было бы ожидать, что здесь все построй-

ки будут из нового крепкого леса, но не тут-то было — все избы, как на подбор, глядели какими-то старыми грибами, и только в двух-трех местах желтели новые крыши и то из драниц, а не из тесу. Гаврила Иванович придерживался общего распорядка и проживал в очень старой избе, в которой по зимам, наверно, было страшно холодно. О надворных пристройках я уже говорил. В одном углу лежала худая корова и, закрыв глаза, сосредоточенно прожевывала жвачку; у какой-то вросшей по уши в землю амбарушки рвалась на короткой цепи пестрая собачонка. Посредине двора стояла приисковая таратайка — двухколесная тележка с откидным дном. Где перебивалась скотина зимой — я не мог отыскать подходящего места. Перед окном избы лежало два сухих бревна, точно обгрызенных с обоих концов, — такие бревна из сухарника лежали и у других изб и заменяли «сосунятам» поленицы дров. В лесных глухих деревнях, где лес под боком и где, кажется, можно было бы запастись дров вовремя, все существует «от бревна», то есть ребятишки или бабы отгрызут от бревна аршин, расколуют — вот и целое топливо, а назавтра та же история. Между тем эти же «сосунята» поставляют в город ежегодно сотни сажен дров.

Внутренность избы Гаврилы Ивановича являлась как бы продолжением того, что было на дворе, — уж очень было в ней и пусто и голо, точно сюда семья переехала только на время. Для «золотой головы» такая странная обстановка была плохой рекомендацией. Нас встретили за порогом два белоголовых мальчика, которые сейчас же и забрались на полаты. У печки возилась с самоваром, вероятно, сноха Гаврилы Ивановича, молодая, но очень худая женщина с землистым цветом лица; у окна с прялкой сидела какая-то старуха в синем изгребном дубасе и, не торопясь, тянула бесконечную нитку.

— Здравствуй, баушка, — поздоровался Флегонт Флегонтович. — За вашим золотом вот приехал...

— В добрый час, Флегонт Флегонтыч... Наше золото никому не заказано, милый человек. Только вот сосуны-то наши третий день пируют без тебя, и Степка наш тоже.

— Слышал, баушка.

— Вечор жену принял было поленом охаживать, едва отняли бабенку... Это ваше золото самое, Флегонт Флегонтыч, нашей сестре больно дорого приходится: скружились с ним наши-то мужики, совсем скружились...

Когда поспел самовар, в избу вошел Гаврила Иванович; он что-то ворчал про себя и сердито плюнул в сторону.

— Ну что? — коротко спросил Флегонт Флегонтович, ставя на стол налитое чаем блюдечко.

— Не спрашивай... Как тараканы, все по деревне расползлись, способу никакого нет. Ну, и народ... Степушка-то мой увязался за твоим Метелкиным, ну, я ему немножко тово, в затылок насыпал, чтобы помнил отца-то. А он одно мелет: «Тятенька, я рупь за каждый день получаю и могу себя уважить»... Помешался парень на рубле, да и другие тоже. Оно точно, что любопытно рубли-то получать, на боку лежа, вот и спятили все с ума.

— Ох, уж мне эти ваши сосунки! — стонал Флегонт Флегонтович, патетически хватаясь за голову. — Платишь им поденщины по рублю, а они только пьянствуют...

— А по другим местам разве лучше нас? — заступился Гаврила Иванович, подсаживаясь к самовару. — Взять хоть ту же Причину, да эти причинные мужики с кругу спились, потому уж такая рука им подошла: народ так и валит на Причинку, а всем надо партию набирать; ну, цену, слышь, и набавили до двух целковых. У тебя в Причине тоже ведь партия ждет?

— Партия, Гаврила Иваныч... Там мой компаньон Пластунов всем орудует. Не знаю уж, как он там с причинными мужиками поправляется.

— Бог не без милости, Флегонт Флегонтыч...

Все время за чаем разговор продолжался в том же тоне, причем Флегонт Флегонтович сильно волновался, размахивал руками и несколько раз принимался ругаться на чем свет стоит — ругаться в пространство, чтобы только душу отвести. На дворе давно стояла весенняя голубая ночь с высоким молодым месяцем; где-то лаяла собака и слышался смешанный гул пьяных голосов. В нашей избе горел сальный огарок, тускло освещая неприглядную внутренность избы Гаврилы Ивановича: передний угол, оклеенный остатками обоев, с образом суздальской работы; расписной синий стол с самоваром, около которого сидела наша компания; дремавших около печки баб, белевшие на полатях головы ребятишек, закопченный черный потолок, тульское ружье на стенке с развешанным около охотничьим прибором и т. д.

— Ты бы прилег, касатик, на лавочку да соснул ма-

лость...— проговорила старуха, обращаясь ко мне.— Утре рано подымутся.

Мне оставалось только воспользоваться хорошим советом, потому что сон действительно начинал сильно одолевать. Я примостился на лавочку, положив под голову пальто, и скорехонько заснул тяжелым крепким сном, каким спится только в дороге. Пахло чем-то кислым и смазанной дегтем кожей; в дверь постоянно входили и выходили; по стенам и потолку мигали широкие тени; где-то далеко-далеко, точно под землей, пропел петух... Дальше уже все смешалось: Флегонт Флегонтович кого-то опять ругал и несколько раз выскакивал на улицу, кто-то и в чем-то оправдывался слезливым голосом, потом был какой-то шум, точно в избу Гаврилы Ивановича вносили тяжелый рояль.

IV

Рано утром на другой день, еще «на брезгу», мы оставили Сосунки. Весеннее холодное утро заставляло неприятно вздрагивать, и я напрасно кутался в свое осеннее пальто — чисто весенняя изморозь так и пронизывала насквозь, заставляя зубы выделять дробь. Переход из теплой избы на мороз, когда хотелось спать мертвым сном, делал наше путешествие очень неприятным.

— Мы теперь на Причину поедem прямыми дорогами, — объяснял Собакин, отчаянно зевая. — И во времени расчет, да и рабочим меньше соблазна в лесу.

— А далеко будет?

— Да верст сорок с хвостиком...

Ездить прямыми дорогами было слабостью Флегонта Флегонтовича, привыкшего шататься по всевозможным лесным трущобам, и другим оставалось только покориться этой слабости, хотя Гаврилы Иванович, кажется, предпочитал сделать объезд.

Сосунки скоро остались позади с своими гнилыми избушками, и мы поехали вниз по течению Ключевой, по довольно торной дороге, с которой свернули в лес. На облучке нашего коробка, рядом с молчаливым, как пень, Вахромеем, поместился Гаврилы Иванович, надевший толстый чекмень и заношенную баранью шапку. За нами полз маленький обоз с партией, то есть две телеги, из которых

на одной везли провиант и инструменты, а на другой рабочих. Последняя телега представляла самую живописную картину, точно нагружена была телятами: не проспавшиеся со вчерашнего хмеля «сосунята» сидели в самом тяжелом молчании и только в такт попадавшимися выбоинам и кочкам болтали свешенными из-за телеги ногами. Метелкин, неопределенных лет человек, в одном плисовом пиджаке и в ярко-красном шарфе на шее, шагал за телегой по стороне, стараясь согреться ходьбой. Издали я мог прежде всего рассмотреть нетвердую разбитую походку; черная поярковая шляпа открывала бледное чахоточное лицо с черными большими глазами, большим носом и редкой козлиной бородкой. Флегонт Флегонтович по временам оглядывался на своего провинившегося поверенного и улыбался.

— Продыбаются, Флегонт Флегонтыч,— ответил на эту улыбку Гаврила Иванович, тоже наблюдавший наш обоз.— Оно по холодку-то даже вот как преотлично... Вон как Метелкин-то наш задует.

— Ведь вот какой народец,— заговорил Флегонт Флегонтович: — на маковую росинку ничего нельзя верить, хоть того же Метелкина взять... Который год я с ним маюсь, а без него не могу — и привык, да и дело свое он отлично знает.

— Простудится он в одном пиджаке.

— Метелкин-то? Да он в этом пиджаке зимой верст по сорока уходит, а теперь ему что — шутка... Ничего его не берет, такой уж человек. А сосунята-то, нечего сказать, хороши, только головами мотают...

С каждым шагом вперед мы забирались в настоящую лесную пустыню, где не встретишь жилья на расстоянии шестидесяти, даже восьмидесяти верст, за исключением двух-трех лесных кордонов. Лес делался выше, наша дорога превратилась в едва заметную тропу с заросшей колеей. Из лесных пород господствовала сосна, лишь изредка попадались березовые да осиновые гривки. Меня особенно поражало необыкновенное количество попадавшегося в лесу валежника и стоявших листовенных сухарин. Ель совсем не попадалась; хоть на Урале в таких болотистых низменностях обыкновенно растет самый дремучий ельник. Гаврила Иванович объяснил, что в допрежние времена здесь все рос сплошной ельник, а потом был пожар, и после пожара пошла вот сосна да березняки. Громадное ко-

личество валежника объяснялось тоже старым лесным пожаром.

— Дикая сторона была совсем, — пояснил Гаврила Иванович, точно теперь стояла не та же лесная глушь, едва тронутая человеческим жильем.

Пятачкова казенная дача занимает широкую и болотистую низменность в двести тысяч десятин; широким краем она уперлась в речку Ключевую, а к северу вышла неправильным углом. На всем пространстве этой дачи встречается только одна небольшая возвышенность — гора Липовая, что в таком близком соседстве с главной массой Уральского кряжа является очень странным. Обыкновенно все подгорья, особенно восточный склон Урала, усеяны отрогами и гористыми возвышенностями. Пятачкова дача являлась каким-то исключением. Десятки болотистых озер и «озеринок» попадаются на каждом шагу, давая начало десяткам болотистых речонков, которые постепенно сливаются в три главных реки — реку Ключевую и Малый и Большой Сулат. Наделавшая шуму речка Причинка была притоком Большого Сулата в том месте, где он делал широкую петлю на север, а потом круто поворачивал к юго-востоку; на стрелке, где сливались эти реки, стояла деревушка Причина, куда мы теперь ехали. Население Пятачковой дачи, за исключением двух-трех лесных кордонов, жалось по краям, и только несколько починков и деревушек рассажалось по течению Ключевой и обоих Сулатов. До сих пор Пятачкова дача служила только запасом горючего и строевого материала, специально для казенных горных заводов, а теперь, с постепенным упразднением казенного производства, она пустовала лет десять, пока золотопромышленники не выхлопотали доступа в нее. Сложилось что-то вроде басни о скрытых сокровищах Пятачковой дачи, и сюда теперь устремились сотни предпринимателей с желанием выхватить лучшие куски.

Мы проехали верст пятнадцать; совсем рассветало, но солнце не показывалось — день наступил серый и с легким ветерком, игравшим по вершинам сосен. Наш обоз растянулся на полверсты, и мы часто теряли из виду следовавшие за нами подводы. Обогнули заросший кустарником низкий берег какого-то озера, переехали выбегавшую из него безыменную речонку, причем лошнул тяж у нашего экипажа. Произошла небольшая остановка. Кучер

Вахромей угрюмо выругался и без всякой причины полыснул хлыстом щеголевато перебивавшую ногами пристяжную. Гаврила Иванович помог наладить случившуюся поруху и, когда мы тронулись в путь, не сел на облучок, а зашагал мерными мужицкими шагами по стороне. По дороге он сорвал веточку рябины и принялся ее жевать, сплевывая накоплявшуюся во рту горечь тоненькой струйкой сквозь зубы, как плюют цивилизованные кучера и лакеи.

— Здесь не ускочишь, Флегонт Флегонтыч,— говорил он, догоняя нас тяжелой рысцой.— Мочегинки всё пойдут, а летом в ненастье здесь такие пачки да зыбуны стоят — не приведи господи.

Пачкáми и зыбунами называют на прямоезжих дорогах такие места, где экипаж и лошадей вязкая почва совсем засасывает, так что их приходится добывать бастрыгами. Теперь земля еще не совсем растаяла, и в «сумлительных» местах только подозрительно покачивало, точно экипаж ехал по какому-то подземному нарыву, который вот-вот лопнет. В одном месте шумно сорвался матерый глухарь и стрелой, низко и тяжело полетел в самую чашу, точно брошенный сильной рукой тяжелый камень; затем спугнули несколько рябчиков и до десятка дупелей. По сторонам без конца вставали всё те же сосны, попался тот же валежник; где-то далеко куковала кукушка. Сосновая хвоя глухо шумела, когда набегал ветерок, а потом опять наступила мертвая, тяжелая тишина.

— Сказывают, Дружков проехал на Причину,— неожиданно проговорил Вахромей, нарушая царствовавшую тишину.

— Кто сказывает-то? — вскипел Флегонт Флегонтович, выпуская из зубов дымившуюся сигару.

— Да люди сказывают... Ночью прямыми дорогами проехал Дружков, а час места и Кривополов.

— Что же ты, идол, молчал до сих пор... а? Где ты раньше-то был... а?... «Сказывают... сказывают...» Тьфу!.. С партией проехали?..

— Сосунята видели...

— Господи, а мы-то ползем... Гаврила Иванович, слышал?... И ты, поди, тоже слышал про Кривополова и молчишь?..

— Оно, точно, болтали промежду себя, Флегонт Флегонтыч... — уклончиво ответил Гаврила Иванович, ста-

раясь шагать в стороне от нашего экипажа.— На четырех подводах, болтают, Дружков проехал, а потом уж Кривополов.

— О господи... За чьи только грехи я мучусь с вами?!— яростно возопил Флегонт Флегонтович, поднимая руки кверху, как трагический актер.— Ну, Вахромей молчит — у него уж такой характер, всегда пень пнем, а ты-то, ты-то, Гаврила Иваныч?!. Ведь я на тебя, как на каменную стену, надеюсь! Что мы теперь будем делать, если они опередят нас?.. Ну, говори?.. Кто их проведет прямой-то дорогой?

Гаврила Иванович только жевал губами и несколько раз поправил свою баранью шапку: дескать, «вот вышла же этакая оказия, в сам-деле»...

— Может, заплутаются еще по лесу-то, Флегонт Флегонтыч, — проговорил наконец старик в свое оправдание.— Тоже дивно места надо проехать, а дорога вон какая... не ускочишь. Ей-богу, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь.

— Идолы вы, вот что! «Не сумлевайтесь»! — кричал Флегонт Флегонтович, размахивая руками.— Это мы дурака-то валяем, а небось Кривополов с Дружковым опередили нас... Ах, господи, вот еще наказанье-то!..

Чтобы сорвать на ком-нибудь свое расходившееся сердце, Флегонт Флегонтович накинулся на Метелкина, причем с логикой рассердившегося человека всю вину взвалил на него, потому что, если бы он, Метелкин, держал партию в порядке и сам не пьянствовал, тогда мы вчера бы еще в ночь отправились в Причину. Метелкин отмалчивался с виноватым видом, что еще более сердило Флегонта Флегонтовича.

— Ведь вот нар-родец... — проговорил Флегонт Флегонтович, устало откидываясь на спинку экипажа.— Слышали? Все хороши... А между тем... Уж я не так бы распек Гаврилу Иваныча, да теперь нельзя — от него все зависит. Пожалуй, еще рассердится да бросит в лесу, тогда хоть назад ворочайся. Признаться сказать, местечко-то у нас на Причине уж давненько присмотрено, теперь только его взять остается... Есть в Причине один мужик, так он, совсем бросовый — Спирька Косой. Ну, через этого Спирьку мы на место натакались... собственно, Гаврила Иваныч. Конечно, и Спирьке и Гавриле Иванычу благодарность известная, ну, уж это у нас такой порядок, вроде

награды выдаем за хорошее место. Вот я и того, боюсь ссориться с Гаврилой-то Иванычем, потому — нужный человек. А все-таки, согласитесь, какой народ: все слышали и молчат... Уж сумеют напакостить. Да... Какую цену дерут с нас за эту ночь вот простые этакие мужики, вон головами-то болтают, которые на задней телеге, потому — чувствуют, что без них нельзя...

У Собакина, как и у многих других, была слабость сделать дело не как другие делают, а наособицу, при помощи какого-нибудь нужного человека. У него всегда был на примете такой человек, и он надеялся именно на него. Это было своего рода суеверие, но золотопромышленники не отличаются отсутствием предрассудков и всегда рассчитывают все приметы: тяжелые и лёгкие дни, встречи, сны и т. д. К числу таких предрассудков можно отнести и слепую веру в разных особенных человечков, через посредство которых можно сразу ухватить настоящий кус. Конечно, в подтверждение приводится масса соответствующих примеров: такому-то указал место башкир, а такому-то пьяница-старатель, ну, отчего же и Спирька Косой не мог облагодетельствовать?.. Может быть, это опозитивированная точка зрения на жизнь вообще, и, вероятнее всего, такая вера выработалась самой жизнью, когда завтрашний день вечно стоит вопросительным знаком.

— Вам-то все это смешно, а мы даже очень хорошо знаем все эти приметы... да-с! — говорил Собакин с уверенностью испытанного человека. — Я даже записывал эти приметы, и все выходило по ним.

— Отчего же в Америке, например, золотопромышленники обходятся без примет, а надеются только на свои знания и на энергию?

— Э, батенька... славны бубны за горами. Наверно, и у них свои приметы есть... Уж извините, чтобы так, просто... ну, нет, что-нибудь да есть... Конечно, оно глупо немножко верить, что вот заяц перебежит дорогу — и кончено, а если оно так выходит...

В подтверждение своих слов Собакин рассказал несколько самых убедительных случаев, когда стоило перейти дорогу попу, бабе или перебежать зайцу — и самое верное дело проваливалось.

В одном месте нашу дорогу пересекла свежая колея. По внимательном исследовании было решено, что это проехала какая-то присковая партия на четырех подводах:

след вел от Причины, что много успокоило Флегонта Флегонтовича — все-таки одним конкурентом меньше.

— Может, это Кривополов по лесу блудил? — спрашивал он Гаврилу Ивановича.

— Наверно, он...

Местность кругом мало изменялась — все тот же болотный сосняк, изредка рыжие полянки, потом болотные кочки, валежник и таявшие лужи воды. Переправились через несколько мелких речонек, потом обогнули какое-то широкое озеро с полыньями посередине; небо начало проясняться, и все кругом делалось светлее. Попало еще несколько следов, оставленных проехавшими партиями, но теперь они уже не обратили на себя такого внимания, как раньше, — деревушка Причина была близка, и все были заняты мыслью, что-то там делается: что Пластунов, что Спирька Косой, что другие золотопромышленники.

— Мы в Причине только самую малость опнемся, а потом опять в лес, — говорил Собакин. — Мне нужно не упустить Спирьку, а то как раз кто-нибудь другой перехватит его... Тьфу!.. Ах, проклятый!.. Тьфу, тьфу!..

Со стороны выкатил русак, присел, поднял уши и мягкими прыжками, точно он был в валенках, перекошил нам дорогу. Флегонт Флегонтович даже побледнел от проклятой неожиданности...

V

Причина, как и Сосунки, представляла собой глухую лесную деревушку дворов в тридцать; она стояла совсем в лесу, и трудно было сказать, что заставило ее обитателей выбрать такую страшную глушь. Постройки были старые и разбрелись по берегу речонки Причинки без всякого порядка, точно эти избы были разметаны ветром. Как и в Сосунках, народ здесь тоже жил «от бревна», промышленя охотой, рыбой и золотом. Около изб кое-где стояли городские экипажи и простые телеги — это все были наши конкуренты. Гаврила Иваныч сразу насчитал больше десятка партий.

— Вот и извольте тут... — в отчаянии проговорил Флегонт Флегонтыч. — Уж чуяло мое сердце...

Мы остановились у крайней, очень плохой избушки, в которой жил Спирька Косой. Наш приезд взбудоражил

всю деревню — поднялись собаки, в окнах мелькнули наблюдавшие за нами физиономии, за ворота выскочили посмотреть на приехавших какие-то молодые люди в охотничьих сапогах и кожаных куртках. Какая-то толстая голова кланялась из окна Флегонту Флегонтовичу и старалась что-то выкрикнуть, приставив руку ко рту трубкой.

— А, чтобы тебя черт взял... — ругался неприятно пораженный Собакин. — Это Кривополов... вот тебе и заплутался!

Нас встретил доверенный Флегонта Флегонтовича — Пластунов, совсем еще молодой человек с рыжеватыми усиками; характерное и сердитое лицо, умные холодные глаза и свободная манера держать себя производили на первый раз довольно выгодное впечатление; очевидно, молодой человек пойдет далеко и, вероятно, недаром пользовался таким доверием Флегонта Флегонтовича. Около избы, на завалинке, сидело человек пять рабочих — это была вторая партия. Из избы доносились какие-то хриплые крики и крупная ругань.

— Ну что? — спрашивал Собакин своего доверенного.

— Пока ничего особенного... — уклончиво ответил Пластунов. — Третьи сутки вытрезвляем Спирьку. Пьянствовал целых две недели...

— Где же он деньги брал? Ведь я ему обещал после заявки четвертную... странно.

— Должно быть, обманул кого-нибудь из золотопромышленников, — объяснял Пластунов. — Теперь у них это везде идет: одно и то же место в трои руки продают. Заберут задатки и пьянствуют...

Это известие сильно встревожило Собакина, потому что под пьяную руку Спирька мог сплавить заветное местечко кому-нибудь другому... Во всяком случае, получалась самая скверная штука.

— Да вот сами посмотрите на него, в каком он виде, — предложил Пластунов, показывая глазами на избу.

Двора у Спирькиной избы не было, а отдельно стоял завалившийся сеновал. Даже сеной и крыльца не полагалось, а просто с улицы бревно с зарубинами было приставлено ко входной двери — и вся недолга. Изба была высокая, как все старинные постройки, с подклетью, где у Спирьки металась на цепи голодная собака. Мы по бревну кое-как поднялись в избу, которая даже не имела тру-

бы, а дым из печи шел прямо в широкую дыру в потолке. Стены и потолок были покрыты настоящим ковром из сажки.

— Уж я предоставлю... верно!..— орал кто-то, лежа на лавке.— Предоставлю... на, пользуйся. А кто руководствовал? Спирька Косой... верно...

— Перестань ты грезить-то,— попробовал усювестить Гаврила Иванович.— Ишь до чего допировался!

— Родимый, Гаврила Иваныч... руководиуй, а я предоставлю... верно? — орал Спирька, с трудом поднимая с лавки свою взлохмаченную черную голову.

— Хорош, нечего сказать...— брезгливо заметил Собакин, разглядывая своего верного человека.

Приземистая широкая фигура Спирьки, поставленная на кривые ноги, придавала ему вид настоящего медведя. Взлохмаченная кудрявая голова, загорелое, почти бронзовое лицо, широкий сплюснутый нос, узкие, как щели, глаза, какая-то шерстистая черная бородка — все в Спирьке обличало лесного человека, который по месяцам мог пропадать по лесным трущобам.

— Скопфузил ты нас, Спирька,— заговорил Гаврила Иванович, придерживая валившегося на один бок Спирьку.— Вот и Флегонт Флегонтыч очень даже сумлева-ется.

— Флегон Флегоныч... родимый мой... ах, господи милостивый... я? Предоставлю, всё предоставлю...

— А на какие ты деньги пировал? — допрашивал Собакин.— Ведь я все знаю... Ну, сказывай: обещал еще кому-нибудь местечко-то?

Спирька долго смотрел куда-то в угол и скреб у себя в затылке, напрасно стараясь что-нибудь припомнить; две последних недели в его воспаленном мозгу слились в какой-то один безобразный сплошной сон, от которого он не мог проснуться. Он несколько раз вопросительно взглянул на нас, а потом неожиданно бросился в ноги Собакину.

— Флегон Флегоныч... ради Христа, прости ты меня... омманул... ох, всех омманул! — каялся Спирька, растянувшись на полу.— У всех деньги брал... Я прошу, а они дают. Омманул всех, Флегон Флегоныч... а тебе одному всё предоставлю... владай... твои счастья...

Собакин выругался очень крупно и вышел из избы. О самоваре и других удобствах нечего было и думать, по-

тому что у Спирьки, кроме ружья да голодной собаки, решительно ничего не было.

— Карауль его, как свой глаз, а я его уже вытрезвлю,— говорил Флегонт Флегонтович Пластунову.— Надо скорее отсюда выбираться, пока до греха... Ну, Спирька, подвел!

— Ничего, Флегонт Флегонтыч,— успокаивал Гаврила Иванович,— разве один наш Спирька такой-то, все они на одну колодку теперь. А что насчет местечка, так Спирька тоже себе на уме: на ногах не держится, а из него правды-то топором не вырубить...

Это было плохое утешение, но, за неимением лучшего, приходилось довольствоваться им. Расчет Флегонта Флегонтовича выехать сегодня же из Причины тоже не оправдался за разными хлопотами и недосугами, а главное, потому, что партии всё прибывали и все упорно следили друг за другом. Нужно было переждать и выведать стороной, кто и куда едет, сколько партий, какие вожаки и т. д.

— Заварилась каша,— с тяжелым вздохом проговорил Флегонт Флегонтович,— еще двое суток ждать, а уж теперь семнадцать партий набралось... К первому-то числу что же это будет?.. И зачем прет народ, просто ошалели... Ну, да и мы тоже не лыком шиты, может, и перехитрим других прочих-то.

Вместо того чтобы только «опнутья» в Причине, как предполагал Флегонт Флегонтович, нам пришлось «промаячить» в этой труппе целых двое суток, вплоть до самой ночи на первое мая, когда должна была решиться участь всех. От нечего делать я ходил на охоту и присматривался к окружавшей меня пестрой картине. Деревня теперь превратилась в какой-то табор или в стоянку какого-то необыкновенного полка. За неимением места в самой деревне, выросли отдельные таборы в окрестностях, что делалось очень просто: поставят несколько телег рядом, подымут оглобли, накроют их попонами — вот и жильё. На земле горит огонек, бродят спутанные лошади, на телегах и под телегами самые живописные группы — вообще жизнь кипела. Все эти городские, невьянские, тагильские, каменские и многие другие «ищущие золотого бисера» перемешались в одну пеструю кучу. Набралось около двухсот человек, и даже явилась полиция для охранения порядка и для предупреждения могущих возник-

нуть недоразумений. Но пока все было тихо и мирно, даже больше чем мирно — все успели перезнакомиться и, под видом доброжелательной простоты, старались выведать друг у друга кое-что о планах и намерениях на первое мая.

Флегонт Флегонтович при помощи разных нужных человечков успел разузнать всю подноготную, по крайней мере старался уверить в этом, и держал себя с самым беззаботным видом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна и которому нечего терять.

— Еще веселее будет в компании-то, Нил Ефремыч, — добродушно говорил он своему доброприятелю Кривополу, который постоянно ходил по гостям из одной избы в другую. — Это кто не с добром приехал, а нам что — милости просим...

— На людях-то и смерть красна, Флегонт Флегонтыч... — отвечал Кривополов, жмуря свои и без того узкие глаза.

Этот Кривополов был очень интересный тип, как переход от русского к монголу; приятели называли Кривоколова «киргизской богородицей» за его скуластую сплюснутую рожу с узким, скошенным назад лбом и широким носом. Волосы он стриг под гребенку и носил маленькую кругленькую шапочку, точно всегда был в ермолке. У Кривоколова где-то были довольно богатые прииски, поэтому он совершенно безнаказанно мог кутить и безобразничать по целым месяцам. Друг и приятель Кривоколова, седой, толстый старик Дружков, являлся точно его половиной — они везде попадали как-то вместе и вместе «травили напропалую». К этим неразлучным друзьям присоединился высокий рыжий хохол Середа, бог знает какими ветрами занесенный на Урал; он молча ходил за Кривополовым и Дружковым, пил, если приглашали, и под нос себе мурлыкал какую-то хохлацкую песенку. Говорили, что Середа только еще разнюхивает дело в качестве агента от какой-то очень сильной иностранной компании. Когда к нему приставали с допросами, он только отмахивался и говорил приятным грудным тенором:

— Та я ж ничего не знаю, что говорят... А никакой компании нет. Якая там бисова компания? Пранцеватое ваше золото... нэхай ему лишечко буде.

Впрочем, пил Середа мастерски и не прочь был в картишки «повинтить», почему и сошелся на короткую ногу

с Кривополовым и Дружковым, которые могли играть без просыпу хоть неделю.

Из числа других золотопромышленников выдавались Агашков Глеб Клементьевич и курляндский немец Кун. Они и держались наособицу от других, как настоящие аристократы. Агашков славился как скупщик краденого золота; у него были свои прииски, но только такие, которые служили для отвода глаз, то есть воровское золото записывалось в приисковые книги, как свое, и только. Такие дутые прииски на Урале почему-то называются бездушными. Фигура у Агашкова была самая подкупающая: благообразный «низменный» старичок с самой апостольской физиономией — окладистая бородка с проседью, кроткие серые глаза, тихий симпатичный голос и вообще что-то такое благочестивое и хорошее во всей фигуре, кроме длинных рук, которыми Агашков гнул подковы и вколотил в гроб уже двух жен. Особенных художеств за Агашковым не водилось, а жил он как праведник, неукоснительно блюл не только посты, но даже среды и пятницы, был богомолен свыше всякой меры, иногда по двенадцатым праздникам становился на левый клирос и подпевал самым приятным стариковским тенорком и больше всего любил побеседовать о божественном, особенно что-нибудь позабористее. Кун был лицо новое на Урале, но уже крепко основался и пустил корни. Представительный, всегда прилично одетый, он держался джентльменом; подстриженные усы и эспаньолка делали его моложе своих лет. Как настоящий немец, он никогда не расставался со своей сигарой, с которой точно родился. Кун и Агашков, кажется, сошлись между собой и все держались вместе.

— Спарились, идолы, — коротко объяснил Флегонт Флегонтович. — Только кто кого у них надует: тонок немец, а и Глеб Клементичу тоже пальца в рот не клади.

Из других золотопромышленников, заблагорассудивших лично заявиться на место действия, никто особенно не выдавался, кроме «бывших»: и бывший мировой посредник, и бывший дореформенный заседатель, и бывший становой, и бывший судебный пристав, и бывший педагог, и бывший музыкант, и еще бывшие бог знает где и бог знает чем, но непременно бывшие, что и было видно сразу по остаткам барских замашек в костюмах, в манере держать себя, в прононсе с оттяжкой и шепелявеньем. Эти бывшие — в большинстве неудачники, ко-

торым не повезло и которые явились сюда еще раз испытать одну лишнюю неудачу. Они так уж и держались вместе, поглядывая на остальных свысока: дескать, если бы вы, господа, видели нас в прежние-то времена, когда... гм!.. чер-рт поберр-и!

Отдельной артелькой сбилось несколько раскольников из Невьянска и из Ревды,— угрюмый и неприветливый народ, глядевший на всех остальных никониан исподлобья. По костюму — купечество средней руки, может быть, какие-нибудь прасолы и скотогоны или гуртовщики. Крепкий народ и держит себя оригинально, хотя сильно смущается табачным дымом. Особенно хорош был один седой, сердитый старик, точно весь высеребренный.

— Уж таким старикам на печке бы сидеть да грехи свои замаливать,— ворчал Собакин несколько раз.— А тоже золота захотел.

— Нэхай покопае — лишние гроши и прокопае,— равнодушно цедил Середа, не обращаясь, собственно, ни к кому.

— Только мешаться под ногами будет, старый черт... Еще где-нибудь задавят в суматохе-то, а то сам завалится куда-нибудь в ямку и подохнет,— не унимался Флегонт Флегонтович.

Из «бывших» на некоторое время привлекали общее внимание двое отставных военных — ташкентский майор и какой-то сомнительный кавказец. Очень подержанные, очень нахальные и очень жалкие в своем гражданском виде, они держали себя с видом людей, которым уж и терять ничего не осталось. Вот у этих сомнительных воинов и возникло какое-то недоразумение специального характера, что-то вроде вопроса о чести мундира; может быть, это были старые счеты, но недоразумение перешло в крупный разговор, потом в ссору и наконец заключилось вызовом на дуэль. Дуэль в деревне Причине — это одно уж чего-нибудь стоило... Но вся буря кончилась ничем, потому что не оказалось соответствующего оружия: собранные со всего стана револьверы оказались разных мастеров и разных калибров.

Остальная «публика» состояла из разных доверенных и просто приказчиков, посланных сделать заявки непременно на Причинке. Это был все народ подневольный, не

имевший самостоятельного значения, хотя и представлял собой громкие имена уральских богачей.

— Удивляюсь, что это от Могильниковой никого нет! — несколько раз повторял Флегонт Флегонтович, наводя справки о прибывших партиях. — А они должны быть здесь... То есть, натурально, сама она не поедет, а доверенного пошлет. Уж тут не даром, не такая баба, чтобы маху дала. Пробойная баба, одним словом... Только что у нас будет — одному богу известно. Слышали: Агашков заводских лошадей выставил до самого Екатеринбургa, чтобы опередить всех с заявкой. И Кун тоже, и Кривопалов...

— А вы как?

— Мы?.. Мы малыми дорогами их обгоним всех... Хе-хе!.. Тут ведь дороги каждые десять минут... да. Я Пластунова пошлю верхом, одвуконь, по-киргизски... Эх, жаль, у меня воронка не сталб! Вот была лошадь, скажу я вам — золото, клад... На ней я сам по сту верст верхом делал на проход. Если бы жива была, сам на ней поехал бы с заявкой... А мужичье-то, причинные-то мужики, что выделывают — слышали?

— Пьянствуют?

— С кругу спились, совсем одурели. Да и как не одуреть: в сутки по три целковых теперь получают, да еще сколько обманут... Ведь наш брат другой раз даже до смешного бывает глуп и доверчив!.. Ей-богу! В глаза мужики всех обманывают, а им за это еще деньги платят. Одно место в четверо рук продают... Ха-ха!

— Да ведь и Спирька, может быть, тоже надувает вас?

— Ну, уж визвините, Спирька других надул, а не меня... Он у меня в разведке, как стеклышко, будет. Вот сами увидите... всю дурь из него вытрясем.

Причинные мужики действительно совсем потерялись в вихре событий: запрос на рабочие руки оказался громадный, а, кроме того, всякий золотопромышленник, конечно потихоньку от других, старался непременно заручиться верным человеком, который знает верное местечко. В результате получалась прекурьезная игра в темную, причем каждый был уверен, что именно он проведет всех остальных. Флегонт Флегонтович окончательно успокоился, познакомившись с наличным составом своих конкурентов, и только подшучивал над вылезавшими наружу плутнями других.

— Видели, как Кун вчера якобы на охоту с ружьем ходил? — рассказывал Собакин. — Думает, что так ему и поверили... а еще немец! Агашков прошлой ночью сам ездил потихоньку посмотреть место... Да и другие тоже. И все, главное, думают, что никто и ничего не знает, точно все оглохли и ослепли.

Сбившиеся с панталыку причинные мужики бродили по селу, как чумные телята, и всё промышляли, где бы еще выпить. Слова: «произведу», «предоставлю», «руководствуй» — так и висели в воздухе, повторялись на все лады. Напротив нас стояла гнилая избушка, в которой жил рыжий мужик Парфен, обладавший громадным носом; этот Парфен успевал аккуратно два раза в день напиться и каждый раз производил в своей избушке настоящий геологический переворот — как-то разом все начинало лететь из избушки прямо на улицу: горшки, ребятишки, ухваты, и жена Парфена вылетала после всего в самом отчаянном виде, с растрепанными волосами, босая, в растерзанном сарафанишке.

— Ловко... — поощрял Спирька соседа, поглядывая из окошка. — Дай ей хорошего раза, Матрене-то... руководствуй...

И Парфен действительно руководствовал на всю улицу, потешая скучавших золотопромышленников. Он приходил даже в какой-то экстаз и все старался придумать что-нибудь почуднее, чтобы удивить всех. Другой мужик, Силантий, живший через два двора, смирный и забитый в нормальном состоянии, как выпивал две-три рюмки, тоже начинал руководствовать и лез непременно драться к первому встречному. Его обыкновенно связывали вожжами и укладывали успокоиться куда-нибудь на холодке. На другом краю деревни бушевал какой-то седой старик Емельяныч, который колотил трех своих сыновей поленьями. Приехавшие рабочие из других деревень, в большинстве самый отпетый народ, набравшийся по приискам вольного духу, дополняли картину своим пьянством, драками и постоянно приставали к причинным бабам и девкам. Женский курс вдруг поднялся, и бабы к общему соблазну принялись щеголять по улице в самых ярких сарафанах и в кумачных платках, за что им прописывалась сугубая трепка.

Словом, происходила невообразимая кутерьма, и благочестивые причинные старушки только молили бога,

чтобы скорее наступило это растреклятое первое мая.

— Я теперь совсем обумился, Флегон Флегонич,— уверял Спирька, все еще находившийся под домашним арестом.— Пусти хоть дохнуть разик с нашими причинными... Ей-богу, ни в одном глазу.

— Врешь, все врешь...— упрямо отказывал Собакин.— Знаю я тебя, гусь лапчатый. Тебя только на улицу выпусти, так ты сейчас без задних ног, да еще, пожалуй, с вина сгоришь... Немного уж ждать осталось, а там хоть лопни от водки.

Спирька чесал свою гриву, вздыхал и потом соглашался с неумолимым патроном, что оно точно, пожалуй, опять сорвет с ума-то. К довершению общей суматохи случилось два происшествия: «сгорел» с вина какой-то старик, и потом нашли избитую до полусмерти девку Анисью, которая пострадала за свое коварство — взяла с трех претендентов на ее внимание приличные подарки. Обманутые сговорились и поучили.

— Нет, уж что же это такое? — спросил Агашков, благочестиво поднимая плечи.— Настоящие Содом и Гоморра... уголовное.

VI

Наконец наступил и канун первого мая. С раннего утра в Причине все поднялось на ноги, даже не было видно пьяных. Партии рабочих уже были в полном сборе и толпились кучками около изб, где жили хозяева, или около обозов. Приготовляли лошадей, мазали телеги, бегали и суетились, как перед настоящим походом. Только хозяева старались казаться спокойными, но в то же время зорко сторожили друг друга — кто первый не утерпит и тронется в путь. Свои лазутчики и соглядатаи зорко следили за каждым движением.

— Мы из деревни выедем совсем не в ту сторону, куда нужно,— шепотом сообщил мне Флегонт Флегонтович, тревожно потирая руки.— А вы слышали, что Спирька сегодня ночью чуть не убежал у нас? Да, да... Ну, я с ним распорядился по-своему и пообещал посадить на цепь, как собаку, если он вздумает еще морочить меня. А все-таки сердце у меня не на месте... Всю ночь сегодня грезился

проклятый заяц, который нам тогда перебежал дорогу, — так и прыгает, бестия, под самым носом.

— А далеко нам ехать?

— Да верст пятнадцать будет... По крайней мере, Спирька так говорит, и Гаврила Иваныч тоже.

В общей суматохе не принимали участия только Кривополов, Дружков, Середа и еще какой-то инженер в отставке, которые винтили уже третьи сутки. Агашков молился с утра богу, Кун, заложив руки в карманы своей кожаной куртки, особенно сосредоточенно курил сигару с раннего утра. В избе Спирьки Флегонт Флегонтович возился с каким-то футляром, который никак не уходил у него в боковой карман.

— Что это у вас такое? — спросил я. — Револьверы?

Собакин осторожно оглянулся кругом и расстегнул застёжки футляра: в нем лежала разобранная флейта.

— Это для чего у вас? — спросил я.

— А нужно... вот увидите. Я немножко, знаете, играю. Скучно в лесу иногда бывает, особенно осенью, когда ненастье зарядит недели на три. Две партии уже отправились, — перескочил он к злобе дня, — это доверенные от Охлестышевых. Ну, да эти не опасны, пусть поездят по лесу. Я, признаться сказать, больше всего опасаясь Агашкова и Куна... Черт их знает, что у них на уме.

— Да что же они могут сделать?

— Э, да мало ли что... Будут караулить, куда поедем, и, пожалуй, помешают.

Напились чаю, потом пообедали, но никому кусок в рот не шел. Метелкин выглядывал с почтительной грустью. Спирька сидел как приговоренный; сам Флегонт Флегонтович постоянно подбегал к окошку на малейший стук и осторожно выглядывал из-за косяка. Один Гаврила Иванович не испытывал, кажется, никакого волнения и сосредоточенно ел за четверых, облизывая свою крашеную деревянную ложку.

День был ясный, настоящий весенний, с легким холодком в воздухе; по небу с утра бродили белые волнистые облачка, обещающая долгое ведро. Но кругом не было еще зелени, и только на пригорках кое-где пробивалась свежая травка зелеными щетками. Река Причинка уже очистилась ото льда и начала разливаться в своих низких болотистых берегах, затопляя луга и низины. Пролетело несколько косяков диких уток; где-то печально кричали журавли.

Часов в семь вечера наша первая партия выступила из Причины, потому что к заветному месту нужно было подойти обходным путем, чтобы запутать все следы и обмануть охотников открыть наш секрет. Теперь нас было две партии — одна под предводительством Флегонта Флегонтовича, а другая во главе с Пластуновым. У нас вожаком служил Спирька, а у Пластунова Гаврила Иванович. Сговорились встретиться на каком-то урочище Сухой Пал, прежде чем захватить окончательно местечко. Чтобы решительно сбить с толку всех, мы ехали в одну сторону, а Пластунов в другую. Собственно, наша партия должна была выступить час спустя.

— Ох, не разъехаться бы... — стонал Собакин, провозжая партию Пластунова вперед. — Ты, Гаврила Иванович, смотри, — не ударь в грязь лицом.

— Уж не сумлевайтесь... все оборудуем, Флегонт Флегонтыч, — отвечал старик, залезая в коробок Пластунова. — В лучшем виде.

Другие партии тоже зашевелились, и две из них отправились вслед за нашей партией, хотя это были «бывшие», значит, особенной опасности не предвиделось.

— Что вы так хлопочете, чтобы не разъехаться, — говорил я, — все равно: Пластунов займет другой участок — и только.

— Э, батенька, в том весь и секрет, чтобы занять два участка рядом, потому что у меня в участке жила, ну, а как она уйдет к другому? Вот это-то и дорого... Все из-за этого хлопочут. По закону, каждая партия имеет право занять только один участок — пять верст в длину и сто сажен в ширину, то есть по течению какой-нибудь речки.

Было восемь часов, и мы выступили тоже в поход. Спирька поместился у нас на козлах, и Собакин категорически объявил ему:

— Ну, ты, идол, смотри в оба, а ежели надуешь, так я из тебя и крупы надеру и муки намелю в лесу-то...

— Предоставлю, Флегон Флегоныч, — угрюмо отвечал Спирька, нахлобучивая какую-то совершенно невозможную шапку на свою взлохмаченную голову. — Уж мы с Гаврилой Иванычем вот как сруководствуем... важное местечко.

Флегонт Флегонтович все оглядывался, точно ожидал погони; но погони не было, и только в стороне дороги раза два повторялся какой-то подозрительный шум,

точно кто шел за нами, прячась за деревьями и в кустах.

— Ишь, подлецы, как провожают...— ругался Собакин.— Наверно, Агашков подослал или этот немец с сигарой...

Небо было совершенно ясное, солнце только что закатилось, из лесу тянуло свежей ночной сыростью. С большой дороги мы свернули по указанию Спирьки куда-то направо и поехали в цело, то есть без всякой дороги, по какому-то покосу. Меня удивило то, что мы ехали от реки Причинки, тогда как должны были держаться около нее. Впрочем, она текла крайне извилисто, и мы, вероятно, просто выгадывали пространство. Все молчали и как-то старались не смотреть друг на друга, точно премированные заговорщики. В одном месте, когда мы ехали около соснового подседа, над нашими головами пролетело несколько тянущих вальдшнепов с тем особенным кряхтеньем, которое настоящего охотника заставляет замирать на месте. Но теперь было не до охотничьих восторгов, и мы пропустили тягу совершенно равнодушно. Но чем дальше мы подвигались, тем больше начинало попадаться нам подозрительных признаков — перепутанные колеи, следы лошадиных ног, какой-то отдаленный глухой шум или неожиданный треск где нибудь в стороне.

— Это всё партии гуляют по лесу,— объяснил Флегонт Флегонтович; он несколько раз выскакивал из экипажа и припадал ухом к земле, чтобы лучше расслышать лошадиный топот.— Далеко до Сухого Пала осталось, Спирька?

— Да еще верст семь надо класть, Флегон Флегонч... а может, и побольше. Кто его знает: здесь ведь места-то баба мерила клюкой, да махнула рукой...

В одном месте мы спугнули несколько пар журавлей, которые с печальным криком полетели дальше. Место было болотистое, с низкими кустами ольхи, черемухи и болотной ивы; наш экипаж прыгал по кочкам и постоянно грозил опасностью перевернуться вверх дном. Откуда-то повеяло холодной сыростью,— это была вода, может быть, одно из бесчисленных озер. В другом месте, в лесу, слабо замигала красная точка и потянуло дымком; наш обоз остановился, и вперед посланы были лазутчики. Оказалось, что стояла станом какая-то партия, ожидавшая наступле-

ния двенадцати часов: рабочие были не здепние, а хозяин «из господ», как объяснили вернувшиеся лазутчики.

— Должно быть, заблудились, сердечные... — посмеялся Флегонт Флегонтович, однако велел объехать партию подалее стороной, «чтобы не навести на сумление».

Взошел молодой месяц, и все кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете. Собственно говоря, сравнительно с душистой и туманной летнею ночью, эта холодная и, так сказать, сухая весенняя ночь была просто жалка, но что было хорошо в ней и что придавало ей какую-то особенную поэзию — это неумолкавшая жизнь пернатого царства. Каких-каких звуков только не было!.. Кроме журавлиного и лебединого крика и кряхтения вальдшнепов, слышалось неумолкаемое пение со всех сторон. Какие птицы пели — не умею сказать, за исключением иволги, которая резко выделялась среди других певцов. Где-то точно разговаривают и кричат две голосистые бабы, потом глухо забормотал на листвени тетерев, потом, точно из-под земли, донеслось неистовое фырканье и кудахтанье игравших на току косачей. Ночь была тихая, и можно было расслышать игру на нескольких токах. Но всего удивительнее был какой-то страшный крик, точно во всю глотку ревел пьяный мужик; я даже вздрогнул в первую минуту.

— Что, испугались? — смеялся Флегонт Флегонтович. — Угадайте-ка, что за зверь это отличается? Не угадать... Это куропатка.

— Не может быть!..

— Уверяю вас; я сам сначала не верил, пока не убедился своими глазами. Ревет, точно оглашенная...

В сторонке тихо и нерешительно слышалось осторожное заячье бобоканье; зайцы кричат иногда пресмешно в лесу — сядет на задние лапки, насторожит уши, вытянет мордочку и начинает как-то по-детски наговаривать: «бо-бо-бо-бо»...

— Гли-ко, гли ¹, Флегон Флегоныч, — зашептал Спирька, показывая головой в сторону небольшой сосновой гривки, у которой стояли две темные фигуры. — Вишь, как зóрят ² за нам...

— Ну, пусть их зóрят.

¹ Гляди, гляди. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² З ó р я т — смотрят. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

— А в лесу лошадь привязана — вон одна голова торчит...

— Ах, подлецы! Чьи бы это?

— Темно, не признать създали. Быдто из сосунят кто по обличью-то... может, и наши причинные.

Кроме этих отрывочных эпизодов, наше путешествие совершалось в мертвом молчании; слышался только лошадиный топот и стук колес, когда они попадали на древесный корень. Вахромей сидел на козлах в обычном молчании и только изредка, в виде особенной милости, благоволил всыпать вертлявой пристяжной несколько хлестких ударов.

— Эва тебе и Сухой Пал... — проговорил наконец Спирька, когда впереди серым неясным пятном выступила между редкими соснами узкая лесная прогалина. — И Гаврила Иваныч тамоди ¹ с людям дожидает нас... в самую точку попали.

Сухой Пал выделялся какой-то суровой красотой и резко отличался от других мест, по которым ехали до сих пор. Кругом росли вековые сосны в обхвате толщиной; почва делала мягкий уклон к небольшому круглому озерку и кончалась крутым обрывом, на котором росла корона из громадных лип.

— Старцы здесь жили в допрежние времена, — объяснил Спирька, — вон и липняк насадили для пчелы... Только их начальство выжило; потому как они, старцы-то, к старой вере были прилежны... строго было. Весь скиток разорили...

Партия Пластунова дождалась нас уже с час. Посыпались рассказы с обеих сторон о встречах партиях. Весь лес на десятки верст по течению Причинки был переполнен людьми, ждавшими наступления полуночи.

— Страсть сколь народичку понаперло, — удивлялся Гаврила Иваныч, поправляя свою баранью шапку. — Немца видели... ну, еще с сигарой ходил. В двух верстах отсюда будет...

— А Агашкова не видал?

— Нет, как будто не заметил. Тут всё какие-то новые партии, Флегонт Флегонтыч. И господь их знает, откуда они набрались. В Причине как будто их не ви-

¹ Тамоди — там. (Примеч. Д. П. Мамина-Сибиряка.)

дать было, все наперечет. Это всё пришлые... Надо полагать, режевские али невьянские.

— Все равно... один черт,— ворчал Собакин.— Столбы разведочные приготовили?

— Два столбика сородовали... и слова написали.

— Хорошо. Уж десять часов скоро,— говорил Собакин, со спичкой разглядывая циферблат своих часов.— Далеко отсюда?

— Версты три, надо полагать, будет; в час доедем.

— Часик подождем.

Ехать прямо на заветное местечко прежде времени мы не могли, потому что на нас могли набежать другие партии и начать спор по заявке. Но, с другой стороны, полная неизвестность являлась тяжелым кошмаром для всех. Время тянулось убийственно медленно, как при всяком ожидании, и Флегонт Флегонтович беспрестанно жег спички, чтобы посмотреть, сколько осталось.

Ровно в одиннадцать часов мы трогаемся в путь в мертвом молчании, но лес кругом гудит от конского топота и торопливо шмыгающих людей. Мимо нас проскакала партия верхом на лошадях; где-то далеко рубят дерево, и каждый удар топора звонко разносится в ночной тиши. Вероятно, это готовят разведочный столб. Вот где-то совсем близко посыпались тоже удары топора, кто-то рубит лихорадочной, неумелой рукой. Опять встреча, едут на двух телегах, разъезжаемся молча — ни слова. Торопливо бегут какие-то мужики с лопатами и топорами. Уж близко совсем, вот и небольшой пологий ложок, который спускается корытом к Причинке.

— Здесь... — шепчет Спирька.

Флегонт Флегонтович отряжает Пластунова с Гаврилой Ивановичем вверх по Причинке, к какому-то Семенову Бугру, где он должен ждать сигнала и сейчас же ставить разведочный столб.

— Как я заиграю, значит, место свободно, ты сейчас и катай столбы и шурфы,— наставительно шепчет он своему доверенному.— Через полчаса, чтобы все было готово... Слышишь?.. Я как заиграю, ты сейчас и действуй.

Партия Пластунова исчезает в густой сосновой заросли, а мы остаемся на ложке, в ожидании двенадцати часов. Заветное местечко на полверсты ниже, но занимать его теперь рано, можно только привлечь внимание

проходящих мимо партий. А народ так валит и валит, все дальше, вверх по Причинке; каждая новая партия заставляет переживать скверное чувство: а как она да наше место и захватит? Но пока все благополучно — все проходят мимо.

— Начинай, благословясь,— командует Флегонт Флегонтович, откладывая несколько широких крестов.— Ну, восемь минут осталось... пора.

Мы отправляемся вниз по Причинке, которая здесь шириной всего несколько аршин, а в некоторых местах ее просто даже можно перескочить с разбегу. Лошади остались на месте, а мы идем пешком.

— Скорее, скорее...— торопит Флегонт Флегонтович, задыхаясь на ходу.— Спирька, где место-то?

— Да вон береза-то развилашкой стоит, тут и место,— объясняет Спирька, едва поспевая за Собакиным на своих кривых ногах.

За нами несколько рабочих несут разведочный столб.

— Стой! — командует Флегонт Флегонтович, когда мы поравнялись с указанной березой.— Ровно двенадцать часов... ставь столб!

В подтверждение своих слов он показывает нам свои часы; Спирька с двумя рабочими копают яму, а Флегонт Флегонтович вынул из кармана футляр с флейтой, собрал инструмент, и по лесу далеко покатился вальс из «Корневильских колоколов»:

Ходил три раза кругом света
И научился храбрым быть...

В ответ на вальс послышался глухой выстрел из револьвера.

— Слава богу, место свободно,— объяснил Собакин.— У нас такой уговор был: если свободно — один выстрел, если нет — три. Ставьте скорее столб. Ну, теперь валяй шурфы.

Разведочный столб был уже поставлен, и рабочие ставили пониже другой. Метелкин со Спирькой из срубленной березы установили живой мостик через Причинку. Флегонт Флегонтович сам отмерял на земле квадрат шурфа и принялся обрубать топором дерн; он взмахивал топором со всего плеча и не мог вывести прямой линии.

В самый разгар работы, на противоположном берегу Причинки, в лесу послышался глухой треск, точно шла

целая рота солдат, и затем выскочило несколько рабочих с лопатами и кирками. Намерения неожиданных пришельцев были очевидны, и Флегонт Флегонтович закричал не своим голосом:

— Стой! Место занято... Кто первый пошевелится, на месте убую!

На этот вызов из приближавшейся толпы рабочих отделился высокого роста мужчина в кожаной куртке, в высоких сапогах и в модной шляпе с двумя козырьками. Он подошел к переходу через речку и, сняв шляпу, спокойно отрекомендовался:

— Стреляйте... К вашим услугам: Серапион Чесноков. Обращаю особенное внимание ваше, милостивый государь, на то, что вы в глухом лесу производите угрозу с оружием в руках, что предусмотрено уложением о наказаниях. Притом вы начали работу целым получасом раньше, чем это назначено, за что тоже будете отвечать, а теперь я займу эту площадь на основании общих правил.

Бедный Флегонт Флегонтович побелел от злости и только смотрел на оратора с открытым ртом, как помешанный.

— Да вы... вы от кого? — проговорил он наконец, опуская бессильно руки.

— Я? Я от Анфусы Полихроновны Могильниковой...

— А! Так вы вот как... О, я знаю вас!.. Я... я... — закричал Флегонт Флегонтович каким-то крикливым голосом и бросился грудью защищать переход через Причинку. — Я знаю тебя, подлеца!.. алеут!.. Ребята, не пущай!.. Спирька, Метелкин! Братцы, это разбойник... это грабеж!.. Будьте все свидетелями...

— Эй, вы, послушайте, — спокойно продолжал «алеут», отдавая какие-то приказания своим рабочим. — Кроме вооруженного нападения, вы еще делаете подлог: часы у вас переведены... Притом вы меня оскорбили с первого слова. И в том и в другом случае вы ответите в законном порядке.

— Врешь, алеут... Это у тебя часы переведены! — орал Флегонт Флегонтович, напирая грудью на незнакомца, но при последних словах внезапно покотился по земле, точно под ним земля пошатнулась.

— Ребята, руби столб!.. — крикнул алеут, перескакивая на нашу сторону.

За этим возгласом произошла уже настоящая свалка: наши рабочие отчаянно защищали свой столб, а сподвиж-

ники алеута старались их сбить с позиции, что скоро и было исполнено благодаря их численному превосходству, да и народ все был рослый, заводский, молодец к молодцу.

— Катай их... валяй! — ревел Собакин, бросаясь на алеута врукопашную.— Спирька, Метелкин, бери его!.. действуй!..

Но взять алеута было не так-то просто: он одним ударом опрокинул Метелкина, потом схватил Спирьку за горло и бросил прямо на землю, как дохлую кошку. Но Флегонт Флегонтович был довольно искусен в рукопашной и как-то кубарем бросился прямо в ноги алеуту, свалил его и с ним вместе покатился по земле одним живым комом; Метелкин и Спирька, очувствовавшись от первого афронта, схватились разом за барахтавшегося на земле алеута, который старался непременно встать на колени.

— Что же вы-то смотрите... а?! — кричал мне Флегонт Флегонтович, взмолившись на алеута верхом.— Ах, подлец... ах, разбойник! Спирька, не давай ему на четыре кости вставать... не дав...

Чесноков, утвердившись «на четырех костях», быстро поднялся на ноги и разом стряхнул с себя всех троих, так что Флегонт Флегонтович первым обратился в бегство, а за ним побежал Метелкин. Я оставался по-прежнему безучастным зрителем этой немного горячей сцены, в которой не желал принимать активного участия. Чесноков торжественно осмотрел поле сражения и как-то добродушно проговорил:

— Хороши...

Затем он засмеялся, достал из кармана серебряный портсигар и как ни в чем не бывало закурил дешевенькую папиросу.

— Пожалуйста, будьте свидетелем всего здесь случившегося,— вежливо проговорил он, обращаясь ко мне.

— Нет, уж избавьте, пожалуйста, от этой чести...

— Вы не имеете права отказываться, как порядочный человек. Впрочем, эти дела до суда у нас не доходят. Устроим полюбовную. А, да, кажется, еще новый конкурент. Да ведь это наипочтеннейший Глеб Клементьевич Агашков... Вот это мило!..

Действительно, пока происходила борьба Чеснокова с Флегонтом Флегонтовичем, Агашков, под шумок, успел не только поставить свой разведочный столб, но уже дора-

батывал второй, обязательный для заявки шурф, причем уже промывали в приисковом ковше пробу.

— Ну, это дудки,— хладнокровно проговорил Чесноков, направляясь прямо к благочестивому старцу.— Эй, вы, черт вас возьми совсем! Это вы что же делаете?

— Как что делаю? — удивился в свою очередь Агашков, немного отступая от приближавшегося алеута.— Вы, милостивый государь, пожалуйста, подальше, а то у вас руки-то...

— Что руки?..

— Скоры вы на руку-то, сударь, даже очень скоро... Вон как Флегонта Флегонтовича изувечили.

— Убирайтесь отсюда... сейчас же!.. Слышите? — грозно приказал Чесноков, принимая угрожающую позу.

— И уйду... даже сейчас уйду-с, вот только заявочный столбик приспособлю.

— А я ваш столб срублю!

— И рубите... потому как здесь лес, а в городе это всё разберут.

— Вы хотите, кажется, меня перехитрить? Ну, извините, Глеб Клементьевич, я вас отсюда не выпущу... Ребята, окружайте его и не выпускайте. Вот так.

Около Агашкова образовался живой круг, и он очутился как в мышеловке. Произошла преуморительная сцена, которая закончилась тем, что Глеб Клементьевич, потеряв всякую надежду пробиться сквозь окружающую его цепь, смиренно уселся на камешек, а Чесноков в это время собственноручно доканчивал разведку и сам доводил золото в Причинке. Когда все было кончено, этот страшный поверенный купчихи Могильниковой сел на верховую лошадь, попрощался со всеми и исчез в лесу.

— Разбойник... подлец!..— ругались в две руки Собакин и Агашков, проклиная отчаянную алеутскую башку; к довершению несчастья, Флегонт Флегонтович повернул неловко ногу во время давешней борьбы и теперь охал и стонал при каждом движении.

VII

— Надо первым делом в Причину воротиться, чтобы составить акт и всякое прочее,— решили в голос Собакин и Агашков, когда немного пришли в себя.— Мы

допекем алеута... к исправнику... к губернатору пойдем. Разбой на большой дороге... в лесу... да мы-всех екатеринбургских адвокатов натравим на алеута.

Потерпевшие ругались, как умели, и старались избрести тысячи самых ядовитых способов извести алеута. Как все очень рассерженные люди, они не только сами верили своим жестоким намерениям, но требовали непременно, чтобы и все другие разделяли их чувства. Мы с Гаврилой Ивановичем сделались невольными жертвами этого озлобления и принуждены были выражать свое полное согласие.

— Я к губернатору, Гаврила Иваныч...— приставал Собакин к нашему «вожу», который почесывал затылок и несколько раз повторял одну и ту же бессмысленную фразу: «Ах, чтоб тебя расстрелило!..»

— Нет, ты скажи, ведь мы его узлом завяжем? — приставал Собакин, размахивая своими короткими руками.— У меня есть один знакомый в канцелярии губернатора из поповичей и такая дока, такая дока... Ведь мы пропишем, Гаврила Иваныч, алеуту горячего до слез... а?! Вот и Глеб Клементьевич тоже...

— Обыкновенно, оборудуем, — благочестиво соглашался Агашков, разглаживая свою седую бороду.— У меня тоже есть один знакомый в духовной консистории...

— В светлеющий синод надо бумагу подать,— советовал Гаврила Иванович, дергая плечами.— Ах, чтобы тебя ущемило... Ну и разбойник!..

— А я еще раньше это предугадывал...— припоминал Флегонт Флегонтович.— Помните? Я несколько раз говорил: «Что это от Могильниковой никого нет?» А вот она и объявилась... И нашла же кого послать!

— Да кто он такой, этот Чесноков? — спрашивал я, воспользовавшись маленьким перерывом, когда Флегонт Флегонтович переводил дух.

— Алеут-то? А черт его знает, кто он такой... Всего года два как объявился в наших местах. Я с ним в Верхотурье в первый раз встретился, даже раз в карты играл. Он тогда адвокатом был и все судился с кем-то. Ну, парень ничего и на разговор как по-писаному режет. Сначала-то всем даже очень понравился, и в хорошие дома везде принимали. Некоторые верхотурские дамы даже очень уважали этого самого алеута, потому, сами посудите,— детина десяти вершков росту, любо смотреть. Ну,

обыкновенно, место глухое, дамочкам это даже очень любопытно казалось этакое зверя прикармливать, а потом он себя и оказал, так-таки сразу и оказал — весь как на ладонке. Именины были, и Чесноков тут же. Ну, как попал ему хорошенько за галстук, он и произвел — четверых отколотил... Силища, как у медведя. Двоих схватил за бороды да головами и давай друг о дружку стучать, чуть живых отняли. Чистый дьявол... и на руку скор, страсть! Как-то в театре в Перми идет в антракте в буфет, а навстречу купец и не сворачивает — алеут в ухо, а купец, как яблоко, и покотился. Уж теперь все этого алеута знают и чуть что — сейчас подальше. А как он попал к Могильниковой — ума не приложу... Такая степенная дама и вдруг этакое молодца подсылает. Ведь это что же такое: нож ему в руки да на большую дорогу.

— Зачем же его называют алеутом?

— Все так зовут, потому что в Америке, сказывают, жил где-то там, у алеутов... Наверно, все врет, только будто языком про Америку, а сам, наверно, из каторги ушел.

— Из каторги не из каторги, а около того, — глубокомысленно заметил Агашков. — Очень замашистый человек и даже, можно сказать, весьма неприятный... А уж откуда его добыла Могильникова — ума не приложу. Я, кажется, лучше с медведем в берлоге переночую, чем с этим алеутом...

Увлеченный неудержимым потоком своего гнева, Собакин совсем позабыл, что Агашков чуть-чуть не отнял у него заветное местечко. Об этом щекотливом обстоятельстве он вспомнил только при нашем вступлении в Причину.

— Ну, и вы, Глеб Клементьевич, тоже хороши, ежели разобрать... — корил он благочестивого старца. — Я местечко-то караулил два месяца, сколько одной водки выпоил Спирьке, а вы...

— Я?.. Да ведь я хотел вам помочь, Флегонт Флегонтович... Слышу, битва идет, ну, я и бросился ослобонять вас.

— А шурфы-то зачем били... а?.. Нет, уж не отпирайтесь лучше... Ну, да теперь все равно: дело пропащее. По крайней мере, не доставайся местечко Могильниковой...

— Вот-вот, это самое и есть... — вторил Агашков. — Послушайте, это что же такое... а?.. Вот те и раз!

Заслонив рукой свои старые глаза, Агашков смотрел вдоль по причинской улице, где у квартиры Кривоколова стояли оседланные лошади и толпились какие-то мужики. Издали можно было узнать только нескладную фигуру долгоносого пьяницы Парфена, который отчаянно взмахивал руками и расслабленно приседал. Когда мы поровнялись с квартирой Кривоколова, за ворота занимаемой им избы, пошатываясь, вышел захмелевший хохол Середа; он посмотрел на нас каким-то блаженным взглядом и, покрутив головой, на немой вопрос Агашкова пролепетал: «Ой, лишечко...»

— К нам, к нам, милостивые господа!.. — выкрикивал коснеющим языком Парфен. — Там Марфа Ивановна... их душа... вот помереть... люблю.

Мы остановились. Роба Кривоколова показалась в окне, и он Христом-богом умолял всех зайти в избушку.

— Да что вы, окаянные, тут делаете! — журил Агашков, не решаясь спуститься с экипажа. — Добрые люди на разведках бьются, а они вон где проклажаются... ах вы, греховодники этакие, ей-богу, греховодники!..

— У нас тут... ха-ха!.. Голубчик, Глеб Клементич, и ты, Флегонт Флегонтыч... ради Христа заходите. Я ведь все знаю про вас, как вы там с алеутом воевали... ха-ха!..

В этот момент за ворота выкатился, как шар, толстый седой Дружков и без всяких разговоров принялся стаскивать Агашкова с экипажа за ноги. Мы всей гурьбой отправились в избу, где слышался чей-то женский смех и неистовый хохот Кривоколова. В переднем углу, около стола, заставленного бутылками и разной походной посудой, сидела молодая красивая женщина в темном платочке с глазками. Ей было на вид лет двадцать. Высокая, полная, белая, с продолговатым лицом, она дышала тем завидным здоровьем, какое еще сохраняется только в старинных купеческих семьях. Всего замечательнее в этом красивом женском лице были серые, опущенные длинными ресницами глаза с поволокой и сочные свежие губы, складывавшиеся сами собой в такую хорошую улыбку, как умеют смеяться только настоящие красавицы.

— Вот кого нам бог послал... — хрипел Кривополов, указывая толстыми пальцами прямо на свою гостью. — Ну-ка, Глеб Клементич, угадай, кто такая будет... а?..

И не думай лучше, все равно не угадаешь... Вот так красота — сейчас же в рамку да под стекло.

— Уж вы, Нил Ефремыч, и скажете...— немножко кокетливо проговорила красавица и сейчас же вся застыдилась.— А я вас, Глеб Клементич, даже очень хорошо помню, вот и Флегонта Флегонтовича тоже.

— Матушка ты наша... ягодка...— говорил седой Дружков, припадая своей одутловатой сыромятной рожей к ручке Марфы Ивановны.

Агашков и Флегонт Флегонтович переглянулись, не зная, как себя держать с Марфой Ивановной. Лицо Агашкова так и просветлело — старичок любил красивых женщин,— но, с другой стороны, может, какая-нибудь переряженная арфистка...

— Ну, ну! Чего вы медведями-то стоите!..— кричал Кривополов.— Небось Ивана-то Семеныча Семиквасова помните? Еще гурты в степи гонял... Ну, он-то, Иван-то Семеныч, значит, помер, водочкой зашибал покойник, крепко зашибал напоследях, а это, значит, его дочь, Марфа Ивановна...

— Да как вы к нам в лес-то, в этакую трущобу попали, Марфа Ивановна? — спросил Агашков, долго удерживая в своих руках мягкую, полную ручку Марфы Ивановны.— Да где тут узнать... Я вас видел еще такой махонькой, по десятому годку. Еще пряников привозил... Может, помните?

— Как же, я вас сразу узнала,— певуче ответила Марфа Ивановна и с ласковой улыбкой смотрела прямо в глаза таявшему старичку.

— Вот и отлично, что помните... Ну, а теперь-то где же мне узнать вас, вон какая раскрасавица выросла... хе-хе! Только все-таки как же это вы к нам-то, в лес-то попали... а?..

— Я с Серапиеном Михалычем...— ответила Марфа Ивановна, заметно смутившись.— Он насчет разведки, от Могильниковой, а я с ним везде езжу, потому одних Серапиена Михалыча никак невозможно отпускать, при их неукротимом карахтере.

Марфа Ивановна так и говорила: «карахтер», «Серапиен Михалыч», но у нее и этот недостаток превращался в достоинство, потому что как нельзя больше подходил к платочку с глазками и простенькому шерстяному платью купеческого покроя.

— Вы тоже по золоту? — ласково спрашивала меня Марфа Ивановна, когда первый взрыв восторгов прошел.

— Нет, я так... на охоту приехал.

Марфа Ивановна отнеслась недоверчиво к моей охоте и только едва заметно вздохнула. Мне казалось, что я где-то ее встречал, — лицо было такое знакомое, и голос, и глаза, но где? Да и сама Марфа Ивановна отнеслась ко мне, как к старому знакомому.

— А ведь Марфа Ивановна у нас гостит на отлете, — объяснил Кривополов, утирая свою калмыцкую образину фуляровым платком. — Угадай-ка, Глеб Клементич, куда она собралась!

— Как, уезжает? — удивился благочестивый старец, но, взглянув на гостью, он только улыбнулся и, потирая руки, своим ласковым голосом проговорил: — А мы не пустим Марфу Ивановну... ей-богу, не пустим. Такой веревочкой привяжем, что и сама не поедет... хе-хе!..

— Нет, я скоро уеду... далеко уеду, — с легким вздохом проговорила Марфа Ивановна, ласково улыбаясь. — Так далеко, что и держать-то страшно... я ведь с Серапином Михалычем; куда они, туда и я...

— В Америку едет Марфа-то Ивановна наша, — объяснил Кривополов и как-то особенно глупо захохотал, — Чесноков в Калифорнию собирается золото искать...

Все недоверчиво переглянулись.

— Я и выговорить-то это слово не умею, куда Серапиен Михалыч собираются уезжать, — объясняла Марфа Ивановна в свою очередь. — А только непременно уедем... Вы чему это смеетесь, Глеб Клементич? Ведь Серапиен Михалыч такой человек: что захотят, то и сделают. Они уж такие... особенные совсем. Вы не смейтесь, Глеб Клементич.

— Я-с? Помилуйте, Марфа Ивановна... уж на что особеннее Серапиона Михалыча. Вот хоть Флегонта Флегонтыча спросите... хе-хе! А что касательно Америки там, так что же — сторона хорошая, и даже в газетах я как-то про нее читал. Хорошая сторона, прямо сказать, только далеконько маленько будет, ну, да Серапиону-то Михалычу это сущий пустяк-с... Я только так про себя думаю, как же вы, Марфа Ивановна, насчет своих сродственников? Тоже ведь жаль бросить своих-то, свою-то кровь, а там, на чужой-то стороне, еще что бог подаст.

— Нет, я уж решила,— ласково и упрямо повторяла Марфа Ивановна, опуская глаза,— куда Серапиен Михайлыч — и я с ними... А сродственники... тетка есть да дядя, ну, они от меня отказались, как я с Серапиеном Михайлычем познакомилась, потому что я... я ведь и теперь невенчанная.

Последнее слово Марфа Ивановна произнесла с заметным трудом и даже побледнела.

— Ох, не нам судить, старикам,— ласковым шепотом заговорил Агашков, делая благочестивое лицо.— Все грешны да божьи, и девать нас некуда... А вы, голубушка, еще молоды: замолите грех. Да оно по нынешним временам это даже сплошь и рядом пошло, что невенчанные живут, да еще как живут — лучше венчаных. Это прежде строгость была большая насчет браку, а по нынешним слабым временам и разобрать-то не можешь, где грех, где спасение. Другая и венчанная жена, а даже назватее не знаешь как... Нет, не судите, да не судимы будете. Так ведь, Нил Ефимыч? — обратился в заключение своей назидательной речи Глеб Клементьевич к Кривополову.

Появление женщины как-то сразу изменило картину жизни в Причине, точно ворвавшийся в комнату луч света. Не говоря уже о Кривополове и Дружкове, которые забыли даже о разведке из-за Марфы Ивановны, все остальные обыватели почувствовали, что случилось что-то такое, что прекратило разом прежнее пьяное безобразие. Вместо составления протокола и прочих громов, долженствовавших обрушиться на отпетую башку Чеснокова, Собакин и Агашков беседовали в квартире Кривополова самым благочестивым образом. Особенно хорош был Глеб Клементьевич, точно просиявший всем своим старческим благообразием; присутствие свежей молоденькой женщины наполнило его до самых краев самыми благочестивыми и душеполезными помыслами, которыми он спешил поделиться с Марфой Ивановной. Эти медоточивые речи заставили расчувствоваться даже такого бесповоротно испорченного грешника, как старый Дружков, безобразничавший напропалую по всем градам и весям.

— Подлецы мы все... это ты правильно, Глеб Клементич! — решил Дружков, чувствуя себя совсем «на точке». — Уж какая наша приисковая жизнь... Ох-хо-хо!.. Марфа Ивановна, искушали бы с нами хоть хереску или мадерцы... а?..

Этот непростительный переход от раскаяния к мадерце шокировал всех, и Кривополов тихонько дернул Дружкова за рукав, так что сыромятный старик неловко замолчал на полуслове.

Пока мы пили чай, который разливала Марфа Ивановна, под окнами нашей избы несколько раз мелькали усатые, забубенные головы «отставных» и «бывших», вернувшихся с разведки в Причину неизвестно зачем. И этих людей, выкинутых за борт жизнью, тоже интересовало таинственное появление в глуши причинских лесов таинственной женщины. Прохаживаясь под окнами квартиры Кривополова, они, вероятно, припоминали свои лучшие дни, когда и им улыбались красивые и молодые женщины.

Не дождавшись, когда кончится затянувшаяся беседа, я вернулся на квартиру, в избу Спирьки, один. После бессонной тревожной ночи долил мертвый сон. Но в Спирькиной избе мне не удалось отдохнуть, потому что там стоял дым коромыслом — очевидно, там «руководствовали» вернувшиеся с работы «вожи» и проводники: по крайней мере, можно было отлично различить голоса самого Спирьки, долгоносого Парфена, Силантия и других. Я пробрался прямо в сарай, выбрал уголок с остатками сена и трухи и, завернувшись в плед, заснул крепким сном, каким спится только после долгого шатанья по лесу.

Когда я проснулся, день уже был на исходе. Солнце висело под самым горизонтом, и красноватые лучи заката врывались сквозь щели дырявой крыши пыльными полосами. Свежесть весеннего вечера давала себя чувствовать, но после долгого, крепкого сна не хотелось шевельнуть пальцем, а так лежал бы без конца с открытыми глазами и думал без конца пеструю полосу плывших в голове мыслей. Это чисто-созерцательное настроение испытывается только в полном одиночестве, когда знаешь, что никто тебя не потревожит, и наслаждаешься даже этим сознанием. Лежа на сене, я долго наблюдал игру света и тени на покосившейся стене сарая, по стрехам и прогнившим драицам, точно солнечные лучи делали самую тщательную ревизию недвижимой собственности Спирьки.

— Ладно она их приклеила... — слышался голос Гаврилы Ивановича. — Диво бы еще Кривополов или Дружков, а то и Глеб Клементич туда же... Да и наш-то хорош тоже, нечего сказать. Хотели суды судить с тем, с дьяво-

лом, а вместо того цельный день проклажаются, и полицейские там же прилипли.

— А Глеба-то Клементича видел? — сдержанным полупшепотом спрашивал другой, незнакомый голос с легкой хрипотой. — Глазки-то так и бегают, как по маслу, а сам все насчет души... прокуратит старичонка, уж это верно. Уж такой он охотник до гладких баб, такой охотник... Очень даже я его знаю: ни одной не пропустит.

— Молитвенный старичок, а грех-то за плечами, — глубокомысленно заметил Гаврила Иванович, аппетитно зевая. — Откедова она взялась-то, эта самая Марфа Ивановна?

Наступила длинная пауза. Слышно было только, как кто-то осторожно зевал в руку и что-то бормотал.

— А я ведь ее, Марфу-то Ивановну, даже весьма хорошо знаю... да-а!.. — протянул незнакомый голос. — Верно говорю... даже случай был со мной, то есть касательно этой самой Марфы Ивановны. Может, я, Гаврила Иваныч, и пью-то с этого самого случая... да-а... вот те Христос! Как даве услышал, что она в Причине — у меня инда руки и ноги затряслись со страху. Очень испугался даже...

— Да чего тебе бояться-то, чучело гороховое?

— Себя боюсь, Гаврила Иваныч, сердце дрожит... это тоже понять надо. А сам думаю: «Не пойду я к ней на глаза — и конец тому делу»... Ей-богу!.. Потому как эта самая Марфа Ивановна хуже мне погибели... Смерть она мне, вот что!

Этот разговор меня заинтересовал. Добравшись до стены, в широкую щель между осевшими бревнами я увидел на дворе Спирьки такую картину: Гаврила Иванович лежал в нашем коробке, закинув ноги на облучок, а на облучке, скорчившись, сидел Метелкин. Он был в своем порыжевшем плисовом пиджаке и в красном шарфе; бледное чахоточное лицо было покрыто розовыми пятнами, и черные большие глаза сегодня казались еще больше. Кажется, Метелкин был сильно с похмелья и с особенным ожесточением курил крючок махорки, постоянно сплевывая на сторону.

— Ведь я у родителя-то Марфы Ивановны еще в мальчиках вырос. Тогда Иван Семеныч гурты гоняли из-под Семипалатинска... Ну, а я был круглым сиротой, вот он и взял меня к себе. При его-то деле с мальчиком способ-

нее, — послать, прибрать, записку написать и всякое прочее. Благодетелем моим был, и пожаловаться на него не могу, разве под пьяную руку неукротим на руку был, потому мужчина из себя целая сажень, рука, как пудовая гиря, ну, кровь-то в нем как заходит, тогда уж никто не попадайся на глаза — разнесет в щепы. Эти гуртовщики как-то все на одну колодку — чистые лешие... Зиму жили мы в городе и с весны в степь уезжали, так я в степи и вырос. Ну, как я вырос, большой стал совсем, Иван Семеныч даже женить меня собирался, а это вина я в те поры в рот ни капли... Хорошо. Только у Ивана-то Семеныча и умри ихняя супруга; ну, он с горя-то и принялся чертить, а на руках дочь маленькая. Он ее любил до смерти и с собой везде возил. Тогда Марфа Ивановна была так годку по девятому, а мне шестнадцать. Я с ней и водился, когда Иван Семеныч чертил... Сильно он закладывал, недели по две не в своем виде бывал, ну, скучно, в другой раз в степи-то, одурь возьмет, вот с девчонкой и возишься. Ну, а тут и случай подошел... В отца вся вышла Марфа Ивановна — рослая, полная, как холмогорская телка, а в четырнадцать лет хоть сейчас под венец, кровь с молоком девка, одним словом... Хорошо. И ко мне она привыкла, как к брату... Хорошо. Веселая была... Ну, однажды ночью Иван Семеныч спит у себя в палатке пьяный, а мы с Марфенькой у огонька сидим да глупости разные болтаем... А надо тебе сказать, что я еще раньше заметил, что стала Марфенька пемножко как будто задумываться, даже из себя вся потемнеет. Ну, думаю, нездоровится девке, мало ли что бывает женским делом... Хорошо. А тут вдруг так разыгралась, и глазенки потемнели, а сама, как котенок, так и играет... Ну, болтали мы, болтали, а Марфенька как схватит меня за шею, обняла, да как поцелует прямо в губы, крепко так... Меня как обухом по голове, точно обожгло по сердцу, и свет из глаз выкатился... Сижу это дураком и смотрю на нее, а сам ничего не понимаю... А она смотрит на меня и смеется... «Что вы, Марфа Ивановна, делаете со мной? — говорю я. — Тятенька проснется — беда»... А она мне: «Никого я не боюсь, Вася, потому что люблю тебя... а ты-теньки не боюсь».

— Вот так девка... — изумился Гаврила Иваныч. — Четырнадцати лет, говоришь, была? Экая охаверница...

— Нет, ты это напрасно, — вступился Метелкин, бросающая окурки. — Эта Марфа Ивановна совсем особенная жен-

щина... Вон какая она из себя-то, дерево-деревом, вся в тятеньку родимого. Кровь в ней, значит, поднялась... А как это она тогда сказала мне: «Вася»... Ну, да что уж тут говорить.

— Обнаковенно... только я думаю так, что не чисто тут дело, не без дьявольского наваждения. Христианской душе прямая погибель через этих самых баб...

— И я то же самое думаю, Гаврила Иваныч, то есть после-то, когда очуствовался, в разум пришел, потому эта сама Марфенька совсем ведь еще дитей была и разных предметов не могла даже понимать. И смелость в ней эта самая — чистый бес, а не девка.

— Чем же это у вас кончилось?

— Да оно, пожалуй, и теперь не кончилось... Видел ведь я сегодня Марфу-то Ивановну... узнала меня... улыбнулась по-своему, а у меня мурашки по спине, захолонуло на душе... и опять: «Вася, такой-сякой... зачем пьешь?..» Ну, разное говорила. Смеется над стариками, которые увязались за ней. И про своего-то орла сказывала... обошел ее, пес, кругом обошел; как собачка, бегаёт за ним. Понимаешь: себя совсем потеряла.

— Да и парень: чистяк... Ну, так она чего тебе-то говорила?

— Говорила, что уедет в Америку, только это пустое... Уж это верно. Агашков увязался за Марфой Ивановной и не пустит. Крепкий старичок... я его даже очень хорошо знаю. Карахтер тоже у него... Марфа-то Ивановна теперь, конечно, смеется, а только она по своему женскому разуму совсем даже не понимает людей. Думает, что лучше нет ее-то Серапиена Михалыча, а еще бабушка надвое сказала.

— Послушай-ка, Вася,— остановил Гаврила Иваныч,— а ведь ты мне не обсказал еще своего-то случая, чем у вас дело тогда кончилось.

Метелкин долго не отвечал, делая новый крючок.

— Да чем кончилось — обнаковенно... тоже и я живой человек, совсем ума решил. Как ночь, отец пьяный спит, а Марфа Ивановна ко мне... Жаль мне было ее загубить, ну, какие еще ее годы — четырнадцать лет, а она пристаёт, покою нет. Ну, и слюбились... Думал я, что женюсь на Марфеньке, потому как на отчаянность пошел... Обнаковенно: в ноги родителю, а там что будет. Ежели, думаю про себя, Иван Семеныч меня по шее, так

я или Марфеньку выкраду у него, или себя порешу. И сделал бы, все сделал бы... отчаянность тогда во мне одна была, да и Марфенька все подучивала, как и отцу объявиться и всякое прочее. Ну, а вышло совсем не по-нашему... Выбрали мы денек, когда Иван-то Семеныч совсем трезвый был; приделся я, помолился богу и пошел в палатку, а сердце так и бьется, как птица. Вхожу. Иван Семеныч на счетах прокладывает, посмотрел на меня и спрашивает: «Ну, что, Вася? Чего ты из лица-то ровно выступил, уж здоров ли?» Добрый он был, ежели в своем виде, ну, а тут этой своей добротой точно он придавил меня, как плитой придавил. Уж я и тут почувал, что не ладно дело... Ну, сотворил я про себя молитву, да прямо в ноги Ивану Семенычу и объявил начисто: все, как на ладонке, выложил. Думаю, разнесет он меня, раздавит, как щепку, а Иван-то Семеныч сидит да только вздыхает... «Ну, говорит, Вася, заплатил ты мне за мое добро, что я тебя, как родного сына, воспитал... Не к тому, говорит, молвлю, чтобы корить тебя куском хлеба, а к тому, что без всякой совести ко мне пришел. Бога ты забыл, Вася... Я на тебя, говорит, и сердиться даже не могу, потому совсем ты меня раздавил своей превеликой подлостью, а только, говорит, скажу тебе одно: Марфа Ивановна — так и назвал ее Марфой Ивановной — сама свою женскую глупость износит, а только я тебе живую ее не отдам — проклянчу. Вот тебе, говорит, мой первый и последний сказ, и даже, говорит, весьма мне за тебя совестно, что ты еще со своей подлостью смел явиться ко мне на глаза». Ну, как он это выговорил, а сам помутнел весь и слезы у него на глазах, так я и утопул... зарезал он меня своей кротостью.

Метелкин перевел дух и покачал головой, точно она была налита свинцом.

— С Марфой-то Ивановной он все-таки по-свойски разделался — и за косу, и всякое прочее, потому как я, говорит, за свою кровь ответ должен богу дать. А Марфа Ивановна свое... Бились мы, бились, а через родительское проклятие не посмели переступить, да и жених подвернулся к Марфе Ивановне. Потом вышла она замуж, только, как слухи пошли, нехорошо жила с ним, то есть он-то ее обижал за ее провинность. А я по приискам пустился, пировал, безобразничал... Видал ее издальки, только подойти боялся. Ну, а теперь вот она с Серапиеном Михалычем ушла от мужа... Все мне рассказала,

а сама плачет. «Сняли, говорит, Серапиен Михалыч с меня мою волю...»

— Шш... хозяин идет,— предупредил Гаврила Иванныч и запишел опять, как сторожевой гусь.

Флегонт Флегонтович возвращался на свою квартиру нетвердыми ногами, что-то бормотал про себя, улыбался и размахивал руками. Пробравшись в избу, он сунулся на лавку и сейчас же заснул. Теперь я отлично припомнил мельчайшие подробности своей встречи с Марфой Ивановной. Это было на большом сибирском тракте, где на станции мне пришлось ждать лошадей чуть не целый день. На эту же станцию привезли и Ивана Семеновича, который был не в своем виде; его сопровождала Марфенька. В этой девочке, развитой физически не по летам, меня поразило совершенно особенное выражение глаз, которое уже говорило о понимании «разных предметов».

Осенью встречаю Флегонта Флегонтовича в Екатеринбурге.

— Как ваше дельце? — спрашиваю.

— Какое?

— А с Причиной?

— Ах, да... Знаете, тут вышло маленькое недоразумение. Наше местечко и теперь спорным считается, так никому и не досталось... Помните алеута-то? Ведь его тогда Спирька Косой подвел... а Спирьку подкупил Агашков, а Агашков... Марфа-то Ивановна теперь у Агашкова живет. Да-с... И лучше: старичок-то не надышится на нее, ну, бабенка молоденькая, по крайней мере отдохнет, а то алеут-то ее чуть-чуть до смерти не изуродовал. И как ловко алеута поддел Глеб-то Клементич... хе-хе!.. Угождением донял молодца, в лоск его спойл, а потом и Марфу Ивановну перетянул за себя... Славная бабочка. Как-нибудь поедemте к ней чай пить... Не хотите? Ну, как знаете, про себя вам лучше знать!

— А где ваш приказчик Метелкин?

— Метелкин? Бедняга приказал вам долго жить... И черт его знает, что с ним сделалось после этой самой золотой ночи — совсем задурил парень: начал пить, безобразия всем строил... И представьте себе, на чем человек может помешаться: увязался за Марфой Ивановной. Ей-богу... Положим, что он ее знал еще детей, ну, а все-таки,

согласитесь сами, даже смешно: Марфа Ивановна и Метелкин. Конечно, она его жалела по своей доброте и прощала разные глупости, а когда он хворал — даже сама навещала его, но ведь это совсем не то-с. Скоротечная чухотка у Метелкина открылась и в две недели его скрутила.

— А где теперь алеут?

— А кто его знает: исчез и только. Много у нас таких-то.

Результаты «золотой ночи» окончательно выяснились только осенью, когда были утверждены произведенные заявки. Собственно, по реке Причинке самые лучшие куски остались спорными, а остальное было разобрано Агашковым, Кривополовым, Куном и прочей прожорливой и добычливой братией... Флегонт Флегонтович остался на бобах и теперь мечтает о каком-то заветном местечке на реке Чусовой, которое ему обещал предоставить самый наивернейший человек.

НА ШИХАНЕ

Из записной книжки охотника

I

— Там кто-то есть...— проговорил Савка, нюхая воздух, как собака.— На шихане ¹ артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась — умное животное чувствовало близость других собак.

— Карла с объездчиками... шестером, на вершних,— продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забирающуюся кверху между двумя россыпями.— Чуешь, барин?

— Нет, ничего не чую...— должен был я сознаться.

— А я давно чую, и Кукша тоже...— проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на

¹ Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистонь», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупной, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

— Далеко еще до шихана? — спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком.

— Да версты две, поди, будет... Засветло еще приедем.

Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались позади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях — не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы наконец подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи

обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

— Это от олешков... — флегматически объяснял Савка. — Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и в шерсти — вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

— Говорю: олешки... Чего еще тебе? — сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковра; в засуху лишай хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувший со стороны недалекого шихана.

— Теперь по самому по лбу идем... — объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. — Широ- ченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятанная у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загоразивавших ей дорогу прикрутостей и увалов; в одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся замок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная све-

жесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав — земля «дала пар», как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклись высоким столбом комары, где-то вприсонье пиликала какая-то лесная «пичужка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучая мышь и быстро исчезала в накоплавшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

— Вёдро будет... ишь как туман-то заходил, — проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. — Кукша, цыц, треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

II

На шихане, вернее — под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и поволчьи зашелкала зубами.

— Ну вы, дуrolомы, отойдите! — кричал Савка на лаявших господских собак. — В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой, сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесообъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели

на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

— Мир на привале...— здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

— Мир дорбогой,— отозвался один из объездчиков.— Да это ты, Савка?

— Выходит, что я, Иван Васильич... Можно нам заочевать?

— На-вот, всем места хватит.

— А я вот барина по лесу водил, пристали... Кукша, цыц, стерва!..

— Пожалуйт, пожалуйт, каспада...— заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра.— Веста, тубо... назать!.. А, это ти, Сафк...

— Я, Карла Иваныч... Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

— Ошэнь рат... садитесь на месту... Кого убиль?

— Да так, пустяки, Карла Иваныч,— скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок.— Двух поляшей залобовали да польнюшку¹.

— Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава-богу», потому что называл Ивана Богослова — Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец — вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломавым языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шерт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт»,— говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержанию: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навывкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Коз-

¹ Поляш, или косач — тетерев-березовик, польнюшка — тетерька. Залобовать — убить. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

линая бородка и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с бору да с сосенки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

— А ви сюда... ковер... — обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик. — Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик, с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, коченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачи, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

— Хорош собак? — спрашивал Слава-богу, облизывая свои пальцы. — Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими

пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

— Эх этот Карла трескает... страсть! — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. — Чисто как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем.

— Хороша у вас сучка-то... — проговорил Савка, отставляя горшок от огня.

— Ничего... — протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку. — На дупелей стойку держит, на копалят¹ тоже...

— Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

— Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото: хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

— Знаю... Куликов стрелять? Известно, господская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логом и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге — от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменившейся картиной северного неба, которое сейчас после

¹ Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах копалухой, а глухарят — копалятами. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

солнечного заката сильно потемнело и только мало-помалу «отошло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим светом. В одном месте черкнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажег спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

— Это ангел божий пал на землю,— объяснял он.— По душу господь его послал, по праведную.

Лежа в балагане, на широких полатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята, некошная! — ругался он за свой испуг.— Эх ее взяло, проклятушую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток.

— Ну, что у вас на Кособродском? — спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок.

— Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высоченная, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которы еще поденщиной перебиваются.

— А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи! — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву.

— Не забыл разве еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?.. Экой у тебя характер, Савка... чистый ты дьявол, ежели разобрать... а?

— Хуже дьявола, потому как...

Савка не закончил речи и начал крутить новый крючок.

III

Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеной. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о почлеге.

— Пойдем, барин, ко мне, заночуем...— предложил Савка.— Я в Студеной живу...

Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

— Да ты чего, барин, сумлеваешься? — заговорил Савка, угадывая мою мысль.— Я в своем доме хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора; ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было; нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться.

— И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? — ругалась достойная половина Савки.— В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки действительно места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полатах — везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

— Нам бы, Анка, насчет самоварчика? — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

— Самоварчик?! да где я тебе его возьму? — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками.— Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугунки-то нет...

— Да ты что больно зудишь? — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем доме.— Я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов,

улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

— Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!.. — неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту. — Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винице протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежду до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности.

— Она, Анка-то, славная у меня... — докладывал Савка. — И меня любит, а только на руку больно скоро, когда расстервенится. Конечно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей усталости; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супружества Анка принесла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

— А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! — кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи. — Который помер — и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что, хоть околеет мы тут,

ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» — объяснила мне однажды Анка про мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Жил в Кособродском заводе один мужик, по прозвищу Крохаль. Это был настоящий богатырь — высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял зверованьем и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохалия было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались, как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы, у богатыря Крохалия был сын, лядаший мужичонко Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лядашем Крохаленке от младых ногтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики — все узнали в Савке особенного человека,

которого не тронь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все — трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

— Уж Савка скажет — как завяжет! — дивилось мужичье. — Мудреный, пес...

— Не больно завидно мудренее вас-то быть, — огрызается Савка. — Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

— А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

— И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричней; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней — трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клеветов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, наводил грозу на целые

селения и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

— Уж знаю, что взловят меня, а иду домой,— рассказывал Савка.— Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя — еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать — так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому боятся одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

— Как же ты уходил?

— Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь — один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

— Ну, а Анка что?

— Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне ко-

торых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля — он просто перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений.

И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кою не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика собственно охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань — куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старей Крехаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованьем, но его губила водка — он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

— Уж супротив Савки не сделать, — говорили про него другие мужики, — его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова такие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

— Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? — несколько раз спрашивал я Савку. — Ведь ты мог бы жить не хуже других?

— От зверства своего и пью... — коротко объяснял Савка. — Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое с своей Анкой.

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженях пути.

— Важное утречко издалось...— говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок.— Пусть уже Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него длинные.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

— Пошла, Сафк? — спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

— А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинова набил целый десяток шапкой,— рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой.

— Врать...— скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

— Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак в усленьев пост, ну, им росой-то крылушки и заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх... Взле-

теть-то и не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчики; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски. Лес в логах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светло-зелеными, точно громадные заплата. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястреба.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте изпод куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

— Ох, барин!.. — вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. — Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала в траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы

подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

— Бей, бей...— хрипел Савка, закрывая глаза.— Лучше меня бей.

— А... канайль... швейн!..— ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля.— Ты меня хотел убивайт... душил за горлом...

— И задушу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

— Отцепись ты, дьявол! — кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки.— Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пуцай...

— Бей меня, а то пса губить... живодеры, мошенники! — ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом опалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве.

— А шерт минэ взял... а шерт тебэ взял... Зачево минэ душиль?..— спрашивал Слава-богу, повертываясь.— Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

— У! нехристь...— шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье польнюшки-матки, сторожившей на ягольнике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем

затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

— Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то,— как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож.— Ну, счастлив Карла, а то я бы ему выпустил все кишки.

— Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

— Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

— Какой зверь, какой человек?

— А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства — пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади али пса — так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в ширф и бросили, а сверху елочками закидали... Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую

лошадь да к сосенке на цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду,— и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее — все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конечно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!» Признаться признались, а куда убитого купца дели — не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли... Так народ что тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадью! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела...

— Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

— Ах, какой ты непонятный, барин... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, потому она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому такой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку — и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцем, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки, тогда и жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что хошь со мной делайте. Обрато вам полштоф ваш выставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то

руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального мирозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости»; его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

— Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? — допрашивал меня Савка. — К этим угодным человекам всякой лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютеет, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житьишко да про других-то, господи милостивый, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом гляжу, вся рожато у меня мокрая: слезой проняло.

БАШКА

Из рассказов о погибших детях

I

Утро было отвратительное, точно природа выворотила из своих недр всю грязь, какая только была в запасе. По небу ползли низкие, грязные облака, цеплявшиеся за самые крыши городских домов. На улицах грязь стояла по колено, и можно было подумать, что с неба в течение двух последних дней лился не дождь, а помой. Грязь, грязь и грязь — целое море грязи, в котором уездный городишко Пропадинск растворялся, как брошенная в стакан воды горсть соли.

— Совершенная подлость! — коротко заметил густым надтреснутым басом Башка, взглянув в запотевшее окно на улицу.

В этот момент все кругом окончательно потонуло в мутной кружившейся мгле, сверху тихо начали падать хлопья мокрого снега и сейчас же таяли в липкой, точно разведенной грязи. Через полчаса окна кабака «Плевня» были залеплены мокрым снегом, так что внутри сделалось совершенно темно, как в сумерки.

— Экое божеское произволение! — флегматично заметил сиделец «Плевны», толстый и рябой мужик в плюсовом пиджаке; его звали обыкновенно Иван Василичем, а под сердитую руку просто Ванькой Каином. — Ну, Башка, дело дрянь выходит... совсем как есть дрянь!

Башка протянул свои длинные ноги в стоптанных опорках и ничего не ответил, а только передернул широкими плечами. Облокотившись жилистой, волосатой рукой на стойку, он низко опустил свою лохматую голову с легкой проседью в русых кудрявых волосах. Костюм Башки давно требовал самой серьезной ремонтировки, потому что засаленный старинный сюртук с узкими рукавами и широким воротником расползался окончательно и дал несколько трещин по швам, а серые триковые штаны готовы были свалиться каждую минуту, не говоря уже о выдавшихся заплатанных коленках и точно выеденных задках раструбов. Но Башке было не до костюма. Он был весь поглощен одной идеей, сосавшей и щемившей его с раннего утра: это — опохмелиться. Все громадное тело Башки ныло каждой косточкой, каждой каплей крови, а в трещавшей голове колесом вертелась одна мысль. Его широкое лицо с окладистой бородой, густыми бровями, приплюснутым носом и высоким лбом точно было подернуто сегодня туманом, а маленькие серые глазки смотрели воспаленным взглядом.

— Хоть бы черт принес кого-нибудь, — проворчал Башка, поглядывая на открывающуюся и затворяющуюся дверь кабака. — Этакая мерзость!

Непогодь гнала народ в «Плевну», но это все были чужие: извозчики, отставные солдаты, мужики с базара, несколько мастеровых. Они вносили с собой комья грязи на ногах, отряхивали снег с шапок, ругались и подходили к стойке Ваньки Каина, который не успевал сегодня поворачиваться, наливая стаканчики из толстого пузыристого стекла. Водка выпивалась, слышалось здоровое кряканье совсем прозябших людей, на стойку сыпались пятаки, а потом долго прожевывалась захваченная с собой закуска. «Ух, студено!» — кричал приземистый, плотный извозчик, отворачивая полу своего кафтана, чтобы достать кисет с деньгами. Он как-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот стаканчик водки, закрыл глаза и одним глотком покончил всю церемонию. Башка старался не смотреть на эту картину, но это не мешало ему чувствовать каждый глоток водки, разливавший блаженную теплоту. Ванька Каин казался каким-то необыкновенным капельмейстером, который разыгрывал целую оперу.

«Нет, чтобы предложить опохмелиться... ну, какой-нибудь стаканчик, — с тоской думал Башка, и ненависть

к Ваньке Каину несколько парализовала ломавшее его жестокое похмелье. — Этакая шадриная каинская рожа!.. Ведь рассчитался бы после. У! дьявол... И как назло никого нет: ни Хохлика, ни Корнилыча, ни Трубы».

Кабак «Плевна» был из привилегированных и находился почти в центре города, в глухом переулке, который шел от Хлебного рынка. Прямо из сеней дверь вела в большую полутемную комнату со стойкой Ваньки Каина в глубине; это, собственно, и был кабак; из-за стойки маленькая дверца вела в каморку самого сидельца, а другая дверь из кабака вела в две следующие комнаты, предназначенные для публики почище, собственно для кабацких завсегдатаев вроде Башки. Эти завсегдатаи редко останавливались перед стойкой, а проходили дальше и проклажались уже в своей компании. Случайные посетители и мужичье толклись обыкновенно в первой комнате или сидели на широкой грязной лавке, поставленной вдоль всей передней стены. Теперь, собственно, была полна только эта первая комната. Но музыкальное, чуткое ухо Башки уже поймало знакомые торопливые шаги в сенях: это без сомнения был он, Корнилыч. В растворившихся дверях показалась сторбленная юркая фигурка в пиджаке и фуражке; раскланявшись с Ванькой Каином, она быстро исчезла в соседней комнате, куда поплелся и Башка.

— Едва ушел... — торопливо рассказывал Корнилыч, моргая своими рысьими глазками. — Всего две партии сыграл на биллиарде, подвинул двенадцатого шара рукавом, ну, меня и взбрили. В бок здорово саданули кулаком... Ну, а ты? Вижу, вижу... Эх, скверно!..

Корнилыч запустил руки в карманы брюк и забегал по комнате маленькими шажками, как ходят трактирные половые; на его пиджаке мокрыми отпотинами обозначались остатки мокрого снега, а плечи просто дымились от пара.

— Нет, Ванька-то... а? Каков подлец?! — громко проговорил Башка, останавливаясь посередине комнаты в самой трагической позе. — Ведь видит, шельма рогатая, как живого человека кочевряжит, и хоть бы какой наперсток...

— Это ты напрасно, Башка, — уговаривал Корнилыч. — Где же нас всех поить даром? А без Ваньки куды бы мы? Пропадай, как червь.

Башка крепко выругался, но должен был согласиться с Корнилычем, который всегда и всех оправдывал и даже

на самого себя смотрел как-то со стороны. Лицо у Корнилыча было бойкое, всегда измятое и всегда добродушное; остриженные щеткой волосы дали повод называть его в своей компании «ерошкой». Он был замечательный мастер разговаривать и знакомиться с кем угодно и был самый необходимый человек в хорошей компании.

— Ну, а снег? — спросил Башка, что-то соображая про себя.

— Снег? Подлец, а не погода... так и лепит. Мне за воротник сколько насыпало... бррр... У тебя покурить нет? Ну, не надо...

Ерошка наслаждался теперь и охватившей его тепло-той гнилого кабацкого притона, и сознанием собственной безопасности. Эти грязные, покосившиеся стены, избитый точно в конюшне пол, пропитанная специфическими кабацкими миазмами атмосфера,— все ему было дорого и мило; Ерошка с удовольствием потянул в себя промозглую струю воздуха, прохваченную запахом грязи, дегтя, гнилой кожи, мокрого платья, перегорелого лука и сивушного масла. Несколько распатанных стульев и некрашенный деревянный стол составляли всю мебелировку этой привилегированной половины.

— А вот и наши здесь! — проговорил в дверях плечистый, приземистый мужик в поддевке; рыжая борода и прищуренный косой глаз придавали ему подозрительный вид.— Ну и погодка!.. Месил, месил грязь, хоть бы одна шельма попалась. Есть до смерти хочется, братцы...

— У нас табаку нет, а он: есть! — презрительно ответил Башка, шагая по комнате неровными шагами.— Хохлика не видал?

— Как не видал: у Хохлика тоже ненастье...

— Вот что, Труба, как бы нам того... не пропадать же в самом деле? — заговорил Ерошка заискивающим голосом.— Сходи, братику, к Каину, авось расступится... а? Ты объясни ему... а?

Труба почесал в затылке, еще сильнее прищурил свой косой глаз и отрицательно покачал головой. Наступила тяжелая пауза, которой не нарушило даже появление Хохлика. Это был еще совсем молодой человек с зелено-вато-серым лицом и глубоко ввалившимися глазами, горевшими лихорадочным, чахоточным блеском. Он молча сел в уголок, поджал под себя ноги и долго не мог отды-

шаться после скорой ходьбы. На всех напала минута тяжелого уныния, как у людей, заблудившихся в лесу. В таких исключительно критических случаях обыкновенно выручал Башка, отличавшийся дьявольской изобретательностью, но сегодня и он повесил нос, точно пришибленный. А из кабака доносилась настоящая мелодия довольного кряканья после выпивки, звона стаканчиков и того кабацкого галденья, какое бывает только около стойки.

— Эх их взяло, подлецов! — глухо пробасил Башка, натягивая на свою голову заношенную, как блин, кожаную фуражку.— Ну, братцы, я схожу... подождите, может, и выгорит что.

Когда высокая фигура Башки скрылась в дверях, все как-то разом оживилось и заговорили: «Уж Башка одно слово... Выручит! Да он из земли добудет, особенно ежели с похмелья ломает когда. Золотая голова!» Даже Ванька Каин почувствовал угрызение своей каиновой совести, когда мимо его стойки Башка прошагал с самым мрачным видом.

«По погодыю-то надо бы стаканчик было подать,— думал Ванька Каин, проворно орудуя за своим прилавком.— Ну, да больно зазнаваться стал, пусть не фордыбачит».

В душе Ваньки Каина шевельнулась обидная мысль, что Башка третьего дня облаял Акулину, его любовницу, которая жила с ним в каморке. И всего-то дела было, что Акулина попросила Башку наставить самоварчик, так куды тебе — сейчас на дыбы, мы-ста образованные люди и всякое прочее, а вот теперь, образованный человек, ступай-ка, помеси грязь-то... Это даже совсем преотлично для тех, кто настоящего понятия не хочет иметь и добра не помнит.

II

Отчаянное положение выдавило в голове Башки мысль, которую он теперь нес из «Плевны» на самый конец города. Собственно, это было последнее средство, на какое он решался только в самых критических обстоятельствах.

— Э, черт с ними! — ругался Башка, шагая через грязь.

А погода делалась все отвратительнее. Холод крепчал. Откуда-то налетал порывами пропизывавший насквозь ветер, который просто жег голые руки и спину. Хлопья мокрого снега сменились сухой снежной пылью, тихо кружившейся в воздухе отдельными пушистыми снежинками в форме правильных звездочек, игл и разных замысловатых геометрических фигур. Недавно сплошная полоса грязи, заливавшая пропадинские улицы, теперь приняла самый обманчивый вид, и Башка постоянно ошибался, стараясь пробраться поблагополучнее. В одном месте он совсем оставил свои опорки в грязи и долго не знал, что делать с ними. Грязь еще сохраняла в себе известную теплоту, сравнительно с верхним снеговым налетом, который резал ноги, как ножом. После короткого раздумья Башка всунул ноги в полные грязи опорки и зашагал по деревянному тротуару. От «Плевны» ему было нужно перекосить соборную площадь, потом обогнуть старый гостинный двор, а там свернуть в узкую Проломную улицу, где тонули в грязи постоянные дворы. Сделав с полверсты по этой убийственной дороге, Башка почувствовал непреодолимое желание вернуться под гостеприимный кров «Плевны», — обычная энергия изменила даже его железной натуре. Это был настоящий припадок малодушия, но Башка устоял против искушения и только быстрее зашагал вперед.

Скрестивши по-наполеоновски руки на груди, чтобы сохранить теряющуюся теплоту, и подняв плечи, чтобы защитить голую шею от попадавшего за воротник снега, Башка летел вперед, как хороший волк. В конце Проломной стоял кабачок Зобуна, в который Башка иногда заходил, но теперь было не до него — до цели оставалось всего с полверсты. Купеческие каменные дома в Пропадинске были только в центре, затем во все стороны расходились деревянные постройки, а на окраинах тянулись самые жалкие лачуги, слепленные кое-как из разной дряни, как ласточкины гнезда. За Проломной, на самой окраине, как исключение, стоял большой каменный дом гуртовщика Ломотина; сюда и держал свой путь Башка. Разбогатевший мужик Ломотин недавно умер, и сегодня шел девятый день, следовательно, должна была быть богатая подачка нищей братии. Башка не без основания рассчитывал кое-что получить здесь, хотя к такому нищенству прибегал только в самом безвыходном положении, как сегодня.

Около ломотинского дома уже собралась порядочная кучка нищих. Когда Башка подходил к ней, в воротах появился мордастый дворник; он загородил калитку жердью и начал пропускать под нее во двор по одному человеку. Нищая братия одним сплошным шевелившимся комом лохмотьев наперла на калитку и брала приступом каждый вершок. Слышалась хрипая ругань, бабий визг и тяжелые вздохи. Башка остановился позади всех и терпеливо ждал своей очереди пролезть под жердью, перегораживавшей калитку; он чувствовал особенное отвращение к этой грязной сволочи, потерявшей всякий образ и подобие божие, потому что и в самом падении своем чувствовал себя неизмеримо выше этого человеческого хлама. Некоторых он знал. Вот, например, этот седой сгорбленный старичок, который особенно назойливо пробивался вперед; он когда-то служил в земском суде, занимал видное место и во время своей славы раскуривал трубку кредитками, но спился с круга и теперь жил подаяннем. За ним держался смуглый бритый мужчина; этот славился как прежний богач, умевший промотать доставшееся ему наследство в пятьдесят тысяч. Далее следовал ряд совершенно темных личностей, собравшихся сюда бог знает из каких трущоб; особенно были подозрительны женщины-побирушки, с обрюзгшими, измятыми лицами и злыми глазами. Это всё были специально нищие, промышлявшие сбором подаяния по домам, на рынке, по церковным папертям и шмыгавшие по всем поминкам в богатых купеческих и чиновничьих домах. Для них лохмотья и заплаты служили средством существования как вывески какого-нибудь цехового мастера; где кончались лохмотья и где начинался человек, трудно было разобрать; люди здесь превращались в живые лохмотья, заплаты и прорехи.

Башке пришлось прождать битый час в этой толпе, и он совершенно околел, напрасно стараясь согреться переминанием с ноги на ногу. Живая теплота живого тела оставила его; у Башки начинали стучать зубы, и он почувствовал особенную ненависть к жирному и брыластому дворнику, который нарочно медлил, пропуская очередных, и несколько раз начинал переругиваться с нищими жиденским тенорком.

— Отпячивай назад, пехота! — кричал дворник, защищая вход своим толстым брюхом в белом фартуке.—

Я вот скажу Анфисе Парфеновне, так она вас всех метлой отселева...

— А ты не больно шеперся, не велик в перьях-то! — огрызнулась какая-то шустрая старушонка с птичьим лицом. — Не к тебе пришли...

— Разговаривай! — лениво протянул дворник. — Вон она, Анфиса-то Парфеновна, сама на крыльце-то стоит.

Наконец наступила и очередь Башки. Он уже держался одной рукой за палку, ожидая своей очереди и стараясь не глядеть на дворника, который его просто возмущал всей своей фигурой, как голодного волка возмущает сытая собака. Вместе с тем Башка испытывал тяжелое чувство унижения и еще больше сердился на ни в чем не повинного дворника, которого с удовольствием перекусил бы пополам. От нечего делать он рассматривал внутренность богатого двора, усыпанного желтым песочком, с крепкими службами назади, с цепной собакой у амбара, с привязанной у столба великолепной лошастью, заложенной в лакированный экипаж; налево был подъезд с стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна в лисьей шубе и степенно давала каждому его пай милостыни, лениво повторяя одну и ту же фразу: «Помолись, миленький, за раба божия Симеона и сродников». Около купчихи толклись какие-то две старушонки в темных платочках с глазками.

— Пролезай! — крикнул дворник на зазевавшегося Башку.

Башка согнулся, чтобы пролезть под жердью, но в этот момент мимо него головой вперед рванулась какая-то бабенка с подбитым глазом и чуть было не предупредила его, но Башка вовремя схватил ее за шиворот и отбросил назад, как тряпицу.

— Куда, Фигура, прешь? — ворчал он, уже шагая к крыльцу.

Получив подаяние и крепко сжав деньги в кулаке, Башка зашагал в другой конец двора, куда выпроваживал нищую братию высокий кучер в кожаном кафтане. Чтобы не было напрасной давки, нищих выпускали из двора другими воротами. Очутившись на улице, Башка сосчитал полученные деньги; на его долю достался целый полтинник, и это обстоятельство разом вознаградило его за все лишения.

Через полчаса Башка уже входил в кабак Зобуна, где толпились нищие, успевшие «выправить» подаяние раньше его. Размякший, ожирелый сиделец с зобом на шее орудовал не хуже Ваньки Каина и, наливая стаканчики, приговаривал:

— Помяни раба божия Симеона и сродников... Больно добра для вас Анфиса-то Парфеновна, гли-ко, по полтине на рыло сошлось. А! и ты, Башка, здесь?

— Ну, ну, не разговаривай... совсем околел!

Башка залпом выпил два стаканчика, чтобы сразу согреться, но водка на него не действовала сегодня, и он потребовал себе третий. Когда Башка уже подносил дрожащей рукой стакан ко рту, около него появилась давешняя бабенка с подбитым глазом и нахально толкнула его локтем в бок.

— Ты опять, Фигура? — зарычал взбешенный Башка и даже замахнулся на надоедливую бабенку поднятой рукой.— Раздавлю, как муху...

— Ух, какой страшный! — кокетливо взвизгнула Фигура и нахально захихикала прямо в лицо Башке.— Этакое верзило и с бабами драться... Ну, тронь, только тронь!..

Отпустив несколько отборнейших выражений на специальном кабацком жаргоне, Фигура с наслаждением выпила стаканчик зеленого бальзама, вытерла губы подолом грязного платя и опять засмеялась своим нахальным смехом.

— Што, Башка, наткнулся на ерша? — спрашивал Зобун, кисло улыбаясь.— Уж она октрыса, одно слово, как бритвой бреет...

Башка презрительно взглянул на Фигуру еще раз и отвернулся. Он вообще ненавидел всех женщин, как другие не выносят мышей или тараканов, а теперь еще должен был переживать чувство оскорбленного достоинства, что связался с бабой.

Именно этот почти невольный жест физического отвращения задел за живое Фигуру, которая в дни крайнего падения не могла расстаться с логикой хорошенькой женщины, привыкшей требовать общего внимания. Взглянув теперь на Фигуру, никто бы не поверил, что это отекавшее лицо с воспаленными и слезившимися глазами, с распухшим носом и блестящими синеватыми губами могло быть когда-нибудь красиво, хотя это было так. Костюм Фигуры был самого подозрительного свойства — какая-то рыжая

кофточка, сбившаяся на один бок, ситцевые юбки, обносок шали на голове и стоптанные ботинки на ногах. Выпив два стакана бальзама, Фигура села на лавку, рядом с Башкой, и далеко вытянула свои грязные ноги, так что из-под юбки выставились совсем голые щиколотки и нижняя часть белых полных икр.

— Будь ты проклята, анафема! — выругался Башка, вскочив с лавки.— Чего ты лезешь?

— Будет лаяться-то, невежа! — совсем другим тоном, спокойно и самоуверенно проговорила Фигура, взяла Башку за локоть и посадила рядом с собой.— Ну, чего ты бесишься? Лучше покурим; у меня табак есть...

Башка сердито плюнул на сторону, но от табаку не отказался. Он испытывал теперь совершенно особенное чувство, именно, он точно был давно знаком с этой нахальной бабой и даже был доволен, что она его удержала на месте. Про себя Башка несколько раз обругал соседку самыми непечатными словами и хотел сейчас же отправиться в «Плевну» к ожидавшим его товарищам, но вместо этого язык Башки как-то против его воли проговорил:

— Хочешь еще бальзаму, Фигура Ивановна?

— Только вместе с тобой...

Дальше все происходило в каком-то тумане: стаканчики следовали за стаканчиками, Башке сделалось тепло и весело; он хохотал и пел с своей новой знакомой, как сумасшедший. Потом они вместе пошли от Зобуна по Проломной улице, и Башка даже помогал своей спутнице переходить через грязь, как настоящий кавалер.

— Пойдем к Ваньке Каину; там у нас настоящее гнездо,— объяснял Башка, сильно пошатываясь.— Все отличные ребята... Ерошку не знаешь? и Хохлика? и Трубу?.. Ну, после этого ты ровно ничего не знаешь...

Башка дергал на ходу плечами, сжимал кулаки и совсем не чувствовал холода, который леденил его тело.

— Нужно еще денег достать,— говорила Фигура.— Пойдем, я знаю где... Еще есть в двух домах поминки.

III

На привилегированной половине «Плевны» целый день прошел в самом нехорошем настроении духа; это решительно был пресквернейший день. Сначала все поджидали

возвращения Башки и рассказывали анекдоты с его необыкновенной находчивости; потом начали ворчать и ругаться, зачем Башка так долго не идет на выручку, и наконец все тяжело замолчали, как люди, потерявшие последнюю надежду. Даже Ванька Каин, и тот сжалился над ними и выслал целое решето черпного хлеба и луку. Это было уже совсем под вечер.

— Должно быть, Башку пьяного в полицию где-нибудь забрали,— повторял несколько раз Корнилыч.— Зашел погреться куда-нибудь, выпил, ну, и разомлел с холоду-то... Это бывает!

Точно в ответ на это предположение в дверях «Плевны» появился сам Башка, сильно пьяный; гнев всего общества был готов обрушиться на его голову, но его проявление было парализовано появлением Фигуры, которую привел с собой Башка.

— Господа, рекомендую... вот женщина... Фигура Ивановна,— бормотал Башка заплетавшимся языком.

Все общество встретило эту рекомендацию гробовым молчанием и сделало такой вид, что совсем не замечает присутствия «женщины». В дверях выглядывала улыбавшаяся рожа Вапки Каина, а из-за его плеча сумрачно смотрела Акулина, высокая костлявая баба, с широким деревянным лицом, походившим на лопату.

— Вот так уколол Башка штуку... ловко!— хрипел Ванька Каин, любуясь происходившей пред его глазами сценой.

— Да вы что молчите-то, оглашенные? — заговорила Фигура, обращаясь к публике вообще.— Подавились чем или мух ловите здесь?

Общество оставалось глухо и немо; все были сконфужены и за себя и в особенности за сбесившегося Башку, который нарочно теперь бодрился перед своими друзьями, как все виноватые люди. Он с напускной развязностью потребовал у Ваньки Каина водки и сел вместе с Фигурой за отдельный столик, точно вызывая все общество на бой. Собственно говоря, собравшиеся в этой комнате потерянные люди отличались большой тонкостью чувств и той особенной психической чуткостью, когда слова являются излишними для взаимного понимания. Все они отлично понимали друг друга по одному взгляду, по малейшему жесту. Молчаливый протест друзей для Башки был в тысячу раз тяжелее открытого восстания, ругани

и даже рукопашной. Даже нахальная без границ Фигура, и та, видимо, не ожидала такой встречи и теперь только улыбалась пьяной и нахальной улыбкой.

— Пожалуйте, Фигура Ивановна,— угощал Башка свою гостью, стараясь быть любезным назло всем.

— А как тебя зовут? Я еще не знаю,— спрашивала Фигура, делая вид, что ничего не понимает.

— Меня здесь зовут Башкой...

— Очень хорошее имя: Башка... да! Из семинаристов? Да, да... Я встречала много семинаристов... Славный парод и пьют отлично.

Фигура стыдливо обдернула сбившуюся набок юбку, спрятала грязные ноги и несколько времени упорно старалась принять серьезный вид приличной дамы, по ее опухшее лицо само собой расплывалось в отвратительную улыбку, которая просто корбила Башку, точно его поджигали каленым железом. Но он хотел выдержать характер. Труба, Корнилыч и Хохлик сбились в углу в одну кучку, как последние римляне и как люди, хорошо посвященные в тайны светских приличий; они вели вполголоса совершенно посторонний разговор, как это делают хорошие друзья, когда в доме покойник или другое какое несчастье.

Это критическое положение сторон разрешилось совершенно неожиданной развязкой. За стойкой у Ваньки Каина произошла довольно горячая сцена с Акулипой, которая сначала шипела, а потом принялась голосить и ругаться на весь кабак.

— Хотя я тебе не жена, а все-таки у тебя ума писколь нет! — кричала Акулина, размахивая длинными руками.— Разве это порядок, чтобы пущать в заведение всякую дрянь? Да она, шлюха этакая, еще стащит што-нибудь. Разве углядишь за ей, паскудой?.. И што это я за каторжная далась тут вам, чтобы напускать всяких потаскушек!

— Затвори хайло-то, хайло затвори, ворона! — огрызался Ванька Каин, хотя это делалось только для порядку, чтобы показать перед публикой свою хозяйскую власть.— Вот я возьму как обихаживать самое-то, только стружки полетят.

— Ну, бей, бей! А я не соглашусь, чтобы всякая потаскушка распоряжалась в заведении! — голосила Акулина неистовым голосом, точно ее резали.— Хотя я не в законе с тобой, а в дому порядок должен быть... Да я ей,

твари, все зенки выцарапаю; вот што! Разве у нас такое заведение, чтобы манеры-то эти разводить?.. Я и Башке всю рожу исцарапаю.

Положение Башки крайне усложнилось. Ополоумевшая Акулина имела за себя все преимущества как перед мужем, так и перед завсегдатаями, которые, конечно, держали ее сторону. В пьяной голове Башки шевелилась уже мысль о неизбежности рукопашного решения спорного вопроса, и он под столом сжимал свои страшные кулаки, вызывая поглядывая на недавних приятелей.

— Вот что, Башка, пойдём отсюда, — предложила ему Фигура, поднимаясь с места. — У меня ещё дело есть... Медальон ждёт.

— Какой Медальон?

— Увидишь.

За водку деньги были заплачены вперед, и парочка торжественно направилась к выходу. Когда Фигура была уже у дверей, Акулина выбежала из-за стойки, догнала ее и толкнула своей деревянной рукой в шею.

— Акулька, язва, отвяжись! — кричал Ванька Каин.

Башка зарычал, как медведь, по которому выстрелили, но Фигура успела его вытолкнуть в сени и энергично потащила за руку вперед.

— Стоит связываться с дурой! — успокаивала она своего спутника, шлепая по грязи. — Тут недалеко, живо дойдем. Дай руку, вот так, как барыни ходят...

Фигура хрипло засмеялась в темноте, а Башка молча зашагал рядом с ней. Кругом было совершенно темно, хоть глаз выколи, и только слабо мигали жалкие фонари по углам улиц. Снег остановился, но холод был по-прежнему страшный и пробирал до костей. Где-то завывала бездомная собачонка, слышалось хлопанье оторвавшегося с крыши железного листа; какой-то забулдыга брел через соборную площадь и все старался затянуть песню, походившую на мычанье. Медленно проехал извозчик, позвонил в чугунную доску ночной сторож, а впереди и назад — крошечная тьма. Парочка брела на ощупь и через двадцать минут была уже в узком и глухом переулке.

— Здесь, — проговорила Фигура и остановилась у какой-то деревянной развалины.

Они вошли во двор, потом в какой-то сырой и холодный подвал, походивший на могилу. Фигура чиркнула спичкой и отыскала сальный огарок, вставленный в бу-

тылку из-под сельтерской воды. При слабом свете Башка мог рассмотреть весь подвал, служивший когда-то кухней. Маленькие окопечки с железными решетками, как в каземате, выходили на улицу; ободранная дверь болталась на одной петле; около одной стены на груде тряпья спал какой-то человек с бледным, худым лицом.

— Медальон, вставай... Я гостя привела!.. — кричала Фигура, расталкивая спавшего. — Да ну же, вставай!.. Это наконец невежливо так принимать гостей. Посмотри, какого я зверя привела...

— Ах, это ты, Милочка? — проговорил Медальон, поднимаясь со своего неприхотливого ложа. — Какого зверя?.. Милочка, как у меня страшно голова болит, мне всего одну бы... а?

— Видишь, какой ты лакомка. Медальон: «одну бы», а где я тебе ее возьму? Ну, ну, не плачь, я сейчас... Я и закуски принесла, а пока позволь представить тебе нашего гостя: monsieur Башка.

Медальон был еще совсем молодой человек, лет двадцати трех, белокурый, жиденький, с длинной шеей и голубыми детскими глазами; костлявые плечи, ввалившаяся грудь и бескровное лицо придавали ему вид какого-то подвижника. «Эх, чакая дохлятина! — с презрением подумал Башка, разглядывая Медальона. — Настоящая глιστα». Фигура в это время успела достать откуда-то бутылку водки и кусок вареной печенки, что составляло уже целый ужин на троих.

— Странно, право: нас сегодня выгнали из кабака, — рассуждала Фигура, разрезывая печенку обломком перочинного ножа. — Нашли меня неприличной... Ужели я настолько не умею себя держать, что не могу быть приличной для кабака? Фи... Какая гадость! Боже мой, боже мой, до чего может дойти человек! Я, собственно, и обиделась только сейчас, то есть не обиделась даже, а так... гадко стало для самой себя...

Медальон, выпив две рюмки, несколько пришел в себя и с аппетитом принялся есть печенку. Проглотив последний кусок, он проговорил с комическим пафосом:

— Sic transit gloria mundi! ¹

— Domine ², ты знаешь по-латыни? — обрадовался Башка, протягивая руку.

¹ Так проходит земная слава! (лат.)

² Господин (лат.).

— Да, немножко...

— Медальон кончил гимназию с золотой медалью,— объяснила Фигура не без удовольствия,— а таких там называют «медальонами».

— Ага! — проговорил Башка.— У нас в семинариях первых учеников звали «башками», я и имел несчастье быть таким первым учеником; значит, мы с вами одного поля ягоды...

Они молча пожали друг другу руки и засмеялись. Знакомство завязалось быстро, и за рюмкой водки новые друзья рассказали о себе всю подноготную. Медальону пришлось немного рассказывать о себе: сын богатых, но разорившихся родителей, блестящим образом кончивший гимназию, он быстро свихнулся, когда пришлось зарабатывать свой хлеб, и теперь ждет какого-то места, обещанного ему каким-то очень хорошим человеком.

— Только бы получить место, а потом я брошу эту проклятую водку и заживем с Милочкой припеваючи,— закончил свою повесть Медальон.— Так ведь, Милочка?

— Конечно, конечно... да, припеваючи,— машинально повторила Фигура, опуская голову.

— А знаете, что нас всех сгубило? — задумчиво говорил Башка.— Самолюбие... Да!.. Вся система нашего воспитания построена именно на самолюбии, которое в нас развивали с детства. По себе знаю... Это общая судьба всех первых учеников... Поврежденный народ выходит... Видите ли, для таких людей должна быть жизнь на особых условиях, а не прозябание обыкновенных смертных. А когда тебя станут по носу щелкать на каждом шагу, тут и погибель: характера-то не хватает, а самолюбие давит... ну, и утешаемся по-своему... Так ведь?

— Верно,— согласился Медальон.

— Много нас таких-то,— продолжал Башка, не обращаясь, собственно, ни к кому.— Ну, и, конечно, обвинять кого-нибудь и что-нибудь в своем падении по меньшей мере глупо, все равно, что обвинять машину, которая одному раздробила руку, а другого совсем искрошила... Все, что существует, существует разумно и, ergo ¹, имеет право на существование. Факт стоит выше всяких законов... да. Если я говорю: «нас погубила система», то это только принятая форма выражения, приспособленная для пони-

¹ следовательно (лат.).

мания большинства. Так сказать, это только личная форма... Можно только понимать факты, а сердиться и радоваться по поводу их — это уже детство мысли. Одна есть истинная точка зрения на вещи и факты, это — отвлеченная философская мысль.

— Ух, какая ученость! — со вздохом проговорила Фигура, чувствуя, как у нее слипаются глаза.

Через пять минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, где сидела. Ей грезилась плохонькая сцена провинциального театра, плохонькая музыка, плохонькая провинциальная публика, плохонькое освещение, а она выпархивает в коротких юбках и трико прямо к рампе и начинает петь забористую шансонетку. Публика аплодирует и любит ее ногами, которые действительно замечательно хороши своей упругой полнотой и классическими линиями. Ей подносят большой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы.

IV

Теперь нам необходимо сказать несколько слов о «Плевне» и ее завсегдатаях.

В Пропадинске было много кабаков, и каждый из них имел свою собственную физиономию. Так, кабак Зобуна в Проломной улице славился как притон конокрадов и лесоворов; кабак «Ямка», около гостиного двора, служил сборным местом нищих; были кабаки самой подозрительной репутации, как пристанище жуликов и мазуриков и т. п. «Плевна» резко отличалась от всех, потому что в ней завсегдатаями были особенные люди, промышленявшие разными художествами: в «Плевне» составлялись прошения мужикам, там всегда можно было найти для нотариуса грамотного свидетеля с паспортом, там же процветала игра в стуколку, три листа и в трышку, там же можно было послушать музыку и даже пение, покутить в хорошей компании и т. д. Главное, в «Плевне» никогда не позволялось буйство и мазурничество, за чем Ванька Каин следил в оба; полиция была поэтому особенно довольна «Плевной» и редко осчастливливалась ее своими посещениями.

Такие особенности «Плевны» создались отчасти благодаря ее выгодному центральному положению, а главным

образом — благодаря сметке и административной прозорливости Ваньки Каина. До него из сидельцев в «Плевне» славился кривой старик Ермило, но после Ермилы наступил смутный период междуцарствия: переменялся целый ряд сидельцев, и звезда «Плевны» начала быстро клониться к закату, если бы не выручил Ванька Каин, явившийся в самый критический момент и сумевший сразу поставить свое «заведение» прямо на точку, чем он особенно гордился. Его предшественники или не умели обращаться с публикой, или не могли выдержать характера, или просто прогорали от плохих расчетов. Кабацкое дело кажется со стороны таким простым, но оно далеко не просто, и только посвященные знают, сколько нужно умения, характера и чисто дипломатической изворотливости, чтобы удержаться на таком видном посту, как «Плевна». Конечно, запутанная кабацкая бухгалтерия стояла на первом плане, потом разные отношения к полиции и акцизным чиновникам, но всего важнее было организовать правильные отношения к разношерстной кабацкой публике, вернее сказать, создать такую публику.

— Прежде всего, мы народ очень самолюбивый, — объяснял Башка, когда Вапька Каин забрал в свои цепкие руки бразды правления. — Да... А потом нужно помнить, что мы совсем потерянный народ только для вас, а для себя мы потерянные только временно. Самый последний пьянчужка глубоко убежден, что он пьянствует только пока, а потом бросит водку и заживет еще лучше других.

— Уж это обнакновецно; кажный последнюю рюмочку у вас пьет, — прибавлял глубокомысленно Ванька Каин от себя. — И мы тоже не без понятия...

— Отлично... Потом заруби себе на носу, что деньги паживают не с богатых, а с бедных, вот с таких проходимцев, как мы, в особенности. Я тебе объясню, почему... Во-первых, богатых людей очень пемного, второе, богатый всегда и все купит вовремя и подешевле, — так? — ну, а беднота платит втридорога вашему брату, и из грошиков-то да из пяточков, глядишь, у ловкого человека капитал вырос... Так?.. И мотай себе это на ус... Если бы ты знал математику, так я тебе доказал бы, как дважды два, что значат так называемые несоизмеримо малые величины. Горы из них растут, из этих несоизмеримо малых величин... Да. Так и в вашем деле.

— Уж известно, надо и нам свою линию выводить... А только я вот чего никак не пойму: так это вы складно умеете говорить, как по-писаному, и так все верно у вас выходит, а только вот с собой-то не можете ничего сделать... Даже, ей-богу, жаль глядеть в другой раз со стороны!.. При этаким-то уме да при вашей грамоте какую бы линию можно было вывести... то есть только ах, боже мой!

— Ну, это уж не твоего ума дело, Иван Василич.

Башка сделался для Ваньки Каина правой рукой во всех важных кабацких делах и вместе с тем постоянной статьей дохода. Говоря вообще, именно Башка задавал тон всей «Плевне», где он являлся вполне авторитетным лицом. Специальностью Башки служило ходатайство по делам, причем он иногда зарабатывал порядочные деньги, одевался заново и потом все спускал до последней нитки. Знакомых у Башки в мелком купечестве, в духовном звании было несметное число, и он умел эксплуатировать всю эту братию с замечательной изворотливостью. В «Плевне» было составлено и написано Башкой множество прошений, которыми он одолевал суды всех инстанций; он же являлся свидетелем в двух нотариальных конторах, как человек «лично известный» гг. нотариусам. На худой конец Башка зарабатывал в день рубль или полтора, хотя в его тревожной жизни случались нередко совсем глухие моменты, особенно после жестокого перепоя, когда он сидел без гроша по неделям. Такие несчастья обыкновенно случались с ним сейчас после больших получений: получит Башка деньги и пойдет чертить, а потом и зубы на полку, так что даже к нотариусу не в чем явиться. Обыкновенно из такого отчаянного положения Башку выручал Ванька Каин, делавший ему при этом приличную нотацию. В глубине души Ванька Каин благоговел пред талантами Башки, хотя иногда и любил его поприжать своей каиновой лапой.

Около Башки группировались уже остальные завсегдатаи «Плевны».

Корнилыч, промотавшийся купеческий сынок, был великим артистом по части бильярдной игры; он дневал и ночевал по трактирам, выжидая подходящего случая нагреть руки около загулявшего купчика или чиновника. Всю выручку он нес в «Плевну», где сейчас же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства сезона и т. д.,

пока не улетучивалась у Корнилыча последняя копейка. Этот человек остался неисправимым мотом; сорить деньги было у Корнилыча в крови, и он многолетней практикой до совершенства постиг великое искусство шикнуть и показать товар лицом. Пил Корнилыч совсем мало и перебивался в «Плевне» около хороших людей вроде Башки.

Труба, сбившийся с панталыку мужик, промышлял около приезжавших в город крестьян, с которыми умел заводить знакомство с необыкновенной быстротой; он в одном кармане носил колоду карт, а в другом свой величайший секрет — «гривенку». Захмелевших мужиков Труба умел затянуть в известную кабацкую игру «три туза» или начинал метать орлянку, причем на сцену выступала заветная гривенка. Эта гривенка была устроена особенным образом. Труба взял две старых николаевских гривны и у одной сточил «решетку», а у другой «орел», так что сложенные вместе они составляли одну гривну; в «решетке» Труба искусно высверлил несколько желобков и в них палил ртути, а потом спаял обе гривны в одну. Такая монета, брошенная вверх, всегда ложится решеткой вниз, так что Труба никогда не рисковал проиграться, хотя заветную гривенку приходилось пускать в оборот очень осторожно. Труба редко играл в «Плевне», а большею частью на стороне, где его не знали, и с выигрышными деньгами непременно являлся к Ваньке Каину и пил тяжелым мужицким запоем.

Кто такой был Хохлик, по всей вероятности, он и сам того не знал. В «Плевне» он являлся безответным, чрезвычайно скромным существом; его можно было послать куда угодно, и он, кажется, никогда не мог возразить что-нибудь. Чем он существовал — тоже являлось неразрешимой загадкой. Его друзья знали только то, что Хохлик умеет играть на гитаре и на пробках; последнее искусство стоило ему самого каторжного труда, и он овладел им настолько, что, взявши в зубы две пробки, разыгрывал даже опереточные арии. Корнилыч и Труба часто пользовались услугами безответного товарища, когда им нужно было подставное лицо, а Башка гонял Хохлика с прошениями по всему городу. Вообще Хохлик отличался полным отсутствием воли и был счастлив, когда делал что-нибудь для других по их приказанию.

— И какой ты, право, Христос с тобой! — говорила ему в припадке сердечного расслабления сожительница

Ваньки Каина. — Ты бы смелее, ей-богу... Учись у Башки-то али у других тоже... Право, какой ты!..

— Где уж нам, Акулина Митревна... Мы уж так-с... помаленьку-с, — смущенно отвечал Хохлик, обдергивая рукава своего пальто.

— Ежели бы ты блаженный был... придуривал там, а то ведь... Уродится же этакой человек, подумаешь! А?

Кроме этих завсегдатаев, «Плевну» периодически посещало множество других особенных людей, которые временем сильно зашибали водкой. Посещение такого гостя было настоящим праздником для завсегдатаев. Гость пропивался до нитки и потом удалялся восвояси. В этом разряде были чиновники, кушцы и люди неопределенных профессий; за ними обыкновенно являлись родственники, которые страшно ругались с Ванькой Каином и обещались жаловаться начальству.

— Что же-с? Я их не неволю-с, — лобезно отвечал Ванька Каин, взмахивая жирными волосами. — А что до начальства касательно, так у меня есть пакент... сделайте ваше одолжение.

Ванька Каин был великий тактик и в совершенстве обладал величайшим сокровищем, которое называется «чувством меры»; людей он видел насквозь и со всяким умел обойтись по-своему. Тонкость понимания была в нем развита замечательно и еще скрашена известным запасом чисто русского добродушия. Конечно, по-своему Ванька Каин был прожженный плут и мошенник, но только для других, а не у себя дома, где он являлся почти отцом семейства. Бездомные бродяги и скитальцы вели у него все хозяйство, ходили за лошадью, и даже сам Башка полол в огороде гряды. Завсегдатаи любили Ваньку Каина именно за его понимание, то есть за то, что он один относился к ним, как к людям.

— Да ты думаешь, Иван Васильевич, я пошел бы куда-нибудь в кабак?.. а? — допрашивал пьяненький Корнилыч. — Не-ет, брат, я тоже себе цену знаю... А к тебе вот иду, потому что уважаю. Да!.. Как к отцу родному иду, во как... Уж это ты будь без сомнения, по всей форме.

Отметим здесь ту особенность, что в этой среде кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых строгих приличий, преступать которые никто не мог, и, может быть, нигде в другом месте так жестоко не преследо-

валось отступление от этих приличий, как здесь. Между прочим, строго было запрещено приводить в «Плевну» женщин или, выражаясь кабацким жаргоном, баб, что и выполнялось до сих пор неукоснительно. Причин такого драконовского закона было много, начиная с того, что Башка не выносил баб вообще и в частности, и кончая тем, что Акулина Митревна строго блюла патриархальность нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам. Ванька Каин держал нейтралитет, потому что находился в некотором подчинении у своей сожительницы, особенно когда сам запибал своим товаром.

Теперь нам понятно то чувство негодования, которое было вызвано неожиданным появлением в «Плевне» Фигуры. Когда дверь кабака захлопнулась за ней, сейчас же последовал настоящий взрыв одобрения, адресованного к расхрабрившейся Акулине Митревне.

— Молодца у нас Акулина Митревна,— галдели завсегда, точно праздновали настоящую победу.— Ловко она отчехостила эту шлюху... А Башка после этого будет хуже Мазепы.

— Настоящий Гришка Отрепьев.

Общественное мнение «Плевны» было возмущено до глубины души и вынесло Башке обвинительный вердикт без всяких смягчающих вину обстоятельств, и только один Ванька Каин испытывал некоторое угрызение совести, что не предложил Башке вовремя стаканчика и тем довел его до окончательного падения. Впрочем, он вслух никому не высказывал своих мыслей, тем более что его вина носила слишком косвенный характер.

«Сбесился, пес,— раздумывал Каин, орудуя за стойкой.— Этакое колено уколел!.. а? Бабу приволок, да еще какую-то такую, что... тьфу! Этакие пропастины, подумаешь, на белом свете водятся...»

На другой день после этого события «Плевна» уже имела самые подробные биографические сведения относительно прошлого и настоящего Фигуры. Это поусердствовал Корнилыч, имевший большие трактирные связи, а в трактирах Фигуру отлично знали.

— Перво-наперво она у родителей жила,— повествовал Корнилыч, глубокомысленно насасывая дешевенькую сигарку.— Из дворян еще будет... Ну, воспитание получила самое нежное, да потом и пошла щеголять. В театре

актрисой была, потом арфисткой, потом по трактирам... щеголяла-щеголяла, да вот и дощеголяла до своего настоящего виду. Зобун рассказывал, как она Башку-то подцепила... Нехорошо даже рассказывать. И такая, рассказывает, пройдоха, что не приведи Христос. Шлэнда, одним словом...

— Удавить бы ее, проклятую! — предложил кто-то.

Однако такие разговоры никого не могли утешить: отсутствие Башки чувствовалось во всем: точно из машины вынули главное колесо. И, как назло, народ так и пер в «Плевну» с прошениями, а Башка и глаз не показывал.

— Сказывают, утонул он, — отвечал Ванька Каин на расспросы просителей и мрачно улыбался.

V

Через неделю Башка неожиданно появился в «Плевне», он привел с собой Медальона и занял свое обычное место, как ни в чем не бывало. Понятно, что завсегда так встретили его очень подозрительно, но Башка с обычной хитростью притворился, что ничего не замечает, и держал себя так, точно ничего особенного не случилось.

— Экие бесстыжие глаза! — изумлялась Акулина Митревна. — И беспрерменно у него што-нибудь есть на уме... уж не таковский человек, штобы спроста! И одержонкой раздобылся, пес...

Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.

— А мы уж тебя утонувшим записали, — ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину. — Много тут спрашивали... Я ищю пожалел, потому как в цвете лет и, можно сказать, без покаяния...

— Будет тебе огороды-то городить, — обрезал Башка. — Я вот тебе хорошего человека привел.

— Что же? Мы хорошим людям завсегда рады... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили, а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот

как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером, когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что люот бобы-то разводить, и тот только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.

— Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики,— философствовал Башка.— Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление... Даже можно сказать, мы правильное смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского мирозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.

— Совершенно верно! — соглашался Медальон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы.— Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно теми из них, которые срослись с домашним обиходом... Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.

— Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним,— смеялся Башка, встряхивая своей гривой.— Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крепко недолюбиваю ваше сухарное гимназическое образование... Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет... этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то... Ха-ха!.. Жизнь, братику, это мудреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия... «Вверхохом злато в огонь, и излиися телец». Ха-ха!.. Это уж постоянно. «Злато» — это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уже в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубашке по грязи... холодище смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так

и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония... Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь... Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп... из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.

Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле, болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по городским улицам, как оглашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.

— Экая у тебя жидкокостная и гнилая натуршка! — негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился. — Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи шит.

Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегда-таями в задней каморке «Плевны» или по разным ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.

— Это он к той шляется, — соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами. — А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.

Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, добываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по своему, побурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка

хочет приколотить больную. Но это не мешало ему про-
сидеть над ней целые ночи, бесконечные осенние
ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только
ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к боль-
ной доктора, ему одному известными способами добывал
лекарства, Башка приносил откуда-то дрова, Башка раз-
добылся матрацем и одеялом для больной; одним словом,
он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за
Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура
лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется,
не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело ме-
таться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрес-
сами, измерял температуру, подавал лекарства и был
очень доволен, что у него не остается ни минутки свобод-
ного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку
водки и молча ее распивал в обществе Медальона, который
делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо
чувствовали себя друзья в те часы, когда топились ве-
чером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном
созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так
весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.

— Странная вещь этот огонь, — задумчиво говорил
Башка, глядя на переливы пламени. — Это стихийное на-
чало, с одной стороны... с другой, символ очищения,
прообраз домашнего очага, величайшее приобретение для
ветхого человека и неутомимый работник для нового.

Медальон цитировал греческих и римских авторов,
припоминая места, где говорили об огне, а Башка сидел
и думал, думал, без конца, как думается только в осен-
ние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил;
они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя
свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим
умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой
науки и холода, и голода, и всяких других напастей,
и в конце концов выработался из него чистокровный се-
минарский «башка». Чем только он ни был, проходя
через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполтчи-
ком, кадило- и свещевозжигателем, канонархом, иподья-
коном, архиерейским басом, потом служил в консисто-
рии, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых про-
мыслах, в городской управе и т. д.

— Не сносить тебе головы, братец, — говорил Башке
один старичок, семинарский профессор, — винта не хва-

тает одного в мозгах... Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.

Действительно, в голове у Башки не доставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точно какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной натуры? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских вырожденков, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.

В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробыл: для него женщины почти не существовали, или, вернее, существовали, как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка относился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.

Случайная встреча с Фигурой и Медальоном произвела на него какое-то смешанное впечатление: чем ближе он знакомился с Фигурой, тем сильнее ее презирал, и чем больше ее презирал, тем больше любил Медальона, этого

гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало. Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону отечески нежные чувства, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкокостной натуре. Сначала Башку до глубины души возмущали телесные нежности в отношениях Фигуры и Медальона; эти нежности шокировали и коробили Башку, но вместе с тем пред ним страница за страницей раскрывался совершенно неведомый мир, мир неиспытанных ощущений. Фигура любила Медальона, и это неизведанное чувство Башка переживал в отраженной форме. Им овладела какая-то новая тоска, точно он что-то потерял такое хорошее и дорогое и, вместе, такое чистое... Да, это было новое чувство, и Башка боролся с ним молча, сосредоточенно, как борются в темноте со смертельным врагом, который напал сзади.

— Вздор... глупости! — ворчал Башка, схватывая себя за голову.

Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блистала своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека счастливым. Просиживая ночи у постели больной, Башка припоминал плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она — улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь... Даже философски-организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет, — оставалась одна форма, а содержание улетучилось.

А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный,

был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.

— Мне лучше,— прошептала она и пожала руку Башке.

Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливающей.

Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм брал свое, она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.

— Знаете, что мне кажется? — говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали.— Мне кажется, что я родилась во второй раз... Я как-то проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да... Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоящая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной ленточкой,— и больше ничего. Ведь это во сне все... да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.

Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.

— Что это с ним такое сделалось?— недоумевала Фигура.

— А кто его знает,— равнодушно ответил Медальон.— Он ведь вообще довольно странно себя держит.

Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному благоприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.

— Ну их к черту! — коротко заметил Корнилыч.

— Беленькое платье... Батистовая рубашка... Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-ха!.. Говорит, во сне видела... Этакая подлая душонка! И ленточка... тьфу!..

Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться — не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.

— Нет, это уж благодарю покорно! — думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке.— Дудки!.. К черту!

Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее. Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.

— Теперь уж кончено, — в сотый раз повторяла Фигура.— Я водки больше ни-ни... У тебя теперь есть место, и я тоже пайду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Эти планы поверялись и Башке, который только иронически улыбался. Он теперь занят был исключительно философскими соображениями и постоянно спорил с Медальоном, то есть, вернее, придирался к нему и постоян-

но разбивал его по всем пунктам. Раз такой разговор перешел в настоящую ссору.

— Ничего вы, медальоны, не понимаете — вот что! — обрезал Башка.— Ну, что вы за народ, если разобрать? Плюнуть — и растереть нечего, вот и весь разговор.

— Однако ты, Башка, довольно сильно выражаешься сегодня,— заметил Медальон, задетый за живое.

— А вы привыкли, чтобы вас по головке гладили?.. а? — зарычал неожиданно Башка.— Какой-нибудь издохлый гимназистик и философия... Ха-ха!..

— Послушайте, это невежливо наконец,— заметила от себя Фигура.

— Не-веж-ли-во? — переспросил с расстановкой Башка, побелев от охватившей его злости.— А тебя, Фигура Ивановна, кто спрашивает?.. К черту!.. Слышала?.. А то я, без церемонии, за хвост да об стену...

Башка разругался напропалую и, как все неправые люди, старался выместить свою злость на ни в чем не повинном Медальоне, который скоро замолчал, что уже окончательно вывело из себя Башку.

VI

Дела в «Плевне» шли всё под гору, что завсегдатаи объясняли отщепенством Башки. Он, правда, бывал в «Плевне», и даже очень часто бывал, но это было «то, да не то», потому что душой он уже не принадлежал к ней, как это было прежде.

«И точно на меня затмение тогда нашло какое,— раздумывал с горечью про себя Ванька Каин, пересчитывая выручку.— Ну, чего стоило дать тогда Башке опохмелиться, ну, какой-нибудь стаканчик — плевать, а теперь вот и ожигайся...»

С другой стороны, Ваньку Каина точно какой бес подталкивал не покоряться Башке ни под каким видом. «Эка важность, и без него проживем: было бы болото, а черти будут!» Наружно он был вежлив с Башкой по-прежнему, хотя и не умел скрыть оборотной стороны этой вежливости, выжидая только случая отомстить Башке по-настоящему. Эти жестокие мысли в Ваньке Каине поддерживались еще больше плохой выручкой, которая даже перед Рождеством не поправилась, хотя это было

самое бойкое время. К довершению всех бед, чуть не под носом у Ваньки Каина открывался другой кабак, что, очевидно, было делом рук все того же Башки.

— Это даже весьма обнаковенно, — рассуждал Ванька Каин в своей компании с видом угнетенной невинности. — И поговорка такая есть: «Не поя, не кормя, ворога не наживешь». Оно все так и выходит: за мою хлеб-соль да меня же Башка и подводит. Прежде прошения писать сколько мужиков в «Плевну» ходило, так и прут, как в окружной суд, а теперь, видно, шабаш, как обрезало... А все за мою доброту, да, — прибавлял Каин многозначительно.

Завсегдатаи «Плевны» тоже чувствовали себя не особенно весело, потому что и у них дела без Башки сильно пошатнулись, а главное, уж не было прежнего духа. Про себя они тоже обвиняли в своих неудачах Башку, обвиняли в таких проступках, о которых он не мог знать даже «сном-делом». Так, Корнилыч проигрывался на биллиарде — рука стала не тверда и глаз притупился, а он обвинял в этом обстоятельстве Башку; Трубе где-то в харчевне крепко наломали бока за его гривенку — и тоже Башка был виноват. Даже безответный Хохлик, и тот, ложась с пустым желудком, не раз был огорчен странным поведением своего недавнего покровителя.

Раз, незадолго до Рождества, выдался для «Плевны» особенно плохой день. Снег так и ходил по улицам белой стеной, холод был страшный и пробирал до костей в самых теплых шубах, а у завсегдатаев на троих не было даже теплой шапки. Приходилось сидеть в «Плевне» и ждать, не подвернется ли какой хороший человек. А тут еще, как назло, мимо «Плевны» шли и ехали с разными покупками к празднику: тащили гусей, ломти замороженной свинины, всяческую другую снедь, точно с специальной целью непременно подзадорить щелкавших зубами завсегдатаев.

— Хоть бы Башку черт принес! — ворчал Корнилыч, тоскливо поглядывая на отворяющуюся дверь. — Сказывают, в шубе щеголяет и с бобровым воротником.

— Ах, пес! — ругался Труба. — Ведь вот, подумаешь, какое другим людям счастье привалит.

В момент наибольшего отчаяния в «Плевне» появляется Фигура; она сильно навеселе и держит окоченевшими от холода руками какой-то бумажный сверток.

— Башка здесь? — спрашивает Фигура самого Ваньку Каина, который смотрит такими глазами, точно сейчас хочет проглотить ее живьем.

— Был, да весь вышел,— отвечает он в галантерейном тоне.

— Мне бы поговорить с вами нужно...

— Говорите.

— Нет, здесь нельзя; у меня секрет.

Каин отлично знал эти секреты своих посетителей и только указал головою на дверь в свою комнату, куда Фигура и шмыгнула с проворством ящерицы. Отдыхавшая на перине Акулина Митревна встретила посетительницу самым неприветливым образом, не говоря ни слова, вырвала у ней из рук бумажный сверток и сердито принялась обрывать бумагу, вытаскивая на свет что-то белое.

— Может, ищо украдено,— говорила Акулина, растягивая перед окном тонкую батистовую женскую рубашку, отделанную кружевом, а потом кисейное белое платье с розовыми мушками; из середины упала на пол тоненькая голубенькая ленточка.— Ищо в суд потащут за краденое-то. Нет, матушка, не надо... у нас не такое заведение, штобы краденым промышлять.

— Могу вас уверить, что это не краденое,— уверяла Фигура.— Что дадите, то и возьму.

— Сказывай сказки-то, знаем мы...

В сущности, у Акулины глаза разбежались на хороший заклад, но она не могла отказать себе в удовольствии поломаться над ненавистной Фигурой, которую так бы и смазала прямо по роже. Акулине давно хотелось иметь кисейное платье, а то она летом ужасно потела, а теперь платье само прилетело к ней.

— Откедова у тебя такому платью взяться? — тянула Акулина, снова прикидывая на свет и рубашку и платье.

— Да ведь это для вас все равно: мое, и только.

— Твое!.. А купи его да надень, в полицию и представят. Это как?

— Ах, боже мой!.. Я дешево отдам...

— Не надо,— обрезала Акулина, свертывая комом платье.— Наживешь греха-то с вашим братом. Проваливай подобру-поздорову!

— Послушайте, я даже скажу вам, от кого это платье, только, пожалуйста, не рассказывайте никому...

— Ну?

— Мне подарил все это Башка... Да. Он такой странный... Вчера я вечером была дома одна, Медальон еще не пришел со службы, слышу шаги Башки... Я знаю его походку хорошо. Ну, я нарочно и притворилась спящей и думаю: что он будет делать? Ей-богу, только он вошел в комнату, видит, что я одна и сплю, подкрался ко мне и спрятал под подушку вот этот самый сверток, а сам убежал. Честное слово, не вру, вот ни капельки не вру! Уж что ему за фантазия пришла — не понимаю.

— Сколько тебе под заклад-то?

— Дайте пять рублей... Ведь эти две вещи стоят больше двадцати.

— Два бери.

— Помилуйте, ведь эти вещи из магазина.

Торг закончился на трех рублях, и Фигура, зажав бумажку в руке, отправилась прямо в комнату завсегдатаев и сейчас же спросила три бутылки водки и закуски.

— Господа, мы сегодня кутим! — приглашала она компанию. — Да вы не стесняйтесь, пожалуйста... Ха-ха!.. Ну, первая колом, вторая соколом, а потом мелкими пташечками полетят.

«Плевна» закутила. Корнилыч и Труба позабыли все невзгоды и сосали рюмку за рюмкой; безответный Хохлик тоже «поддерживал компанию». Но всех великолепнее, без сомнения, была сама виновница этого импровизированного торжества, то есть Фигура. Она быстро опьянела и косневшим языком, улыбаясь, рассказывала разные анекдоты о Башке и, между прочим, сама же первая разболтала со всеми подробностями историю последнего подарка Башки.

— Он славный, — тянула Фигура, делая неопределенный жест рукой. — И ленточку голубенькую не забыл... Ха-ха!.. Это я ему сама рассказала... когда была маленькая... да-а!.. Чему вы смеетесь?

Подогретая вином и общим вниманием, Фигура принялась рассказывать о Башке в лицах, кривлялась, размахивала руками и несколько раз чуть не растянулась на полу. Это даровое представление надрывало животики всей «Плевне», так что сам Ванька Каин хохотал над Фигурой до слез.

— Ох, будь же она проклята, язвина! — шептал он в умилении, утирая катившиеся от смеха слезы. — Не-

даром сказано, что «баба хмельная — вся чужая»... Ай да Башка, молодца!

В самый разгар этого веселья, когда вся посторонняя публика приняла в нем оживленное участие, в «Плевну» вошел Башка. Ванька Каин пальцем подозвал его к стойке, вынул из шкафа купленный у Фигуры сверток и, развернув покупки на стойке, спросил:

— Узнаешь супрызец-то? Ха-ха!.. Погляди-ка ступай, как твоя-то Фигура представляется.

Башка в первое мгновение совсем ошалел от этой приятной неожиданности, и Ванька Каин втолкнул его в комнату, где Фигура в десятый раз представляла в лицах переделанный по-своему анекдот о подарке Башки. Публика аплодировала и задыхалась от смеха, а Башка, бледный как полотно, смотрел на нее дикими, остановившимися глазами.

— Видел?.. а?..— спрашивал Каин, наклоняясь к самому уху Башки.

— Видел.

— И это правда все?

— Правда.

Завсегдатаи, заметив стоявшего в дверях Башку, вдруг присмирели и начали один за другим отодвигаться от пьяной Фигуры, которая уже не могла ничего видеть.

— Ну-ка, закатай ей хорошего раза, — поджигал Каин осовевшего Башку и даже легонько подталкивал его вперед. — Да ну, взвесели ее, шельму!

Башка через плечо посмотрел на Каина как-то так странно, улыбнулся и, не сказав ни слова, пошатываясь, пошел к двери.

— Постой! Куда ты! — кричал Каин. — Шапку-то хоть возьми, ежова голова!

Но Башка ничего не слышал и шагал уже далеко, чувствуя, как его голова и без шапки горит огнем.

После этого Башку больше не видали в «Плевне», он исчез навсегда из Пропадинска.



КОММЕНТАРИИ



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Воспоминания — «Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников». Свердловск, 1962.

ГАСО — Государственный архив Свердловской области (Свердловск).

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (Москва).

Рукописи и переписка — Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Рукописи и переписка. М., 1949.

Собр. соч. — Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Собрание сочинений в восьми томах. М., ГИХЛ, 1953—1955.

Собр. соч., Свердловск — Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Собрание сочинений в двенадцати томах. Свердловск, 1948—1951.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ГОРНОЕ ГНЕЗДО

Впервые — журн. «Отечественные записки», 1884, № 1—4, с подзаголовком: «Из Уральской летописи. 1. Барин», за подписью: «Д. Сибиряк», и с авторским примечанием: «Под именем «Горного гнезда» на Урале громкой известностью пользовался во времена оны институт казенных горных инженеров; но я придаю этому термину более широкое значение, именно, подвожу под него ту все-сильную кучку, которая верховодила и верховодит всеми делами на Урале».

В письме к брату от 11 декабря 1883 года Мамин-Сибиряк сообщал: «Я поместил в «Отечественных записках» громадную статью

под заглавием «Горное гнездо», которую писал с полгода» (*ЦГАЛИ*. Письмо частично опубликовано Е. А. Боголюбовым — *Собр. соч.*, Свердловск, 3, с. 314). Судя по письмам М. Е. Салтыкова-Щедрина в редакцию был послан не весь роман, а только ббльшая его часть. Окончание работы над «Горным гнездом» отмечено автором в конце рукописи: «20 февраля 1884 г.».

Творческая история «Горного гнезда» восходит к 1878—1879 годам, к началу работы Мамина-Сибиряка над незавершенным романом «Омут», текст которого сохранился в двух рукописных вариантах (*ЦГАЛИ* и *ГАСО*). Действие «Омута» происходит на Нижне-Тагильском и других демидовских заводах. Здесь появляются некоторые персонажи, ставшие впоследствии героями «Горного гнезда»: Прозоров с дочерью, генерал Блинов, управляющий одним из заводов Вершинин и другие. Ряд сюжетных положений «Омута»: интриги вокруг места главного управляющего, приезд генерала с целью реорганизации заводууправления — также использован в «Горном гнезде». Однако в центре внимания писателя оставался образ Марии Кирилловны Останиной — незаурядной женщины, одинокой и неудовлетворенной жизнью, в которой исследователи видят некоторые черты характера первой жены писателя М. Я. Алексеевой. (См.: И. А. Д е р г а ч е в. Мамин-Сибиряк. Личность и творчество. Свердловск, 1977, с. 38—39.)

В 1881—1882 годах Мамин-Сибиряк работал над романом «Приваловские миллионы» и рядом рассказов и одновременно выступал как публицист. В серии очерков «От Урала до Москвы», напечатанных в газете «Русские ведомости», писатель воссоздал картину жизни пореформенного Урала, привлекая внимание ко многим острым социальным проблемам того времени. В очерке «Екатеринбург — Тагил» Мамин-Сибиряк писал, что положение, создавшееся на Урале после реформы 1861 года, было во многих отношениях «хуже всякого крепостного права». «...Тагильские заводы, — отмечалось в очерке «Тагил», — делаются арендой, на которую силою обстоятельств разом была выдвинута целая серия самых жгучих вопросов. Первой крупной страницей в новой жизни заводов является вопрос об уставной грамоте, которая служит яблоком раздора между заводууправлением, с одной стороны, и населением, с другой» (*Собр. соч.*, 8, с. 264, 275). Многие из затронутых в очерках вопросов получили дальнейшую художественную разработку в романе «Горное гнездо».

Вернувшись после окончания «Приваловских миллионов» к работе над оставленным романом, Мамин-Сибиряк значительно расширил его границы. Сохранились черновые тетради, содержащие записи и наброски к «Горному гнезду» (*ЦГАЛИ*). Из отрывка,

озаглавленного «Введение к «Горному гнезду», видно, что писатель задумал произведение, в котором хотел изобразить не только современную жизнь Урала, но и показать ее глубокие исторические корни. «Введение» открывается следующей характеристикой: «Урал — русская Калифорния. Государство в государстве — вы это чувствуете на каждом шагу; паутина из невидимых нитей дает почувствовать присутствие организованной сплоченной корпорации. Маховое колесо — в Петербурге, а здесь работают только шестерни, валы, винты и гайки.

Далее Д. Н. Мамин-Сибиряк намечает масштабы предполагаемой работы: «Горное гнездо», как его обыкновенно понимают: казенные инженеры, но их время миновало, доживают последние дни выбитые из гнезда отдельные птенцы-поздныши. Светлая жизнь миновала и имеет только исторической интерес.

Мы понимаем горное гнездо шире: история его — вольница новгородская (Савва Есипов); рудознатцы и розмыслы, Строгановы:

а) период частной промышленности в широком смысле — до 1632 г.;

б) казенное дело: 1632—1739 гг. *Башкирские бунты, дубинщина*;¹

в) посессии и приписные крестьяне — 1739—1806 гг. *Пугачев*;

г) крепостное право: 1802—1861 гг.², *картофельный бунт*;

д) смутное время — помещительство: партикулярные заводы взяли перевес, лендлордство. Вопросы: о земле — посессия, выкуп, наделы мастеровых, отношения к земству; топливо, инженеры и самородки, положение рабочих, специально — заводская администрация; нравы и типы воротил — управителей и заводчиков. В будущем — Ирландия и пролетариат. Образование, железные дороги. Промыслы: золото, английский стальной магазин в Екатеринбург, соляной, камни, хромистый железняк (*ЦГАЛИ*. Впервые опубликовано Е. А. Боголюбовым в кн.: «Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка». Молотов, 1944, вып. 3, с. 65).

В другой записи «Результаты деятельности «горного гнезда» писатель отмечает основные противоречия капиталистического Урала того времени: «а) национальная собственность — миллион десятин в одних руках и обезземеление рабочих;

б) во имя горных заводов принесены в жертву все другие промыслы;

¹ Неточность писателя; крестьянские волнения, получившие название «дубинщина», относятся к 1762—1764 гг.

² Освобождение приписных крестьян от обязательных заводских работ началось на уральских горных заводах по указу 1807 г.

в) образовались такие испорченные явления, как положение старателей, чувовских бурлаков, мраморских мастеровых...

г) образования не существует, если сравнить его с наказом Геннина и взглядами Татищева...» (*ЦГАЛИ*. Полностью опубликовано А. Груздевым и С. Груздовой в кн.: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Собр. соч. в 10-ти т., т. 3. М., 1958, с. 438—439).

Работая над романом, Мамин-Сибиряк изучал материалы по истории Урала. В его тетрадях выписки из работ В. Н. Татищева, писем управляющего казенными заводами на Урале петровских времен В. И. Геннина к Петру I и Ф. М. Апраксину. Писателя интересовало отношение Татищева к Демидову. Размышляя над этими выписками, он ставит вопрос: «Где лучше крестьянам: на казенных или частных заводах?» И тут же записывает: «Партикулярные заводы, непокорливые крестьяне, битье плетью и батогами пространно, с пристрастием и нещадно». «Расправа с рабочими» (*ЦГАЛИ*). В записях встречаются выдержки из «Журнала Пермского губернского по крестьянским делам присутствия», из протокола от 15 ноября 1883 года по делу о праве на владение землей и лесом, в котором отмечается, что «среди населения стало возрастать неуважение к правам заводовладельца, что хотя и было раньше, но не проявлялось до сих пор в таких диких и своевольных формах, каких оно достигает теперь» (*ЦГАЛИ*). Мамин-Сибиряк записывал народные пословицы, сатирически характеризующие отношения барина и крестьянина, которые потом войдут в окончательный текст романа, например, «из барина пух — из мужика дух».

Монументальный план «Горного гнезда» не был реализован в рамках этого романа. Он нашел отражение в ряде произведений писателя горнозаводского цикла. В окончательном варианте действия «Горного гнезда» сосредоточено в пределах Урала 60-х годов XIX века. Основные события сгруппированы вокруг приезда на заводы Евгения Лаптева, владельца Кукарского заводского округа. С его появлением обостряется борьба, идущая между заводоуправлением и при заводскими крестьянами из-за земельных наделов, сильно урезанных в пользу заводовладельца. Другим конфликтом, давшим писателю богатый сатирический материал, является борьба между отдельными группами дельцов из заводоуправления и земства вокруг места главного управляющего Кукарским заводом. Деятельность генерала Блипова, взявшего на себя роль преобразователя заводского хозяйства на капиталистических основах, направлена на оправдание существующего строя и ведет к еще большему обнищанию и усилению эксплуатации при заводского населения.

Сюжет «Горного гнезда» опирается на действительные факты, хорошо известные автору, — это события, связанные с посещением

П. П. Демидовым в сопровождении профессора С. М. Добровольского в 1863 году Нижнего Тагила и заводов Нижне-Тагильского горного округа. Ряд картин и образов сложились у Мамин-Сибиряка еще под впечатлениями детства и юности, проведенных в Висимо-Шайтанском заводе, где писатель смог близко познакомиться с нуждами и бытом уральских рабочих, с нравами заводской верхушки. Там, в частности, он наблюдал встречу, устроенную заводоуправлением П. П. Демидову во время его поездки по заводам.

В петербургские студенческие годы, начиная свой творческий путь, Мамин-Сибиряк задумывался о судьбах Урала, его истории. В письме к отцу от 21 августа 1875 года он просил его собирать материалы, связанные с историей Урала, и в том числе «те сведения о доме Демидовых, которые лежат в конторских бумагах или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний». Уже тогда писатель выделил из всего демидовского рода его последних представителей, отличавшихся «распушенностью и самодурством» (*Собр. соч.*, 8, с. 617).

Позднее, в 1885 году, в связи со смертью П. П. Демидова Мамин-Сибиряк опубликовал очерк «Один из анекдотических людей». Говоря о реальном Демидове, писатель вновь вернулся к событиям, описанным в «Горном гнезде». Бросается в глаза исключительная близость этого документального материала к тексту романа. Так, сцена встречи П. П. Демидова в Висимо-Шайтанском заводе в очерке очень напоминает сцену приезда Лаптева на Кукарский завод в романе. И результаты поездки Демидова, как они рисовались Маминным-Сибиряком в очерке, во многом созвучны финальным строкам романа: «Так барин Павел Павлыч ни с чем присхал и ни с чем уехал, предоставив обновление дела своим приспешникам... И, действительно, обновили, то есть просто-напросто устроили, с одной стороны, неизбежное сокращение штатов служащих и рабочих, а с другой — прибавили крупной сошке жалованья, а дело так и осталось на прежнем положении» (там же, с. 410).

Характеристика, данная Маминным-Сибиряком уральскому магнату в этом очерке, может служить ключом к образу Лаптева: «Как человек, как тип, П. П. Демидов является крайне сложным явлением, выработавшимся под давлением совершенно исключительных условий истории уральского горного дела» (там же, с. 414).

Реальной основой уставной грамоты, играющей такую значительную роль в романе, послужила уставная грамота Нижне-Тагильских заводов, о которой Мамин-Сибиряк подробно рассказал в очерке «Тагил». Он назвал ее «chef-d'œuvre канцелярской казуистики» (там же, с. 276). Вокруг Нижне-Тагильской уставной грамоты завязалась борьба между рабочими и заводоладель-

цами, эпизоды из которой легли в основу «Горного гнезда». У ее автора, Я. С. Колюгорова, помощника управляющего Тагильскими заводами, отца М. Я. Алексеевой, писатель позаимствовал ряд черт для образа Родиона Антоновича Сахарова («Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников». Свердловск, 1962, с. 50). Академик М. А. Павлов в своих воспоминаниях свидетельствует, что ряд других героев романа написан со служащих Тагильских заводов (М. А. П а в л о в. Воспоминания металлурга. М., 1943).

Мамин-Сибиряк собирался продолжить повествование. «Роман «Горное гнездо» служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице»,— писал он в автобиографической заметке. В романе «На улице» переплетались две темы: с одной стороны, в нем рисуется дальнейшая жизнь героев «Горного гнезда», последовавших за Лаптевым и Прейном в Петербург, а с другой — вводится новый материал, связанный с появлением представителей петербургской «улицы». По мнению самого Мамин-Сибиряка, эта попытка оказалась неудачной: «Первая тема осталась недоконченной, вторая только затронута» (*Собр. соч.*, 8, с. 433).

«Горное гнездо» вызвало живой отклик М. Е. Салтыкова-Щедрина. В письме к брату от 30 октября 1883 года Мамин-Сибиряк сообщает о не дошедшем до нас письме Щедрина: «Пишет, что ему *весьма понравилась* первая часть моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения... Статья велика— до 15 печ. листов, в этом году не упечатается, а поэтому предлагает начать печатание ее с января 84 года» (т а м ж е, с. 632). Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина к Мамину-Сибиряку показывают, что он был глубоко заинтересован в скорейшей публикации романа.

«Горное гнездо» было встречено с сочувствием и интересом. В письме к матери от 7 апреля 1886 года Мамин-Сибиряк рассказывает, что на одном из литературных обедов поэт А. Н. Плещеев, секретарь «Отечественных записок», «все хвалил «Горное гнездо», от которого все в восторге» (т а м ж е, с. 645).

После выхода в свет отдельного издания романа в журнале «Русская мысль» (1890, № 6) появилась развернутая рецензия. Критик оценил полноту и художественную убедительность картины «горнозаводской уральской жизни» в произведениях Мамин-Сибиряка, отметил удачу образа Лаптева. В рецензии тем не менее подчеркивалось, что «Горное гнездо» представляет собой менее широкую картину, чем роман Мамин-Сибиряка «Три конца», печатавшийся в тот момент в журнале. По мнению критика, это связано с тем, что «народ», «рабочий люд», занимает в сюжете «Горного гнезда» значительно более скромное место. «Самой слабой частью»

романа рецензент считал решение Луши связать свою жизнь с Прейном: «...происходит это как-то вдруг, неожиданно и слишком торопливо».

А. Скабичевский в монографической статье «Дмитрий Наркисович Мамин» отмечал у писателя «поразительное знание жизни, особенно южноуральского и западно-сибирского краев» («Новое слово», 1896, № 1, октябрь). «Горное гнездо» Скабичевский назвал «лучшим украшением нашей литературы», а образ Лаптева он поставил в один ряд с образами Обломова, Иудушки Головлева и других «вековечных типов», созданных русской и западной литературой. Критик считал, что «Горное гнездо» «по своей стройности, законченности, возрастающему и с каждой страницей более и более захватывающему вас «интересу» резко выделяется из прочих произведений Мамина-Сибиряка, не отличающихся по его мнению «техническими совершенствами» (там же, № 2, ноябрь). В этой статье Скабичевский сравнил Мамина-Сибиряка с Золя и поставил его даже выше последнего. По этому поводу Д. Н. Мамин-Сибиряк писал матери 27 октября 1896 года: «Старик размахнулся и даже поставил меня превыше облака ходячего, чего уж совсем не следовало делать. Напрасно он сравнивает меня с Золя и еще более напрасно ругает последнего, чтобы вяцше превознести меня. Много крови он испортил мне раньше, то есть Скабичевский, а теперь квалит» (*Собр. соч.*, 8, с. 668).

В. Альбов в статье «Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка» («Мир божий», 1900, № 1) отмечал, что Мамин-Сибиряк открывает в «Горном гнезде» совершенно блестящую и «оригинальную страничку из истории первоначального накопления, осложняя свой неподражаемый... рассказ разными другими побочными обстоятельствами, рисующими поступательный ход капитализма». При этом критик преувеличивал бессилие человека перед «слепыми стихийными силами» в произведениях Мамина-Сибиряка.

Авторская рукопись «Горного гнезда» хранится в ГАСО. Как полагает Е. А. Боголюбов, внимательно изучивший ее, текст этой рукописи очень близок к тексту, напечатанному в «Отечественных записках» за 1884 год. Различия между текстом Свердловской рукописи и журнала незначительны. В журнальный вариант текста и во все последующие публикации не вошел один эпизод из главы 24, имеющийся в рукописи. Это сцена злых издевательств Прозорова над Ниной Леонтьевной во время «охотничьего завтрака». Вследствие пропуска этой сцены отъезд генерала Блинова и некоторые последующие события романа оказались немотивированными (этот текст опубликован Е. А. Боголюбовым в *Собр. соч.*, Свердловск, 3, с. 310—311).

В главу 14 рукописи, содержащую описание посещения Лаптевым Кукарского завода, вставлен целиком большой кусок из одной из редакций «Приваловских миллионов». Это — описание прокатки рельсов и артистической работы мастеров Вавилы и Гаврилы. В рукописи первоначально стояли фамилии Привалов и Бахирев, которые везде зачеркнуты и заменены Лаптевым и Горемыкиным.

Рукопись свидетельствует о колебании автора в выборе заголовка романа: на первом листе дан ряд вариантов: «Сам барин», «Очерки «горного гнезда», «Светлое житье», «Страничка из Уральской летописи», «Очерки из жизни «горного гнезда» (там же, с. 321—322).

При жизни писателя «Горное гнездо» выдержало четыре отдельных издания (М., 1890, изд. И. А. Пономарева; М., 1893, изд. М. В. Клюкина; М., 1900, изд. М. В. Клюкина; СПб., 1912, изд. М. В. Аверьянова). При подготовке первого отдельного издания Мамин-Сибиряк заново отредактировал роман, исключил из него некоторые малозначительные эпизоды, снял подзаголовок и примечание.

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Горное гнездо. М., 1900, изд. М. В. Клюкина, так как в подготовке последнего прижизненного издания автор не мог участвовать по болезни. Опечатки, допущенные в издании 1900 года, исправлены по другим прижизненным публикациям.

Стр. 7. *«Вот придет барин...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Забятая деревня» (1855).

Сонетка — комнатный звонок для вызова прислуги.

Стр. 9. *Оттоман* — мягкий диван с подушками вместо спинки.

Стр. 12. *...коломянковое пальто* — пальто из плотной льняной ткани.

Стр. 14. *...из голубого альпага...* — из дорогой ткани, получаемой из шерсти особой породы южноамериканских лам.

Стр. 14—15. *«Подозрение да не коснется жены Цезаря»* — афоризм, приписываемый Юлию Цезарю; в более широком смысле: поведение высокопоставленных лиц обсуждению не подлежит; в данном контексте употребляется иронически.

Стр. 17. *...речитатив Мефистофеля...* — из оперы французского композитора Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст».

Стр. 18. *...судеб повинуюсь закону...* — скрытая цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1853).

«Ты помнишь чудное мгновенье...» — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К***» (1825).

...на развалины моей Трои...— Троя — древний город на северо-западе Малой Азии, известный по поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея», была разрушена ахейцами; здесь в переносном значении: крушение идеала.

«Тихо запер я двери...» — из стихотворения А. С. Пушкина «Из Barry Cornwall» (1830). Расположение строк изменено.

Стр. 19. «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!» — слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 27. Бонбоньерки — изящные коробки для конфет.

Стр. 28. ...брошь из восточного изумруда густого кровавого цвета — так в рукописи и во всех прижизненных изданиях, кроме издания 1912 г., в котором слово «изумруд» заменено на «корунд».

Стр. 29. Семь греческих мудрецов... — мудрецы Древней Греции, жившие в VII—VI вв. до н. э.: Питтак, Солон, Клеовул, Периандр, Хейлон, Фалес, Биас. Иногда называют и другие имена. По словам Цицерона, древнегреческие мудрецы отличались житейской опытностью и пронизательностью ума. Излагали свои мысли в кратких образных изречениях.

Стр. 34. ...Скажу словами Лютера... — М. Лютер, которого власти преследовали за антикатолические выступления, намеревался проехать через земли своего врага герцога Георга Саксонского в Виттенберг. На предупреждение об опасности, связанной с такой поездкой, Лютер ответил: «Я поехал бы туда, хотя бы там девять дней дождем сыпались герцоги Георги и каждый из них был бы в девять раз свирепее этого».

Война алой и белой розы — длительная междоусобная война (1455—1485) за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетов: Ланкастерами и Йорками.

Номо повус. — Здесь: деятель новой формации; земские учреждения создавались одновременно с подготовкой и проведением крестьянской реформы.

Стр. 35. А я вот «Лоэнгрина» здесь штудирую... — «Лоэнгрин» — опера немецкого композитора В.-Р. Вагнера (1813—1883). Новаторская музыка Вагнера считалась трудной для исполнения и восприятия.

Стр. 36. Адмиральский час на дворе... — полдень, в переносном значении — время выпить водки.

Стр. 37. «Много красавиц в аулах у нас...» — начальные строки песни Казбича из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

«И погибнет священная Троя...» — неточная цитата из «Илиады» Гомера в переводе П. Гнедича (песнь четвертая).

«...под свою смоковницу...» — Смоковница — дерево, которое часто упоминается в Библии; даваемая ею тень очень ценилась на Востоке. Возникшее отсюда выражение «под своей смоковницей» употребляется в значении: дом, место, где можно отдохнуть.

Стр. 38. *Лукреция* — римская патрицианка, дочь Спурия Лукреция Триципитана и жена Луция Тарквиния Коллатина, подвергнувшись бесчестью, заколола себя на глазах мужа и отца; здесь ироническое прозвище.

«*На цекаж, как в жаркое лето...*» — из стихотворения Г. Гейне «Лирическое интермеццо», № 48 («Книга песен», 1827).

Стр. 40 ...ему прочили судьбу второго Грановского. — Т. Н. Грановский (1813—1855) — профессор всеобщей истории в Московском университете; его лекции имели огромный успех.

Стр. 44. *Луша... играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци...* — И. Песталоцци (1746—1827), Ф. Фребель (1782—1852) — крупнейшие европейские педагоги; их работы были популярны среди демократически настроенных русских педагогов в 60-е гг. XIX в. Автор иронизирует над Прозоровым, который, будучи человеком широко образованным, не умел применить свои знания на практике.

Стр. 48. ...с эмансипацией... — с освобождением крестьян от крепостной зависимости по реформе 1861 г.

Стр. 50. *Камлотовая крылатка* — верхняя мужская накидка из плотной шерстяной ткани в полоску.

Стр. 51. *Штуцер* — старинное военное ружье с винтовыми нарезами в стволе.

Стр. 53. *Был... магази́нером...* — смотрителем склада казенного имущества.

Стр. 56. *Ассигна́ции* — бумажные деньги, стоившие дешевле золотого рубля.

Стр. 58. *Безгрешные доходы* — ироническое выражение, возникшее в чиновничьей среде, означало взятки, принимаемые в виде добровольных приношений.

Стр. 59. *Уставная грамота* — документ, фиксировавший отношения помещика с временнообязанными крестьянами в России по «Положениям» 19 февраля 1861 г.; устанавливала размер пореформенного надела и повинностей, фиксировала сведения о разверстании угодий и перенесении усадеб.

Стр. 60. *Это Мазарини... Нет, Ришелье!*.. — А.-Ж. Ришелье дю Плесси (1585—1642), Д. Мазарини (1602—1661) — французские государственные деятели, кардиналы, изощренные политики.

Стр. 61. *Росчисти* — вырубленные и выжженные в лесу места для пашни.

Стр. 62. ...*кошачьими даровыми наделами*... — Помещик с согласия крестьян предоставлял «дарственный надел» в собственность крестьянам даром, сохраняя за собой всю остальную землю. Надел этот был недостаточен для ведения хозяйства.

Посессионное право.— Введено указом Петра I от 18 января 1721 г., распространялось на фабрики и заводы, преимущественно горные, которые получали от казны пособие деньгами, землями, рудниками, лесами или припиской казенных мастеровых людей. Посессионеры считались фактическими владельцами земель, формально принадлежащих государству.

Стр. 63. *Мировой посредник*...— Назначался для разбора споров и жалоб, возникавших между крестьянами и помещиками в период реализации «Положений» 19 февраля 1861 г.

Стр. 64. ...*в виде павловских железных и стальных изделий*...— Село Павлово Нижегородской губернии было известно производством замков и пожей.

Стр. 68. *Пудлинговые... печи*...— печи, служащие для производства сварочного железа из чугуна.

Стр. 75. ...*дочь кассельской немки*...— немки из города Касселя.

Стр. 77. *Саади* — персидский поэт и мыслитель XIII в.

Стр. 83. «*Прекрасная Елена*» — комическая опера Ж. Оффенбаха (1819—1880).

Стр. 85. *Дормез* — старинная дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

Стр. 85. *Фордек* — складной подъемный верх у экипажа.

Стр. 86. *Ботфорты* — кавалерийские сапоги с твердыми голенищами, спереди выше колен.

Стр. 87. «*А имя, должно быть, заграничное! Нина*...». — Имя Нина грузинского происхождения.

Стр. 88. *Поставцы* — дорожные ящики для пищи и напитков.

Стр. 92. «...*заводных приготовьте пятнадцать троек*» — запасных лошадей.

Стр. 94. *Крица* — бесформенный кусок вываренного из чугуна железа, под ударами молота очищается от шлака, превращается в болванку.

Пестрядевые рубахи — из льняной или бумажной ткани грубой выработки.

Стр. 95. *Чекмень* — верхняя мужская одежда кавказского типа — суконный полукафтан в талию со сборками сзади.

Стр. 96. *Фолетур* — искаженное фореитор, верховой, сидящий на передней лошади.

Стр. 97. *Прасол* — торговец скотом, скупающий также по деревням оптом продукты.

Стр. 106. *Метресса* — любовница, содержанка.

Стр. 109. *Помпадурство*.— Имя фаворитки французского короля Людовика XV маркизы Помпадур стало нарицательным; в значении администратор-самодур его ввел в употребление М. Е. Салтыков-Щедрин.

...в Америке на всемирной выставке... в Китае защищал русские интересы...— Перекрестов приписывает себе участие в общественно-политических событиях, привлечших к себе внимание прессы 70-х гг.

Стр. 120. «*Как Пилат, я могу умыть руки...*» — Согласно Библии, правитель Иудеи Понтий Пилат после того, как отдал Иисуса Христа на казнь, умыл руки перед толпой и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего» (Евангелие от Матфея, 27, 24). Ставшее крылатым выражение «умыть руки» означает снять с себя моральную ответственность за тот или иной поступок.

Стр. 126. *Регенеративная печь Сименса* — плавильная печь для получения стали.

Стр. 129. «*Суета сует и всяческая суета*» — неточная цитата из Библии (Книга Экклезиаста, 1, 2).

Охотничья лядунка — зарядница, патронница.

Стр. 133. «*Я — поклонник Кэри и отчасти Мальтуса...*» — Г. Кэри (1793—1879) — американский буржуазный экономист, проповедник теории «гармонии классовых интересов». Т. Мальтус (1766—1834) — английский буржуазный экономист, объяснял обнищание трудящихся перенаселением.

Стр. 145. ...на брильянтовом аграфе... — на застежке.

Стр. 172. «...ты настоящий Иуда Искариотский... тридцать серебряников в кармане у тебя шевелятся...» — Согласно Библии, Иуда предал своего учителя Иисуса Христа за тридцать серебряников.

Стр. 180. «*Свадьба Кречинского*» — комедия А. В. Сухова-Кобылина (1817—1903). *Расплюев* — персонаж пьесы.

«*Русская свадьба*» — комедия П. П. Сухонина (1821—1884) «Русская свадьба в исходе XVI в.».

Стр. 181. «*Бедность не порок...*» — драма А. Н. Островского.

Стр. 183. Х. *Макарт* (1840—1884) — австрийский живописец, его фигуры обнаженных женщин, написанные в салонном духе, эффектные и лишённые жизненной правды, пользовались успехом в кругах буржуазии.

Стр. 198. *Монтекристо* — система мелкокалиберных патронных ружей и пистолетов.

Стр. 207. *Даву* Л. Н. (1770—1823) — маршал Франции, участник наполеоновских войн.

Стр. 243. *Философ-бонвиван...* — человек, любящий богато, изящно, весело жить (от фр. *bon vivant*).

Стр. 244. «...я недавно читала историю Мазепы». — Отрывки из писем Мазепы к Матрене Кочубей были опубликованы в исторической монографии Н. И. Костомарова «Мазепа». М., 1882.

Стр. 249. «Свадьба Фигаро» — пьеса французского драматурга П.-О. Бомарше (1732—1799).

Стр. 251. «И моего тут капля меду есть...» — неточная цитата из басни Крылова «Орел и пчела».

Стр. 256. *Фельетон* — Здесь — развернутая критическая статья.

Стр. 261. А. А. *Потехин* (1829—1908) — беллетрист и драматург.

Стр. 284. *Станислав-Август* Понятовский (1732—1798) — последний польский король.

Гризетки Латинского квартала — молодые женщины Латинского квартала в Париже, не отличавшиеся строгими моральными правилами.

Стр. 295. *Будировать* — выражать, возбуждать неудовольствие.

Стр. 297. ...*Сижу как Сципион Африканский на развалинах Трои!* — Автор иронизирует над невежеством Сарматова, который совершает двойную ошибку. Он путает Карфаген с Троей, искажая известное выражение «Сижу на развалинах Карфагена». Фраза эта, означающая «потеряв все, искать помощи у неимущих», принадлежит римскому полководцу Марию Гаю, изгнанному из Рима, лишенному всего его благосостояния и вынужденному просить пристанища в разрушенном Карфагене. Сарматов приписывает се Сципиону Африканскому (Младшему), закончившему третью Пуническую войну победой, взятием и разрушением Карфагена.

Стр. 299. *Блонды* — шелковые кружева.

Стр. 301. *Менений Агриппа* (VI—V вв. до н. э.) — римский консул, ему приписывается притча, в которой государство сравнивается с человеческим телом. Агриппа доказывал, что плебеи и патриции не могут существовать в государстве друг без друга так же, как руки и желудок одного тела.

«*Умерла Ненила...*» — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Забятая деревня» (1855).

...*продал Тетюев за чечевичную похлебку свое земское первородство.* — По библейскому рассказу, проголодавшийся Исав продал младшему брату Иакову право первородства, дававшее особые преимущества, за чечевичную похлебку (Бытие, 25, 31—34). Ставшая крылатой фраза «Продать за чечевичную похлебку» означает поступиться чем-нибудь значительным ради чего-то ничтожного.

Стр. 304. «*Подождите! Прогресс подвигается...*» — неточная цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Современники» (1875).

Паллиативы — лекарства, временно облегчающие, но не излечивающие болезнь.

РАССКАЗЫ

БОЙЦЫ

Впервые — «Отечественные записки» 1883, № 7, 8, за подписью: «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в *ГАСО*.

Судя по письмам Салтыкова-Щедрина к Мамину-Сибиряку очерки «Бойцы» были отправлены в «Отечественные записки» в ответ на просьбу Салтыкова прислать в редакцию новое произведение (письмо от 15 марта 1883 г.). 1 июля Щедрин сообщил Мамину-Сибиряку, что «Бойцы» будут напечатаны в июльской и августовской книжке журнала (М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Собр. соч. в 20-ти т., т. 19, кн. 2, с. 191, 214).

Чусовую Мамин-Сибиряк знал и любил с детства. Путь по Чусовой писатель проделал трижды. В период учебы в духовной семинарии ему приходилось возвращаться в Пермь после летних каникул, проведенных у родителей, со сплавщиками на барке (о чем свидетельствуют неопубликованные письма к родителям от 17 сентября 1869 г. и 22 августа 1870 г. — хранятся в *ГБЛ*, упомянуты А. Груздевым и С. Груздовой в кн.: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Собр. соч., М., 1958, с. 418). «Брат очень любил Чусовую и часто рассказывал всем нам о своих чусовских впечатлениях», — вспоминала сестра писателя Е. Н. Удинцева (*Воспоминания*, с. 27).

Реке Чусовой, красоте окружающей ее природы, мужеству и самоотверженному труду ее людей — сплавщиков и бурлаков Мамин-Сибиряк посвятил целый ряд произведений (исследователи насчитывают двенадцать таких работ). Впервые к сплаву на реке Чусовой Мамин-Сибиряк обратился в раннем неопубликованном рассказе «Легкая рука» (*ГАСО*), на рукописи которого есть авторская пометка: «Первоначальная редакция «Бойцы» — написана в 1874—1875 гг.» (*Рукописи и переписка*, с. 21). Однако, как отмечают исследователи, по своему содержанию она ближе к рассказу «В камнях». В первых двух даны картины осеннего сплава на Чусовой, в «Бойцах» речь идет о весеннем сплаве (А. И. Г р у з д е в. На пути к реализму. Свердловск, 1963, с. 4—5).

В плане романа «Каменный пояс» (одно из первоначальных названий «Приваловских миллионов»), составленном в 1879 году, имеется набросок к главе «Сплав», не получивший дальнейшей разработки в романе, но во многом определивший программу будущих «Бойцов»:

«Толпы бурлаков — перекатная голь, захудалые, обросшие, грязные, голые, беднее самой бедности: вогулы, остяки, черемисы, татары, вотяки...

Наступает дедь (1 мая) Еремей-Запрягальника, и это море крестьянское заволновалось; им снятся горы, леса, нивы... Голод, нищета, дети, жены...

Обед бурлаков: заплесненный черствый, как камень, хлеб спускается в бурак и приправляется горячей молитвой... Пьют воду из бурака, а хлеб вытаскивают лучинками.

Пьянство этой голи напомнило Прив[алову] Ирбитскую ярмарку. Только там от избытка, здесь от горя...

А эти песни — это поминки по живом, отпевание самих себя на родной кормилице-реке, и Привалов плакал, как ребенок, от этих картин — перед его глазами происходил страшный акт борьбы за существование.

Какие лица б[ыли] у бурлаков.

В чем они б[ыли] одеты.

Вот фундамент богатств Ляховского, Архарова и других» («Урал». Екатеринбург, 1913, с. 86).

В 1882 году Мамин-Сибиряк опубликовал два произведения, посвященные сплаву на Чусовой, во многом подготовившие успех «Бойцов», — это очерк «Чусовая» из серии «От Урала до Москвы» и рассказ «В камнях». В них писатель раскрыл истоки своей любви к уральской реке: «Немного найдется таких уголков на Руси, где сохранилась бы во всей своей неприкосновенности суровая красота дремучего северного леса, где перед вашими глазами в такой величайшей панораме развертывались бы удивительные картины гор, равнин и скал, где наконец самое население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия труда, — все было бы исполнено такой оригинальности и своеобразной поэзии» («Чусовая». — *Собр. соч.*, 8, с. 363—364).

И в очерке и в рассказе использован богатый фактический и статистический материал (приведены размеры и характеристика грузоподъемности барки, замеры разлива реки при сплаве, статистика несчастных случаев при перевозках по Чусовой), который писатель собирал в эти годы (*Рукописи и переписка*, с. 15). Автор приводит различные исторические и этнографические сведения. Здесь намечены мотивы, которые найдут более полное выражение

в очерках «Бойцы», — это восхищение искусством сплавщиков, их мужеством и глубокая озабоченность социальным положением бурлаков.

Рассказ «В камнях», напечатанный в журнале «Дело» (1882, № 3), принес писателю первый серьезный успех. 21 марта 1882 года Мамин-Сибиряк писал матери: «16 марта прочитал свой первый, напечатанный в толстом журнале, рассказ, — давно желанная мечта, которая напомнила мне только об одном — что этот рассказ — еще лепет литературного ребенка, не больше» (*ГБЛ*; письмо частично опубликовано Б. А. Пискуном. — *Собр. соч.*, 1, с. 611).

Писатель строго судил себя, но у него были для этого основания. Как отмечал А. И. Груздев, «рассказ «В камнях» можно назвать переходным произведением: в нем проявляются как новые творческие принципы, так и не вполне преодоленные элементы прежней манеры письма» *Мамина-Сибиряка* (А. И. Г р у з д е в. На пути к реализму, с. 8). Некоторые персонажи рассказа «В камнях» близки образам будущих героев «Бойцов». Так, например, сплавщик Окиня имеет много общего с героем «Бойцов» Савоськой: его уважают и любят бурлаки, он вызывает их восхищение и восхищение самого автора знанием тонкостей сплава, смелостью и находчивостью в критические минуты. С другой стороны, рассказ «В камнях» не свободен от мелодраматизма и натурализма ранних произведений Мамина-Сибиряка. Вставные эпизоды, прерывающие сюжетное повествование, призванные, вероятно, придать ему занимательности, содержат рассказы о фактах необычайной жестокости — убийствах, издевательствах над женщинами и т. п.

Наибольшей глубины и художественной выразительности в описании сплава по Чусовой писатель добился в очерках «Бойцы». Здесь дана картина весеннего сплава, значительно более опасного, чем сплав осенний. «Бойцы» так же, как и ранние очерки и рассказы на эту тему, отличаются документальной точностью, верностью этнографических наблюдений, мастерством пейзажных зарисовок. В очерке «Бойцы» Мамин-Сибиряк создал яркую и достоверную картину жизни народных масс Урала. В нем писатель достиг большой психологической глубины в обрисовке образов главных героев. Особой удачей писателя является образ сплавщика Савоськи.

«Бойцы» имели значительный общественный резонанс. В. И. Ленин, который высоко ценил творчество Мамина-Сибиряка за широкую картину социальной жизни пореформенного Урала, специально подчеркивал верность правде жизни в очерках «Бойцы». Его особенно привлекла точность описания процесса сплава. В книге «Развитие капитализма в России», говоря о доставке то-

варов с Урала посредством сплава, он ссылаясь на этот очерк: «Ср. описание этого сплава в рассказе «Бойцы» г. Мамина-Сибиряка. В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 3, с. 488).

«Бойцы» одинаково тепло были встречены читателями и критикой. «Мы помним впечатление, произведенное первым уральским рассказом г. Мамина — «Очерк весеннего сплава по Чусовой», когда он появился в «Отечественных записках» Салтыкова, — писал критик «Северного вестника» (1889, № 6) в связи с выходом сборника «Уральских рассказов». — Дарование автора обещало очень много».

А. Скабичевский в статье «Дмитрий Наркисович Мамин» отметил «Бойцы» как «один из первых сильных рассказов» писателя. Критик увидел в очерке «вопиющий контраст между гармонией, красотой и величием природы и безурядиц человеческой жизни». Скабичевский писал: «...Перед нами раскрывается то тяжкое, подневольное, почти крепостное экономическое положение, которое стоняет крестьян в Каменку из-за сотен и тысяч верст, и то ужасающе-голодное существование, которое им приходится вести во время всего сплава. ...Мороз подирает по коже, когда подумаешь, как дешева человеческая жизнь на Чусовой!» («Новое слово», 1896, № 1, октябрь).

В критическом очерке Е. Аничкова «Мамин-Сибиряк» подчеркивается, что именно в «Бойцах» «всего яснее видны основные черты... писательской манеры» Мамина-Сибиряка: «...при описании сплава по реке Чусовой, такого поэтического и захватывающего, автор не скрывает от нас глубоких страданий бурлаков» («Мир божий», 1905, № 10).

Любовь писателя к уральской природе и мастерство его пейзажных зарисовок отмечала критик «Вестника Европы» Е. Колтоновская. Образ Савоськи ею трактуется как тип надломленного героя «с коренными общерусскими чертами», испытывающего моральные муки, «особенно характерные для народной психологии» («Вестник Европы», 1913, № 2).

При подготовке к изданию сборника «Уральских рассказов», т. 2 (М., 1889, изд. И. А. Пономарева), Мамин-Сибиряк произвел значительную стилистическую правку очерка и сделал в нем ряд сокращений. Так, в главе 15 в журнальном тексте имелся абзац,

связанный с описанием Кына: «Кын — строгановский завод, и, как на других строгановских заводах, рабочим живется сравнительно сносно. Фамилия Строгановых в отношении к своим крестьянам всегда выдерживала нечто вроде семейной традиции, переходившей из рода в род, здесь не было притеснений, ни прижимок рабочим, а наоборот. Подобное явление вернее всего можно объяснить... тем духом исконной русской промышленности, каким отличается эта самая древнейшая уральская фамилия» («Отечественные записки», 1883, № 8).

В настоящем томе очерки печатаются по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы. М., 1908, изд. И. Д. Сытина.

Стр. 309. ...*магазины*... — склады.

Стр. 311. ...*писал мыслете*... — Мыслете — название буквы «м» в церковно-славянской азбуке; писать мыслете — о пьяном: шел по кривой, зигзагами.

Стр. 312. *Подвяжу куфтой хвост*. — Куфта — моток.

Стр. 313. ...*в...азямах*... — армяках, широких простых крестьянских кафтанах.

Стр. 317. ...*в духе известной экономической школы*. — Намек на сторонников «манчестерской» экономической школы (фритредства), требовавших освобождения промышленного производства от средневеково-феодальных ограничений. На Урале русские сторонники этой теории выступали за полный отрыв («индивидуализацию») горно-заводских рабочих от земли и сельскохозяйственных работ (сторонника этой теории Мамин-Сибиряк вывел в образе генерала Блинова в романе «Горное гнездо»).

Стр. 320. ...*чердынцы, кунгуряки, соликамцы*... — жители Чердынского, Кунгурского и Соликамского уездов Пермской губернии.

Стр. 325. ...*пермяки... вогулы... зыряне*... — народности северного Приуралья — коми-пермяки, манси, коми.

Стр. 329. ...*смаживал на берейтора*... — учителя верховой езды.

Стр. 331. ...*помните евангельского ленивого раба*. — Евангельская притча осуждает ленивого раба, который, получив от хозяина деньги (один талант), зарыл их в землю, а затем вернул не приумножив.

Стр. 344. *Строгановы... поставили Чусовской городок*... — В 1558 г. Иван Грозный пожаловал купцу Аникею Строганову огромные владения по Каме и Чусовой. Строгановы строили города и крепости, с помощью своих военных дружин подавляли сопротивление местных народностей и присоединяли к Русскому государству новые территории

Стр. 345. ...*голутовенные*... — бездомные, бедняки.

...со времен новгородских ушкуйликов.— Ушкуйники (от древнерус. *ушкуй* — речное весельное судно) — речные разбойники, из них новгородские бояре формировали дружины до нескольких тысяч человек для захвата земель на Севере, а также по Волге и Каме в XIV — начале XV в.

Стр. 346. ...в делах Преображенского приказа.— Создан Петром I в 1686 г., с 1697 г. получил исключительное право следствия и суда по политическим преступлениям. И. Ф. Ромодановский — судья (начальник) приказа (1718—1729).

...за «государственные слова». — Здесь: высказывания против царя.

...объявляет «государевы слово и дело». — В России XVII—XVIII вв. формула доноса о злоумышлениях против царя или государственной измене.

Дело о Солнышкине... заимствовано у Есипова.— Савва Есипов — автор Сибирской летописи 1636 г.

Стр. 350. ...шугаи... — женские кофты.

Стр. 356. Чомор — черт (пермско-чардынское).

Стр. 359. ...пиканное брюхо.— Пикан — растение из семейства зонтичных, его корни и стебли употребляются в пищу; *пиканники* — сибирское прозвище жителей Кунгура (Пермской губернии).

Стр. 360. Казенка.— Здесь: рубка или каюта, где живет хозяин или приказчик.

Стр. 374. ...на отрыск.— Отрыскнуть — истиснь по течению (волжск.).

Стр. 382. ...не баское место... — неказистое.

Стр. 384. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов.— Демидов Н. А. (1724—1789) — владелец десятков горных заводов и сотен тысяч десятин земли, был меценатом, переписывался с Вольтером, издавал «Журнал путешествия в чужие края».

Стр. 385. ...благодаря исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда.— Мурчисон Р.-И. (1792—1871) — английский геолог, автор капитального труда «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского»; Эйхвальд Э. И. (1795—1876) — русский геолог, академик, автор книги «Палеонтология России».

Стр. 402. ...все на вонтаранты пошло... — шиворот-навыворот.

...воспоминания... о картофельных бунтах.— Крестьянские бунты в России (1840—1844), носившие антикрепостнический характер, поводом к которым послужили распоряжения о принудительной посадке картофеля.

Стр. 408. Поземина — вяленая рыба.

Стр. 410. *Пониток* — грубая дмоткапая материя, здесь: рубаха из этой ткани.

Стр. 414. *Коломенки*... — речные суда, поднимающие от 7 тыс. до 12 тыс. пудов.

Стр. 417. *Майданы* — водовороты.

Стр. 420. ...*отвязывал...неволю*... — рычаг, вагу.

Стр. 423. ...*в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал... Одиссей*. — Эпизод из поэмы Гомера «Одиссея» (песнь двенадцатая).

Стр. 430. ...*действовавший в духе Стефана Великопермского*. — Стефан Великопермский (ок. 1340—1396) — проповедник православия. Искоренял языческие верования огнем и мечом.

Стр. 435. *Проголосная песня*... — протяжная, заунывная.

Стр. 438. ...*галеганился*... — Галеганиться — дурачиться, забоскалить; здесь: издевался.

ЗОЛОТАЯ НОЧЬ

Впервые — журн. «Наблюдатель», 1884, № 10, за подписью: «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в ГАСО. На первом листе помета-автограф: «15 мая, 84 г. Екатеринбург».

О золотоискателях Мамин-Сибиряк писал неоднократно. Им посвящен ряд ранних произведений писателя («Старик», «Старатели» и др.). Позднее тему «Золотой ночи» Мамин-Сибиряк развил в романе «Золото» (1892), где также описан захват приисковых участков. В отличие от «Золотой ночи», рисующей борьбу между дельцами-золотопромышленниками, «Золото» посвящено полунищим старательским артелям.

В «Золотой ночи» достоверно описаны окрестности Екатеринбурга, писатель приводит подлинные географические названия — города: Невьянск, Верхнейвинск, реки: Чусовая, Причинка, деревни: Сосунки, Причина и т. п.

Прототипом Флегонта Флегонтовича Собакина, по всей вероятности, является И. В. Попов — колоритная фигура из маминского кружка в Екатеринбурге. Ходатай по крестьянским делам, он в то же время был мелким золотопромышленником. Живя на Урале, Мамин-Сибиряк выезжал с Поповым на прииски и заявки. Он настолько увлекся этим делом, что одно время предполагал принять участие в разработке нескольких заявок на золото (*Воспоминания*, с. 91). «Поездки с И. В. Поповым, — вспоминает современник, — дали Дмитрию Наркисовичу много материала для дальнейших его работ; эти поездки Мамин использовал с возможной полнотой — во время их осматривались достопримечательности, наводились

справки о истории заводов, их деятельности, собирались легенды, записывались сказки» (там же, с. 93).

При жизни автора рассказ вошел в сборник «Золотая лихорадка» (Екатеринбург, 1901, изд. П. И. Певина). В этом издании в тексте рассказа имеется много опечаток, искажающих смысл. В настоящем томе рассказ печатается по тексту журнала «Наблюдатель», 1884, № 10.

Стр. 442. *Турф*...— верхний слой почвы, не содержащий золота.

...казенная... дача...—Здесь: казенный участок земли под лесом. *Эльдорадо* — страна сказочных богатств.

Стр. 443. ...в коробок.— Здесь: возок с плетеным кузовом.

Стр. 444. ...ропуски...— длинные дроги без кузова, приспособленные для перевозки бревен.

Стр. 446. ...на паре на отлет...— в экипаже, запряженном парой лошадей так, что каждая несколько отклоняется в сторону от центра дороги.

Стр. 449. *Шурф* — разведочная яма, роется при поисках залежей полезных ископаемых.

Стр. 451. ...в ...изгребном дубасе...— в сарафане особого покроя из грубой ткани, выпряденной из льняных очесов.

Стр. 455. *Тяж* — ремень или веревка, натянутые от оглобли к переднему колесу для выравнивания хода экипажа.

Стр. 456. *Мочезинки*...— болотистые низины.

...добывать бастрыгами...— с помощью шеста, рычага.

Стр. 463. *Пранцеватое*...— паршивое, шелудивое.

Стр. 464. ...по двенадцатым праздникам...— Так называются в церковном уставе двенадцать особенно чтимых праздников.

Стр. 465. ...народ, глядевший на... никониан исподлобья.— Здесь: старообрядцы, глядевшие на последователей православной церкви.

Стр. 466. ...одвуконь, по-киргизски...— верхом, с запасным конем; во второй половине XIX в. так ездили по Киргизской степи, где не было почтовых станций и перменных лошадей.

Стр. 468. ...Содом и Гоморра...— библейские города, истребленные богом за развращенность жителей (Бытие, 19, 23).

Стр. 475. ...вальс из «Корневильских колоколов»...— из оперетты французского композитора Р. Планкетта (1848—1903).

Стр. 479. ...в духовной консистории...— в присутствии епархиального архиерея.

Стр. 484. *Нет, не судите, да не судимы будете.*— Цитата из Библии (Евангелие от Матфея, 7, 1).

Впервые — журн. «Вестник Европы», 1884, № 10, за подписью: «Д. Мамин». Авторская рукопись хранится в ГАСО. Без даты и подписи. Рукопись не закончена, в ней отсутствуют два последние абзаца, имеющиеся в печатном тексте (*Рукописи и переписка*, с. 22).

Авторский подзаголовок подчеркивает тематическую и идейную близость рассказа «На шихане» к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Эта близость сказывается в композиционном построении рассказа, характере диалога, пейзажных зарисовках. Однако образ главного героя Савки — это уже новый тип, характерный для уральских героев Мамина-Сибиряка. От тургеневских крестьян этого бывшего мастерового и бродягу отличает стихийное бунтарство, направленное против самодурства и жестокости людей, облеченных властью. Савка «не боялся никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я». Характер Савки ярко раскрывается в эпизоде с собакой управителя Слава-богу. Гуманное отношение к животному для Мамина-Сибиряка является критерием душевных качеств личности. Конфликтная ситуация рассказа «На шихане» — бесцельный выстрел в красивую и умную собаку человека ограниченного и жестокого — была также использована писателем в романе «Горное гнездо».

Отмечая рассказ «На шихане», рецензент журнала «Русская мысль» писал: Мамин-Сибиряк понял «душу живую» мужика Савки и «даст нам уразуметь ее под безобразной оболочкой фабричного заматыги и бродяги...» Драма, скрытая под лохмотьями Савки, незаметная для постороннего взгляда, самим Савкою неясно сознаваемая, а только чувствуемая, — вот что хватает за душу и поднимает в голове тяжелую думу» («Русская мысль», 1884, № 11).

При жизни автора рассказ входил в состав сборников «Уральских рассказов», т. I (в 1888, 1899, 1905 гг.). В сокращенном варианте под заголовком «Савка» рассказ издавался Киевским отделением Российского общества покровительства животным (Киев, 1886), а затем был выпущен «Издателем» (СПб., 1899) и Д. П. Ефимовым (М., 1903).

В настоящем томе текст рассказа печатается по изданию: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Уральские рассказы, т. I. М., 1905, изд. Д. П. Ефимова.

Стр. 494. ...осыпанный... точно медной ярью... — покрытый зеленой краской, меняющей оттенки от бирюзового до травянисто-зеленого цвета.

Стр. 495. ...горбились небольшие увалы...— крутые округлые склоны.

Стр. 498. ...гардемарины... кантонисты...— не кончившие курса воспитанники морских училищ и низших военных школ.

Стр. 500. ...некошная...— нелегкая, нечистая.

Стр. 504. ...в кричной...— на обработке криц, крица.— См. примеч. к с. 94.

Стр. 506. ...ясачить...— платить подать шкурками пушных зверей; здесь: охотиться.

Стр. 507. ...в успеньев пост.— Успенский пост с 1 по 15 августа.

Стр. 508. ...журени и поруби...— выжженные и вырубленные места в лесу.

БАШКА

Впервые — «Русская мысль», 1884, № 11, за подписью: «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в ГАСО. Начало и конец работы над рассказом указаны автором на первом и последнем листах рукописи: 24 августа — 5 сентября 1884 г.

Рассказ «Башка» — одно из лучших произведений Мамин-Сибиряка, посвященных уральским босякам. В нем писатель дал живые образы людей «дна». Одной из причин, толкающих героев «на дно», Мамин-Сибиряк считал нелепую систему образования (особенно семинарского), которая не готовила молодых людей к жизни и труду. От этой системы, по его мнению, страдали в первую очередь сильные, незаурядные натуры. О вредности семинарского образования Мамин-Сибиряк писал в «Записках семинариста»: «Семинаристы гибнут, как мухи... Я знаю десятки сильных людей, которые погибли в этой обстановке только по своей силе, им было мало воздуха, питания, движения, вообще тех нормальных условий, при которых только и может выжить здоровый организм» («Урал», Екатеринбург, 1913, с. 90).

Однако неправильное воспитание — это только одна из многих сложных причин, приводящих людей «на дно». В журнальном тексте и тексте первого издания сборника «Уральские рассказы» (т. I, 1888) есть, опущенное в последующих изданиях, высказывание Башки, проясняющее позицию автора: «Что воспитание! Это только частица громадного органического целого,— рассуждал Башка.— Все мы только мышей ловим... Ха-ха-ха!.. Богатырь Святóгор говорил: «Тяжело от силушки, как от тяжелого бремени...» Ты и разумей» («Русская мысль», 1884, № 11).

За грубой внешностью опустившегося и спивающегося Башки Мамин-Сибиряк увидел душевную чуткость, боль за человека. Отношение Башки к Фигуре — не банальная мелодраматическая любовная история. Башка одушевлен мыслью вернуть Фигуре человеческий облик, избавить ее от того уродства, которое несла ей жизнь «на дне». Эта авторская мысль была более откровенно выражена в рукописи рассказа. В конце третьей главы, после сна Фигуры, там имеется следующий текст: «Нужно ее спасти...— шепчет Медальон, указывая (Башке.— Э. Г.) глазами на заснувшую Фигуру.— Она слишком непосредственна...» (Э. Г. Г а й н ц е в а. Рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка о «бывших людях» и бродягах.— В кн.: Доклады на V конференции по изучению творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск, 1960, с. 60).

Есть сведения, что рассказ «Башка» заинтересовал Толстого. Мамин-Сибиряк писал матери 8 октября 1893 года: «...один толстовец мне рассказывал, что Толстой в восторге от моего рассказа «Башка» и сам читал его вслух своей семье» (ЦГАЛИ. Опубликовано Е. А. Боголюбовым.— *Собр. соч.*, Свердловск, 10, с. 360).

Горький высоко оценил этот рассказ. «Башка» — один из лучших рассказов Мамина,— писал он.— Это вещь, написанная á la Брет-Гарт о людях «бывших». Один из героев — бывший семинарист, другой — бывший гимназист, героиня — бывшая актриса. Герои — золоторотцы, героиня — проститутка. Описана колоритным языком автора кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блеснуть алмазами духовной красоты» (М. Г о р ь к и й. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 50—51).

При жизни автора рассказ переиздавался в составе сборников «Уральских рассказов», т. I (в 1888, 1899, 1905 гг.), в 1901 году вышел отдельным изданием в «Новой библиотеке» журнала «Русская мысль».

В настоящем томе текст рассказа печатается по изданию: Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. Уральские рассказы, т. I. М., 1905, изд. Д. П. Ефимова.

Стр. 513. ...сиделец «Плевны»... в плисовом пиджаке...— хозяин кабака, в пиджаке из бумажного бархата.

Стр. 515. Этакая шадривая... рожал!..— рябая.

Стр. 519. Брыластый — с большими отвислыми губами.

Стр. 520. ...шеперья...— ломайся.

Стр. 534. ...*в осеннем дипломате*...— в длинном свободном пальто особого покроя.

Стр. 535. ...*по теории утилитаризма*...— этическое учение, которое в основу нравственности кладет принцип личной и общественной пользы.

Стр. 537. ...*в акцизном ведомстве*...— Акцизные управления, взимающие акцизные сборы (один из видов налога), находились в ведении министерства финансов.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст стр.	Коммен- тарий стр.
Горное гнездо	7	549
Рассказы		
Бойцы	307	562
Золотая ночь	441	568
На шихане	492	570
Башка	513	571
<i>Комментарии</i>	549	

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М 22 Собрание сочинений. В 6-ти т. /Редкол.
А. И. Груздев, И. А. Дергачев, В. А. Стариков.—М.: Худож. лит., 1980.

Т. 2. Горное гнездо; Рассказы. /Коммент.
и подготовка текста Э. Гольцевой. 1980.—
574 с.

В том вошли роман «Горное гнездо» и рассказы «На шихане»,
«Бойцы» и др.

М $\frac{70301-243}{028 (01)-80}$ подписное

4702010100

Р1

ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ
МАМИН-СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

Редактор *А. Бабореко*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
В. Нефедова
Корректоры
Л. Коншина и М. Чупрова

ИБ № 1166

Сдано в набор 16.11.79 г. Подписано к печати
10.06.80 г. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1.
Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая.
30,24 усл. печ. л. 31,71 уч.-изд. л. Тираж
300 000 (2-й завод 100 001—300 000) экз.
Заказ № 1077. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Тру-
дового Красного Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова Союзполи-
графпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

